

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

НОВЫЙ
МИР

10



1980

1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Батырай. Перевел с аварского Яков Козловский	3
ЮРИЙ ГЕЙКО — Сайга, повесть	7
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли, роман. Окончание	58
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Авессалом, Авессалом! Роман. Окончание. Перевела с английского М. Беккер	138
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ КУРТ БАХМАН. Предисловие В. Ежова. Перевел с немецкого А. Грищенко	177

ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕЛИКС НОВИКОВ — Четыре этюда о зодчестве	198
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕВ ДАВЫДОВ — К портрету героя	214
--------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КАРАГАНОВ — Действенность искусства. Заметки о художественном познании	224
ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ — В тени парусов. Перечитывая Александра Грина	238

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	250
С. Смоляницкий. Дорогой поколения. — Л. Юрьева. Новая встреча с Анной Зегерс. — Маргарита Алигер. Будь всегда самим собой.	

<i>Политика и наука</i>	258
Д. Биленкин. По следам споров. — С. Лянин. Политика, ведущая в никуда. — А. Грунт. Люди из легенды.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Владимир Буданин. — Николай Кузьмин. Рассвет. Повесть о Федоре Сергееве (Артеме). ♦ Эр. Ханпирра. — К. П. Матвеев. Ассирийцы и ассирийская проблема в новое и новейшее время. ♦ Ю. Михайлов. — А. К. Жирицкий. Плата за безответственность (Экологический кризис в современном буржуазном обществе и идейно-политическая борьба). ♦ А. Белорусец. — Юрий Яковлев. Жить нам суждено. Повести и рассказы. ♦ Андрей Василевский. — Ричи Достян. Кинто. Повесть. ♦ А. Устинов. — Воспоминания об Иване Шухове. ♦ Г. Знаменская. — Валентин Девекин. Не сгоревшие на костре. Немецкая антифашистская литература 1933—1945 годов	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

РАСУЛ ГАМЗАТОВ



БАТЫРАЙ

С аварского

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

А. Пушкин.

I

Слово страстью наделить
По велению небес
Смог Омарла Батырай —
Муж даргинцев удалой.
На чунгуре четырех
Струн касался он когда —
Отзывались ему
Все четыре стороны.
Шла стоустая молва,
Будто раны Батырай
Может песней исцелять,
Почитая храбрецов.
И однажды, говорят,
Песнь победную пропев,
Он погибшего в бою
Смог наиба воскресить.
К офицерам царских войск
От лазутчиков дошел
Из аула Урахи
Слух, что песней Батырай
Может женские сердца
Покорять вернее, чем
Стены горских крепостей
Именитые поляки.
И когда у родника
Он к груди прижмет чунгур,
Из кувшинов воду прочь
Вылить девушки спешат.
Разом по воду они
Отправляются опять
И подольше норовят
Постоять у родника.
А как станет Батырай
Под луной в ауле петь,
Все красотки до одной
Затаят дыхание вдруг.
На балконах сладко им
От блаженства замирать,

Отражая лунный свет
И огонь земной любви.
Пел Омарла Батырай,
И казалось — тает снег
На вершинах от его
Слов, что были горячи:
«Наша страсть — цены ей нет —
Так развеяна тобой,
Как имущество, когда
Нет наследников ему.
Но свою сберег я страсть,
В тело крепкое вогнав,
Как вгоняют гвозди в сталь
Амузгинцы-мастера».
До сих пор живет молва,
Как однажды Батырай
В окружении мужей
О герое песнь сложил.
И рассказывалось в ней
Про кавказца одного,
Что в ущелии принять
Бой решился против ста.
Эту песню услышав,
Битвы помнивший старик
Крикнул, посох отшвырнув:
«Где ты, молодость моя?»
А усатый молодец
Перед собственным конем
Амузгинского клинка
Лезвие поцеловал.
И когда воспел в горах
Лань Омарла Батырай,
Все охотники окрест
Поклоняться стали ей.
И она во всей красе,
Меткой пули не боясь,
Красоваться на скале,
Словно гурия, могла...

Не держал в руке своей
 Ты, Омарла Батырай,
 Ни гусяного века,
 Ни железного пера,
 Но сберег твои стихи
 Благодарный Дагестан
 В книге памяти своей
 Словно в книге бытия.
 Он про то не позабыл,
 Что безбожными считал,
 Вольнодумство угладев,
 Твои песни старшина.
 Властью, данною ему,
 Повелел всегласно он:
 «Запрещаю песни петь
 Батыраю пред людьми.
 А как станет Батырай,
 Мне переча, песни петь,
 То взыскать велю с него
 Штраф в облиции быка».
 Строг приказ, но оценен
 По достоинству поэт.
 И решили земляки:
 Купим в складчину быка.
 Купим в складчину быка,
 Старшине заплатим штраф.
 И споет нам Батырай
 Песню новую свою.
 Аульчане с той поры
 К старшине во двор не раз
 Круторого быка
 Отводили на зарез.
 Но за это им дарил
 Песню новую свою
 Златоустый Батырай,
 Что никем не превзойден.
 Но всему приходит срок,

И состарился поэт.
 Славу собственную сам
 Он на волю отпустил.
 Гаснет пламень очага,
 Старика забыли все,
 Лишь чунгур не изменил
 В одиночестве ему.
 Не заржет в конюшне конь,
 Бык в хлеву не замычит.
 Струн коснулся Батырай,
 И слова слетели с губ:
 «Как же я спою теперь,
 Если тягостный недуг,
 Если смертная печаль
 В угол бросили меня,
 Словно шубу сироты?
 Ой, Омарла Батырай!»
 Пред потухшим очагом
 В сакле нищенской угас
 Знаменитый Батырай,
 И не пел над ним мулла.
 Два аульских бедняка,
 Тело в саван завернув,
 На кладбищенском холме
 Наспех погребли его.
 Муж даргинцев удалой,
 Очевидцем не простым
 Бурных дней Кавказа ты
 Был, Омарла Батырай.
 В год, когда родился ты,
 Пушкин молод был еще
 И Раевским привезен
 Из Одессы на Кавказ.
 Где начало, где конец
 Повести твоей судьбы?
 А быть может, нету в ней
 Ни начала, ни конца?

II

Полтора года лет назад
 В мир явился Батырай.
 Эту дату неспроста
 Отмечал весь Дагестан.
 Озвались на призыв
 Горской музыки кунаки,
 Всех прибывших не смогу
 Я поэтов перечесть.
 О Омарла Батырай,
 По эфиру из Москвы
 Золотой твой стих летел
 В переводе Эффенди¹.
 И на разных языках,
 О Омарла Батырай,
 Золотой твой стих звучал
 На аульских площадях.
 Я читал твои стихи
 На аварском языке,

В переводе сохранив
 Все, чем славятся они.
 А когда Аджиев стал
 По-кумыкски их читать,
 Мне припомнился поэт,
 Имя чье Ирчи Казак.
 Пел он женщин, и лихих
 Делебашей воспевал,
 И свободы неспроста
 Слыл глашатаем окрест.
 А шамхалу, что в Тарках
 Был наместником царя,
 Ни единою струною
 Льстить не стал его кумуз.
 Велика шамхала власть,
 Данная ему царем,
 И в холодную Сибирь
 Сослан был Ирчи Казак.

¹ Эффенди Капнев, выдающийся поэт и переводчик.

И подумал я о том,
 Что Ирчи Казака мог
 Встретить запросто в горах
 Ты, Омарла Батырай.
 Лишь подумал я о том,
 А уже перед людьми
 Твой даргинский стих звучать
 Стал на лакском языке.
 И когда бы ты воскрес,
 Удивился б не тому,
 Что читает наизусть
 Женщина твои стихи.
 Удивился бы тому,
 Что в пленительном пылу
 На язык ногайский их
 Женщина перевела.
 Этой женщины узнать
 Поспешил бы имя ты,
 И ответил бы любой:
 «Пред тобою Кадрия.
 Знай, сама она стихи
 Пишет так, что никаких
 Всем соперницам своим
 Не оставила надежд».
 А назавтра в горы нас
 Повезли, чтобы венки
 На могиле мы твоей
 Возложили, Батырай.
 Кавалькада легковых
 В горы двигалась машин,
 А дорожный серпантин
 Будто бы арканил их.
 Для того чтоб путь в горах
 Безопасней был для нас,
 Впереди машина шла
 Дагестанского ГАИ.
 Я в одной машине был
 С лордом аглицким, и мне
 Как хозяину в пути
 Гость вопросы задавал:
 «С кем могу, скажите, сэр,
 Батырая я сравнить?»
 «Только с Бёрнсом,—

говорю,—

Было сердце чье в горах».
 Вот уже Сергокала
 Остается позади,
 И за поворотом нам
 Урахи предстать готов.
 Объявляется привал,
 И достал заморский гость
 Виски темную бутыл
 С белой лошадью на ней,
 И за Батырая мне
 Предлагает выпить он.
 Водки наклонив бутыл,
 Вышибаю пробку я.
 «Белой лошадью» полны
 Наши чарки до краев.

Пьем, Омарла Батырай,
 Мы вначале за тебя.
 А потом за Бёрнса пьем
 Водку русскую до дна,
 Чтоб в обиде не была
 Водка белая на нас.
 И шотландец говорит:
 «Вот бы было славно, сэр,
 Если б чокнуться могли
 С нами Бёрнс и Батырай».
 Из-за моря возвратясь,
 Пролетали журавли.
 И казался мне их строй
 Наконечником стрелы.
 Вот уже рукой подать
 До аула Урахи.
 Вот и кладбище, но где
 Похоронен Батырай?
 Все мужчины как один
 Шапки скинули с голов.
 Девы гор несли цветы,
 Как младенцев, на руках.
 Медлят старцы почему
 Из аула Урахи?
 Иль неведомо им, где
 Похоронен Батырай?
 И ученые мужи,
 Что толпятся в стороне,
 Почему не скажут, где
 Похоронен Батырай?
 На костях ли не его
 Вознеслись они, когда,
 Ради моды стать смогли
 Кандидатами наук?
 Раскаленное печет
 Солнце, встав над головой.
 Надмогильные вокруг
 Стали камни горячи.
 И сказал один старик,
 Что в ауле Урахи
 Дом он может показать,
 Где родился Батырай.
 А могилы, где поэт
 Погребен был, не найти:
 Стерла времени рука
 Надпись с камня, как на грех.
 Золотой чеканки стих,
 Может, ты нам скажешь, где
 Похоронен на холме
 Твой создатель Батырай?
 И на это отвечал
 Золотой чеканки стих:
 «В том углу, где бедняков
 Полагалось хоронить.
 И воздвигнут в головах
 Бедный камень был над ним.
 На орлиное крыло
 Он размером походил».

Вдруг сказал Абуталиб²:
 «Мне известно, под каким
 Камнем, что травой оброс,
 Батырая прах лежит.
 Я лудильщик и зурнач,
 Славной Лакии поэт,
 По горам хожу всю жизнь,
 Слухом полнятся они.
 За собой Абуталиб
 Нас по кладбищу повел
 И на камень указал,
 Покосившийся давно.
 На могильном камне слов
 Разобрать не смог никто:
 Их беспамятной рукой
 Уничтожили года.
 И спросил тогда один
 Горский парень разбитной:
 «Ты уверен, аксакал,
 Что лежит здесь Батырай?»

А быть может, прах его
 Под соседним камнем тем,
 Где ни слова не прочесть,
 Век покоится почти?»
 «Ах, не все ли то равно, —
 Отвечал Абуталиб, —
 Этот камень иль другой
 Есть надгробие его.
 Батырай неотделим
 От аульских кузнецов,
 Ото всех, кто сеял хлеб
 Или пас в горах овец.
 Вознеслись его стихи
 Выше мраморных столпов.
 Оставаться им и впредь
 На завидной высоте». —
 Так сказал Абуталиб,
 И вослед его словам
 Все надгробья бедняков
 Оказались в цветах.

III

Ездил в Иерусалим
 Мой грузинский старый друг,
 Чтоб могилу разыскать
 Там великого Шота.
 Я всходил до облаков,
 Но могилы не нашел
 Ни твоей, Алхин Марин,
 Ни твоей, Ирчи Казак.
 У индийских берегов,
 От Кавказа вдалеке,
 С «Сулейманом Стальским» я
 Повстречался как-то раз.
 Рядом с ним стоял другой
 Океанский теплоход,
 Нес который на борту
 Имя моего отца.
 «Сулеймана» я спросил:
 «Ты не скажешь ли, ашуг,

Где в отеческих горах
 Погребен Ирчи Казак?»
 И спросил я у отца:
 «Ты не скажешь ли, отец,
 Как найти Алхин Марин
 Нам могилу среди гор?»
 Отвечали мне они:
 «У поэтов нет могил,
 Если их стихи живут
 У народа на устах.
 Вот Омарла Батырай
 Создал памятник себе,
 О котором лишь мечтать
 Может истинный поэт». —
 Я слышу поэтом сам
 И желаю одного:
 Чтоб меня мои стихи
 Пережить смогли в горах.

Перевел ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

² Абуталиб Гафуров, народный поэт Дагестана.



ЮРИЙ ГЕЙКО



САЙГА

Повесть

Гулко скрежетет ручной насос в умывальнике за стеной, и я просыпаюсь. Еще не открыв глаза, я чувствую в комнате солнце, прохладу окна, распахнутого над головой, и клопа, ползущего по ноге. Но я не двигаюсь, пытаюсь вернуть то домашнее, еще доармейское ощущение безмятежности, покоя от пробуждения в такое вот солнечное летнее утро, когда день огромен, радостен и полон событий. Но ничего не выходит, хотя подъемы и отбои уже позади, а я две недели как гражданский, абсолютно свободный и взрослый человек.

Рядом, как король, под балдахином из двух сшитых простыней спит Колька, и лица его не видно, лишь посапывание извещает о том, что он жив, здоров и не заеден клопами.

Комната наша небольшая. Абажур из красной крашеной марли, полки с книгами над письменным столом, уставленным картонными гильзами, банками с порохом и другими охотничьими причиндалами, скрипучий шкаф с кривым зеркалом и цветастые, пропахшие табачным дымом шторы на окне. Противоположная стена оклеена симпатичными — у Кольки есть вкус — девочками. Наши одеты, зарубежные, естественно, раздеты. Одна из них так смотрит на меня, что каждое утро я собираюсь снять ее со стены.

По длинному коридору общежития уже бухают шаги, непрерывно звенят будильники — пора одеваться...

Поселок, куда забросила меня судьба, а точнее «длинный рубль», рассыпан белыми одноэтажными домиками на пологом склоне горы Мунлы, в степи казахстанской. Гора невелика, четыреста метров всего да плюс двадцать — ретранслятор на круглой макушке, но для здешних плоских мест это одно из чудес света. Талые воды да два родника питают озерцо у ее подножия. Поселок так и называется: Еки-Булак — два родника. Двухэтажный дом на щебеночной центральной площади, две чахлые аллейки на привозной земле, пыльные ветры да палящее солнце — тоскливо здесь после российских мест. Народ в поселке приезжий, здесь я впервые услышал в обиходе слово «Россия», прислушался к нему: хорошее слово, греет оно душу.

Не думал я, наглаживая дембельскую форму, что не увидят ее ни родные подмосковные Мурашки, ни мама моя, ни повзрослевшие за два года девчонки. Не думал я, садясь в голубой экспресс, что выйду из него не в столице нашей Родины, а на глухом глинобитном полустанке. Не думал я, закидывая чемодан на полку, что мой попутчик — мужичок с лохматыми бровями — станет утром моим первым в жизни начальником.

«Это верно, — сказал мужичок вечером, когда колеса уже всюду стучали и мы вышли в коридор покурить, — матери помогать надо, да

только чем ты ей поможешь? Ты вот учиться хочешь — рот лишний. Сестра на выданье. А самому тебе обгражданиться на что? С ребятами выпить?..»

Он загибал пальцы и говорил тихо, даже грустно, точно сожалел о моей несчастной судьбине. Потом я ушел за чаем, а он все курил, аккуратно стряхивая пепел в жесткую желтую ладонь. И только после чая, когда вышли в коридор, сказал неожиданно:

«Ты мне, сержант, приглянулся. Технику знаешь, по рукам вижу. Хочешь, возьму к себе на годичко? Работа шоферская не сахар, сам знаешь, но четыре сотни обещаю, а то и больше. — И, помолчав, он добавил мечтательно: — Домой приедешь, тыщ несколько бах на стол — хозяин! Подумай. Утром я выхожу».

И он исчез в купе.

Я остался в веселом недоумении: ну и чудак! Неужто уговорить думает? Меня ж полпоселка ждет, сеструха, мама... Но чем больше размышлял я о доме, тем грустнее становились мои мысли, и в голову приходили вещи, о которых раньше я не задумывался.

И как представил себе, как вхожу в наш дом — взрослый (три года все-таки!), в костюме с иголки, с огромным кожаным чемоданом, как щелкают никелированные замочки и появляется тугая пачка сиреневых: это тебе, мать, на цветной телевизор, на холодильник «ЗИЛ», на обстановку, это тебе, Анька, на свадьбу, а это на книжку положим, может, мотоцикл куплю. Запищит сеструха, бросится на шею, а мать всплеснет руками и заплачет, непременно заплачет... Я так явственно все увидел, что зажмурился от удовольствия. Вот это называется сын приехал, а то ведь на второй день у матери трояк попросишь...

Я выныривал из этого замечательного сна, но, вспоминая голос и глаза лохматобрового мужичка, опять погружался в него, и с каждым разом он становился все подробнее и желаннее.

Утром мы ударили по рукам.

Зовут его Михаил Титыч, а фамилия странная — Почка. Он завгар геологической партии.

К столовой уже идут: густо и шумно — молодежь, реденько — люди семейные, и я всех знаю в лицо, а многих по именам.

Вот идет Кибицкий, начальник реммастерских, с ним мне часто сейчас приходится сталкиваться. Ему под сорок. Он тощ, жилист, кадыкаст, вытянутая огурцом голова с острым затылком увенчана на темени нежнейшим младенческим пушком, лицо узкое, скуластенькое, глаза щелочками, но светлые, и когда Кибицкий смеется, он похож на морщинистого старого японца. На вид Кибицкий безобиден, но завести его несложно — и тогда тонкие губы его и стиснутые скулы белеют, кулаки длинных рук на глазах вспухают жилами, и о тех редких случаях, когда он пускает их в ход, долго потом вспоминают в гараже.

Как всегда, окружен друзьями Верзила Фрэнк — такая у него кличка — предводитель местной шушеры. Он сидел в этих краях года два, а теперь остался работать. В нем и правда что-то от киноковбоя: тяжелый раздвоенный подбородок, брезгливые губы с опущенными уголками, но глаза — явно не те. Не глаза — глазенки: круглые, рыбы, двухдиапазонные — пустые или наглые.

А вот девушка, которая мне нравится, — Алиса. Она внучка немца, плененного в войну и осевшего здесь, в Казахстане. Их несколько, таких семей в поселке. И хотя уж третье поколение разбавляет «арийскую» кровь, между ними какие-то свои, особые отношения. Алиса работает в столовой, глаза у нее серые, независимые, не останавливаются, по моим наблюдениям, ни на ком, но кое-кто говорит о ней такое!..

А вот и наш автопарк: укатанный до асфальтовой твердости огороженный кусок степи на краю поселка, длинные бараки-боксы. Я спускаюсь по склону и вижу, как медленно сползает с него тень Мунлы, обнажая поблескивающие пестрые ряды машин. А в сторонке, словно

старый большой пес, на чурбаках вместо колес стоит мой «пятьдесят первый» «газон». Еще в поезде Михал Титыч предупредил меня: «Новая машина будет скоро, а пока займешься старой. О заработке не беспокойся». Два дня со сварщиком мы варили раму, обгоревшую кабину откуда-то из степи приволок Колька, красные крылья выторговал за спирт у пожарников наш кладовщик, а двигатель и все остальное оказалось у Кибицкого, правда, в «утильном состоянии».

«До капиталки докатишься», — уверенно пообещал он.

У ворот я встречаю Михал Титыча. Он приветливо протягивает руку:

— Как дела?

Мне все больше нравится мой первый начальник. Титыч, как зовут его ребята, невысокий, коренастый, седеющие брови растут кустами, нос прямой, подрезанный снизу, молодит его, лицо загорелое, улыбочное, взгляд спокойный, чуть пристальный. Говорит мало, и потому его слушают. Всякие у нас есть: и рвачи, и работяги, и со справками об освобождении, и все Титыча уважают. Веет от него уверенностью, силой какой-то, крепко на земле мужик стоит. Есть такие люди — и не косая сажень у них в плечах, не громовой голос, а по-смотрит молча — так и тянет по стойке «смирно» стать.

— Нормально, — говорю, — дела, Михал Титыч, резина нужна и можно ехать.

— Пойдем поглядим.

Мы подходим к моему «чучелу» — так я про себя свой «газон» называю, — Титыч обходит его не спеша, нагибается, отряхивает руки.

— Отстойник, — перечисляет он, — левый клык, кардан на одном болте, сигнал. Резина есть, списанная, в кладовке, скажу, чтоб дали, камеры у вулканизаторщика. Завтра оттащишь ее в район. С утра зайди ко мне, записку и документы дам.

Он уходит. Кладовщика еще нет, и я бегу к вулканизаторщику.

Николай Авдеич — грузный и смурной старикан, сидит на досках у своей камерки и, положив камеру на коленку, не спеша водит по ней драчовым напильником. Я подхожу ближе и вижу, что глаза его закрыты, а голова потихоньку клонится к плечу.

— Здравствуйте, Николай Авдеевич!

Он вздрагивает, неприязненно смотрит на меня и продолжает свою работу. Я сажусь рядом, решив, что мне спешить некуда, и предлагаю ему сигарету. Авдеич хмурится, но откладывает напильник, достает из-за пазухи замасленную и обтертую пачку «Севера», выколупывает из нее пальцами-сардельками папироску и прикуривает от своей спички.

— Чего надо?

Я вежливо объясняю ему, а он сидит, уставясь в землю, и, по-моему, не слушает.

— Чего надо? — спрашивает он еще раз так и не вынырнув из своего забытья.

— Камеры! — кричу я ему в ухо.

— Камеры? — повторяет он зловеще. — Камеры-ы? А ты кто такой?

Однако идет, шаркая тапочками, в темноту сарайчика и одну за другой выкидывает мне под ноги пять залатанных камер.

Когда я, взмокнув под пекущим солнцем, смонтировал пять баллонов, откатил каждый к компрессору, накачал и прикатил обратно, оказалось, что два спускают. Чертов старикан! Мне так не хочется идти к нему опять, но куда не денешься. Я застаю его за тем же занятием: он так же размеренно пилит ту же камеру и спит, но уже в тенечке.

— Две дырвые! — кричу я зло и швыряю их в сарайчик.

— Погодь ты со своими камерами, — неожиданноспокойно говорит он. — Счас свулканизирую. Сядь, не мельтеши, — продолжает он свою работу.

— Протрешь, отец, коленку, — говорю я, закуривая.

Он усмехается, сдувает резиновую пыль.

— Откуда сам-то?

Чувствуется, что спрашивает он не просто так, а с интересом: любят старики поговорить.

— С Волги.

— Да ну? А из каких мест?

— Саратовских, — раздраженно вру я, уверенный, что сейчас земляк объявится.

— Не-е, — сожалеючи качает он головой, — но бывал там, знаю места те...

«Где они только не были, чего они только не знают», — злюсь я, но при взгляде на его руки, раздутые и дрожащие, раздражение мое проходит и мысль обретает другую окраску: «И где они только не были! Не дай нам бог!..»

— А сюда чего? — продолжает Авдеич допрос. — Девка не дождалась?

— Нет... Подработать надо, матери помочь.

— А отец-то где?

Вот клещ старый! Все ему знать надо.

— Нет отца! — вскакиваю я.

Он удивленно поднимает голову в затертой кепке.

— Да ты чего? Чего ерепенишься-то? Мало таких, что ль?

Вдруг в его глазах мелькает что-то, словно кадрик меняют.

— Парень... а он того... не сидит ли?

Но я уже шагаю прочь. Да черт бы тебя, психолога старого, побрал, — он сидит. Вернее, сидел когда-то. И вот уже десять лет о нем ничего не известно.

Через полчаса Авдеич пришаркивает сам с двумя новыми камерами и усаживается на подножку. Лицо у него совсем другое: виноватое какое-то, ласковое. Мне даже не удается вспомнить, каким оно было утром. Он поглядывает на меня, но молчит, дышит, и я понимаю: что-то творится со стариком.

— Шофером он был, — говорю я, садясь рядом.

— И ты шофер?

— И я.

— Сколько ж ему кинули?

— Пять. И уж десять как с концами.

Авдеич успокаивается, закуривает, часто и с наслаждением пускает из рыхлого носа дым.

Я плохо помню отца. Я помню: мужчина играл со мной, водил в парк, покупал мороженое, ругал за двойки, но живого его — не помню.

По рассказам мамы, отец был самый лучший, самый добрый, самый сильный. Судя по тому, что никто из ее последующих знакомых у нас не привился, он действительно был таким. Но в школе меня учили, что хорошие люди в тюрьму не попадают. На это мать отвечала серьезно: «От сумы, сын, да от тюрьмы не зарекайся», и плакала. Плакала она и тогда, когда стирала мои пропахшие бензином шмотки. Очень она не хотела, чтобы я был шофером. «Два раза, мать, снаряд в одну воронку не попадает», — отвечал я ей.

Авдеич притаптывает окуроч, присыпает его зачем-то землей, вздыхает.

— Ну, парень, тогда слушай. Тебе сам бог велел рассказать: может, чего и посоветуешь. Служил я в конце войны в Абхазии, дембельнулся, женился и остался при части вольнонаемным, бугра какого-то на «опеле» возил. Шустрый у меня был начальник: все чего-то достает. Еду раз, везу какой-то ящик с порошками. На вкус — гадость, вроде как медикаменты. Еду, да. Недалеко уж мне осталось — кончился бензин, прямо в поселке кончился. Останавливаюсь. Что же делать,

думаю, с бензином тогда туго было. Тут мой «опель» уж местные обступили — богатая была машина, — горланят, цену предлагают, а бензин не дают, нету, говорят, знают, что у меня в кармане пусто. Разозлился я: ну, думаю, проучу я вас! А бак у меня хитрый был: заборник отломан и насос не сосет, хоть горючка-то есть еще. Хлопнул я себя по лбу, будто вспомнил что, достаю порошок. Вот, говорю, балда, у меня ж сухой бензин есть — трофейный, дайте-ка ведро воды! Принесли воду и стоят, не верят. Высыпал я порошок, размешал палкой, залил в бак. Покурил немного, чтоб успокоилось там... Да, да, — кивает Авдеич, — правильно сообразил: вода снизу, а бензин-то и поднялся. Покурил я — чик стартером, завел и потихоньку поехал. Останавливаюсь, глушу движок — вроде бы руки помыть, а они чуть не с ножом к горлу — продай, и все тут. Поломался я для виду, махнул рукой. Раскупили за пять минут, не знал, куда деньги складывать. — Авдеич переживает мой смех и продолжает. — Присказка смешная, а сказка грустная была. Охотились они за мной недели две, поняли, что облапошил я весь поселок. Не прощают там такого. Ну а я парень молодой, здоровый был, ничего не боялся. До того случая не раз отмахиваться приходилось, один против десятерых стоял. Зажму в кулак ручку от дверцы — ее не видно, как садану в лоб — снопами валяются.

Авдеич сжимает пальцы-сардельки в громадный кулачище и неожиданно резко рубит им перед собой. На миг он становится страшен — так отработан этот удар, такой остервенелостью вспыхивает лицо, но только на миг.

— Так меня и прозвали абхазцы: Железная Рука, — говорит он уже спокойно. — А выпить я сколько мог! — сбивается Авдеич на сладостные воспоминания. — Полбазара за мной ходило, чачу бесплатно наливали: спорили, с какого стакана рухну... Ну да подстерегли все же. И ухлопал я в этой драке двоих. — Авдеич мельком смотрит на меня, но не видит во мне ни испуга, ни осуждения. — И размотали мне, парень, по тем временам всю катушку: двадцать пять лет...

— Двадцать пять?!

— Никак не меньше...

Он замолкает надолго; сидит, поглощенный своим ожившим прошлым, и я не слышу даже его свистящего дыхания.

— Жена со мной развелась, я попал под две амнистии, освобожден и женился во второй раз. Родились у нас две дочки, большие уж, разлетелись... — И, округлив глаза, он говорит шепотом, будто большую тайну сообщает: — Но есть ведь у меня и сын! От той, от первой. Ты понимаешь — сын есть! В Ленинграде учился, на кораблях плавет... И поверишь — так захотелось мне его под старость увидеть, — чуть не плачу. А та адреса не дает, не ломай, пишет, Мите жизнь, не знает он ничего о тебе и знать ему не надо. Пишу: дочерьми своими клянусь — не подойду, только погляжу со сторонки и уеду. Не верит. И подался я позапрошлой осенью в Ленинград. Жена в дорогу подарков накупила, чемоданчик собрала. А чего, думаю, фамилию-имя знаю, год рождения тоже, человек не иголка, капитан тем более. Приехал — и в адресный стол. Не живет, говорят, в Ленинграде такой. Как так? Я фамилию жены даю — опять не живет. Быть не может! Неужто фамилию отчима взял? А какая она — черт ее знает? Обошел я все пристаня в Ленинграде, все кабаки, все улицы. Увижу, думаю, узнаю сразу. Иду, все кителя высматриваю. А если он в гражданке? Стал я на всех пялиться, и замельтешило у меня в глазах, и сел я где стоял. Пришел в контору ихнюю морскую. Хожу по этажам и спросить-то не знаю как. Приметил меня капитанчик один шустренький и спрашивает: «Чего, товарищ, ищете?» Я с горя ему все и рассказал. Фыркнул он эдак на меня: ты, отец, говорит, сказки не рассказывай. С таким родителем, как ты, его не то что к дальнему плаванию — к нейтральным водам не подпустят. Хотел я хрястнуть ему по прыщам — форму жалко стало, рубашка аж хрустит вся. Митя, думаю, в такой же ходит. Так и вер-

нулся ни с чем... И вот хочу я спросить тебя, ты мне судья полный будешь, потому как сам навроде Мити, — озлобится ли он, как узнает обо мне? Отвернется ли, как увидит?

И я понимаю, что это не тот вопрос, на который заранее знают ответ.

«Кто его знает, дети они ведь разные бывают», — хочется ответить мне правду, но Авдеич мог услышать ее от кого угодно, а спрашивает то он меня, словно Митю своего спрашивает.

Я пытаюсь представить своего отыскавшегося отца, вспоминаю желтоватые и все бравые как одна фотографии шального улыбчивого парня, но — молчит душа; неожиданно он представляется мне Авдеичем: старым, одиноким, в домашних тапочках на босу ногу, несчастным и тоскующим по сыну, по мне то есть.

Жалость, нежность и черт знает что еще захлестывают меня, когда я вижу склоненную надо мной в покорном опасливом ожидании его седоволосую крупную голову, лицо, изрытое морщинами, его подрагивающие расплющенные пальцы. Едва сдержавшись от излиятий, я кладу на эти пальцы руку, стискиваю и чувствую их невольное ответное движение.

Авдеич силится что-то сказать, моргает и, не найдя слов, досадливо машет рукой:

— Спасибо, сынок...

Последнее слово хлещет нас обоих — он замирает, будто прислушиваясь, резко встает и уходит не оглядываясь.

Я долго еще сижу, курю, и сердце колотится, как после стометровки.

В район меня потащит Колька. Он доволен и тонно-километрами, причитающимися за этот рейс, и моей компанией, и маршрутом: у него там девочка. Пока я получаю у завгара инструктаж и документы, он, задрвав кабину своего «МАЗа», деловито и весело наводит в моторе последний блеск.

— Сдадите машину — Квасюк уедет, а ты останешься, — говорит мне завгар, — помогать будешь там, на заводе. Рабочий день полный. Вопросы будут — позвони. Все ясно?

— Так точно.

— Ну, тогда счастливого пути. — Он крепко жмет мне руку и улыбается. — Не подведи, сержант.

Потом он подходит к сцепленным машинам, осматривает буксир, заставляет Кольку тормознуть, удовлетворенно кивает.

Дорога сулит одно удовольствие: в кабине тишина, рулить почти не надо — «МАЗ» на жесткой сцепке, сиди, крути головой на новые места. Я вижу Колькин глаз и пол-лица в боковом зеркале «МАЗа», и когда глаз натывается на меня, то пол-лица улыбается. Я высовываю из окошка руку с поднятым большим пальцем, и Колька в ответ прибавляет газ.

Дорога до самого горизонта как на ладони. Она неспешно изгибается, минуя неизвестно что, и не обещает ничего интересного. Желто-ржавая прокаленная степь усыпляет своим однообразием. Я помню эту степь в мае, красную от тюльпанов; они пахли так, что невозможно было надыхаться.

Мы въезжаем в райцентр после полудня и останавливаемся у первой же вывески «Асхана» — столовая. Из зала вместе с клубами табачного дыма валит пьяный мужицкий гомон. В буфете, где за прилавком толстая розовая тетя, почти никого нет. Колька что-то заказывает, но тетя его не слушает:

— Ребятки, помогите бочку подкатить.

В ящичной кислой тесноте тетя шепчет, оглядываясь на вход:

— Сынки, бежите в милицию, тут в зале которого разыскивают...

Мы выкатываем бочку, и я вижу под прилавком прикрытые тряпкой несколько фотографий в фас и в профиль. Собравшиеся мужики тепло смотрят то ли на нас, то ли на бочку, а мы, деревенея под их взглядами, молча идем к выходу.

— Скорей! — Колька бежит к «МАЗу». — Отцепляй фаркоп!

С ревом мы пролетаем несколько кварталов и заворачиваем к милиции. Сейчас вышлют оперативную группу, и она задержит опасного преступника, а милиция потом будет жать нам руки и записывать фамилии для газеты.

В дежурке сидит миниатюрный младший лейтенант. Он невозмутимо выслушивает наше сообщение и разводит руками:

— Людей нет, машин нет, пост бросить не могу. Зайдите к начальнику.

Глядя друг на друга, мы поднимаемся по лестнице. Казах-майор, начальник милиции, повторяет то же, но, подумав, спрашивает:

— У вас есть машина?

— Есть... — нерешительно отвечаю я.

— Вот и поезжайте, я дам вам дежурного, а сам посижу за него.

Младший лейтенант кисло выслушивает майора и не спеша идет с нами. Кобура его пуста, это видно сразу. Я толкаю Кольку и показываю на нее, Колька удивленно пожимает плечами. Да и сам лейтенант не внушает доверия: на полголовы ниже каждого из нас, узкоплечий и тонкорукый — пистолет ему явно бы не помешал.

Мы входим в асхану. Шум притихает. Лейтенант направляется к столу в углу, за которым сидят трое стриженных мужчин.

— Предъявите документы, — требует он, и по стремительным глазам лейтенанта я понимаю, что он готов ко всему.

Трое вскидывают на нас тяжелые, как кувалды, взгляды и не спеша извлекают справки об освобождении. Лейтенант проглядывает их, одну складывает, прячет в нагрудный карман:

— Пройдемте со мной.

Человек лет сорока, к которому он обращается, — широкоскулый, широкогрудый, лопоухий — сверкает на мгновение бешеными глазами, прячет, вонзает их в стол и сидит не двигаясь, только ноздри его подрагивают. Зато медленно встают двое других...

— Спокойно! — удивительно уверенно говорит лейтенант и чуть отводит руку к пустой кобуре.

Двое садятся, широкоскулый встает и, наклонив голову, идет к выходу. Мы по бокам, лейтенант сзади. Мне не по себе, я внимательно слежу за ним и вдруг нарываюсь на косой страшный взгляд. «Машину спорт, гаденыш, — приколю...» — еле слышно хрипит он, приняв меня за водителя. Меня окатывает ледяной вал страха, но в следующую секунду меня уже колотит от ярости на себя и от ненависти к этой блатной паскуде, для которой я — гаденыш. Не отводя глаз я нагибаюсь, поднимаю кусок арматурины и останавливаюсь, приглашая широкоскулого к разговору. Но он уже отвернулся и идет как ни в чем не бывало, заложив руки за спину, а лейтенант недоуменно смотрит на меня. Широкоскулый садится у переднего борта, мы с лейтенантом на корточках по углам кузова, и я вижу отчетливый силуэт «макарова» в правом кармане его натянувшихся галифе. Рука дежурит неподалеку. «Ну и лейтенант!» — с восхищением смотрю я на него...

Мы выходим из милиции, и нам не хочется разговаривать. Не то чтобы жалко широкоскулого, но переход от прокуренной и пропитой веселой асханы, от друзей-корешей, от свободы к звону засова, гулким шагам, казенным запахам, этот переход, происшедший с ним по нашей воле и с нашим участием, угнетает.

На заводе мы бегаем от начальника к начальнику, пока не попадаем к Матвею Ильичу, к которому есть записка от Почки. Смешливый и молодой, он в два счета улаживает наши дела. Мое «чучело» загоняют в цех, завтра оно пойдет по конвейеру.

На улице уже почти вечер. Небо над головой посинело, покрылось светлыми крапинками звезд, большое солнце краснеет на горизонте, как остывающая чушка на наковальне.

— Берем горячее и к Надежде, — говорит повеселевший Колька, заводя двигатель своего «МАЗа».

— Я-то там на что?

— А мы тебе подружку найдем, — скалится Колька.

Мы крутим по пыльным улицам и останавливаемся у трехэтажного кирпичного дома. Колька по-хозяйски вытирает ноги и звонит, сильно и долго нажимая кнопку.

Дверь открывает светленькая, прозрачная на фоне багряного окна в своем тонком халате девочка с изумленными ненакрашенными глазами.

— Колька!!!

Она виснет на его шее, а он смущенно оглядывается на меня и гладит ее по спине здоровенными лапищами.

— Надюш... Ну, Надюш...

Надя летает по своей квартире, за ней летают платья, кофты, что-то еще прозрачное и неуловимое, и через десять минут, глубоко вздохнув, она появляется в дверях нарядная и счастливая.

— Ты надолго?

— До завтра.

— Зав-тра?.. — переспрашивает она по слогам и так тихо, что кажется: сейчас заплачет.

Они уходят на кухню и о чем-то разговаривают, ежесекундно касаясь друг друга, встречаясь руками, глазами, и голоса их все тише, тише, и вот на кухне совсем тишина...

Раздается звонок, Надя бежит на него, и после возни в коридоре, приглушенного смеха и шепота в дверях возникает высокая девушка. Насмешливо оглядев Кольку и меня, она садится в кресло, достает из сумочки сигареты и объявляет:

— Меня зовут Ира.

— Николай, — кашлянув в кулак, глухо выдавливает мой друг. Я его знаю, он на дух не переносит таких цап.

— Александр. — Это я.

Ира мне не нравится: выпуклые нарисованные глаза, пушкинский прижатый нос, волосы совсем не женственные — жесткие кудряшки, правда, фигура еще туда-сюда.

У меня портится настроение: я почему-то думал, что Надины подруги похожи на нее, хотя кто и когда видел симпатичных подруг? Обязательно одна — крокодил.

В комнате полумрак — она освещена закатным небом; в углу мерцает, вращаясь, черный диск пластинки, музыка пульсирует медленным ритмом, дневная суতোлка и приключения забыты, какая-то пружина во мне ослабевает, — мне хорошо. И не нужна сейчас ни Надя, ни ее обкурившаяся подруга, ни даже Колька, который хмуро поглядывает то на меня, то на Иру, уставившуюся в телевизор. Колька явно недоволен тем, что мы еще не нашли общий язык и не исчезли. Улучив момент, он говорит шепотом:

— Саня, у нее однокомнатная в этом же доме, понял?

— Понял, — говорю я и, подумав, добавляю: — Я могу и в «МАЗе» переночевать.

— Дурак, — говорит он спокойно.

Еще три рюмки, и я становлюсь не собой. Я не пьян, но чувствую, что это не я, а кто-то другой оценивающе рассматривает Иру, танцует с ней, уверенно смотрит ей в глаза, привлекает ее все ближе и ближе, касаясь бедром теплого живота, провожает ее, целуется с ней в подъезде, у двери в квартиру, в кресле, гасит свет и раздевается. Раздевается не суетясь, как дома.

И потом, в горячке, словно в бреду, это тоже не я; я вынырываю, вылезаю из чужой шкуры обессиленный, трезвый, среди чужих подушек, запахов, чужого тикания часов и чужой тишины. Я лежу и не понимаю — зачем я здесь, зачем мне эта некрасивая, такая не моя, девушка, что я нашел в ней, как это случилось? Я противен себе, мне неприятно прикасаться к ней, слышать ее дыхание, как хочется мне сейчас уйти отсюда!

И вдруг я слышу, что она плачет. Я поворачиваюсь...

— Уйди, я прошу тебя, — слышу я желанные слова.

Когда я просыпаюсь утром в кабине «МАЗа», мне кажется, что это был сон.

Колька не задает никаких вопросов, похоже он разочарован во мне.

— Коль, скажи... — медлю я, когда мы останавливаемся у завода, — скажи... тебе не бывает противно после всего этого?

Он не удивляется и даже не смеется надо мной, жмурится от солнца, думает.

— Нет. — И, чувствуя, что ничего не ответил, добавляет: — А у нас и не было «этого».

— Как?!

— Не поймешь ты... — мучается он, подбирая слова, — я и сам не всегда понимаю... С другими у меня всегда было проще, а Надя... Ты понимаешь, она такая красивая, такая хорошая... Нет, не то, — мотает Колька головой и задумывается. — Мне все кажется... Да что ты из меня душу тянешь?! — орет он так, что оборачиваются прохожие. — Ты посмотри на меня и на нее, посмотри! Разве ей такой парень нужен? Ей в кино сниматься, она два языка знает, — загибает он пальцы, — на заочном учится, а я? Восьмиклассный пень за баранкой? Вот поступлю в этом году в техникум и женюсь тогда сразу, безо всяких «этих». И потом... Как ни странно, но чем сильнее женщину любишь, тем меньше «это» торопишь. Понял? — смотрит он на меня, как на врага.

— Понял, — бормочу я.

— Ну и катись тогда...

Я спрыгиваю на землю, «МАЗ» взрывается во все свои двести сорок лошадиных и уносится, разматывая пыльный шлейф. Лучше бы я его ни о чем не спрашивал!

На заводе я впервые, и он производит на меня угнетающее впечатление. В его визжащем, шипящем, грохочущем шуме я не улавливаю никаких «гимнов труду», а люди в спецовках не дышат мордасторозовым плакатным «пафосом созидания» — они чумазы, деловиты и нефотогеничны.

Переодевшись в комбинезон, я хожу вдоль конвейера, ищу свое «чучело» и приглядываюсь к ним. Что за охота в масле, грязи, грохоте, духоте делать каждый день одно и то же, когда можно за большие деньги рулить, плавать, летать, гонять плоты?

Так, в размышлениях, я натываюсь на Матвея Ильича, который, как ни странно, узнает меня.

— А, гусар! — говорит он приветливо и энергично встряхивает мою руку.

— Почему гусар? — Я настроен скептически.

— С таким ростом раньше в гусары брали. — Он смущается, не уверенный, видимо, в своей правоте. — Ну, ладно. Что бродишь?

— Машину ищу.

— Она уже в ванне, — неопределенно машет он рукой и чешет затылок. — Слушай, машину твою сделают, ты там не нужен. В тебе необходимость на другом фронте... На токарном работал?

Я понимаю, к чему он гнет, и усмехаюсь.

— Ты не волнуйся, солдат, качество будет что надо!

— Что волноваться, мне на ней не ездить. Только я шофер, а не токарь-слесарь.

Матвей Ильич суровее на глазах.

— Хреновый ты шофер, если так рассуждаешь. Как я понимаю, ты направлен в полное мое распоряжение. Иван! — кричит он рабочему, склонившемуся за станком.

Иван оказывается тшедушным полулысым мужичком с белесыми глазками, серебристой щетиной на впалых щеках.

— Бери помощника, Ваня. Научи, покажи, получаться будет — пусть тоже восемнадцатые болты точит, а нет — меня кликни.

Ваня кидает на меня безрадостный взгляд и идет к станку. Я за ним.

— Наблюдай, — говорит Иван и запускает мотор.

А чего там наблюдать — проточил, резьбу нарезал, отрезал, и все дела. Делали и посложней, я ведь в школе на токаря специализировался, между прочим, так что начальника звать не потребуется, Ванечка: получаться будет, только без надрыва, конечно. Может, мне еще и повезло с этими болтами, корячился бы сейчас под гнилым «чучелом».

Я курю на законном основании, а Иван старается вовсю: при зрителях-то оно интереснее, конечно.

— Давай сам, — говорит он, разгибаясь, и засмаливает папироску.

Мы подходим к станку, стоящему рядом, и теперь уже он курит минут двадцать, пока я делаю единственный болт.

— Сойдет, — смотрит он мою работу.

«Сойдет»... Мог бы и похвалить — в первый раз человек за станком, вроде бы. Я не спеша делаю еще один болт и невольно взглядываю на часы, они висят прямо передо мной: десять минут. Быстро что-то, так и ударником можно стать. Интересно, а сколько на болт уходит у Ванечки? Засаекаю и закуриваю. За десять минут Ваня делает восемь штук — семьдесят пять секунд болт. За час, стало быть, сорок восемь, а за смену... почти три с половиной сотни. А почему же они за сотню?..

— Как дела? — Матвей Ильич возникает так неожиданно, что я вздрагиваю.

— Вот, — показываю ему свою продукцию.

— Сделай сегодня хоть сотню, — неожиданно просящим голосом говорит он, — горим с крепежом.

Я пожимаю плечами и спрашиваю:

— А сколько она стоит, сотня-то?

Его лицо проясняется.

— Слушай, солдат, повкальвай недельки две, пока машина твоя в ремонте, а мы тебе денежки оформим, а?

— Да я не потому, я просто так...

— И оформим! — горячится он. — Сотня — три рубля! — заявляет он гордо, будто называет баснословную сумму. — Да ты за две недели... Сотню! А?

— Посмотрим...

Червонец в день выколачивает Ванечка. Не густо для здешних краев. Не нужны мне такие заработки. Начнешь вкальвать, а они и ремонт затянут, знаем, нас не купишь. И я продолжаю в том же духе, поглядывая на часы. Но время тащится, как старая колымага на подъеме.

К Ивану пришаркивает дедуля с тележкой на колесиках. Он бережно перекладывает детали в тележку и пускается в обратный путь; но Ваня кивает в мою сторону, и дед обрадованно и суетливо спешит ко мне. У меня всего пять болтов, и деда ждет разочарование; но ничуть не бывало: дед так же аккуратно укладывает мою продукцию. Через полчаса он появляется опять и мнетя перед моим ящиком, в котором сиротливо лежат два болта.

— Штоим мы, мила-ай, — наконец жалобно шамкает он, — кон-вер штоит. Я подожду, мне велено беш полшотни не вертатись.

Дед присаживается на свою тележку и затихает, помаргивая. В его седеньких и жиденьких спутанных волосах расплзлись две черные капли машинного масла.

Эх, дед, дед! Шел бы ты к бабке на печку или грелся б на солнышке, а ты, видно, внукам на «Жигули» зарабатываешь. «Мы, видите ли, стоим»... А может, ты, дед, с плана зарабатываешь? Может, не по своей воле гнешь ты спину на краю жизни и нет у тебя ни бабки, ни печки? Похоже на то, дед, если судить по твоим холстомеровским глазам. Что же делать с тобой? Сидит смиренный, не велено, говорит, вертаться...

— Сейчас, дед, погоди немного. — И я «откручиваю все форсунки». Р-раз! — пруток зажат, два! — первый проход, три! — второй проход, четыре! — фаска есть, пять! — плашка пошла, шесть! — резьба готова, семь! — отрезанный горячий болт звенит о поддон. Первый готов!

Второй готов, третий...

А если в один проход всю стружку снимать? Ну-ка: четвертый, пятый... Хр-р — резец вдребезги, не годится.

На замену резца и на его отцентровку теряю минут десять.

Шестой... Девятый...

С фаской морока: отведи резец, поверни резцедержатель, подведи другой, опять отведи и опять поверни! Напильник бы крупный, к кромке прижал, жжик — и готово. В ящике я нахожу напильник и с успехом заменяю им резец.

Двенадцатый... Пятнадцатый... Сидит дедуля, ерзает, видит, что для него стараются. А я, похоже, в мыле. Семнадцатый...

Стоп! Гениальная идея! Та-а-ак... Зажимаем с одной стороны сразу два резца — проходной слева, отрезной справа и ближе к прутку. Расстояние между ними делаем равным длине прохода. Лимб теперь не нужен: уперся торец болта в отрезной резец — гаси самоход, это раз. И два — никаких подводов, отводов, поворотов резцов, крутнул ручку одну, крутнул вторую — проточил и отрезал. Попробуем.

Двадцатый — отлично! Тридцатый... Сороковой!

— Ф-фу! — грохаюсь я рядом с дедом на тележку. — Тащи, дедуля! И больше не приходи.

— Я ж разва ж виноватый? — Дед улыбается пустым ртом, и мне эта улыбка нужнее любого рубля. Может, и мой папаня у кого-то что-то просит?..

Ба! — смотрю на часы. Уже обед! Сколько ж я вкалывал? Полтора часа... Сто секунд штука, дольше, чем у Вани. Почему?

Я подхожу к нему, а он закончил, сметает стружку. Но напильника я у него не вижу и два резца рядом не торчат. В чем же дело? В чем, в чем, хорош гусь — два часа работаю и хочу кадрового обставить. Так не бывает. А обставить можно...

После обеда я минут пять наблюдаю за Иваном уже как следует и вижу, что он выигрывает на движениях, по времени обработки проигрывает. Не глядя он ловит ручки, крутит их так, что рук не видеть, движения резкие, отточенные.

Я сосредоточиваюсь, к концу дня у меня на счету двести пятьдесят штук, по семьдесят пять секунд на штуку!

— Да ты настоящий токарь, ты отличный токарь, переходи ко мне. — Матвей Ильич выглядит так, будто получил премию.

Я быстренько снимаю второй резец и прячу напильник.

— Завтра рекорд буду ставить, — говорю я, вытирая руки и улыбаясь на всякий случай. — Четыреста сделаю.

— Иван, ты слышишь, новичок завтра тебе нос утирать будет! — громогласно объявляет Матвей Ильич. — А ты токарем не работал? — понижает он голос.

— Пускай себе вначале утрет. — Иван смотрит на меня так, что я вижу: он трупом ляжет. Да и не придает он мне серьезного значения.

Весь вечер на койке заводской общаги я соображаю — чего бы еще придумать, чтоб Ванюшу наверняка обскакать?

Наутро я прихожу пораньше и, кроме всего, что было, выгибаю из жести желобок и пристраиваю его под патроном. Теперь не надо нагибаться с каждым болтом, он сам как миленький скатится в ящик. Две секунды на каждом... это десять лишних деталей за смену. Подбираю пучок самых длинных прутков-заготовок, аккуратно укладываю их у станка — не бегать за каждым через проход. Придирчиво рассматриваю резцы — вроде заточены.

Приходит Иван, меня он вроде бы и не видит. Без трех минут восемь, но ждать немоготу. А черт с ним, поехали! Иван демонстративно курит, усмехается, фору дает. Ну, погоди! — вскипает во мне злость, — прокуришься!

Я не вижу никого и ничего, кроме вращающегося прутка и резцов, сломайся один, и я могу упасть в обморок — такой я злой. Я собран и внимателен до предела, я знаю, что спешка может все испортить. Вначале я считаю детали, но скоро сбиваюсь. Ладно, потом посчитаем. Мой желобок забивает стружка, болты застревают и перемешиваются с ней, подвела рационализация. И я начинаю, как Иван, подхватывать их, отрезанные, жгущие, на лету и кидать не глядя в ящик. Не сразу, но получается, только ладонь у меня не такая дубовая и понемногу краснеет.

Рубашка моя уже давно липнет к телу, правый рукав, которым я вытираю лицо, хоть выжимай, спина постанывает. Я начинаю чувствовать время чуть ли не кожей, я до полсекунды могу определить, насколько быстрее или медленнее получится у меня следующий болт. Появляется дед, и я кричу ему: «Считай!» Дед послушно кивает и шевелит губами.

Невыносимо хочется курить. Пруток закончу — покурю, решаю я. Пруток закончен, но я смотрю на Ивана — он тоже еще не курил, — и мне жалко времени на то, чтоб достать сигарету и чиркнуть спичкой, еще один пруток, и покурю, думаю я. Но я делаю еще, и еще, и еще, и желание курить то притупляется, то вспыхивает сильнее, но нет у меня сил остановить станок!

Вдруг патрон останавливается, резец застывает в металле, я поднимаю голову к потемневшему потолку и не сразу соображаю, что уже двенадцать — обед — и что электричество поэтому вырубил. Я опускаюсь на ящик и закуриваю с таким наслаждением, с каким не курил никогда в жизни!

После обеда работать тяжело. Так тяжело, что хочется бросить все к чертовой матери, но я хитрю с самим собой: пруток сделаю и брошу... Еще пруток, и еще, еще, еще... Тяжесть проходит, работает спорно, я успеваю и закурить, пока станок на самоходе, и на Ваню взглянуть, и подмигнуть деду. И смена проходит быстро, как приключенческий фильм.

— Сколько? — волнуясь спрашиваю я у деда.

— Вошемьшот шорок девять! — рапортует тот.

— Моих сколько?

Дед растерянно моргает и молчит.

— Да ты что, дед, забыл, что ли?

— А я общо шшитал. — И он не чувствует себя виноватым.

— Ну, дед! — Я сажусь и закуриваю, и чувствую, что будь я лет на пять помоложе, я бы сейчас расплакался.

Подходит Ваня и Матвей Ильич, и еще кто-то, и все что-то говорят, но слышу я только голос Вани.

— Вот оно что... — Он рассматривает станок. — Напильник для фаски?

Я киваю. Иван молча жмет мою руку, и мне вдруг сразу становится хорошо. Досада на деда исчезает. Наоборот — я благодарен ему за то, что не получилось публично посрамить Ваню, хорошего парня. А он довольно громко говорит Матвею Ильичу:

- Ты запиши ему четыреста пятьдесят... Я свои считал.
- Нет, только поровну! — вскакиваю я.

На другой день мы с Иваном делаем разные детали, но мы уже друзья. Он поднесет пальцы к губам, и я киваю: пойдем покурим. Я похлопаю по животу, он улыбается: айда на обед. Там, в заводской столовке, я неожиданно встречаю Иру.

- Ты что не приходил? — спрашивает она. — А я ждала.
- Да так, не получилось.

В платочке и в синем халатике она выглядит проще и симпатичнее.

- Сегодня тоже не получится?

Не понимаю женской логики: я думал, что она меня на порог после того не пустит, а она — ждала!

- Ты не сердись на меня?
- За что?
- Ты... прости меня.
- За что?!

Ее удивление кажется мне сначала настолько искренним, что я теряюсь и краснею, но тут же вижу колышющееся в ее глазах презрение. Видимо, тот, другой Саша ей нравился больше. Я еще раз смотрю в ненавидящие меня глаза и понимаю, что тогда игрался спектакль. А я-то страдал, что обидел девочку! Хочется сказать что-то злое, резкое, но слов нет, внутри пустота и отвращение к самому себе.

А на следующий день в цехе появляется Михал Титыч и направляется прямо ко мне.

— Завязывай, Сашок. Идем машину получать, как обещал. Какую хочешь?

- «Сто тридцатый», — твердо говорю я, еще не веря.

— Именно его. — Титыч улыбается добро, как должен улыбаться отец, и мне хочется пройтись между станками колесом.

- В хорошие руки машину отдаешь, — говорит Матвей Ильич.

Я жму лапы ему, Ивану, ребятам, хлопаю ладонью по теплomu еще патрону своего работяги и бегу в раздевалку.

Третий час кружим мы по степи, третий час до мельтешения в глазах всматриваемся в горизонт, и каждую секунду уже третий час я жду над ухом внезапного, как выстрел, торжествующего крика: «Сайга!», но третий час тихо в степи: жужжит мотор моего «сто тридцатого», побрякивает бортами кузов, похрустывает под баллонами растрескавшийся солонцовый наст; остыло солнце, опустилось к горизонту, а ветер, неразлучный со степью ветер, наметал на небесах такую облачную красотищу, что невозможно от нее оторвать глаз. Я выкручиваю шею, пытаюсь охватить взглядом эти колоссальные громадины, разглядеть их клубящиеся глубины. запомнить эти фантастические, ежеминутно меняющиеся формы и оттенки. С какой неземной палитры сошли они?

- Заметил что? — внимательно смотрит на меня Титыч.
- Нет... показалось, — откидываюсь на спинку.
- Смотри крепче... Машину тоже смотри...

Почему смотреть машину, мне не ясно, но я все же оглядываю розовый горизонт новыми глазами — пусто — и незаметно кошусь на Михал Титыча. Он сидит в телогрейке, ватных брюках поверх кирзовых сбитых сапог, ушанке — ночи в степи холодные, — упрятав в коленях карабин с облупленным прикладом, и, кажется, спит. Но солнце вдруг сверкает в щелях его набрякших век, и я вижу прозрачные зрачки, цепкие и внимательные.

— Остановись-ка, — неожиданно приказывает Титыч, — помозговать надо, бензин палить немудрено дело.

В кузове у меня сидят трое. Они подходят к заднему борту и друж-

но увлажняют колею. Потом рассаживаются на корточках вокруг Титыча. Титыч, сидя на подножке, раскладывает на коленях самодельную карту, непонятно разрисованную цветными карандашами.

— Давайте думать, — говорит он. — По всему видать — сайга еще не пошла, искать надо.

— Ясно дело, не пошла, — уверенно, как о давно известном факте, говорит Киблицкий. — Пошла бы — так хоть палкой ее бей. Я говорил, не надо ехать.

— Сейчас мы вот где, — не обращает на него внимания Почка, — дальше на север смысла нет забираться. Если и есть там что, не возьмешь — степи колдобистые... А не махнуть ли нам через саксаульники к Ташкентскому тракту?..

— На большой такыр? — не глядя в карту, равнодушно спрашивает Киблицкий. — Не пророх он еще.

— Высох как миленький, — убежденно вмешивается Илья Егорович Решетняк, добродушный полный дядька, наш кладовщик. — У меня колодец на солонце стоит, и уж который год примечаю: как корка на нем схватится — стало быть, и такыр подсох.

На Решетняка залюбуешься — настоящий охотник. Сапоги белого войлока, кожей расшитые, в таких не по степям бегать, а в ансамбле плясать; через пузо огромный патронташ гильзами блесит, да не какими-нибудь картонными, как у всех, а латунными, и не черным пороком они — «сколомом» набиты. Ружье — игрушка, вертикалочка, а не курковка с третьими уж стволами, как у Кольки. Лицо чистое, румяное, говор мягкий, украинский. Ему бы ягдташ на пояс, тирольку вместо ушанки — и вылитый тургеневский помещик, охотой развлекающийся.

Третий — Колька Квасюк. Он помалкивает, слушает стариков, заминает. Очень уж Колька до охоты жадный. Мне-то на нее наплевать, Титыч и сам мог бы за руль сесть, но машина должна одни руки знать, сам он это мне сказал.

— Крути обратно, — приказывает Титыч. — До тракта и направо.

— А где этот тракт-то?

— Да мы ж переезжали его.

Я пожимаю плечами.

— Степь помнить надо, — наставительно, но без упрека говорит он. — В степи заплутать, что плюнуть.

— Тут и запоминать-то нечего, плоско везде, а заблудишься — езжай по какой-нибудь дороге, куда-нибудь да выедешь, бака на триста верст хватит.

— В степях наших и тыщу верст прокружишься и сгинешь, и знать не будешь, что до людей много раз рукой подать было...

— Как так, видно ж далеко?

— Узнаешь еще.

Вот он — Ташкентский тракт. Широкая укатанная колея. Ни насыпи, ни покрытия, ни километровых столбов. Только красная пыль на окрестных колючках, да кое-где по обочинам обуглившиеся шины. Отойди на двадцать метров — не увидишь дороги.

Что за прорва эти степи! Кажется, можно ехать по ним всю жизнь — без конца они, без края! И все та же будет потряхивать колеса колея, дымящаяся солонцовая пыль, та же пожухлая травка, камни или телеграфные столбы будут мелькать по обочинам, тот же горизонт, бугрящийся сопками, будет висеть в раскаленном воздухе и колебаться, словно мираж. Изредка, будто подарок, явится на макушке столба орел, — сомлевший от жары, с пленочными глазами, но тем не менее зоркий и недремлющий. Ну а повезет — спугнешь стадо сайгаков, прыснут они прочь от дороги, неуловимые желтые стрелы, обозначая свой бег над степью светлыми бурунчиками пыли, — и опять ничего.

Прокатились мы напрасно, чует мое сердце. А я ведь никогда не видел вблизи сайгака.

Неожиданно тряска прекращается, мы выскакиваем на такыр.

Ранней весной тают снега в степи и илистая вода скапливается в низинах. Скоро она высыхает под мощным казахстанским солнцем, обнажается ровное, как аэродром, дно, высыхает и растрескивается. Только мотор и ветер слышишь, когда едешь по такыру, рессора не скрипнет. Кажется, поставь стакан на капот — не шелохнется в нем вода.

— Направо руль, и газу, — командует Титыч. — Так. А теперь краешком вокруг объедем, километров тридцать тут. Ребята, гляньте, след неглубокий? — кричит он, высунувшись в окно.

— Нет следа, твердо, высох такыр! — захлебываясь встречным ветром, кричит Колька.

Он один неутомимо осматривает горизонты, сильно щуря слезящиеся глаза. Кибицкий и Решетняк давно задрали воротники и сидят спиной к ветру.

Между тем солнце опускается все ниже и дневная жара спадает. Остается полбака бензина...

— Сайга... — произносит вдруг Титыч и выпрямляется.

Тотчас слышен крик Кольки, сорванный, визгливый, и одновременно удар по крыше:

— Ребята, сай-га-а!!!

Кузов оживает грохотом каблуков и прикладов.

— Тише, мать вашу... — высовывается Титыч, — она вас за десять верст чует.

Я смотрю туда же, куда и он, но ничего не вижу.

— Лево пошел... еще левее... так.

Титыч спокоен и устремлен вперед, он весь в глазах, а они где-то там, на горизонте, только правая рука его медленно лезет за пазуху и появляется оттуда, ошетилившись блестящей обоймой. Патроны острые, как жала, и нацелены они туда же, куда и глаза Титыча. И я наконец вижу живую желтую цепочку на фоне расплавленного закатного неба.

— Прибавь... — пропихивает сквозь зубы завгар.

Я вжимаю педаль газа в пол и перестаю ее чувствовать, но все равно давлю все сильнее и сильнее. Трое в кузове держатся за передний борт и согнулись, как жокеи.

А рука завгара продолжает движение. Она ползет с обоймой вниз, вдоль ствола; клацает затвор, открывая пустую черную щель; пощелкивая, патроны один за другим исчезают в ней и наполняют ее до краев.

Клац — и патрон в стволе, а палец тербит флажок предохранителя. А сайгаки уже недалеко. Их десятка полтора. Я хорошо вижу их тонконогие фигурки, застывшие словно в удивлении, и рогач, самый крупный из них, нерешительно топчется. Самки сбиваются вокруг него, косятся в нашу сторону. Наконец рогач принимает решение и устремляется к ближайшим холмам, стадо за ним вытягивается в цепочку.

— Отсекай! — кричит Титыч. — От холмов отсекай, там не возьмем, уйдут!

Я беру руль вправо, наперерез, но он хватает баранку и еще круче заворачивает ее. Это уж последнее дело — хвататься за руль, но, взглянув на Титыча, я заглатываю все свои слова. Мы мчимся к кромке такыра, мы сближаемся со стадом, которое бежит туда же, но где пересекутся наши пути — до нее или за ней? Но скорость наша больше, и я уже вижу эту точку и понимаю, что путь сайгакам отрезан. А они бегут, бегут, упрямо надеясь на ноги. Какая же у них скорость, если у меня сто десять? Титыч хватается за поручень. Хотя до сайгаков метров сто, он не может стрелять на левую сторону. Прямо над моим ухом оглушительно раскалывается воздух. Еще раз! Еще! Куски пыжей стучат по лобовому стеклу, но попаданий не видно.

Вдруг рогач резко прыгает в сторону, стадо в каких-нибудь десяти метрах от машины разворачивается и бросается вспять. А в кузове стволы разряжены, звенят пустые гильзы, шелкают курки, но поздно:

наш радиус поворота гораздо больше, и Титыч успевает прорычать обо всех матерях, пока я опять вдавливаю акселератор в пол. А сайгаки мелькают уже далеко. Но под моим капотом сто пятьдесят «лошадей» — целый табун несется за десятком обезумевших от страха сайгаков, и уйти от него не просто. Мы настигаем их опять, и я отчетливо вижу вытянутые в струнку спины, пригнутые головы, размытые бешеным темпом ноги.

— Заходи слева! — приказывает Титыч.

Он высовывается по пояс в окно и замирает, прильнув к карабину, только полощутся на ветру его седые космы. Мы равняемся с крупной самкой, она последняя в цепочке, и похоже, что Титыч метит именно в нее.

Бах! Тело завгара дергается, позади самки вспыхивает пыльное облако, и пуля с капризным злым воем рикошетит в небо. Бах! Бах! Еще два облачка перед самой мордой сайгачихи, но так же стремителен и прямолинеен ее бег. Бах! Самка хрюпается оземь, летит кубарем, ломая кости, и пылит метров двадцать на спине, судорожно дергая ногами. Я сбрасываю газ...

— Вперед! — рычит Титыч.

Я не узнаю его. Какой бес вселился в степенного кряжистого мужика? Движения его молниеносны, под щетинистыми щеками желваки затянулись в тугие узлы, побелевшие ноздри подрагивают, а от глаз его становится страшно.

С большим запасом скорости я догоняю усталое стадо. В кабине, с обоих бортов гремят выстрелы, звенят гильзы, летят клочья пыжей, картечь щелкает по земле, разлетаются в брызги камни от карабинных пуль, и падают один за другим сайгаки. Цепочки уже нет: животные мечутся, взмывают свечой в воздух, останавливаются перед летящей машиной, и я каждый раз, помимо своей воли и несмотря на ругань Титыча, ухожу от столкновения.

— ...такую охоту! — бесится завгар, лихорадочно заталкивая новую обойму, режет меня взглядом и мажет раз за разом по виляющему перед капотом одинокому жожаку. Наконец без видимой причины тот останавливается, ноги его, дрогнув, подгибаются, и он покорно ложится, не опуская головы с лирообразными просвечивающими на солнце рогами, и нет страха в его телячьих глазах!

— Стоп!

Охотники спрыгивают на землю, спокойно подходят к нему и закуривают. Мне страшно идти туда, потому что там сейчас будут убивать; в детстве я видел, как убивают кролика, и плакал, забившись под кровать от его пронзительных криков. Но спрятаться в кабине невозможно, к тому же мне хочется посмотреть на сайгака вблизи, может быть, даже погладить его.

Решетняк с опаской трогает полуметровые рога и прищелкивает языком. Титыч с ненавистью смотрит поверх меня, потом на сайгака, косящего влажным черным глазом, хрипло вскрикивает: «Две обоймы... падла!» и вдруг бьет с размаху сапогом по горбоносой голове. Сайгак вскакивает, но тут же падает под тяжестью Кибицкого, навалившегося сверху. Кибицкий, ухватив за рога, прижимает рогача к земле. Колька выдергивает из-за голенища плоский синеватый нож и двумя движениями перерезает напряженное сайгачье горло. Кровь бьет струей, брызжет на сапоги, разбегается пыльными черными шариками по земле. Тонкие ноги дергаются в конвульсиях, разбрасывая камешки, предсмертный хрип удивительно громок и долгов, но постепенно затихает.

Колька, раздвинув сайгаку задние ноги, отрезает что-то, брезгливо отбрасывает в сторону, вспарывает брюхо, вываливая из него навозную жижу, дымящиеся и, кажется, еще пульсирующие внутренности, засучив рукава, залезает внутрь по локоть, прокалывает диафрагму; потом сайгака растягивают за ноги, трясая и сливая кровь, а он еще живет —

я вижу это по глазам, и тело его подрагивает. Затем его волокут к заднему борту и, трижды размахнувшись, тяжело забрасывают в кузов.

Кибичий с Колькой моют руки, поливая друг другу из фляги, Решетняк сортирует патроны, Титыч мрачно курит, сидя на подножке, а меня вдруг начинает рвать.

Мои наспех разжеванные утренние котлеты, макароны, что-то еще перемешиваются с едой сайгачьей, с кровью, с кишками. От этого зрелища мне еще хуже, и я стою, согнувшись, до пустых спазм.

Все удивленно переглядываются, а Титыч отводит меня в сторонку, сует флягу и успокаивает, похлопывая по плечу:

— Ну, ну, ерунда, так бывает. Попей водички.

— С этим все ясно. — Кибичий отшвыривает папиросу.

— Ничего еще не ясно, — подсаживает меня завгар в кабину, — отдохни-ка, посиди. — И отойдя, о чем-то вполголоса переговаривается с Кибичиком. Тот слушает, потом молча кивает головой и мельком взглядывает на меня.

— Поехали.

Титыч садится за руль, мы разворачиваемся и едем по своим едва заметным следам. К остальным сайгакам Титыч подает задом, и я, сидя в кабине, слышу только шлепки падающих в кузов тел и чувствую подрагивание машины.

— Интеллигенция!.. — доносится до меня голос Кибичьего. — А жрать — так не интеллигенция.

Я вспоминаю, что частенько в нашей столовой подают сайгачину и она нравится мне, но я никогда не связывал ее появление с Колькой, приходящим под утро, с его ружьем, с бурьми пятнами на его запыленных сапогах, брюках, с запахом, который приносил он и которым пахли иногда машины. Теперь я знаю — это запах крови.

Мы с Титычем едем и молчим, наверное, он меня презирает. Нет, я слишком мелко плаваю, чтобы Титыч презирал меня, наверное, он просто смеется надо мной. Или не понимает, как не понимал меня солдат, застигнутый мною у топки котельной. Старшина приказал ему утопить шенят, и он недоуменно смотрел на меня, потряхивая пустым уже мешком: «Яка ж разница, товарищу сержант?» А действительно — какая? Там секунды и здесь секунды...

Мне хочется нарушить тягостное молчание в кабине, но я не могу преодолеть отвращение к Титычу, когда вспоминаю хрясткий удар сапога по незащитной голове и замутненные бешенством завгаровские глаза. Я чувствую страх перед таким Титычем, перед неведомой мне глубиной его жестокости, которую сегодня я видел, а завтра, вполне возможно, испытаю на себе.

Сумерки быстро превращаются в ночь. Степь остывает, и в восходящем от нее токе теплого воздуха колеблются и мигают только что народившиеся звезды.

— Луны нет, это хорошо, — подает голос Титыч, — луна первый враг охоты.

Он вроде бы успокоился, в его голосе я не чувствую осуждения — словно ничего не случилось.

«А второй какой?» — ждет он моего вопроса, но я не могу перебороть себя и молчу, и молчание это уже явно осуждающее.

— А второй, парень, враг — охотинспекция.

— А лицензии разве у вас нет? — Мое изумление ломает все барьеры неприязни.

— Нет, — как-то весело отвечает он и в упор, внимательно смотрит на меня.

Вот она, настоящая-то проверка! — понимаю я этот взгляд. Не на нюни столбичные — на страх. Изю всей силы я сгоняю растерянность с лица, пока Титыч не отворачивается к дороге. Я прекрасно знаю, что ждет каждого после встречи с охотинспекцией. Так они еще и браконьеры! Мы, тут же поправляюсь я Нет, все-таки они, я же не убивал.

Что дурачком прикидываешься? Разве ты не знаешь, что тот, кто стоит на стреме, кто подает нож, тоже преступник? Знаю. Значит — мы.

Я внимательно оглядываю ночную темноту.

— Не бойся, — подводит он итог. — Со мной не бойся.

Ясно, что на охоту меня больше не возьмут. Ну и пусть. Что в ней хорошего — носиться всю ночь по степи, по уши в кровище, рискуя сломать себе шею или угодить в тюрьму?

— Ты вот почти в городе живешь, — укоризненно говорит Титыч, — в столице. Что захотел — купил. А к нам привезли местные деятели прошлый месяц тонну свинины, так мы чуть не половину сразу выбросили — порченная, а остальное, что не съели, — вчера, холодильником наш еле дышит. А у каждого семья, не то что ты — гуляй-ветер... Долго ли твоему газону капиталку делали?

— Неделю.

— А хорошо ли сделали?

— Как новенький.

— То-то. Это тоже сайга... Да если б только это... — усмехается он. — Так-то, Саня... Не все нынче клюют то, что им посыпано... Ну что там со светом? — высовывается Титыч в окошко.

— Сейчас наладим.

Спустя минуту в кузове вспыхивает ослепительный свет, конусом ложится на дорогу, обочины, и они белы, как днем. Конус дрожит, прыгает, но постепенно сужается и наконец превращается в голубой узкий столб, бегущий, кажется, по самому горизонту. Потом он гаснет на минуту — свет фар кажется желтым и хилым, — опять зажигается и упрямо обшаривает степь. Мы крутим головами вслед за ним.

— Грамотно фарит Николай, — довольно произносит Титыч и, помолчав, продолжает: — Беда сайгачья — глаза его. Корсак, волк иль заяц, те глаза прячут, а сайгак глуп.

Луч бегаёт, выхватывая из темноты то могильник, то валун, задерживается на мгновение и гаснет. Но в последнюю секунду я успеваю заметить зеленый огонек справа, почти сзади.

«Там!» — чуть не кричу я, но что-то мне мешает, и я лишь вздрагиваю.

Но Титыча не проведешь.

— Коля! — кричит он в кузов. — Светани-ка вправо!

Луч медленно ползет по правой стороне и замирает, дрожа, пересеченный изумрудной цепочкой огоньков.

— Сайга!

Титыч резко взглядывает на меня, крутит руль, выезжает на тряскую степь и гасит фары. Колька тоже выключает прожектор.

Мы едем в полной черноте, и на душе становится нехорошо: вдруг яма? На несколько секунд вспыхивает прожектор, проходит перед машиной, по глазам-огонькам, ставшим крупнее, гаснет. Еще пару раз освещает Колька дорогу, и наконец стадо совсем рядом. Титыч останавливается, слышит движок и перемахивает с карабином в кузов, откуда тотчас спрыгивают Кибицкий и Решетняк и исчезают в темноте. Луч уже не гаснет, носится по стаду из конца в конец, и оно, ослепленное, стоит. Титыч замирает как изваяние в кузове с карабином, но не стреляет. Вожак хорошо виден — он будто прислушивается к чему-то. Тишина такая, что я слышу топот и прерывистое дыхание бегущего в темноте Решетняка, — Кибицкий тих, как пантера, рогац тоже слышит, начинает беспокоиться и наконец устремляется вправо. Тотчас грохочет карабин Титыча, пуля с воем вспарывает перед ним землю, и он останавливается. Останавливается и стадо. Желтые вспышки, а затем ружейные хлопки обозначают в темноте Решетняка и Кибицкого. Они по обе стороны от луча и ведут огонь в упор. Проходит несколько секунд, но стадо стоит, только мечутся внутри его белые фигуры, падая почти после каждой вспышки.

— Запоминай! — кричит Титыч Кольке.

Рогач вдруг прыгает в сторону, раз, другой, длинно, красиво зависая в воздухе, и исчезает. Свет прыгает за ним, настагает, выхватывая Кибицкого. «Стреляй!» — слышу я его вопль. Плюется гильзами карабин Титыча, но сайгак уже далеко, и пули ложатся сзади или, шипя, уходят в черноту.

— Ушел!..

Титыч прыгает за руль.

— Бегом, ребята! — кричит он в темноту и потихоньку едет вперед.

Откуда-то на подножки выныривают взмыленные Кибицкий и Решетняк.

Минут десять вслепую мы едем в гору, переезжаем несколько крупных камней на вершине, и начинается спуск. Вспыхивает луч, а в нем — море зеленых огней! Титыч охает. Сайгаки, напуганные стрельбой, устремляются в бег. Спуск кончился, и на наше счастье под колесами ровная степь.

— В гон возьмем! — кричит Титыч в кузов, прибавляя газ. Оборачивается ко мне. — Ну, солдат, покажи, чему учили. Обращаться умеешь? — кивает он на карабин.

Поняв смысл его слов, я не размышляю ни секунды — у меня ведь первый разряд по стрельбе! Передергиваю затвор, спускаю предохранитель и ловлю на мушку ближе прыгающее пятно.

— Рано! — орет Титыч, но я не слышу, я прикидываю дистанцию и упреждение. Пятно прыгает, карабин скачет, но мне удается поймать мгновение...

— Рано! — слышу я, но плавно нажимаю курок.

Удар в плечо — и сайгак скрывается в облаке пыли.

— Молодчина! — кричит Титыч в ухо.

Следующее пятно — Титыч молчит, удар, и еще один летит кубарем.

— Ну, Санька! — не находит Титыч слов.

Три патрона — три сайгака, да еще с гону! Долго будут говорить о такой стрельбе в поселке, и я, как супермен, почти не целясь, нажимаю курок в четвертый раз. Мимо! Пятый, шестой — все мимо! Я даже не вижу следов пуль, может быть, они идут выше. Я заставляю себя остановиться, когда в обойме остается последний патрон. Сосредоточиваюсь, понимая, что триумф мой под угрозой, долго ловлю момент... — удар! — и торжествующий вопль: сразу двух бегущих рядом сайгаков нанизывает моя пуля!

В эти мгновения, растянутые погоней, я успеваю почувствовать все — и азарт, и гордость, и нетерпение: еще! еще!! еще!!! Но оживают ружья, и выбранные мной мишени падают от чужих пуль. В кузове перезаряжаются, и наступает моя очередь.

Какой рогач! Какой великолепный самец бежит в луче прожектора крупными грациозными прыжками, не тот ли, ушедший от Титыча? Я перезаряжаю обойму...

— Саша! — стонет Титыч.

Рогач матерый — оглядывается, прыгает в стороны, остальные сайгаки не выдерживают такой темп и рассеиваются в темноте. Грохочут ружья, но только заряды Решетняка могут достать цель, а Решетняк все мажет и мажет! Мажу и я, тряска невообразимая, рогач завел нас в ухабы, еще несколько секунд, и он уйдет.

— Есть! — кричит кто-то.

С сайгачьей спины, вырванные картечью, летят клочья шерсти, выступает кровь, бег животного замедляется. Нам так хочется, чтобы он упал, мы так неистовы, так сумасшедши, словно этот сайгак нужен нам, как воздух, словно жизнь наша заключена в его смерти. Пора стрелять, но выстрелов больше не слышно.

— ...патроны... — сгибается под ветром Кибицкий, — кончились!

— Саша, Саша... — раскачивается за рулем Титыч, — Са-а-ша!

Я стреляю, надеясь на чудо, стреляю, ударяясь головой о крышу и не чувствую боли: мимо, мимо, мимо.

— Есть!

Сайгак спотыкается, задняя правая нога его перебита и болтается на лоскуте кожи, но мы рано радуемся: он бежит. Бежит медленно, тяжело, но мы бессильны, а спасение его близко — каменные валуны всего метрах в трехстах. Я нажимаю курок, но выстрела нет, я жму еще и еще — осечка? Но взглянув на карабин, я вижу пустую щель магазина...

— Саша, штык! — хрипит Титыч, и глаза его безумны.

Лихорадочными руками я примыкаю плоский штык и вылезаю на подножку. Сзади в меня вцепляются чьи-то руки, все ближе, ближе спина сайгака, вот она мелькает в темноте прямо подо мною, и я дважды всаживаю штык в извивающийся хребет. Я не чувствую никакого тела, никакого сопротивления, словно я колю воздух, и когда рогац, пробежав немного, падает и машина останавливается, я подношу карабин к фарам: дуло и даже мушка забиты окровавленной шерстью...

— Ах, Сашка, ах, подлец, ну не ожидал! — орудует ножом Кибицкий, а Михаил Титыч, широко подавая руку, крепко жмет мою.

Ноги мои подгибаются, словно это я убежал несколько километров от смерти, руки трясутся, я отбрасываю карабин и с наслаждением плюхаюсь на землю — уф!

— Колька, дай закурить.

Решетняк встряхивает пачкой «Столичных» и шелкает зажигалкой.

На обратном пути мы подбираем девять сайгаков.

Ночью меня не мучат кошмары. Мне не снятся несчастные сайгаки, и я не просыпаюсь в липком поту, схваченный охотинспекцией. Я сплю, как навкальвавшийся человек, как работяга.

Я просыпаюсь долго, тяжело, нехотя, как просыпаются после несчастья или крепкой пьянки. Как ни долго, но все же просыпаюсь, потягиваюсь и вскрикиваю от одновременной боли всех мышц. Что я, вагоны разгружал, что ли?

Охота... Я закрываю глаза и вижу куски из этой нереальной ночи, ночи погонь, ночи своего триумфа и своего позора. Вижу крупным планом, как в кино: перебитую сайгачью ногу, болтающуюся на полоске шкуры, удар сапога, пыльные капельки черной крови, разбегающиеся по земле. Я слышу перепалку ружей, злой, капризный визг карабинных пуль, стук пыжей по лобовому стеклу, вспоминаю запах пороха и крови, запах горячих внутренностей, горький запах раскатанной колесами пыли. Я вспоминаю крепкую отдачу карабина и повожу ноющим плечом, вспоминаю его тяжесть в вытянутой руке и забитое дуло...

И вдруг до меня доходит, что впервые в жизни я стрелял по живому! Я убивал.

Однажды на учебных стрельбах мне пришла в голову мысль: что бы я чувствовал, если б на мушке сидело не черное пятно мишени, а шевелилось живое, тогда я подумал — человеческое тело? И я ничего не смог ответить себе. А что я чувствовал вчера? Азарт. Абсолютный, всепоглощающий азарт. И жалость, боль перед жертвой. Да и то вначале. Значит, убивать привыкают?

Но сайгаки мне милы и симпатичны, а я жалостливый, не жестокий, я точно знаю. Куда же теперь отнести того несчастного кролика, от криков которого я чуть не сошел с ума? Неужели в азарте способны утонуть и человечность, и жалость, и брезгливость, и страх перед законом? Значит, да. А может, все это нужно и необходимо? Может, это и есть взросление, мужание? Ведь не один же Титыч с компанией

разъезжает по степям, и недаром, видимо, смеялись надо мной деревенские парни, обдиравшие кролика? А вдруг я себя не знаю?

А Титыч жестокий? А Решетняк? А Кибичский? Колька? Нет, нет и нет! Они же нормальные отзывчивые люди! Почему же на охоте они другие? Разве может быть такая раздвоенность? А не похожа ли она на раздвоенность фрицев, хранивших умильные семейные фотографии? Эх, куда хватил! Да каждый из этих мужиков не дрогнув придавит любого фрица!

А что такое вообще — жестокость? Шенков в топке жечь жестоко? А топить — гуманно? Сайгу вот так бить — жестоко? А по лицензии, почти так же?..

Я окончательно запутываюсь, но совесть моя явно потяжелела, ей не нужны теоретические выкладки. Балдахин колышется, похоже, что Колька проснулся.

— Коль, а Коль!

— Чего?

— Ты не спишь?

— Сплю.

— Ну тогда спи.

— Чего тебе?

— Коль, а браконьерствовать нехорошо.

— Да ну?

— Слушай, я серьезно. Ты вот сознательный, Надю бережешь, а народное богатство грабишь, тебя совесть не мучит?

Колька откидывает полог и внимательно смотрит на меня. Он видит, что я не шучу и берет сигарету. Я вижу его курящим натошак первый раз.

— Мучила! — выкрикивает он со злобой. — Как и тебя сейчас! Но давно! Когда еще дураком был! А потом жизнь научила... — Споткнувшись на крике, видимо, поняв, что сейчас надо не так, он продолжает спокойно: — Знал я одного промысловика, из карабина полкирпича влет расшибал, был у него план на две тысячи штук. Так мы с ним за одну ночь полторы сотни взяли, понял? — вскакивает он на кровати. — Полторы сотни! Сколько же он за сезон стреляет?! А остальное влево! И за то и за другое — денежки. Ему можно, да? А помнишь, две «Волги» у нас торчали? — распалается Колька. — Высокое начальство, я с ними за ночь полстепи объездил. Пальба!.. — Он зажмуривает глаза. — А из машины черта с два выйдут, боятся ручки испачкать.

— Так у них небось разрешение..

— Бумажка? А карабин, а прожектор, а машина? Вы знаете, что такое браконьерские методы охоты? — паясничает он. — Им можно?..

Колька успокаивается и запускает струю дыма в потолок.

— А сколько я этого мяса в район перевозил! И кому! Не поверишь. — Помолчав, он добавляет философски: — Я чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что нынче без этого не проживешь, каждый химичит, где может. А о природе не волнуйся, мясо ж не закапывают, оно ж людям идет. Почитай, если грамотный.

Он вытаскивает из бумажника затертую газетную вырезку и подает мне. В заметке написано, что заготовительные хозяйства Казахстана при возможности ежегодного отстрела двести тысяч голов едва справляются с пятой частью этого количества. Судя по шрифту и бумаге газета была центральная.

— Успокоился?

Мне и вправду становится легче, гораздо легче.

— Все равно, закон-то есть?

— Закон писан когда? — добивает меня Колька. — Когда их по пальцам перечесть можно было! Потому и объявили сайгаков заповедными. А теперь на них с палкой охотиться можно, ты еще ход сайги не видел весной и осенью — тучи!

И от моих переживаний не остается и следа.

Сегодня воскресенье, а воскресенье здесь самый скучный день. Ну что тут делать? В лес не сбегаешь, рыбку не половишь, в футбол не поносишься. Повалешься до полдня в постели, прочитаешь прошлогодний журнал, походишь по комнатам, потреплешься, в картишки сгонишь, а повезет — и в шахматы, и весь вечер пролежишь, глядя в потолок и в который раз воображая картину возвращения «блудного сына»: какходишь в костюме, как щелкают никелированные замочки, как появляется пачка сиреневых... Сколько же там может быть? Если в месяц... четыреста, это уж точно, значит... Пятерка в день на еду, не больше, это сто пятьдесят в месяц, остается двести пятьдесят, их на книжку. Двести пятьдесят на двенадцать... три тысячи! Хорошо!..

Ну еще можно вларить по кислому пиву, а то и чему покрепче, погорланить, поматериться на площади у магазина, но меня это не привлекает. Можно пойти в забросанный окурками клуб и посмотреть там какую-нибудь муру, наверное, можно встретить там Алису, но тогда без знакомства со шпаной Верзила Фрэнка не обойтись. Да и одному с ними легко познакомиться. Достаточно пару раз отвести в сторону взгляд и тут же подкатится к тебе чумазый карапуз и запустит руку в карман. Ты его, естественно, шуганешь, и будь здоров — окружен: «Чего мальчика обижал? Извинись!», а то и сразу в морду.

Ну, а проберешься в зал, да еще не дай бог с девушкой — совсем пропал: гогот, свист, смачное щелканье и похабные комментарии в определенных местах, а ты либо молчи, позорься перед своей дамой, либо выступай — и опять мордобой.

Жаль здесь нет ребят из нашей части. Пяток человек, и был бы порядок, а что я один сделаю?

У Кольки проблемы свободного времени нет, ему дня не хватает: набивает патроны, заколачивает капсюли, картечь катает, чистит без конца свою берданку.

— Коль, хочешь я тебе помогу патроны заряжать?

— Нельзя, — отвечает он. — Порядочный охотник эти дела никому не доверяет. А у меня заряды особенные.

Прокантовавшись до обеда, я выхожу на улицу, просто так, куда глаза глядят. И ноги сами приносят меня к клубу. Но Алисы здесь нет. Зато Фрэнковская братия в сборе. Их семеро, в основном доармейская шелупонь, но двое моего возраста: сам Фрэнк и, видимо, его первый зам, костлявый парень в похабнейших черных очках, затянутый донельзя в польский джинсовый костюм с самодельными вышитыми ярлыками где только можно: «Super star», «Love me» и т. д. Он то и дело прищелкивает пальцами, сплевывает и ходит сутулясь, вихляя ногами, изображая супермена. Похоже, что он первый кандидат на освободившееся после Фрэнка место за решеткой. Сам Фрэнк сидит развалившись на скамеечке, в безупречных белых зубах его папироса, глаза прищурены, и потому он кажется отсюда даже красивым. Все остальные топчутся вокруг, тряся замусоленными клешами, курят и методически оплевывают землю в радиусе двух метров.

Какой-то гордый, самолюбивый человечек внутри меня мешает уйти отсюда. «Что, трусишь? — спрашивает он. — Сматываешься?» «Ни капли», — отвечаю я, усаживаюсь неподалеку и закуриваю.

Замечен. Рассматривают. Делаю по возможности независимый взгляд и спокойно кладу его на Фрэнка, затем на зама. Переговариваются, выясняют, наверное, кто такой. Что ж, это уже кое-что. Но «живца» все-таки запускают, вот он, идет, козявка, наглый, безнаказанный, воспитанный кодлой, которой все равно, что ты за человек, лишь бы не боксер и не самбист.

— Закурить есть?

— А тебе мамка разрешает?

Малый сбит с толку, но находится:

— Не твоя забота.

Он запускает грязные пальцы в пачку и выдергивает оттуда штук восемь сигарет, прежде чем я успеваю что-то сделать.

— Дурно не будет? — заботливо спрашиваю я, и тут парень обмишурируется.

— Не твоя забота, — повторяется он и топает к компании.

Им не надо рассказывать, они все слышали.

— Ну ты, поди сюда, — неожиданно визгливым голосом говорит «супермен» и ощеривается, отчего очки сползают на нос.

— А я тебе очень нужен?

— Очень, — радуется тот предстоящей забаве.

— Тогда подойдешь сам.

Все это говорю не я, а тот человек внутри меня, я же отчего-то сжимаюсь в комок, но это еще не страх.

Он удивленно вскидывает брови, так что они даже вылезают поверх очков, потом, усмехнувшись, идет ко мне. Остальные за ним, нехотя, со скучающими физиономиями. Фрэнк остается.

— Со свитой? На всякий случай? — понимающе киваю я и поднимаюсь. Что ж, нас на заставе тоже учили кой-чему.

«Супермен» делает знак, все останавливаются, а он подходит, но увидев, что я на полголовы выше, сразу не бьет, а начинает беседу.

— Ты не бойся, — ласково говорит он и смотрит мне куда-то в шею, — мы с тобой вдвоем разберемся, ребята на шухере постоят.

— Очки-тоними, разобьются, — спокойно предлагаю я ему и удивляюсь себе: я впервые в такой переделке.

Я вижу: он дрогнул от моей уверенности, которая должна быть чем-то подкреплена, и бить первым уже не будет. Но я ошибаюсь. Он несильно толкает меня в грудь, но я лечу на землю, потому что «козьявка» незаметно пробрался с тыла и встал за мной на четвереньки. Он бьет меня влет ногой, удара я не чувствую, вскакиваю прежде, чем кодла смыкается надо мной и стремглав лечу в сторону. За мной бегут, каблуком я выбиваю из низенького забора штaketину и, зажав ее, ошетинившуюся ржавыми гвоздями, поворачиваюсь им навстречу.

— Скоты!.. — шиплю я, дрожа от ненависти и прицеливаясь в голову ближайшего. — Семь на одного, да? Ногами, да? Ну!.. Кто первый?

Кодла тормозит, а со скамейки поднимается Верзила Фрэнк. Я оглядываюсь, ища, чем бы заслонить спину, и вижу Михал Титыча. Он быстро оценивает обстановку, становится рядом и говорит, весело потирая волосатые руки:

— Давай разомнемся маненько. — И добавляет Фрэнку: — Ты что, Федя, недосидел, что ли, иль понравилось там?

— А я отдыхаю, начальник, — смеется тот и машет веточкой, проходя мимо.

«Ребята» видят, что теперь пахнет настоящей дракой, а не забавой, и отходят. Конфликт исчерпан.

— Вовремя вы. — Я отряхиваю брюки.

— Да, — улыбается он, — как в кино. Чего они к тебе прицепились?

— Черт их знает.

— Держись подальше, народец подленький. А ты злой... Ну что, может, по пивку?

— Давайте.

И мы с Титычем идем пить пиво.

Мы выезжаем, когда спадает дневная жара: небо голубеет, остывающая, воздух не обжигает, разбавленный вечерней свежестью, а в оврагах, долинах высохших речек, он даже прохладен. Орлы парят над оживающей степью, дальние сопки обзавелись тенями и от этого ка-

жуются выше, значительней, из-за их вершин наползают на степь облачные громады.

Я сижу в уголке кузова своего «сто тридцатого», подпрыгиваю на сложенной вчетверо кошме, оберегаю от ударов Титычев карабин; Колька в другом углу сидит точно так же с двустволкой — спиной к ветру, задрав воротник; за рулем Кибицкий — сегодня я нужнее как стрелок. Между нами покуривает Генка Городников, Колькин сменщик, молодой губастый парень, краснощекий, гладкий лицом, с цыпленочьим пушком на верхней губе. Он сидит выше нас на двух дизельных аккумуляторах и держит в руках Колькин самодельный прожектор. В охоте он салага и едет как фарщик.

Но сайгу смотреть еще рано. Я запахи ватник потуже, втягиваю в него голову от полощущегося у ушей ветра, и мне становится уютно. Уютно и грустно, и не хочется ни с кем разговаривать: мне вспоминается дом.

Вспоминается веранда, стук падающих и скатывающихся по жестяной крыше яблок, от которого я так часто просыпался. С каждой неделей лета стук становится все громче и чаще, и ветви в саду тяжелеют, заставляют нагибаться все ниже и ниже...

Вспоминается мама, но не так, как раньше, на бегу, а явственно, почти как во сне. Я украдкой оттопыриваю нижнюю губу и дую в нос, как делал в детстве, чтобы запахло мамой, и мамой пахнет, ее волосами, ее теплом, как будто это тепло, этот запах заключены во мне. Я так хочу, чтобы она видела меня — не сейчас, а чуть позже, в деле, когда пойдет сайга: какой взрослый стал ее сын, какие серьезные дела ему доверяют.

...Сайга появляется внезапно, в самой середине моих воспоминаний, и они исчезают, как клочки бумаги на ветру. Кибицкий резко закладывает руль, Городников сваливается на меня, Колька на аккумуляторы; облезлые стволы его ружья замыкают клеммы и высекают из них трещащие голубые искры.

— ...твою мать! — шепчут его перекошенные губы.

Стадо огромное, оно растянулось метров на сто, но все равно плотно настолько, что я могу стрелять уже сейчас: в кого-нибудь да попаду. Но я медлю, я вижу еще одно стадо — правее, и еще — левее нашего, их видят уже все. Колька бледнеет, а Городников дергается и подпрыгивает, словно кукла на нитках: «Уй ты!.. Уй ты! Глянь! Уй ты!» Видит все наверняка и Кибицкий, но тверда его рука, я чувствую это по машине, несущейся, как торпеда, к пустой пока, но неизбежной точке встречи.

Степь ровна, мушка карабина дрожит, но дрожи, дрожи сколько угодно — все равно в прицеле только желтые спины и горбоносые пригнутые головы!

Я нажимаю курок и проваливаюсь в лихорадочное, сумасшедшее забытье; я не ощущаю ни времени, ни себя, ни окружающего, словно мощный наркотик из ампулы с надписью «Азарт» впрыскивают мне в вену, я ничего не смогу вспомнить потом из этого временного интервала, определенного не минутами, а тремя десятками патронов; я вспомню только спины, хряпающиеся оземь, судорожно бьющие воздух ноги, кувуркающиеся в пыли тела.

Сколько их было? — думаю я тупо, когда машина разворачивается подбирать добычу. Много...

Колька не сделал ни единого выстрела, его ружьишко не доплываает даже до середины карабинной дистанции. Он мрачен и зол, как неудовлетворенный мавр; Городников, выудив откуда-то здоровенный тесак, прыгает через борт к распростертому на земле сайгаку. Он набрасывается на него как на врага, остервенело полосует вялое и ненужное — сайгак мертв — горло, картинно размахнувшись, распарывает ножом брюхо и погружает в него по локоть худые слабенькие руки. Он старается, он хочет, чтобы его брали еще и еще, и видно, что этой раз-

костью, неестественной злобой к бездыханной антилопе он глушит свое отвращение к тому, что делает. Его, видимо, не вырвет, как меня, через пару охот отвращение исчезнет и останется только это: удовольствие всаживать нож в живое, полуживое, но еще теплое.

Я смотрю на него с брезгливостью, но заставляю себя подумать: а чем, собственно, я лучше? Он с ножом, а я с ружьем — оба мы сайгачей кровью перемазаны.

Покурив, мы подтаскиваем сайгаков. Я осматриваю убитых. Одному, который рухнул сразу, пуля прошила горло, в нем маленькая аккуратная дырочка, другому, он бежал еще секунду, — сердце, вход пули виден только по сгустку крови под лопаткой, а третьему она вырвала дыру на брюхе, через которую вываливаются сейчас фиолетовые внутренности. Этот бежал дольше всех. От груди тел, расстрелянных мною, исходит пряно-красный и теплый навозно-утробный дух, и я ухожу из-под ветра.

Городников бледен, как привидение, его лицо блещет потом и искажено страданием, он устал и забыл о надетой маске. Колька молча забирает у него нож, Кибицкий достает свой, и на их лицах я уже не вижу ничего особенного, с таким лицом, я помню, Иван стоял за токарным станком.

Рессоры нашего «ЗИЛа» потихоньку проседают, в щели кузова просачиваются черные густые капли, на земле остаются кучки внутренностей, на которые уже зарятся парящие неподалеку стервятники. Они сожрут их, заметут наши следы, и только внимательный глаз сможет увидеть здесь завтра темные пятна и стреляные гильзы, но где он, этот внимательный глаз?

Не тюльпанами ли прорастают по весне эти темные пятна? — удивляюсь я неуместной мысли. А красивая была бы легенда. Только современная.

Карабин пуст, и я сажусь за руль. Мы едем дальше.

Следующее стадо возникает за переломом дороги так неожиданно, что, повинувшись водительскому инстинкту, я торможу, но уже в следующую секунду бросаюсь в погоню. Картечью, огнем и дымом плюются ружья. Стадо разделяется надвое, я преследую половину, ушедшую влево, но через мгновение перекалдываю руль вправо — там великолепнейший рогач! Ружья смолкают, и я крою вдохновенным матом своих стрелков, Кибицкий кричит что-то, выплевывая из глотки ветер...

— Черт с ним! — ору я в ответ. — Стреляй же, мать твою!..

Непонятные слова его еще звучат в ушах, и страшный смысл их медленно доходит до сознания: «Са-ня... Коль-ка... вы-пал... стой...» Ну и что? — успеваю я подумать, пока этот смысл проявляется, как фотография. Вернемся, подберем.

Но вот она проявилась, и я четко вижу застывшую стрелку спидометра: сто десять километров в час...

Холодный пот прошибает меня; еще до того, как я успеваю нажать тормозную педаль, руки становятся чужими и непослушными. «Ну и что, — слышу я свои мысли, — мы подведем, и он встанет, отряхнется, выругается и впрягнет в кузов. Ну и что?»

Но он не встает. Он лежит черным горбиком на обочине, когда мы к нему подъезжаем. Он лежит лицом вниз, когда мы прыгиваем на землю. Он лежит, вывернув ноги, когда я осторожно переворачиваю его за неестественно мягкое плечо. Да, это мой друг, Колька Квасюк, и в нем вроде бы ничего не изменилось.

— Коля! — зову я его. — Коля, ты меня слышишь?

Глаза и рот его полузакрыты, испачканы землей, он стонет протяжно, как-то изнутри, и вдруг лицо его и шея на глазах начинают вздуться и синеть, знакомые черты стираются, и через минуту мне становится страшно: у наших ног лежит совершенно незнакомый человек с чудовишно оплывшим землистым лицом. Мне даже странно называть его Колькой, но это имя, вытатуированное на левой кисти, за-

ставляет поверить, что это и есть мой друг, и я, пересиливая себя, еще и еще зову его, но он не слышит!

Кибичский льет на его губы воду из фляги, но Колька не пьет, а еще раз надсадно стонет; я обмываю его лицо бесполезно льющейся водой: и он вдруг открывает глаза и произносит:

— Са-а-ня...

— Я, я, Коленька, это я, ты меня слышишь?

— Да-а... — Колька опять проваливается в неизвестность.

— Быстро! — кричу я неожиданно для самого себя. — Борту опустить... Из кузова... на землю все! Телогрейки...

Я не отхожу от Кольки, но Городников и Кибичский работают лихорадочно: выбрасывают сайгаков, фару, аккумуляторы, выметают ногами гильзы. Кибичский прячет под сиденье карабин. Мы осторожно укладываем Кольку на ватники, и Кибичский садится за руль. Он трогает и едет еле-еле, объезжая каждую кочку, но Колькино тело все равно трясется.

— Больно тебе, Колян? — спрашиваю я, обняв голову друга руками.

— Бо-о-о... — выдыхает он, размежив спекшиеся губы. — О-о-о... — тянет он невыносимо долго. — О-о-о!.. — Разрывается мое сердце, но звук наконец смолкает.

— Леня! — кричу я. — Скорее! Леня, не довезем!..

Кибичский прибавляет газу, а я превращаюсь в амортизатор, резину, губку, черт знает что еще под Колькиной головой, и каждый толчок для меня болезнен, как ножевая рана.

Сколько времени прошло, я не знаю, много ли мы проехали и далеко ли еще, не знаю тоже — все мое внимание, весь я в ощущении Колькиной жизни, ее я вижу, слышу, угадываю, я боюсь отвести взгляд даже на секунду, словно он капельница, словно он питает что-то внутри моего сломанного друга. Но иногда за моей спиной, за моими согнутыми плечами возникает нечто страшное, необъяснимое и невозможное, и оно тоже, склоняясь, смотрит в его лицо, и тогда я, едва сдерживая крик, трясусь Кольку, и он стонет, и «нечто» пропадает...

Темно, когда мы въезжаем в поселок.

Машина останавливается, я поднимаю голову и не нахожу больницы. И только когда я вижу выходящего из дверей Титыча в сопровождении Кибичского, я соображаю, где мы.

— Почему?! — задыхаюсь я от гнева, налетая на Кибичского. — Ведь каждая минута... — но отброшенный мощной рукой Почки, замолкаю.

Титыч, теряя шлепанец, перемахивает в кузов, затихает там, что-то говорит вполголоса.

— Плох совсем, — отряхивает он руки и подзывает Городникова. Тот забился в угол, и видно лишь его бледное лицо.

— Вот что, охотнички, слушайте крепко. Вы ехали по моему заданию на седьмую скважину, везли соляр и инструмент. Квасюк выпал по неосторожности... прикуривал. Городникова не было. Ясно? Квасюка в район везти можно только вертолетом, я договорюсь. Сгрузить его у больницы. Телогрейки в крови... — я вздрагиваю, — сайгачьей, — поправляется он, заметив, — выбросить, машину в парк и выскоблить, сбор через час у больницы. Подробности — там. Участковый, на ваше счастье, в отъезде. Всем все ясно? Городников, немедленно исчезай и ни гу-гу, в Кибичском я уверен, а тебе ясно? — понижает он голос. — Тебе особенно должно быть ясно, ведь судить тебя должны.

Я отшатываюсь.

— Судить?

— А ты думал? За рулем-то кто сидел? Кто отвечает за пассажиров?

Меня должны судить. Меня будут судить. Попытка Почки скрыть

правду кажется мне смехотворной — разве их обманешь? После сотен виденных фильмов и читанных книг я убежден, что только чистосердечное признание облегчает участь преступников. Я — преступник, говорю я себе, и что-то внутри меня бунтует, но я повторяю твердо: преступник, и прислушиваюсь к себе. Все тихо: я себя слушаю, я внимаю себе. Я стал им, когда взял в руки карабин, когда... Нет, смешно. Я, Сашка Агеев, преступник? Скажите это моей маме, сестре, друзьям, они поднимут вас на смех. Разве я похож на того, широкоскулого, который шел тогда, заложив руки за спину? Нет, конечно. Тот может ударить ножом человека, а я не могу, но дело-то не в этом. И он и я преступили закон. Он получит пять лет, а я три, и это все различие между нами? И мы вполне можем оказаться соседями по нарам? Господи, как несправедливо!.. — текут из моих глаз слезы, когда я вижу себя стриженного и полосатого среди чужого, жестокого мира. Нет, этого не может быть, не может!

Обо всем этом я думаю, когда мы едем к больнице, переключившем Кольку на носилки, моем кузов в парке и возвращаемся назад. У больницы люди, их немного, десятка два. Они стоят у освещенного лампы почкой крыльца, у окон, переговариваются, потом кого-то, видимо рассказчика, окружают плотным кольцом. Что же он рассказывает?

Мы стоим с Кибицким неподалеку в темноте, и у меня нет сил прислушаться, но слова долетают сами:

— ...Квасюк... Агеев... скорость... прикуривал... — Это, видно, рука Титыча.

А вот и он сам.

— Я беседовал с фельдшером, — говорит он тихо. — У Квасюка сотрясение мозга и что-то серьезное с позвоночником. В сознание не приходит. Если следователь или участковый прилетят сейчас либо завтра утром — дело труба. — Он смотрит на меня. — Но не думаю, скорее всего они будут к обеду. А вы с утра на той же машине поедете на седьмую скважину и по дороге посмотрите — где бы это могло произойти, понятно?

— Титыч, — глухо кашлянув, перебивает Кибицкий. — А может, мне того... тоже исчезнуть? Лишний человек...

— Нет, Леня. — Голос Титыча тверд и не дает размышлять. — В кузове должен быть свидетель, иначе копать будут глубже, а тут все ясно: человек видел, дает показания. Стоял, мол, на коленях у борта, нагнулся к водителю, попросил сигарету, а тут и трянуло, яма...

— Ну ладно, а чего я в кузов полез, коль кабина пустая?

— Жарко. Жарко было, а там ветерок.

— Неубедительно, стекло можно опустить.

— А оно не опускается, стеклоподъемник сломан. — Почка многозначительно смотрит на меня. — Завтра же сделаешь.

Я киваю.

— Хорошо, Титыч, — хлопает Кибицкий завгара по плечу. — Парня выручать надо, так ведь? — кивает он в мою сторону.

— Да-а... надо, — вздыхает Титыч.

Во мне загорается огонек надежды, и натянутые до стеклянного звона нервы разом провисают, как корабельные снасти в штиль, — если уж такие люди берутся выручать меня, то все будет в порядке.

— А сам он... не может рассказать? — подаю я голос.

— Слишком много здесь «если», — отвечает Титыч. — Если останется живой, если сохранит полный разум, сотрясение все же, если за будет, что рыльце у самого... по макушку. Навряд ли.

А вокруг уже ночь: черное небо в ярких звездах, черная земля в огоньках; ветра нет, слышен каждый звук: лает пес, ему отвечает другой, запирают дверь несмазанным замком, крутят музыку — какая беззаботность! А тут, за углом, в черноте непрерывно курят трое, и напряженные наши лица возникают попеременно в красном свете жадных затажек. И все мы, и еще четвертый, лежащий за теми белоснежными

занавесками в беспамятстве, еще несколько часов назад были счастливы и не понимали этого. А теперь понимаем — да поздно.

Вертолет прилетает в час ночи. Его жужжание заставляет меня вздрогнуть: оно кажется злым, угрожающим. По моей вине летчик сидит у штурвала, штурман держит курс, где-то звонят тревожные телефоны, в больнице застилается койка, в какой-то квартире следователь уже собирает чемоданчик. Жужжание перерастает в грохот, вертолет зависает рядом с больницей, из его брюха бьет в землю прожектор, шарит по ней, вертолет опускается, и кажется, что гигантский разгневанный жук припиливается ослепительной булавкой к какому-то колоссальному гербарию; в окрестных домах загораются окна. Пилот не глушит двигатель, винты вращаются, когда на землю спрыгивают три белые фигуры с носилками и чемоданчиком.

Квасюка выносят из дверей больницы (головой вперед, машинально отмечаю я), и белые фигуры склоняются над ним. Я вижу, что он уже совсем голый под легкой простыней, что блестит шприц, что голоса тревожны, но лица Квасюка не вижу. Я заглядываю через плечи и смотрю на лицо своего друга: оно незнакомо и неподвижно. Носилки уносят.

В нашу комнату я возвращаюсь по недомыслию, падаю лицом в подушку и стону не в силах себя сдержать; слез нет, а они так нужны сейчас! Колькин балдахин, кособокие пыльные ботинки, старый патронташ на столе, рубашка на спинке стула с грязным воротом — все эти вещи молчаливо его представляют, нет, не молчаливо, они орут, они визжат мне в лицо: ты! ты!! ты!!!

Слезы наконец прорываются, подушка равнодушно впитывает их, я плачу, как ребенок, как когда-то и как когда-то жалею себя за эти слезы, и плакать становится легче и легче. Горе мое неимоверно, тяжесть невыносима, но вдруг Надюшино лицо встает перед моими глазами, я вскакиваю и в исступлении рву Колькин патронташ, швыряю его об стену, сметаю со стола гильзы, порох — все это звенит и рассыпается по полу, а я бегу, бегу из этой страшной комнаты, и мне все равно, куда бежать. Ноги сами приводят меня в гараж, к своему «сто тридцатому», но вдруг мне кажется, что от него пахнет сайгачьей кровью, я смотрю на предательски низкий борт, через который рухнул Колька, и мне хочется разнести его в щепки. Я ухожу прочь, но натякаюсь на Колькин «МАЗ». Он стоит, набычившись, сиротливо, и его сверкающие фары навывкате — как две созревшие слезы. Я мечусь от машины к машине по всему гаражу и затихаю калачиком в длинной, пахнущей соляром кабине «КРАЗа», затихаю до утра.

А утром приходит Кибицкий, я сажусь за руль, и мы едем по грунтовке в сторону седьмой скважины.

— Стоять, — негромко, но властно произносит он, когда на выезде из поселка нам встречается куча песка. Я торможу.

Кибицкий достает из-под куртки мешок, короткую саперную лопатку, моток проволоки, сноровисто насыпает мешок доверху, крепко перевязывает горловину, и мы забрасываем его в кузов.

— Охота вам черт-те откуда песок возить? Его у гаража завались. Кибицкий не спешит с ответом, сопит и, отдышавшись, отряхивает руки.

— Ты как спал сегодня? Спокойно, без сновидений? — неожиданно зло спрашивает он и, не дождавшись ответа, добавляет: — А я — нет, я думал. Соображал. Завтра поздно будет, завтра говорить придется.

Я не понимаю, но молчу, и мы едем дальше. Кибицкий сидит, подавшись вперед, цепляя глазами каждый метр дороги, прислушиваясь к чему-то, встряхивая головой и опять замирая в ожидании.

— Стой, — приказывает он. — Ничего из кабины не поймешь. Я сяду в кузов.

И он становится на колени в том самом месте, где вчера стоял в

полный рост мой друг Колька; в зеркало я вижу напряженное лицо Кибицкого и побелевшие костяшки его пальцев, сжимающие борт. Что-то заставляет меня прибавить газ и время от времени злорадно посматривать в зеркало.

Дорога входит в сопки и петляет по склонам, поросшим травой-провококой, колючками и усеянным камнями с кромками острыми, как нож. После одного из поворотов раздается удар по крыше, и я останавливаюсь.

— Сдай задом метров двести и еще разик, только скорость не превышай, — говорит Кибицкий.

Я исполняю и опять останавливаюсь. Кибицкий спрыгивает на землю.

— Это то, что надо, — говорит он, — вылететь можно запросто, но... ямка нужна. Вот здесь, — он указывает пальцем.

Я достаю из-под сиденья короткий ломик, Кибицкий вооружается лопатой, и в два счета мы делаем ямку и придаем ей естественный вид. Землю относим подальше.

— Попробуем теперь.

Я разгоняюсь и на повороте с ямкой смотрю в зеркало. Кибицкий стоит в полный рост, но держится за желобок крыши, и лицо его бледно.

— Я следовательно, — говорит он, когда мы опять подходим к ямке. — Ты свидетель. Где и как лежало тело?

— Здесь... — прикинув, говорю я. — Нет, вот здесь...

— На спине, животе, куда головой, руками? Где остановилась машина? Как разворачивалась? Кто первый подошел к нему? Что сказал? Ответил ли пострадавший? Как его поднимали, клали в кузов? — сыпал Кибицкий вопросы. И, помолчав, подвел итог: — Допрашивать будут порознь. И каждая мелочь — капут. Понял, почему надо думать?

Три раза я утую этот поворот. Три раза Кибицкий переваливает мешок с песком за борт, три раза мешок падает примерно в одно и то же место. Неподалеку он бросает сигарету, коробок спичек и втолковывает мне, как все произошло. Я молчу и киваю.

Приехав в гараж, мы узнаем, что у Кольки сложный перелом позвоночника, сотрясение мозга и что завтра утром приезжает следователь городской прокуратуры.

Минуту назад, когда мы с Кибицким молча сидели перед безобидной вообще-то, но страшной теперь дверью, я ждал, что мои напряженные нервы вот-вот оборвутся и я хлопнусь в обморок; я чувствовал, что у меня поднялась температура, и понял, что выражение «дрожь в коленках» отнюдь не гипербола; я поминутно глубоко вздыхал — мне не хватало воздуха, вытирал потные трясущиеся ладони о брюки, и в панике, обуявшей меня, не старался скрыть это от Кибицкого; минуту назад я думал, что хуже и страшнее человеку быть не может, что дальше — сошествие с ума: яркая вспышка чего-то внутри — и избавление от мук. Но когда отворилась будто сама по себе дверь и чужой голос из глубины комнаты сказал: «Кибицкий!», когда Леня, выдохнув, словно после стакана ректификата, исчез за нею, а я остался один, — я понял, что резервы человеческие неисчерпаемы и что то волнение — еще не волнение.

Текут тягучие минуты. Сколько прошло их? Дерматиновая дверь не пропускает звуки. Что там? Как там? Вдруг что-то непредвиденное? Сумеет ли Кибицкий предупредить, моргнуть, шепнуть? А что толку, много ли так скажешь?

Тридцать девять часов было у нас до приезда следователя. Тридцать девять часов я думал так, я думал столько, что, казалось, хватило бы на иную жизнь. Думать или не думать — это от меня уже не зависело.

Сначала думать мешала совесть. Ее питали воспоминания о Кольке, его вещи, что-то еще, что, наверное, называют порядочностью, но

механизм — наша легенда — был пущен, пущен не мною, и не в моих силах, уверял я себя, хотя знал, что это неправда, остановить его. Преодолев брезгливость к себе, я спрятал вещи; воспоминания и прочие сантименты забились в угол от одной завгаровской фразы: «О живых надо думать, о живых-ых!» Чем чаще повторялись во мне эти слова, тем неприязненнее становился мне Квасюк, тем больше стиралось и реже возникало в памяти его лицо. Я ужасался тому, что делаю, я прекрасно знал, как это называется, но свидетелем моей подлости был лишь я один, а я не хотел за решетку.

Иногда я звочтал в душе над словами: суд, тюрьма, решетка, но тогда в ушах звучал материнский голос: «От сумы, сын, да от тюрьмы не зарекайся...»

Мама, мама, милая моя мама!..

Заливаясь слезами и захлебываясь от рыданий в темной запертой на ключ комнате, я думал о ней, о новом ее несчастье, о своей горькой судьбине, я проклинал десятки раз тот поезд, никелированные замочки, Кольку, сайгаков и самого себя...

Слезы приносили облегчение, я затихал, шлепая в темноте мокрыми ресницами, но взгляд мой поднимался на безмятежные окна соседнего дома, легкие тени в них, и безысходность заползала мне в душу тяжелой холодной змеей: тюрьма...

Что ж, думал я, обкусывая ногти, люди и там живут, это еще не самое страшное в жизни... А что страшнее? Смерть?

И опять появлялся Колька.

Нет, думал я, есть и пострашнее, это то, что суждено теперь ему — жизнь в неподвижности. Какое бессмысленное сочетание слов!

...Так на чем же может споткнуться Кибицкий? — думаю я, сидя у дерматиновой двери, и уверенность, что за этой дверью что-то случилось, зреет во мне с каждой минутой. А, может, он сам раскололся, поглядев на невменяемого меня? Или того хуже — клепают! В самом деле — во всем виноват я, с какой стати ему меня выгораживать? И почему вообще они решили выручать пацана-шофера, знакомого им без году неделя?

Я готов уже распахнуть дверь и, облегчив свою душу и утяжелив участь, рубануть всю правду-матку, но дверь открывается сама, выходит Кибицкий, и тотчас приглашают меня. Я вскакиваю, врываюсь в него глазами, и Леня успевает прошептать:

— Порядок, теперь только от тебя... — Остального я не слышу, но это уже не важно.

Только от меня... Я чувствую себя на качелях, бесконечно падающих вниз, и вдруг в мгновение понимаю, что все приготовления напрасны: я не смогу сыграть этот спектакль.

За завгаровским столом сидит молодой парень и пишет. То есть он не совсем молодой, лет тридцать, но во всяком случае в гараже я с такими на «ты». Это так неожиданно, что я оглядываю комнату, но в ней больше никого нет. Парень вызывающе красив и шеголеват для наших мест. Я видывал таких ребят в Москве, да и то на улице Горького, не дальше: нос без переносицы прям и благороден, ресницы чуть не махровые, волосы темные, вьющиеся, лежат волнами и рассекаются аккуратным выстриженным пробором, руки — ни царапинки, ни заусенчика, ногти блестят, как лакированные, и на каждом белая (а не черная) каемочка. Как мужик умудряется такие руки держать? Я прячу свои под скатерть. Костюмчик, рубашка, галстук — будто на манекене.

Не дай бог Алиса его увидит. А ведь увидит, я понимаю это, поселок маленький и каждый новый на языках, а уж на следователя специально прибегут посмотреть. И пройдет он гордый и красивый по поселку: «Смотрите, распутал-таки, расколол ребят», а за ним я, как побитая собачонка на веревочке: «Солдату теперь крышка...» И Алиса увидит все это...

— Гражданин Агеев, вы допрашиваетесь как свидетель по делу о получении тяжких телесных повреждений гражданином Квасюком Николаем Ивановичем, — негромко и участливо говорит парень. — Предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний. Распшитесь вот здесь... А теперь расскажите все по порядку и не спеша.

— Мы.. мы выехали на седьмую скважину по заданию завгара Михаила Титыча Почки для того, чтобы привезти туда соляр и строительные материалы.

— Когда выехали? С кем?

И допрос начинается.

Этот день тяжел и длинен, как товарняк. Но он грохочет уже вне меня, приглушенно, как за двойными рамами. Оно приходит наконец, это спасительное забытье: что-то порвалось внутри и все там обмякло. Я равнодушно отвечаю на вопросы, не заботясь о том, чтобы все это походило на правду, я смотрю ему в глаза сколь угодно долго, и он первый отводит свои, будто виноват в чем-то передо мной. И потом, когда мы выезжаем на место происшествия, когда следователь достает рулетку и просит прижать ленту ногой в той самой ямке, что мы так усердно долбили, а сам меряет, ползает по пыли у моих ног, зарисовывает, когда, наконец, заставляет лечь меня в позу пострадавшего на колючую горячую землю и фотографирует, — ничто во мне не сжимается, не противится.

Мало того, мне кажется, что именно так все и было.

Я лежу опять в своей комнате, лежу весь вечер, слышу голоса, музыку, топот — весь этот общежитский шум то приближается, то удаляется, ходит рядом, но ходит мимо моей двери.

Вдруг дверь приоткрывается, в комнату бесшумно проскальзывает — о чудо! — Алиса и замирает на пороге, прислушиваясь к коридорным шумам.

— Ф-фу-у! Я шла, как Штирлиц! — шепчет она торжествующе. — Меня никто не видел!

— А если б видел? — Я никак не могу очухаться и говорю первое, что приходит на ум.

Алиса садится на кровать и берет мою руку.

— Если б видел, то пришли бы тебе еще и аморалку, — говорит она улыбаясь. — Плохо тебе?

Я смотрю на нее и говорю себе, что это не кино и не сон. У меня было много знакомых девушек, и я не раз, бывало, перебирал в уме приметы любви, как рубашки в гардеробе, примеряя их под свои чувства, и не раз мне казалось, что они впору, но только теперь я знаю: когда любишь — задавать себе об этом вопросы нет необходимости, когда любишь — она ослепительна, а сам ты неуклюжий и убогий уродец, и быть с ней — счастье, больше которого нет на свете! Как сейчас.

— Мне хорошо, — говорю я правду в ее удивленные глаза. — Ты пришла. А остальное не важно.

Алиса тихо смеется, сжимает мою руку и молчит.

Молчу и я, боясь испортить все словами и не зная, что делать. Но кто-то знает все за нас: я протягиваю к ней руки, она наклоняется, серебристые волосы соскальзывают с ее плеч на мое лицо, и все исчезает. Все, кроме моей Алисы...

...Я просыпаюсь и долго не могу понять именно того, что я проснулся. Разум сразу разбирается что к чему и мгновенно наливается неотвратимой чернотой действительности: черно в комнате, черно за окном, черные дела совершены и черные последствия за ними, но душа, душонка, мечется еще в чем-то гулком и безразличном — как же так? Как же так? Лаская Алису, дважды говорил себе, что это не сон, и на

тебе — сон... Тепло ее не остыло, губы ее шероховатые на щеках, запах ее от меня исходит, вот он... и — сон? Сон...

Жестокий сон! А если он в руку? Если это предсказание, телепатия? Не могут такие сны сниться просто так!

Я вскакиваю на кровати и оглядываюсь в темноте сумасшедшими глазами. Я найду ее. Сейчас же. Я услышу ее «да» или «нет», а без них, без определенности, я не проживу теперь ни дня!

Я бегу по темным, разбитым улицам поселка, спотыкаюсь, протягиваю руки, как слепец.

А если ее нет? Если она гуляет с кем-то? С кем? Скорей всего с Фрэнком. Я разыщу их. О, как я буду с ним драться, с каким наслаждением я буду с ним драться!

Ее дом тих и темен. Другие дома тоже темны, и похоже, что сейчас глубокая ночь. Надо подождать, надо отдышаться, в голове колотится так, что я ничего не слышу. Уф! Вот и тишина: ни голоса, низзвук, даже псы не взирают. Я подбираюсь к черному окну и стучу в раму. Тихо... Стучу еще. Опять тихо внутри. Алиса, милая, проснись, где же твой чуткий девичий сон? Какой там чуткий, чуткий он у тургеневских барышень, томящихся от безделья, а ты наломалась за день в своей столовой и сон тебе — избавленье...

— Алиса... — зову я, когда слышу скрип дощатого пола. — Алиса, открой!

— Кто? — слышу я ее шепот.

— Это я, Алиса, я — Саша, ты прости... не бойся, открой...

Створки окна проплывают над моей головой, обрушивается водопад ее волос, под ним ее лицо.

— Алиса, милая... — Я задыхаюсь. — Алиса... Я умру без тебя!

— Тише, тише, сумасшедший, ты пришел сказать мне это?

— Да. Я люблю тебя.

Я смотрю вверх, на нее, прекрасную как никогда в этом лунном свете, в этом обжигающем девичьем запахе, изливающимся из ее окна, и вдруг остро осознаю свое ничтожество. Но Алиса, похоже, этого еще не понимает, движимая состраданием ко мне, горемычному, пожалуй которого успели уж все старухи поселка, она машет рукой, разрешая мне воспользоваться окном, и через мгновение я в комнате. Грациозно, как богиня, проходит Алиса несколько шагов до постели, медленно проходит, не заботясь о своей почти прозрачной, пронизанной луной рубашке, а я — убогий, ошеломленный, потерявший дар слова стою, как пень, не в силах повторить свое признание.

«Алиса!.. — стонет моя душа, и в этом имени все не найденные мной слова, вся моя боль и вся любовь. — Алиса!..» Она закутывается до подбородка одеялом, и лунный пепел, лунный прах ее волос мерцает от малейшего ее движения. «Алиса!..»

Она молчит, ни о чем не спрашивает, она дарит мне спасительные секунды, они падают убийственно быстро и просачиваются куда-то в пол между нами; а я молчу.

— Али-са, — раздается чей-то жалобный голос. Неужели мой? Я не вижу ее глаз — смех ли в них, презрение, жалость? — и делаю несколько шагов вперед.

Алиса молчит, ее глаза печально смотрят сквозь меня.

— Сядь, — говорит она чуть слышно. — Ты пришел, потому что тебе плохо?

Ее теплый голос подает мне надежду хотя бы на то, что я не буду осмеян, и из меня наконец вырывается:

— Потому что я люблю тебя, Алиса!

И я говорю, говорю, говорю... Говорю, что это не просто любовь, это судьба, рок, стихийное бедствие, что погибну без нее, а с ней... С ней!.. С ней!!! Я захлебываюсь от внезапно открывшихся мне возможностей того, что смог бы я ради Алисы — все!

И вдруг она зевает. Не стесняясь, не прячась и даже не прикрыв

рта рукой. И я, растерянный, замолкаю. Алиса виновато улыбается, но через секунду глаза ее становятся дерзкими:

— Устала я, как... А ты чудной. Весь сон сбил. Такого мне еще не говорили... — Она смотрит на меня с какой-то внезапной мыслью в лице, будто оценивает и решает что-то. — Иди сюда.

Она пододвигается, и не успеваю я сесть на краешек кровати, как руки ее обвивают мне шею, тянут вниз, преодолевая мое замешательство, пока мое лицо не утыкается во что-то мягкое. Испуганный, я вырываюсь и вижу Алису под собой — обнаженную и спокойно глядящую на меня.

— Ну что ты, дурачок, что ты? — нежно водит она пальцами по моим губам. — Поцелуй меня.

Она лежит, закрыв глаза, волосы ее разметались, руки послушны — от этого можно сойти с ума!

Внезапно она вздрагивает, брезгливо вытирает щеку тыльной стороной руки, открывает глаза и говорит мне голосом совершенно трезвым и звучащим для меня поэтому как гром среди ясного неба:

— Сними хоть свитер-то, мокрый, какмышь.

Я вскидываю голову словно от удара. Встаю и, дрожа от стыда и унижения, одеваюсь. Через минуту я на улице, через пять дома, а через десять моя первая любовь проходит.

В гараже я стал лишним. «Сто тридцатый» у меня Почка отобрал, но не сразу, а «безболезненно» — поставил сначала на профилактику, потом в мелкий ремонт, а потом я увидел, как выезжает на нем другой. Мне же Почка ничего не сказал, а как столкнулись нос к носу, процедил, глядя в глаза: «Отдохни пока».

Работы никакой официально не дают, я сам ее нахожу. Кто попросит подмогнуть (да и просят-то не часто, жалеют, что ли?), к кому сам навяжусь. Обхожу я только Авдеича, стыдно мне за сопли те слюнявские, за откровения, и страшно, что жалеть меня он будет. Проходя мимо, я невольно кошусь на его каморку, и всегда он провожает меня взглядом. Молча провожает, хмуро. Так-то, дед Авдеич, яблоко от яблони недалеко падает.

Алису я не вижу, да и не испытываю желания. Одна досада от этой истории, словно пришел в гости по ошибочно записанному адресу — и за бутылкой давился, и за цветы переплатил, и тащился через весь город, а дверь открывают чужие.

А тут заговорили, что мать Колькину телеграммой вызвали, и находится она теперь в Караганде, в больнице, ночует будто бы при нем. И страшно мне стало: моих рук все это дело, не расхлебать такой каши... И что за мать у него? Убогая ли тихая старушка — тогда прощай — или базарная тетка в кудряшках — такая и невинного засадит.

Трус, трус, трус! Сам себя уверял, что все равно, что с тобою будет. Как же теперь? Боишься? Тяжело все это... Тяжелей, чем ему? Нет. Трус, трус, трус! А нужно это Кольке? Легче ли ему будет меня, виноватого, здоровым видеть? Так виноватого же. Ты ведь о себе заботишься, не о нем. Не твое дело за другого думать, твое — прийти к постели друга, когда ему плохо, уткнуться в небритые щеки и сказать, коль виноват: «Прости...» И ждать покорно его суда как самого страшного, а не спасать свою шкуру. Надо быть сильным. Хоть когда-нибудь.

Что-то входит в меня, как порыв ветра в загазованный бокс, что-то большое и настоящее, облегчающее совесть, позволяющее даже сейчас не прятать глаз. Я вылезая из-под капота и распрямляюсь, стоя на крыле. Кто-то видит меня, кто-то нет, но зато я могу смотреть на каждого. Да, я виноват, но я не прячусь и завтра же поеду к своему другу. Другу, повторяю я кому-то назло, наверное, себе. Я решительно мою руки, переодеваюсь и ишу (ищу!) завгара.

А он беседует с Авдеичем.

Я будто спотыкаюсь на полшаге, когда вижу их вдвоем, но, еще не замеченный ими, делаю все же этот шаг до конца — сильным надо быть, сильным. Они замолкают, когда я достаточно близко, чтобы услышать их. Неужто и старикан с ними?

— Михал Титыч, дайте отгул на завтра. К Квасюку поеду. — Тяжело мне и неуютно под завгаровскими глазами. Но почему я считал, что они стального цвета? Белесые, водянистые, а зрачки маленькие и злые, как у птицы.

— Зачем?

Мгновенная настороженность завгаровского взгляда почему-то радует меня.

— Нужно, — отвечаю я как можно независимее, и, понимая, что зависим, договариваю: — Друг он мне.

«Может, не пустит? — зудит словно муха в кулаке подленькая надежда. — Тихо, сволочь», — стискиваю я пальцы.

— Давай. Ночным. Перед отъездом зайди.

И Почка уходит, а я остаюсь с Авдеичем.

— Сядь, — повелительно говорит старикан. — Покурим.

— Сяду еще, — глупо острою я.

Авдеич сильно волнуется: это видно по тому, как в две затяжки высасывает он свою папиросу, как шумно дышит, как двигаются его брови.

— Вот что, сынок... Горе твое нынче пришло, и вина в том моя немалая. Да, да, чувствовал я, старый дурак, что не останешься ты в стороне от дел ихних, да не предостерег, понадеялся на твои ясные глаза... — Авдеич помолчал. — И вот что я тебе скажу, мальчик... Змеюкой крутись, землю ешь, а туда не попадай, — тычет он себя в грудь. — Жизнь поломаешь... А от этих... — Авдеич грозно оборачивается в сторону, куда ушел Почка, но голос все же понижает: — Беги на всю мочь, беги, сынок, покуда увяз ты не крепко — по щиколотку... Там дела такие, — говорит он уже шепотом, — что и десяти амнистий не хватит...

— А ты что же, с ними, что ли, Авдеич?

— А кто ж мне, каторжнику, кусок даст? — виновато улыбается он слезящимися глазами и встает с натугой. — Кому я нужен? С ними не с ними, а при них... Навроде консультанта. Ну, иди, иди, сынок, еще заподозрят что... И — молчок! — прикладывает Авдеич палец к губам, и я вижу в его глазах заискивание и страх: не выдавай, мол, старика.

Я заставляю себя сделать соответствующее лицо и пожать его холодную, как лягушка, руку:

— Могила, Авдеич.

По моим подсчетам ловить в район попутку мне надо в полдевятого вечера. Значит, к завгару раньше восьми нечего и соваться, мне ох как не хочется с ним встречаться. А уж домой идти — мука. Но почему, собственно, домой? Сказать что — так и здесь можно, в кабинете. Хотя кабинет тот — проходной двор, не поговоришь. Проинструктировать, видно, хочет лишний раз, решаю я.

Остаток рабочего дня я невольно думаю о предстоящем разговоре. Я прикидываю и так и эдак и вдруг понимаю, что боюсь завгара. И такое отвращение к себе меня охватывает, что в пору морду свою колотить: хлюпик, трус, скотина... Да пошел он, этот Почка! Да он вот где у меня сидит, да если я на суде кое-что расскажу — хотя бы как Колька по его заданию мясо начальству развозил, сколько этот завгар сам сайги порешил, то худо ему будет, а мне уж терять нечего. Вот так-то.

И страх мой проходит, через минуту я удивляюсь тому, что он был, но голова моя думает, она уже отвыкла от состояния покоя, когда после вопроса: «О чем ты думаешь?» можно с удивлением обнаружить, что ни о чем. И продумывает она встречу с Колькой. Вот я вхожу в больницу, вот — в палату. Рядом с койкой сидит сгорбленная, седая

женщина, а на койке... Колька? Мне хочется, чтобы это был прежний Колька — крепкий, наmeshливый, чтобы он, увидев меня, откинул одеяло и сел, и, пусть поморщившись от боли где-то там, сказал: «Идет помаленьку на поправку». А что? Сейчас медицина чудеса делает...

Размечтался, усмехаюсь я про себя, и Колькино лицо начинает расплываться... Усилием воли хочу прервать это тяжкое видение, закрываю глаза, но вижу, все равно отчетливо вижу другое лицо: серое, страшное, раздутое — совсем не Колькино. Господи, ну куда мне деваться от всего этого, как тяжело мне, как устал я! Напиться, что ли?

Я цепляюсь за эту мысль, как за спасательный круг: а вдруг будет легче? Ведь делают так, многие делают, я и в кино видел, да что в кино — в жизни сколько хочешь, а раз так, значит, помогает? Я знаю, конечно, что это плохо, но не собираюсь же я нажираться до поросычьего визга — трахну грамм сто пятьдесят, чтоб душа вздохнула, а?

И после работы я направляюсь в стекляшку. Называется она «Пылинкой», и название это всегда приводит меня в веселое недоумение. Народу уже полно, дымно, хмельной мужицкий гвалт, замешенный на мате, каменные круглые столы, уставленные кружками и гранеными стаканами, замусоренные рыбьими останками, пеплом, но я не смотрю особенно по сторонам. Да меня и не хватают за рукав, не бьют по плечу, не тащут за стол.

Я беру бутылку водки — четвертинок нет, — два горячих чебурека, стакан, сажусь на первый попавшийся стул и наливаю этот стакан по каемочку — свою дозу знаю. Выпиваю враз, закусываю обжигającym сочным чебуреком и прислушиваюсь к себе: а ведь и вправду...

Шум «Пылинки» отступает от меня, не режет уши, а становится каким-то уютным, необходимым, и я уже не чувствую себя здесь белой вороной, а наоборот — мне легко и свободно.

Рядом за столиком пьет пиво, оказывается, вся Фрэнковская братия и поглядывает на меня, но черт с ними. Но похоже, что шестерки готовятся к выходу, хихикают — рыбки по ихним зубам, кроме меня, здесь нет. Вот уж когда мне наплевать на них, даже нет, не наплевать, а тянет потоптать чью-нибудь прыщавую харю.

Как встает один из них и подходит ко мне с совершенно определенной целью, я воспринимаю спокойно, но стоит мне увидеть перед собой эту шакалью рожу, ухмыляющуюся потому, что за ней — стая, меня начинает трясти.

— Ну, сука! — беру я бутылку за горлышко и примериваюсь отбить ей дно. — Подходи, возьму на душу еще один грех!

Малый пугается, но готовит удар ногой, и тут встает Фрэнк.

— Отзынь, — роняет он, и малый убегает. Фрэнк садится рядом. — Не порть жидкость. Плесни, — подвигает он стакан.

Я опрокидываю в него бутылку, но появляется второй.

— Себе.

А, ладно, не говорить же, что мне хватит.

— Будем. — Фрэнк на секунду замирает, и даже какое-то волнение, какая-то торжественность проскальзывает в его облике.

Я выпиваю тоже, и в этот раз водка мне кажется слабее.

— Ну что, сержант, паршиво оно — за законом-то?

Я пожимаю плечами, не понимая, куда он клонит и что он знает.

— Паршиво, — убежденно говорит он за меня. — А лапшу на лгавого навешали грамотно. Тем-то не впервой, а ты молоток. Пойдем, — встает он и трогает меня за плечо, — кернем вместе.

Ноги с готовностью несут меня за их столик, хотя мне туда не хочется. Но я почему-то иду, не в силах отказаться от Фрэнковской милости.

Меня встречают пододвинутым стулом и одобрительными возгласами как своего. Появляется еще водка, пиво, какая-то затхлая таранька. И Почка, и Колька, и все мои проблемы отодвигаются, уплывают, исчезают без следа. Я швыряю на стол червонец, потом второй, потом

меня хлопают по плечу, жмут руки, слушают, когда говорю я, и говорят что-то в самое лицо. Потом я сразу просыпаюсь.

Я просыпаюсь в своей, то есть в нашей с Колькой комнате, раздетый и под одеялом, полупьяный, с раскалывающейся головой. Как я сюда попал и все остальное — я не помню напрочь. Последнее ощущение вчерашнего вечера... — я напрягаю память — холодная тяжесть пивной кружки. Самым крепким оказалось у меня осязание, все остальные органы чувств вырубались раньше.

Ну что, кретин, докатился? — думаю я, закрыв глаза. Все, как в книжках пишут: молодой, оступился, попал под влияние, потом водка, компания, подворотня, нож, а потом... Удел слабовольных. И кем прельстился? Теми, которых ненавидел всегда, но вылезло что-то подленькое в душе, что-то угодливое, погладили его по головке, похвалили, и вот оно уже не что-то, а все. Мало же тебе, Саня, надо, чтобы на задних лапках перед подонками ходить. Но есть же что-то настоящее в этом мире! Я к нему не принадлежу, я только считаю, что принадлежу, я не вижу, не могу оценить сам себя. Что за характер? Почему делаю то, чего не хочу делать? Не хотелось врать следователю — врал, не хотелось убивать сайгаков — убивал, идти за их столик не хотелось — пошел. Ведь есть «внутренний голос» — компас какой-то, правильный он, и для того, чтоб легче дышалось, чтоб чувствовать себя человеком, надо только послушаться его. Почему так трудно это сделать?

И тут я вспоминаю, что вчера должен был ехать к Кольке, что меня ждал Почка, и о новой жизни вспоминаю, которую собирался начать. А сейчас новая жизнь кажется таким пацанством, что за это чуть ли не стыдно. Кролик, амеба, что ты можешь изменить в себе? Пока ты еще мучаешься, слюняйничает, о чем-то думаешь, но это пройдет, и ты будешь подличать и нажираться безо всяких моральных издержек, ты будешь ведом только инстинктами, как скотина.

Да, да, бью я в подушку кулаком, ты слабак, трус и дерьмо.

Нет! — кричит что-то во мне. Неправда, я же все понимаю, я могу сделать то, что хочу, я не раз делал это и сделаю, обязательно сделаю...

Но докричать ему не дают, потому что в дверях появляется Фрэнк, вихлястый и еще один, имени которого я не помню, но ему, кажется, я вчера клялся в вечной дружбе.

— Оклемался? Не блеванул? — Фрэнк протягивает руку, я жму и ее и еще две руки. — Похмеляться будем.

В руках у него появляются две бутылки водки, он подбрасывает их и одновременно ловит. Вихлястый деланно пугается.

— Ты чё, ты чё, — упрекает он Фрэнка, а тот улыбается:

— Ни бэ, Маруся. Струмент?

Вихлястый подставляет стаканы, и через мгновение водка разлита, и перед моим лицом подрагивает стакан в руке Фрэнка.

— Давай за этого, — показывает он пальцем на Колькину кровать. — За то, чтоб либо кони отбросил поскорей, либо оклемался вкопец.

Ну что мне — выгнать их в шею? Не получится. Просто не пить? Глупо. Сказать, как я их ненавижу? Смешно.

— Пусть поправится, — говорю я хмуро и пью.

— Оклемается — заложит, — прожевывает извлеченный из кармана бутерброд третий, мой друг до гроба. — Пусть уж лучше... — и он красноречиво машет рукой.

И рука у него противная: короткопалая, с выпуклыми, как тараканьи спины, коричневыми ногтями, а сам он — оплывший, со слоновьиными глазками, салными волосами и грязными ушами, и, может быть, поэтому или еще почему, но меня начинает разбирать злость.

Что они знают о Кольке? Почему так легко распоряжаются его жизнью? Что им до Колькиных папы с мамой, до Нади? Да и меня, и любого своего они затопчут не моргнув глазом. Раньше я читал об этом. Сейчас я знаю наверное.

Второй стакан гасит мои разгорающиеся страсти, и они шипят как от злости, наполняя душу невыносимым смрадом. Третий — льется уже на пепел.

На работу не пошел... Ну и что, я в отгуле, что хочу, то и делаю, куда хочу — туда и еду. Или не еду. А что мне там делать? Каяться, бить себя в грудь? Пошли они...

И я просыпаюсь опять. В комнате плотные сумерки, за окном вечер. Общежитие гудит — сегодня пятница. На тумбочке стаканы, пустые бутылки, окурки. Почему-то сильно колотится сердце. На душе гнетущее ощущение беды. Свершившейся или грядущей — этого я не различаю, но давит, давит, давит. Странно. Что это может быть? Предчувствие? Может, следовательно получает сейчас разоблачающие материалы экспертизы из Алма-Аты? Может, в эту минуту погибает Колька? А может, сидят они сейчас рядом, и Колька режет правду-матку? Я кладу руку на грудь и вижу, как она подпрыгивает.

Беда, беда, беда...

Но с кем, какая беда?

Со мной, дурья башка, со мной. Со мной она давно. Та беда — еще не беда, а эта уж точно. А куда ж от нее денешься? Не спрячешься, не убежишь — под следствием. Что же делать? Что делать? Какой-то замкнутый круг. И нет друга, нет никого рядом, хотя бы мамы. Мама, мама... Увидимся ли? А Колька? Разве не друг? Колька уж не тот, с Колькой сложно... Почему не тот? А какой же он? Во всяком случае не такой, как эти скоты...

В коридоре раздаются шаги.

«Они! Опять!»

Я молниеносно распахиваю окно — благо первый этаж — спрыгиваю на землю и замираю, сдерживая дыхание. Все это инстинктивно, без единой мысли, неожиданно для себя. Все тихо, и комната моя темна. Нет, не они. Но они придут с минуты на минуту, обязательно придут. Что делать? Убежать? Куда? К Кольке! К Кольке потому, что ехать больше некуда — это я понимаю. Может, к Ире? Мне смешно. Решено — к Кольке. Сейчас же. Стоп: деньги?

Я подтягиваюсь на подоконник и, не зажигая света, шарю на своей полке гардероба. Там под бельем покоится моя первая тысяча для той райской жизни, которой мне уже не видать.

Может, к маме слетать? Хоть на один денек, вжик на самолете туда и обратно. А каково будет обратно? Нет. Мама все узнает после суда. Последней.

Я выпрыгиваю из окна и, прислушиваясь и приглядываясь, самыми темными переулками — благо их хватает, — пробираюсь к шоссе. И только там, далеко от поселка, я успокаиваюсь, распрямляюсь и поднимаю руку перед первыми же попутными фарами. Не остановился... И этот. И этот тоже. Мне странно, потому что я останавливаюсь всегда, хоть и спешу. Делов-то — два раза на тормоза нажать: раз посадил и раз высадил. Не из-за рубликов вовсе, а характер такой, мама говорит — жалостливый. Да и веселее...

Пролетевший было «газик» резко осаживает и гостеприимно распахивает дверцу. Я подбегаю, как можно теплее говорю: «Спасибо, друг!», плюхаюсь на сиденье... и вижу Почку.

Он мрачновато и презрительно смотрит на меня и не спешит завести мотор.

— Куда прикажете? — наконец спрашивает он.

Я чувствую, что все это для меня оскорбительно, хотя и не понимаю почему. В нюансах я потом разберусь, а теперь... Теперь я стращиваю усилием воли охватившее меня оцепенение и отвечаю в тон:

— К прокурору!

Он не вздрагивает, нет, вздрагивает разве лишь глазами, тут же завгар прищуривает их, но поздно, я видел. Секунду он молчит, сообщает и вдруг взрывается ненатуральным смехом:

— Ха-ха-ха! Ну, Сашок, ну юморист, ха-ха-ха! Молодец, насмешил, — хлопает меня по плечу и даже вытирает слезы. — Закуривай.

Я затыкаю рот сигаретой — и слава богу, потому что языку уже так и нейдется сгладить резкость, лизнуть хозяину руку.

— Чего к Квасюку не поехал? «Пылинка» в глаз попала? — добродушно спрашивает он и щелкает по горлу.

— Еду вот.

— Едешь? — Завгар явно озабочен и поглядывает на меня словно убеждаясь, что я не шучу. — Тогда стоп, заскочим на минуту ко мне, передашь ему кое-что.

Мы заезжаем, но выходит он без свертка или чего-нибудь, садится за руль, и мы едем молча. Иногда он поглядывает на меня, потом протягивает мне сложенный листок:

— Ознакомься.

В слабом свете приборного щитка, в тряске, я разбираю слово за словом. Сначала не верю, перечитываю, потом шкура моя спасенная охватывается мурашками, потом радость, огромная радость, счастье входят в меня с каждым новым словом: «Постановление о... прекращении уголовного дела... установлено... явилось результатом неосторожности пострадавшего... экспертиза полностью подтверждает установленные следствием факты, а также показания свидетелей... однако... халатность... техника безопасности...»

Остальное я не читаю, проглядываю несколько раз, боясь поднять глаза на Титыча, боясь окатить его своей мальчишеской радостью, телячьим счастьем — кончилось! А он добро усмехается, и мне хочется его расцеловать. Но я сдерживаюсь, глубоко вздыхаю и, преодолевая волнение, отворачиваюсь к черному окну: неужели все? Нет, это не сон. Я, Александр Агеев, вот мои руки, ноги, я еду в машине, мелькают столбы, шелестит асфальт, у меня есть мама, сестра, Мурашки, и у меня нет впереди ни допросов, ни суда, ни камеры, у меня нет страха. Теперь я такой же, как все, и счастлив, как все. Я еду в прошлое уже совсем не страшное, хоть и тягостное, но я же не преступник, я не убивал, не грабил, я просто крутнул рулем...

Жизнь возвращается в меня, вливается, и я чувствую это физически, я наслаждаюсь каждой минутой.

На вокзале, пока Почка берет билет, я лечу в ресторан, даю сушасшедшие чаевые и получаю бутылку коньяка. Завгар отводит ее рукой, сует мне билет и пачечку, завернутую в газету:

— Тут тысяча рублей. У тебя есть деньги?

— Тоже тысяча...

— С собой?

— Да.

Он испытующе смотрит на меня, пытаюсь, видимо, понять, для чего я взял с собой такую сумму, но ответа не находит. Да и как его найдешь, если я сам этого не знаю. Взял и все.

— Хорошо. Это столько, сколько нужно. Отдашь все, — он подчеркивает, — все матери Квасюка и без свидетелей. Понял? — И, посмотрев на меня внимательно, как смотрят на пьяного, желая определить степень его вменяемости, он добавляет: — Конец это или не конец — от тебя сейчас зависит. Возьмут — можно, пожалуй, пить коньяк. Понял? И не делай глупостей...

Он очень долго выныривал из этого, как ему казалось, сна. Несколько раз сознание вроде бы вселялось в него прочно, и тогда он слышал гул и дрожь вертолета, голоса, кашель, видел чьи-то лица, много белого, чувствовал покачивание носилок, незнакомые запахи, но ничего не понимал.

Теперьшей же явью оказался бугристый потолок с ползущей по нему зеленой мухой, белая лампа на желтом витом шнуре. Все остальное, видимо, было сном. Он долго соображал — откуда у них в ком-

нате такой потолок, такая лампа и куда делся его балдахин, сшитый из двух простыней, а потом, списав все на Сашкину самодеятельность, разозлился и повернулся на бок. Он повернулся, но вдруг с удивлением обнаружил, что лежит все так же и Сашку не видит. Он повернулся еще раз, рывком, и при этом прекрасно ощущал, как опирается на локоть, отталкивается от кровати ногами, поворачивает голову, но все та же маячила перед глазами лампа и та же зеленая муха ползла по потолку.

«Вот тварь! — разозлился он почему-то на муху и испугался. — Нажрался я вчера, что ли? А, может, еще сплю?»

Но он слышал звуки: голоса, шаги, радио, и на сон это было не похоже. Тогда он скосил сколько мог глаза, даже вроде бы чуть повернул голову и увидел мать. Он не удивился — слишком много странного было в это утро, но по ее лицу, напряженному, постаревшему, красным плакавшим глазам понял — что-то случилось. Почему-то он подумал, что случилось с отцом.

Он никогда особенно не тревожил себя воспоминаниями о родителях, да, честно говоря, никогда не скучал по ним. Живший с шестнадцати — вот уже десять лет — самостоятельной, вполне взрослой жизнью, он был лишен сентиментальности и даже про себя называл родителей не иначе, как отец, мать. Ему был непонятен Сашка, строчивший чуть не каждую неделю длиннющие письма домой. Он же не писал писем вообще. «Молчу, значит, порядок, а что случится — и без меня напишут», — говаривал он Сашке.

Теперь же, когда перед ним была мать с глазами, полными несчастья, забеспокоился он отчего-то об отце и вспомнил его так отчетливо, что хоть протягивай руку и трогай.

— Что приехала, с батей что-нибудь? — спросил он мать, но она, видимо, не расслышала, да и сам он не слышал своего голоса. Что-то мешало во рту, он пытался выплюнуть, но безуспешно.

Мать встрепенулась, крикнула куда-то в невидимое: «Тише, говорит он!» и лицо ее приблизилось вплотную:

— Колюша, роденький, ты меня слышишь?

— Да, — сказал он, и на этот раз она услышала.

Лицо ее метнулось куда-то, исчезло.

— Сестра, он пришел в себя, сестра, врача скорее!

«Видно, заболел я», — решил он удивленно. Мать опять склонилась над ним.

— Колюша, где болит?

Он прислушался к себе. Немного болело в голове и еще где-то внутри, но болело непонятно, незнакомо. Он знал, как болит живот, голова, как болит сломанное, растянутое, ушибленное, порезанное, но все это на нынешнюю боль не походило.

— Где больно, сыночка?

— Голова немного... и здесь... — Он хотел показать пальцем на грудь, но руки своей не увидел.

Что за хреновина? Квасок никогда не был слабаком, у него приличные бицепсы, и он напрягся что было сил, но руки своей опять не увидел.

— Мать!

Она застыла.

— Мать, что у меня с руками?

— Не поняла, Колюша, не поняла, повтори еще. — Глаза ее заматались виновато, и она замерла ухом возле его рта, и по тому, что дрожала от напряжения ее голова, что загорелая кожа на лбу побелела, стянута морщинами, он понял, как она хочет его услышать.

— С руками что?

Мать вздрогнула, но не отстранилась, продолжая слушать, и тогда он заорал ей в самое ухо:

— Руки!

— Руки? — переспросила мать удивленно. Она чуть отодвинулась, опустила глаза, и плечи ее задвигались: — Руки целые, руки хорошие, похудали трошки...

Что-то она делала с его рукой, то ли трогала, скорее всего гладила. Незнакомая боль внутри запульсировала в такт материнским плечам.

Он застонал и опять провалился в свой сон, успев заметить испугавшееся лицо матери.

Поезд приходит слишком рано, для того чтобы ехать в больницу. Я завтракаю в привокзальном ресторане, выстаиваю очередю за обратным билетом. Никогда еще я не ел так медленно и с такой терпимостью не стоял в очередях. Но как бы мне ни хотелось оттянуть посещение Кольки, день все равно наступает. И третий троллейбус, на котором мне ехать, как назло останавливается у вокзального подъезда.

На полчаса прилипаю я к остановке, не в силах подняться на то и дело возникающие передо мной ступеньки троллейбуса: они, рубчатые и стертые, кажутся мне ступеньками на эшафот. Ну и что дальше? — спрашиваю я себя, докурив очередную сигарету. Долго ты еще будешь здесь торчать? Не уедешь же ты обратно с двумя тысячами в кармане, не бросишь дело, так удачно заканчивающееся, на самотек? Бросить-то ты можешь, но не будешь ли потом кусать локти и рвать волосы? Столько пережито, столько сделано, остался, можно сказать, последний шаг... А, может, этот шаг ошибочный, может, эта взятка все испортит? Какая взятка, идиот, это помощь друзей. Они еще благодарны будут. И в конце концов ты приехал не взятку давать, а навестить больного друга, у тебя на лбу не написано, что в твоём кармане две тысячи, а дать или не дать — посмотришь по обстановке. И чего дурью маешься, всех дел на полчаса — и свободен!

И как только я представляю, что выхожу из больницы, что карман мой пуст, что впереди у меня спокойная жизнь, Москва, Мурашки (конечно, я здесь не останусь), я вскакиваю на подножку троллейбуса. Я выхожу на остановке «Больница» и почти бегу по аллеям, мимо корпусов, посетителей и больных в полосатых пижамах, мимо белых халатов, бегу, боясь передумать, остановиться, бегу, твердя как молитву:

— Корпус три, палата одиннадцать, корпус три, палата одиннадцать...

Но когда он встает передо мной, этот «корпус три» с чёрным зевом центрального входа и зубами ступенек, с высокими забеленными окнами, ноги мои вздрагивают, слабеют, я плюхаюсь на скамейку и сижу в каком-то оцепенении, тупо уставясь на двери...

И все-таки я вхожу в этот корпус, иду по кишке-коридору, иду, сгоревший внутри, пустой, безучастный, готовый ко всему. Пахнет спиртом, как и везде в больницах, и еще чем-то неприятным, но несомненно человеческим. Потом, когда я выйду отсюда, я буду знать, что это за запах: здесь, на первом этаже, этаже «беспозвоночных», не ходят в туалеты и души. Здесь не ходят вообще. Здесь таскают судна нянечки, здесь гниет в пролежнях человеческая кожа.

Я толкаю дверь одиннадцатой палаты.

Его сосед по койке справа лежал здесь пятнадцать лет. Звали его Иван Филиппович, лет ему было «под полтинник», как он говаривал сам. Был он совершенно лыс, круглоголов, на лицо, волосатую грудь и шею крепок, а руки имел худенькие и немощные, как у подростка. Впрочем, руки да и ноги здесь со временем становятся у всех одинаковыми. Глаза у Ивана Филипповича были темными, насмешливыми, нос картошкой, говор украинский, и обзаведись он усами — вылитый был бы запорожский казак. Последним местом работы Ивана Филипповича была средняя школа, где преподавал он черчение, а вообще-то кем только не был! Из разговоров выходило, что жизнь заставляла зани-

маться Ивана Филипповича всем, во всяком случае познания обо всем он имел обширные, начиная от скрытых для большинства нюансов политики внешней и внутренней и кончая шитьем бюстгалтеров: где какую строчку пустить, чтоб форма была и не терло. Над изголовьем его кровати висели на стене две полки с книгами (больше не разрешало вешать больничное начальство), на тумбочке находились не банки с клубникой, не яблоки, не апельсины, как у остальных, — кипа газет, придавленная транзистором и наушниками. В ногах на самодельной вращающейся подставке — портативный телевизор с дистанционным управлением. Всем этим Иван Филиппович обзавелся давно, очень давно, еще до того, как к нему перестали ходить его ученики и друзья, но уже после того, как его жена развелась с ним и вышла замуж опять.

Одиннадцатая палата считалась самой лучшей в отделении: здесь стояло четыре койки. На двух остальных лежали молодые ребята: один разбился на мотоцикле, другой пострадал по пьянке — в драке.

Память трудно возвращалась к Квасюку. Если б не Иван Филиппович, она, может, не вернулась и вовсе. Мудрый старик ни о чем не расспрашивал Николая, не насиловал его внезапно отказавший мозг, он рассказывал о его жизни сам, распутывал осторожно и не спеша клубок его воспоминаний, как распутывают рыбаки «бороду» — подергивая, потряхивая, интуицией нащупывая верный путь. При этом он косил на Николая глазами и следил за его реакцией.

— Да... Работал ты, значит, шофером, — говорил он негромким и протяжным голосом, словно сказитель, начинающий долгую и интересную историю. — Парень ты крепкий, стало быть, и машину имел соответствующую — «МАЗ» или даже «КРАЗ»... «МАЗ»? Ага, «КРАЗов»-то у нас негусто. «МАЗ—пятьсот четыре», дизелек, ага, хорошая машина. Кабина голубенькая, вперед откидывается, знаю... Ну а дома у тебя как? Мамку вижу, хорошая мамка, батя есть? Есть. Не удивляйся, что спрашиваю, по нынешним временам приходится про отцов осторожничать. Через одну семью рушатся... Все хотят для себя пожить и по-своему, все с норовом. Батя-то механизатор небось? На тракторе? Комбайне? Так... Дом свой, сад, конечно, яблочки... Брат, сестра есть? Есть. Брат? Наверное, меньшей? По мамке вижу, по возрасту. Это хорошо...

Все узнал он про него, даже не раскрывшего рта, все разложил по полочкам, только о случае, приведшем Кольку в эту палату, как ни старался старик, не узнал ничего. Молчал Колька. Сначала молчал, потому что сам ничего не помнил, потом, подталкиваемый любопытством соседа, его наводящими вопросами, по шажку, по грамульке, вспомнил все: Сашку, Титыча, Надю, последнюю охоту. Не понимал он только, что случилось тогда, как изуродовался он до такой степени. Последнее, что помнил Квасюк — крик: «Сайга!» и то, как срывал с плеча ружье.

«Может, в яму Сашка ухнул? А с другими что? Живы ли?»

Он часто думал об этом, и его уверенность в трагическом исходе крепла; он гнал от себя эти мысли, гнал, но не очень, потому что после них приходило — редкий гость — облегчение; временами он чувствовал себя счастливым, что вот он, Квасюк, жив остался. Остальное ерунда, затянется-поправится, главное, что жив. А ребят жалко, хороший Сашка был парень, и Титыч, и остальные...

К приходу следователя он не был готов совершенно. Однажды после завтрака в дверях палаты вместе с заведующим отделением появился парень в наброшенном на плечи халате. Парень Кольке понравился, он любил ребят аккуратных, интеллигентных. Не все мужчины (в отличие от женщин) замечают друг у друга элегантный, хорошо подобраный галстук, свежайшую рубашку — Колька замечал. Мало того, прикидывал все это на себя в невесть откуда взявшейся убежденности, что сам он может быть таким и обязательно будет, как только появятся условия: поступит он в институт или техникум...

Парень подошел к его кровати и представился:

— Следователь городской прокуратуры Гилевич Борис Михайлович.

Душа Колькина ухнула куда-то вниз, значительно ниже пяток, и за те секунды, что следователь раскрывал свой портфель, доставал чистые листы бумаги, ручку, Колька решил, что кто-то его продал, рассказал обо всех охотах и теперь ему не сдобровать.

— Расскажите, пожалуйста, как это произошло.

Предупрежденный врачами о неважном состоянии пострадавшего, Гилевич решил не отвлекаться на мелочи, а взять быка за рога. Свидетели были уже опрошены, и дело представлялось ему ясным.

— Что... произошло? — спросил Колька пересохшими губами.

— Ну... случай с вами. Как вы выпали из машины.

— Выпал? — удивился Квасюк. Он соображал: «Выпал, значит, я один? Выходит, машина не разбилась? Может, он и не знает про охоту? А почему же я выпал?..»

— А остальные? — спросил он.

— Что остальные?

— Остальные не выпали?

— А почему они должны были выпасть? — насторожился (так Кольке показалось) следователь.

«Значит, он не знает об охоте».

— Да нет, не должны. Я просто не помню..

Пока Кольке было легко: он действительно именно этого не помнил. Если бы сейчас последовал вопрос: «Расскажите все, что помните до этого момента», он бы рассказал правду, потому что боялся врать, да и не успел ничего придумать. Сваливать же так много на память ему казалось неправдоподобным.

Следователя предупреждали, что у пострадавшего была почти полная потеря памяти, и навряд ли тот сможет быть ему полезен. О плодотворной роли Ивана Филипповича, прислушивающегося сейчас к их беседе, не догадывался, конечно, никто, даже Колькина мать, сидящая рядом. И поэтому следователь, чтобы не тратить время на то, на что потратил его уже Иван Филиппович, решил помочь пострадавшему вспомнить обстоятельства несчастного случая. Приезжать сюда второй раз ему не хотелось. Он достал свидетельские показания Агеева и прочитал, что машина была послана завгаром на скважину, что пострадавший, ехавший в кузове, видимо, прикуривал, оторвав руки от борта, так как недалеко от места его падения была обнаружена пачка сигарет и коробок со спичками.

Следователь читал и поглядывал на Кольку. Вся палата, мать, Иван Филиппович затихли. Колька слушал внимательно, и следователь отмечал это, но относил на счет провалов в памяти пострадавшего. Одновременно он с досадой думал о том, что навряд ли выберется отсюда скоро.

— Так ли все это было? — закончил он вопросом. — Может быть, вы что-нибудь вспомнили?

— Вспомнил... конечно... Так и было, — сказал Колька единственное, что ему оставалось. Ведь не рассказывать же, что была охота на сайгаков, что охот таких было много и что этих самых заповедных животных на его совести не счесть.

«А ребята молодцы, — подумал с теплотой Квасюк, — не продали».

Следователь задал еще несколько вопросов — неопасных, уточняющих, долго писал, потом протянул Кольке ручку:

— Распишитесь.

Квасюк поднять руки не смог, но разжал пальцы и пошевелил ими. Следователь спохватился, покраснел и растерянно оглянулся на мать, на врача, стоящих в дверях...

Врач, пожилая, но еще имеющая право молодиться женщина, говорила бодро и улыбаясь, как говорят обычно с детьми:

— Ну, расписаться мы пока не можем, а крестик — поставим.

Колька поставил крестик, следовательно, распрощавшись со всеми и пожелав Кольке скорейшего выздоровления, вышел, и все в палате вернулось к обычной жизни: процедурам, осмотрам. Мать принялась менять Кольке постельное белье, переваливая сына на бок, протирать чем-то его пролежни.

Иван Филиппович против обыкновения молчал. Он заметил Колькино смятение при появлении следователя и был теперь уверен, что история Квасюка не простая история, и испытывал больше любопытство, чем желание помочь. Однако в том, что помощь здесь необходима, он не сомневался. Но Колька молчал и исповедоваться, судя по всему, не собирался.

Иван Филиппович вздохнул, пустился в обычные разговоры и только вечером после программы «Время» запалил сухой хворост рассказов о случаях, приведших сюда многих, кого он знал, и о чудесных исцелениях. Включились остальные, даже Колька припомнил одного парня из их полка. Иван Филиппович сделал паузу, дав им наговориться, и, когда уж никто не смог бы вспомнить, кто именно начал этот разговор, он, посмеиваясь, рассказал случай, будто бы происшедший года три назад, а на самом деле придуманный им самим сегодня.

Лежал якобы здесь парень из строителей. Воровал он с друзьями пиломатериалы ночью через забор. И в авральной той работе шофер сдал не туда, и давануло парня бревном.

— Диагноз точно твой был, — небрежно бросил он Кольке (рассказывал-то он в другую сторону), — тоже следователи тут ходили, но не об этом речь. Год провалялся хлопец, и то пробовал и это — ничего не помогало. Достали ему прополис — штука такая пчелиная, редкая штука, дорога-а-я, и как рукой сняло. — Он помолчал. — Но это тоже когда как, одному поможет, другому нет. Пробовать все надо, — заключил он.

— Как писать-то ее, Иван Филиппович? «Лис» или «люс»? — Мать старательно выводила на клочке газеты корявые буквы.

— «Лис», Ганна Давыдовна, «лис». Про-по-лис, — повторил он громко и по складам.

— И мне напишите, мамо, — попросил мотоциклист. — От сюдой, на тумбочку, положьте.

— И мне... — подал голос драчун.

Прошло некоторое время, прежде чем Колька спросил нарочито равнодушно:

— И что, его посадили, парня-то?

— А... — «вспомнил» Филиппыч. — А за что его сажать?

— Как? Воровал же.

— Э-э-э нет. Во-первых, не успели они загрузиться, а что было — вывалили, во-вторых, и это главное, он же — пострадавший. А виноватый — шофер, с него и присудили парню этому алименты платить...

— Еще и алименты?

— А как же? Виноватый в любом деле есть, и в твоём тоже.

Колька хмыкнул, а мать насторожилась, полуобернувшись к Ивану Филипповичу.

— Ты молод, Николай, и потому ошибаешься чаще положенного. За одни ошибки двойки ставят, выговоры получают, а эти твои — матери да отцу потом выльются. Можно даже в рублях посчитать. В том кузове борта были наращены? Скамейки были?

— Нет...

— Вот и весь сказ. Машина не предназначалась для перевозки людей. Кто тебя туда посадил, кто вез, тот и виноват.

— А богато ли алиментов этих берут? — спросила мать.

— Суд решает. А вообще-то процентов двадцать пять с зарплаты виноватого.

Мать отвернулась, замолчала, перебирая складки юбки, поерзала-поерзала и все же не вытсрпела:

— Колю, сынок, сколько той хлопче грошей мае? Ну той, шо тэбэ виз?

— Сколько получает — все его. Он тут ни при чем. А завгар тем более. Не фигу было мне, дураку... вскакивать.

Он хотел сказать «на охоту ехать», а получилось «вскакивать». И Квасюк вдруг вспомнил все. Вспомнил, что пошла сайга, что гнали ее, что он вскочил в полный рост, как часто вскакивал при гоне, вспомнил даже рогача, в какого целил, но мушка вдруг ушла в сторону, а кузов из-под ног...

Но такыр этот, он хорошо помнил, идеально ровен. Уж не крутнул ли Сашка руль? От внезапной догадки по его бесчувственной спине побежали мурашки, и он успел обрадоваться этому как хорошему признаку, но радоваться было некогда, он думал.

«Конечно, крутнул, что же еще? — догадка превратилась в уверенность. — Идиот! Кто же в гоне так делает!» А почему крутнул — здесь ничего Квасюк сказать не мог: может, баллон спустил, тяги рассыпались, да мало ли что!

Квасюк почувствовал жгучее любопытство: что же все-таки было? «Приедет, — подумал он, — спрошу».

Я толкаю дверь одиннадцатой палаты и вхожу. В палате четыре огромные койки. Нет, это не койки, это какие-то агрегаты, внутри которых лежат люди; под ними рычаги, противовесы, пружины. В ногах и изголовьях хомуты, ремни, трубки, сосуды, приборы... Все это я не рассматриваю — улавливаю боковым зрением, пока перевожу взгляд с лица на лицо, ища Кольку.

Колька в самом углу, я узнаю его, но боюсь двинуться туда, чувствуя начинающийся озноб. Голова его в ремнях и под подбородком притянута к спинке. Ноги под простыней, но там тоже есть какая-то растягивающая конструкция. В изголовьях на столике целая лаборатория, из недр которой тянется Кольке в угол рта прозрачная пластиковая трубочка. Глаза его открыты, но он меня не видит, так как смотрит вверх. Над ним хлопочет пожилая сухонькая женщина в белом халате, но по ее глазам, по движениям рук, по всему ее облику, в котором сквозит горестное, непоправимое, я понимаю, что это Колькина мать.

— Здравствуйте, — говорю я ей. — Я к Коле... Можно?

Она выпрямляется, настороженно и неприязненно смотрит на меня, отступает на шаг от табуретки, освобождая мне место у кровати. Я заглотив свое имя, которое собирался назвать, я испугался, что после этого она бросится на меня в истерическом припадке.

— Коля, здравствуй, — склоняюсь я над своим другом.

Руки его, недвижно лежащие поверх простыни, худы и немощны, голова, стиснутая ремнями, острижена под «нулевку», лицо без опухоли, но худое с желтоватым оттенком, желты даже белки глаз. Равнодушные глаза его отзываются мне, сияются улыбнуться, и, зажав трубку зубами, он произносит на выдохе:

— Здрав... Сань...

Я вдруг вспоминаю кузов, тряску и: «Коль, ты меня слышишь? Колька, слышишь?..», и в носу у меня щекочет, глаза наливаются слезами. Стоп! — ору я себе, зажмуриваясь на мгновение.

— Как чувствуешь себя? — задаю я глупый вопрос, и глаза его растеряны. «Как видишь», — говорят они и зовут меня нагнуться.

— Привет тебе большой от всех ребят, от Почки... — нашептываю я, радуясь, что нашел спасительную тему, ведь у постели больного надо говорить. Но глаза его нетерпеливы, они не слушают, перебивают меня, и я замолкаю.

— Сань... что было там? Почему упал я? — шепчет он, и я в панике: что ответить?

Я медлю, сглатываю ком и говорю жалобно:

— Прикуривал ты, Коль... по заданию Почки... мы ехали...

— Не-ет, — морщится он и говорит едва слышно: — Помню... охота была... стоял я... А ты-то что? Крутнул, что ли?

Меня охватывает холодная волна страха и напряжения. Я не успеваю подумать о том, как важен этот миг, как опасен, я просто чувствую это телом и, приготовившись сказать «нет», я смотрю в его глаза и киваю головой.

— Зачем?! — Такая боль, такое отчаяние в Кольке!

— Разделилось оно... Коль. Я сначала за одним... а потом... — выдавливаю я в ужасе и холодею, как труп. Глаза его тухнут, отпускают меня.

— Кто же так...

— Стоял-то зачем, Коль? — пытаюсь я оправдаться. — Зачем, Коль?

— Я ж всегда... на такыре...

— Не видал я. Не видал. В кабине же... прости.

Колька молчит, глядя сквозь меня и, по-моему, не слышит.

— Все, хватит. Устал он, — чувствую я на плече цепкую и твердую руку. Я поднимаюсь и выхожу в коридор. Достая пачку, встряхиваю, но не обнаружив в ней сигарет, недоуменно разглядываю ее. Ах, да! Открыв дверь, зову мать:

— Можно вас?

Она появляется, опустив сцепленные руки, я вкладываю в эти руки деньги.

— Друзья собрали. Для Коли. Подарок.

Она не видит, что в руках, да и не смотрит.

— Может быть... Достанете лекарство Колюше... — Ее лицо становится умоляющим. — Какое-то...

Она роется в кармане халата правой рукой, зажав в левой деньги и читает с трудом на клочке бумаги:

— Про-по-лис... Пчелинэ...

— Будет лекарство. Я запомнил.

И, не оборачиваясь, я ухожу по коридору.

Мать вернулась в палату. Колька не видел ее, слышал шаркающие шаги. Ожил Иван Филиппович, подал голос, спросил:

— Что это у вас, Ганна Давыдовна?

— О, ты дьви... гроши!

— Тот парень дал?

— Да. Казав, от друзив. — Волнуясь, она говорила по-украински.

— Богато грошив-то? — в тон ей спросил Филиппович.

— Богато...

В Колькином секторе зрения появилась голова матери, недоуменно рассматривающая что-то.

— Посчитаем?

Мать села на краешек кровати Филиппыча, и Колька услышал шелест сухих пальцев матери и хруст купюр.

— Раз, два, три, четыре... — считал бесстрастный голос Филиппыча, а Колька все никак не мог сосредоточиться, сообразить: что все это значит? Он напряг память, вдумался в только что услышанное: «Гроши... Тот парень дал... От друзей...»

— Сорок, сорок один, сорок два...

«Это Сашка, что ли, привез? Видно, ребята скинулись на лекарства да на разные больничные дела, вот молодцы».

— Восемьдесят семь, восемьдесят восемь...

Восемьдесят восемь — «туда-сюда», как говаривал отец, доставая из лотошного мешка этот пузатый бочонок. Кольке вспомнилось, как однажды принес отец коробку и торжественно водрузил ее на стол: «Вот, мать, достал что. Дефицит по нынешним временам, приправа к самовару».

Так он стал называть лото. Самовар он привез еще раньше, грязно-зеленый, сплошь поломанный, но, отчищенный и отремонтированный отцом, тот оказался красавцем — медным, тульским, медалистым. В самовар отец загружал непременно шишки, непременно еловые, и как ставили его, жаркий, на стол, да как упивались всем семейством чаем! И чай такой вкусный отродясь Колька не пивал. Брал потом отец холщовый лотошный мешочек, с треском мял, встряхивал, и в мохнатых бровях его на весь вечер застывало что-то детское, азартное, когда, пошебуршив рукой в мешочке, торжественно, словно стопку, подносил он к глазам очередной бочонок и объявлял: «Барабанные палочки!», или «Туда-сюда!», или «Дедушка!» И видно было, что нравились ему эти словечки. Но выигрывала, обыкновенно, мама. Сидела она тихонько, но напряженно, будто школьница на контрольной, зажав полную горстку фишек, и когда отец, лукаво косясь на нее, убыстрял темп, она закусывала губу, ерзала от возмущения, но молчала, боясь пропустить очередную цифру. Но стоило ей всплеснуть руками, прижать их к горячим щекам и торопливо охнуть: «Закрыла!», как отец замирал на полуслове, выказывая неподдельную досаду: «Быть того не может!» Мать виновато глядела на него, пугалась его неприменной проверки, и глаза ее брызгали мгновенной радостью, когда все сходилось.

— Сто двадцать, сто двадцать один, сто двадцать два...

Квасюк было задремал под мерный этот счет и сладкие воспоминания, как вдруг услышал: «Двести!», и счет прекратился. Он открыл глаза, прислушался — все было тихо. Куда ж они делись?

— Двести червонцев, Ганна Давыдовна, — подытожил Филиппыч. — Две тысячи рублей, стало быть.

Голоса матери Колька не услышал, потому что она, изумленная, смотрела на расплзшиеся по одеялу червонцы, боясь к ним притронуться.

— Дви... Дви тысячи... Куда ж вони мэни? За шо?..

— За то, Давыдовна, что дело это, как я понимаю, темное, и Николай не по своей вине разбился. Откупные это деньги...

— Брать их не можно, Иван Филиппович?

— Брать-то можно, да только тут меньше, чем причитается.

— Меньше?

— Считайте: рублей четыреста, а то и боле шофер тот получает в месяц? Получает. Двадцать пять процентов будет сто с хвостиком. В год, значит, почти полторы тыщи. Хорошо Николай твой поправится, никакие деньги тогда не нужны, ну, а будет, как я, — Филиппыч понижает голос, — на что поить-кормить будешь? Капля эти деньги против того, что с виноватых причитается. Вот так-то...

— Колю, сыну мий, цэ правда? Воны повинны?.. — возникла мать над Колькой, прижимая к груди деньги. — Воны? — гневно трясла она руками, будто имея в виду эти красненькие бумажки, хлопьями падающие на пол.

Колька не успел закрыть глаза и чувствовал, что они наполняются слезами. Закроешь теперь — выдавятся слезки-то, скатятся на подушку, напугают мать.

Внезапно он вспомнил себя идущим. Кончики пальцев, ступни, каждую мышцу, даже гвоздь в пятке сапога своего, надоедливый гвоздь, который трижды забивал Колька и который всякий раз вылезал снова, вспомнил Квасюк. «Пассатижамы его надо было, гада! Вытащить, и все тут...» — осенила его горькая и запоздалая догадка.

Он идет. Мелькает мимо город: лицами, машинами, домами. Он спешит. Кого-то задевает, извиняется, сбегает по ступенькам, перепрыгивает лужи... Где это было? Когда? Колька этого не знает и не пытается вспомнить. Он, потерявший границу между реальным и воображаемым, упивается сейчас счастьем идти, бежать, махать руками, владеть своим телом, чувствовать его. Толчок ноги — и он в воздухе, рывок — догоняет троллейбус, прыжок — и ветка тополя в руках, — каж-

дое движение окатывает его холодной волной восторга. Он не видит и не слышит ничего в одиннадцатой палате; воспоминание его уже нельзя назвать воспоминанием, потому что ничего подобного в его жизни не было, это скорее прозрение, мечта, и мечта настолько осязаемая, что кажется реальнее любой действительности. Бывают такие желанные сны, что и щиплешь себя, и спрашиваешь не раз — не сон ли это, и самый этот вопрос убеждает тебя, что нет, не сон, а все равно просыпаясь...

...Резкий звук вернул Квасюка в одиннадцатую палату. Это мать, отчаявшись дозваться его, лежащего с открытыми, пустыми глазами, подумала о страшном и закричала, оседая на пол.

В глазах Квасюка медленно, как изображение на фотографии, проявилась мысль, они ожили. Он вернулся в себя, в то, что еще недавно казалось ему временным, преодолимым, несовместимым с ним, Николаем Квасюком. Вера в исцеление, в чудодейственные лекарства жила в нем так же, как и в его товарищах по палате, как живет она в каждом обреченном человеке, и только избранным, только сильным дано несчастье беспристрастными быть к самим себе, какими бываем и мы, слабые люди, но по отношению к другим.

А сейчас Квасюк почувствовал себя Сашкой, сбегавшим по ступенькам больницы к счастью: сутолоке, движению, запахам, звукам, женщинам... Он уходит все дальше и дальше, прочь от недвижимого, желтого, распятого человека, каким сделало недавнего друга одно неразумное движение его рук. Иногда воспоминания становятся особенно острыми, и он бежит, распахнув городу все свои пять чувств, через которые вливается в него окружающее и гасит, как сода изжогу, невыносимое жжение совести. Друг все реже и слабее звучит в нем, вытесняемый другим, только что виденным человеком, о котором наконец он думает, останавливаясь у троллейбуса и успокаиваясь: «Нет. Не жилец это. Не жилец».

И ненависть сотрясает Квасюка, от нее дрожат руки, скрипят зубы, выкатываются слезы: почему счастье дано тому, кто угробил его, кто никогда это счастье не оценит и нигде не найдет его в своей жизни, куда бы ни привела судьба — в суд ли, за решетку, к исполнительному листу? Какая кара уравнивает то, что страшнее смерти, и почему для того, чтобы открыть себя в прошлом счастливым, надо лежать с переломанным хребтом?..

— Мать, — сказал он глухо, — возьми бумагу.

Я еду — тем же самым поездом, которым ехал совсем недавно беззаботно, радостно, ощущая жесткие от погон плечи. Кажется, что это было так давно! И таким другим, детским, что ли, я был тогда, что, может, даже и не со мной это было? Сдвинь судьба на пару цифр мое место в вагоне, и она сложилась бы иначе...

Мне тяжело среди недостижимых для меня людей: жующих, храпящих, играющих в карты, и я ухожу в тамбур.

Колька... Он стоит перед моими глазами. Беспомощный, растянутый. Получеловек. Таким его сделал я. Нарочно, ненарочно — это аргументы младшего школьного возраста. Постановление о прекращении дела кажется теперь глупой бумажкой, такой же глупой, как и я сам, радовавшийся ей. Чем поможет она Кольке? Что принесет ему, кроме горечи? Что значат мои страхи о собственной судьбе в сравнении с его трагедией? После одиннадцатой палаты у меня появилась новая мера человеческого несчастья. Чем могу я помочь Кольке? Поселиться в Караганде, дежурить у его постели, предупреждая малейшие желания? Достать прополис? Найти лучших врачей? Это сделают без меня. Чем же? Ничем. Ничем я не могу помочь моему другу. Зато могу помочь другим, кто придет после Кольки и меня, кто попадет в крепкие руки Почки и пойдет по проторенной нами дорожке. Ведь и мы шли по чьей-то... Вывести гадов на чистую воду! А самому загреметь под фан-

фары? Кому от этого будет легче? Тебе, хлебающему баланду? Нет. Родным твоим? Нет. Кольке? Наверяд ли. Какому-то не известному никому парню? Да. Ты что, псих, что ли?

Навёрное, мерзавец сидит в каждом. И частенько он пускается в полемику с совестью. Он уводит все дальше и дальше от истины, и поле ее ослабевает. В поле этом находится каждый. Но хорошо ли всей предыдущей жизнью намагничена внутри нас «стрелка», улавливающая его?..

Я устал думать. Но мозг не подчиняется, у него своя задача — самосохранение, и он трудится беспрерывно. Пока стучат колеса, покачиваются вагоны, а мне надо только думать, я думаю оптимистично, правильно, решительно. Искренне верю в то, что у меня достанет сил поступить так. Когда же я остаюсь на грязной захолустной платформе один, и сильный ветер сечет песком лицо, треплет словно злой пес одежду, и нет вокруг ни единой участливой души, зато прокуратура совсем неподалеку, когда настает пора действовать — решительность покидает меня. Воротясь из другого мира к себе прежнему: сопливному трусоватому пацану, я не презираю себя, даже не злюсь, а констатирую покорностью происходящему и печаль, какую, вероятно, испытывают сельские девочки, расходясь после индийского фильма по хлюпающей грязи: красиво, но не наше.

Что делать мне? Возвращаться туда, откуда сутки назад панически бежал? Войти в комнату, где на тумбочке по-прежнему стоят пустые водочные бутылки, стаканы, гора окурков, где неистребимый Колькин дух каждую секунду будет терзать мою совесть? Где Почка вертит мной как хочет, а шпана приручила меня, как щенка, который, взъерошив шерсть, сам себе кажется очень грозным, а окружающим — пушистым, и всякий лапает его когда хочет?

Засунув руки в карманы и подняв воротник пиджака, я бреду от вокзала через весь городишко к шоссе на Еки-Булак. На выбитых улицах ни единого фонаря, и лишь луна да свет из окон позволяют не сломать себе шею. Редкий грузовик проревет в пустынных перекрестках и пронесется мимо, лязгая кузовом и обдав теплой соляжкой.

Что-то заставляет меня поднять голову, и я остаиваюсь: передо мной Ирин дом. Я нахожу ее окна. Оказывается, они светятся удивительным розовым светом. Я вспоминаю ее и не чувствую никакого отращения. Наоборот, в душе шевелится что-то теплое: она несчастлива так же, как и я, она поймет меня. И мне хочется ее видеть. Я поднимаюсь и звоню.

— Ты?!

То ли от полутьмы прихожей, то ли оттого, что Ира надолго выпала из моего нынешнего существования, но ее лицо кажется мне симпатичным. Она причесана и подкрашена. Длинный халат из материи даже на вид тяжелой, скользкой и холодной придает ей нечто аристократическое. Удивление ее искреннее и, похоже, радостное. Судя по тишине в квартире, отсутствию табачного дыма и широко открытой двери, она одна.

— Я. Прости, если некстати. Тогда уйду.

— Нет, что ты. Проходи, пожалуйста, — говорит она.

Несколько шагов Ира шла за его высокой, немного нескладной фигурой, уже не по-юношески широкой, и чувствовала, что где-то ошиблась, что-то сделала не так. Тогда она шла к Надежде, зная, что будет какой-то демобилизованный, шла нехотя, предвидя его масляные глаза и тот набор, с помощью которого будут ее обольщать. Все оказалось не так. Сначала она удивилась, потом разозлилась, потом... Проснувшись утром, наплакавшись от стыда, она поняла, что влюбилась...

И до нее дошли слухи об истории, происшедшей в Еки-Булак. Подробностей никто не знал, и плели бог знает что. Однажды Ира услышала фамилии: разбился Квасюк, молодой парень, а угробил его Агеев,

тоже молодой, из демобилизованных. Она не знала таких, но сердце ее заняло: не он ли? Вечером она спросила подругу:

— Ты Саши фамилию не знаешь?

— Нет, он там недавно.

— А Кольку твоего как? — задала она вопрос уже по инерции.

— Квасюк.

Иру будто окатило холодной водой. «Не скажу, — решила она, — пока не узнаю точно». На следующий день, простояв час на шоссе, останавившая машины геологической партии, она узнала, что с Колькой беда, но он жив, лежит в Караганде, а Саша (это был именно он) в роде и не виноват.

Сколько могла она молчала, выпытывая в бесконечных разговорах глубину Надиного чувства, и подготавливала ее как умела:

— Знаешь, Надежда, а мне он не очень.

Надя смотрела ранеными глазами:

— Что ты о нем знаешь?

— Глупенькая, все-таки я на три года старше и парней у меня было больше. И не просто парней... Да, — говорила Ира спокойно в ответ на колющий взгляд. — Не вижу в этом ничего ужасного. И аморального тоже. Ведь любить по-настоящему можно лишь то, что знаешь. Вот и приходится узнавать и перечеркивать: не он, опять не он. А вот это — он, — вспомнила она Сашу. — Да и то, бывает, ошибаешься...

Ира понимала, что говорит пошлости. Но в Наде это было единственное уязвимое место, и она разрабатывала его, увлекаясь подчас и веря в то, что говорила. Она рассказала, что успела узнать сама, слышала или просто придумала на ходу. Ира говорила, но вдруг, на секунду сумев представить себя на Надином месте, совершенно ясно увидела: есть такие вещи, которые нельзя понять с чужих слов, которые доходят только через собственные слезы, пустые годы, измотанные нервы. И Ира замолчала на весь вечер. А на второй, когда поняла, что своими разговорами она без конца напоминает Наде о Николае и не только не ослабляет любовь к нему, но усиливает, рассказала все.

— Это неправда, — сказала Надя тихо.

Ира что-то возразила. Надя поблédнела, и глаза ее остановились.

— Этого не может быть... — потерла Надя лоб дрожащими пальцами. — Что с ним?

— Перелом... позвоночника, — еле выговорила Ира и встала вслед за подругой.

Надя с неподвижным лицом, натываясь на вещи, прошла на кухню, огляделась, нахмурилась, точно сию секунду что-то вспомнить, вернулась и перед коридорной дверью внезапно остановилась так, что на нее чуть не налетела Ирина. Не оборачиваясь, спросила:

— Ведь это серьезно?

— Не знаю, — соврала та.

Ночь Ирина провела у Нади. А на следующий день, то есть сегодня, Надя уехала в Караганду, и Ира ее не отговаривала.

И вдруг — Саша!

Ира шла за ним в комнату, мучаясь тем, что где-то ошиблась, что-то сделала не так, и наконец поняла: закричать от радости, броситься ему на шею — вот что захотелось ей тогда, когда открыла входную дверь.

Саша сел в кресло, вытащил сигарету, и она разглядела: он неожиданно повзрослел. Больше всего глаза. Они запали, потемнели, обморщили даже, глядели так, что если б Ира и не знала, что за ними горе, то все равно догадалась бы.

— А где Надя? — неопределенно махнул он рукой.

— Уехала. Сегодня. К нему.

— Вы знаете? — спросил он, покусывая губы.

— Немного.

Он вскинул глаза, и внутри его что-то дернулось.

— Это я его... убил.

— Он умер?!

— Нет. Но лучше бы... умер.

Эта фраза далась ему нелегко. Он порывисто вздохнул перед последним словом, побелевшие пальцы правой руки сорвались с поручня кресла, сжались в кулак, кулак взметнулся и бессильно растекся ладонью по лицу.

— О-ох, — простонал он глухо из-под ладони, — если б ты знала, как все это тяжело!..

Она встала на колени, обняла его голову, поцеловала его куда-то между пальцев, прижала к себе, опять поцеловала и опять прижала крепко-крепко. Не зная, как именно все произошло, Ира почти физически ощущала тяжесть случившегося и не тешила себя иллюзиями: он пришел к ней не с любовью — с бедой.

— Мы поехали на охоту, понимаешь, на сайгаков, я сидел за рулем, но я тоже стрелял... до этого... убивал их, понимаешь? — заговорил он горячо, внезапно, и его трясла дрожь. — А тут сел я за руль. Колька в кузове стрелял стоя, а я резко крутнул в одну сторону, потом в другую... Так не делают на охоте, понимаешь? А он стоял во весь рост и не удержался... А на спидометре сто, понимаешь? А с нами были еще... ну, начальники, и они сказали, что лучше не говорить... ну, будто бы не было охоты, а ехали по делу, поняла? И следовательно мы все наврали, и дело это закрыли, вчера бумага пришла...

Он споткнулся, словно обнаружив, что больше и рассказывать-то нечего, но затихнув, помолчав немного, он резко выпрямился, ударив ее головой по подбородку, и она ощутила во рту кровь с прикушенного языка; Саша же, не заметив этого, вскочил и, тряся перед собой руками, закричал на нее, и в глазах у него было презрение:

— Я знаю, знаю наперед, что ты мне скажешь! Ты не виноват, его никто не заставлял ехать, он сам взрослый, сам отвечает за свои поступки, дело закрыли, зачем теперь признаваться! Так ты скажешь? Так?! — рубанул он рукой и отвернулся к окну.

Ира, ошеломленная, молчала.

— Ну что ты молчишь, что? — Саша метнулся к ней, но в голосе его уже были жалоба и мольба. — Я не прав? Ты думаешь по-другому? Тогда скажи!

Он простоял секунду с протянутой к ней ладонью, и лицо его смягчилось, видимо, что-то было в ее взгляде, в ней самой, только что успевшей подняться с колен, такое, что отрезвило его. Он опустил руку, отошел на шаг, увидел сигареты, дернулся было, но не взял их. Ира поняла это так, что он не все сказал. И точно.

— Я не могу так, Ирина. — Он говорил уже спокойно, но ее полное имя, произнесенное им, показалось ей теперь подачкой. — Раз за разом я делаю не то, что хочу. Не хотел сюда ехать — поехал, не хотел бить сайгу — бил, врать не хотел на следствии — врал, деньги Колькиной матери совать — совал, пить с падалью — пил! — Голос его повышался, и последнее слово уже обрызгало Ирину слюной. — Колька висит надо мной везде, я не могу быть в нашей комнате, хоть я и спрятал все его вещи, даже в гараже мне кажется, что его «МАЗ» хочет задавить меня! Уехать? Но бежать я тоже не могу!.. Я хотел пойти в прокуратуру и все рассказать, а там пусть делают, что хотят. Но... не так это просто... у меня ведь тоже... сестра, мать старая... одна.

Голос его сорвался, и Ира увидела, что он едва сдерживает слезы. Справившись с собой, он спросил, не поднимая головы:

— Что скажешь?

Спросил больше так, по инерции, чем рассчитывая на ответ.

Саша был прав. Он угадал то, что она хотела ему сказать. Вернее, не угадал, а вычислил. Вычислил ее. Он умный, он все понимает. И оттого, что она такая дура, что любовь ее без надобности, советы ее что стенка для теннисиста: как пошлешь — так и отскочит, а она сама в

лучшем случае вовремя подвернувшаяся девочка, — ото всей этой безнадеги она разозлилась.

— Я тебя очень ждала, Саша. Хотела сказать, что люблю тебя. Но ты не мучайся — я ошиблась. Ты человек добрый, слабый... — она подумала, — самолюбивый. И самолюбие твое мешает стать тебе сейчас таким, как все. Да все такие, Саша. Они идут на поводке у обстоятельств, как шел ты, как иду я, они гадят, подличают или просто молчат, они гуляют, пьют, когда им сходит с рук, как тебе. И у всех есть совесть! Но она забита и выдрессирована формулой «жизнь заставляет». Что ты глаза раскрыл? Читали и мы кое-что... Ты угадал все, что я хотела сказать тебе. А теперь скажу вот что. Сделаешь как хочешь — ты сильный. А нет — такой, как все. А там уж решай сам... Все очень просто. Со стороны. И сложно, когда касается собственной кожи. И вообще, — сказала Ира, гася сигарету, — мне смертельно надоело всех успокаивать. Меня бы кто-нибудь успокоил.. Ну, пора спать, утро вечера мудренее. Тебе на полу стелить или как?

Пожимая плечами, Саша смотрел на нее смиренно и удивленно.

— Ладно, все равно перелезешь. Ложись, я скоро. — И Ира ушла в ванную.

Потом, уже в постели, она тихо и горько плакала, затихала, ласкала его, жалея, но не смея отговаривать, советовала что-то, опять плакала; он больше молчал, мгновенно отвечал ей на ласки; в слабом свете простыней ее лицо казалось ему прекрасным, а его ей — почему-то счастливым, и уснули они не скоро.

Я просыпаюсь словно от толчка. Это нервы. Мне кажется, что я вообще не спал. Смешно, может быть, но так я проснулся утром того дня, когда меня принимали в пионеры. Но тогда была радость. Так я проснулся перед первым экзаменом. Но тогда было волнение. Когда забрезжил мой первый военный рассвет. Но тогда было похмелье. Так я проснулся в тот день — последний, когда, открыв глаза, увидел начищенный дембельский китель, когда сливались руки, прятались слезы, когда выматывало душу «Прощание славянки». Но тогда было будущее.

К каждому такому дню готовишься вольно или невольно, копишь что-то, чтобы отдать потом за час, за миг. И не обязательно он радостный, этот день. Но обязательно решающий. Может быть, несколько таких дней и создают цену нашей жизни?

За открытым окном рассвет. Отсюда я вижу только небо. Его краски так чисты, так нежны, что само это слово «краски», отнесенное к ним, кажется кощунством. От прохладного воздуха, втекающего в нашу комнату, чуть вздуваются, словно дышат, шторы, и где-то неподалеку кричат, как ни странно, петухи.

Ира спит, обняв мою руку и уткнувшись носом в плечо. Хочется погладить ее лицо, ее волосы, но она не должна проснуться до того, как я уйду. Я верю ей, но все же боюсь, что она не выдержит до конца.



БОРИС ВАСИЛЬЕВ



БЫЛИ И НЕБЫЛИ*

Роман

Взятие Ловчи и полный разгром ее гарнизона были высоко оценены прежде всего русским и болгарским народами. Александр II для доклада вытребовал светлейшего князя. Сдержанный Имеретинский, вкратце обрисовав ход сражения, все эмоции сконцентрировал в последней фразе:

— Героем дня был генерал Скобелев.

Несмотря на царское неудовольствие, фраза эта, попавшая в официальную реляцию и подхваченная газетами, обошла весь мир: к Скобелеву стучалась не только мировая слава, но и народная любовь.

Перед третьим штурмом Плевны русская армия была усилена тридцатью двумя тысячами румын. В предвкушении победы император соизволил лично наблюдать за битвой, а общее командование возложил на румынского князя Карла. Фактически, естественно, руководить сражением обязан был командир 4-го корпуса генерал Зотов. Генеральный штурм был назначен на 30 августа. День этот был Александровым днем, а посему о дне штурма знали все — и солдаты, и офицеры, и сам Осман-паша. Знал и готовился со всей свойственной ему решимостью, волей и пониманием психологии противника.

— Русские будут атаковать Гривицкие редуты, — сказал он на военном совете. — Дайте им бой, отступите и заприте их там перекрестным огнем. И пока они будут радоваться этой победе, бросьте все таборы к Зеленым горам.

Наступление решено было предварить четырехдневным артиллерийским обстрелом турецких укреплений. Канонада приятно воодушевляла высоких гостей, но особых результатов не дала. Первыми это испытали румынские войска. Они атаковали злосчастные Гривицкие редуты и ворвались в них. Следовало немедленно использовать успех, но князь Карл жалел свою молодую необстрелянную армию, Зотов — свою обстрелянную, и в результате противник отошел в полном порядке, тут же накрыв редуты сосредоточенным огнем.

Уже казалось, что сражение проиграно, что мощная канонада и кровавые штурмы не дали результатов, что Осман-паша прочно удерживает все позиции, усмехаясь в черную бороду и умело оперируя резервами. Казалось, если бы... Впрочем, в итоге и там лишь «показалось», но показалось столь грозно, что турецкий главнокомандующий приказал выводить обозы из Плевны. Осман-паша поверил в свое поражение, но русское командование так и не смогло понять собственной победы.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Ловче-Плевненскому отряду сама судьба указала наступать с юга — по тому самому пути, по которому во время второго штурма атаковал маленький, по сути сторожевой отряд Скобелева. Тогда Осман-паша был открыт с этого направления, но он был умен и дальновиден и, прекрасно зная тупое постоянство высшего командования, не забывал об Ак-паше. Скобелева ждали не только регулярные части, не только артиллерия, но и два мощных редута, выросших у самых плевненских предместий.

С вечера 29-го начался дождь, глинистая почва размокла, но перенести день ангела императора было невозможно. И пока именованный принимал поздравления, тысячи русских солдат и офицеров в насквозь промокших мундирах шли под картечь и пули, с трудом волоча облепленные грязью сапоги.

В тяжелом мокром тумане шел Владимирский полк. Он был встречен таким огнем, что залег и смешался. А полыхающий непрерывными залпами туман не рассеивался, солдаты скользили на крутых склонах, офицеры теряли подчиненных.

— Господа офицеры, ко мне! — кричал Скобелев, появившись на белой лошади среди bestолково метавшихся групп. — Ваша честь — там, на третьем гребне! Так ступайте же за нею!

Офицеры собрали солдат, молча под проливным дождем двинулись вперед. Скобелев обождал, пока они не скрылись в тумане, вытер мокрое лицо, вздохнул.

— Понял Осман-паша, чего наши стратеги до сей поры сообразить не могут: вот дверь в Плевну. За честь почту когда-либо руку его пожать.

Возвращался генерал другой дорогой. Он ехал медленно, ^ивглядываясь в молочную завесу, и вскоре наткнулся на группу солдат, ^исидевших под обрывом. При виде выросшего из тумана генерала солдаты вскочили, и вперед шагнул офицер.

— Капитан Гордеев, ваше превосходительство.

— А, Гордеев. — Скобелев натянуто улыбнулся. — Кажется, ходить в атаку несколько хлопотнее, чем болтать языком?

— Ваше превосходительство, — Гордеев подошел вплотную, понизил голос, — вы были несправедливы ко мне в Туркестане и остаетесь несправедливым здесь. Я не давал повода...

— Повод дают коню, Гордеев. Офицеру вручают честь, кою он обязан беречь.

— Клянусь этой честью, что не сойду с того места, до которого дойду живым. Даже несмотря на ваш приказ, генерал.

— Ступайте, капитан, и постарайтесь, чтобы выбранное вами место было ближе к Плевне, чем к штабу.

Скобелев дал шпоры и с места бросил коня в карьер.

К часу пополудни скобелевцы прочно закрепились на третьем гребне Зеленых гор. Впереди лежали низина с разбухшим от дождя ручьем, глинистый, размякший, растоптанный отступавшими подъем и два заново отстроенных редута. Где-то вверху уже начал редеть туман, но клубы его, перемешанные с пороховым дымом, сползали в низину: густая серая мгла разделяла сейчас солдат Скобелева и аскеров Осман-паши.

— Задача, — вздохнул Куропаткин. — Солдаты потеряют офицеров в тумане, опять кутерьма начнется.

— Музыкантов сюда, — сказал Скобелев. — Расчехлить знамена, играть марш, наступать в строевом порядке. Музыка организует, Алексей Николаевич, а знамена заменят офицеров.

Загрёмели оркестры, взметнулись знамена, и полки пошли на штурм редутов, тогда именовавшихся Каванлык и Иса-Ага, а после этих кровавых дней названных Скобелевскими. Скатились к ручью, с трудом преодолели его и залегли, прижатые жестоким огнем.

— Все резервы — в бой!

Либавский полк и два стрелковых батальона вдохнули новые силы в атакующих. Последние шаги были пройдены, и перед редутами началась рукопашная. Из редутов выкатывались новые и новые цепи, тысячи людей, скользя и падая, остервенело дрались на скатах.

— Они не выдержат! — крикнул невозмутимый Куропаткин. — Прикажите отступить, пока их всех не перекололи. Резервов больше нет!

— Нет? А мы с тобой, Алексей Николаевич, на что тогда? Мы и есть последний резерв. Коня!

Скобелев первым доскакал до войск: лошади Куропаткина и Млынова завязли в топях Зеленогорского ручья. Появился с саблей, мокрый, с растрепанной бородой, в неизменном заляпанном грязью белом сюртуке.

— Последний рывок, ребята! — кричал он, отбиваясь саблей. — Не приказываю — прошу: за мной!

Смяв конем аскеров, прорвался, поднял лошадь и послал ее через глинистый откос. Лошадь свалилась в редут, Скобелев с трудом удержал ее, рубя саблей растерявшихся турок. Он не оглядывался, он знал, что его солдаты пройдут за ним сквозь любые заслоны. И когда начала падать проткнутая штыками лошадь, а его самого стали весьма бесцеремонно стаскивать с седла, он ни секунды не сомневался, что стаскивают его свои. Только тогда он опомнился и уже стал различать лица; до этого в глазах стояло что-то однообразно враждебное, сине-красное.

В самом редуте боя уже не было: он шел на подступах ко второму редуту и в садах Плевны. Скобелев хотел задержаться, но Млынов привел коня и офицеры чуть ли не силой выпроводили генерала в тыл. За командира остался Куропаткин.

В то время когда скобелевцы отбивали беспрестанные контратаки турок, а Осман-паша приказал выводить обозы и готовить прорыв на Софийское шоссе, Александр II сокрушенно вздохнул:

— Опять неудача!

Через несколько минут после этого горестного вздоха скобелевцы ворвались в редут Иса-Ага — последнее турецкое укрепление перед Плевной. Брешь была пробита во второй раз; оставалось, подтянув свежие силы, лишь вкатиться в город. Но командиры этих свежих сил уже получали приказ на отвод своих частей: прикрывать бегство державного именинника и его гостей.

Обозы уже тронулись из Плевны, когда Осман-паша прислушался:

— Если я слышу, как скрипят колеса, значит, русские прекратили штурм?

— Русские атакуют только со стороны Зеленых гор.

— Слава аллаху, они не поверили в мое поражение. Остановите обозы.

Скобелев был у Зотова. Вопреки обыкновению он не шумел, не требовал, даже не объяснял, что его солдаты, вторые сутки бессменно ведущие бой, по собственной инициативе просочились сквозь турецкие цепи, завязав перестрелку в городе. Он только спросил:

— Ваше превосходительство, хотя бы полк. Свежий полк.

— У меня нет более полков, Михаил Дмитриевич, голубчик, поверьте же мне наконец. Все резервы в руках его высочества главнокомандующего: он держит дорогу к переправам.

— Стратеги...

— Я попрошу генерала Крылова с зарею атаковать турок, — помолчав, сказал Зотов. — Это поможет вам вывести из боя войска.

— Какие войска? — с горечью спросил Скобелев. — Мертвые не выходят из боя, генерал. Они в нем навсегда. Навеки.

Он молча поклонился и вышел. Уже в сумерки прибыв на позиции, выехал на скат перед ручьем. Вдалеке чуть виднелись редуты. Они молчали, а редкая перестрелка шла за ними, на окраине города. Там

аскеры добивали его солдат, и он ничего не мог сделать, чтобы спасти их.

— Раненых подобрали?

— Всех, Михаил Дмитриевич,— ответил из-за плеча Млынов.— Правее вас — в темном на лошади. Видите?

На левом фланге турецких войск смутно виднелась черная фигура. Всадник стоял впереди стрелковой линии одиноко, положив руки на луку седла.

— Не ты разгромил меня, Осман-паша,— тихо сказал Скобелев.— Свои турки постарались. Природные.

Осман-паша упредил обещанный удар Крылова: его аскеры начали бешеный штурм Скобелевских редутов еще затемно. Он двинул не только резервы, но и таборы с тех направлений, на которых русские прекратили наступать: практически против Скобелева были брошены все боеспособные части.

— Олексин, доберись до редутов. Хоть ползком. Прикажи отступать, как только Крылов начнет атаку.

Лощина Зеленогорского ручья простреливалась турками, сумевшими все же потеснить левый фланг Скобелева. Федор перебежал, прыгая через трупы. Свалился в редут, когда там только-только отбили очередную атаку.

— Шестая, — пояснил пожилой фельдфебель. — Из докторов, что ли, будете?

— Нет, я с поручением. Где командир?

— Ваше благородие, тут с поручением! — крикнул фельдфебель.

Подошел капитан в заляпанном кровью и грязью мундире. Осунувшееся лицо было в глине, и Олексину показались знакомыми лишь проваленные, безмерно усталые глаза.

— Вы, Олексин? Вот где пришлось свидеться.

— Гордеев?

— Что принесли — помощь или обещания?

— Генерал приказал отступать, как только Крылов начнет атаку.

— Отступать... — Гордеев спиной сполз по глинистой стене бруствера в красную от крови лужу. — Мои солдаты были в Плевне, двое сумели вернуться. Нет, он действительно Бова Королевич, так и передайте ему, Олексин.

— Сами скажете, капитан.

Гордеев отрицательно покачал головой. Потом усмехнулся:

— Что такое честь, Олексин, думали когда-нибудь? Впрочем, вам ни к чему: вы впитали ее с колыбели. А мне пришлось думать. Для вас честь — гордость рода, а для меня — гордость родины.

— Мой род неотделим от родины, Гордеев.

— Я не о том. Если бы мы воевали за очередной кусок, я бы не вернулся в армию. Но мы воюем за свободу, Олексин. Честь родины — нести свободу народам, а не завоевывать их, вот я о чем. Извините, мысли путаются: двое суток не спал. Умереть не выславшись — это уже смешно, не правда ли?

— Странно вы шутите.

— Странно, Олексин? Страна у нас странная, вот и шутим мы странно. У нас — восторженная история. Не по сути, а по способу изложения. И во всех нас таится этот подспудный восторг, а кто не скрывает этого, тот вождь, трибун, идол, за которым мы идем очертя голову.

— Вы о Скобелеве говорите?

— Я о восторге говорю. Сегодня его Скобелевым зовут, завтра другой придет — суть не в этом, Олексин. Суть в том, что коли есть идея в войне, то восторг наш природный сразу на фундамент опирается. И тогда нам никто не страшен, никто и ничто. Кажется, бой завязался? Уши мне заложило... — Гордеев встал. — Все правильно: атака. Забирайте солдат, Олексин, знамена — и прощайте.

— А вы?

— Генералу скажете, что Гордеев умер там, докуда дошел. Слушай приказ! — крикнул капитан. — Всем покинуть редут и спасти боевые знамена. Живо, ребята, живо, пока турки не опомнились!

Уже в логу, пропуская мимо солдат, тащивших раненых и два батальонных знамени, Федор оглянулся. На бруствере редута открыто стоял капитан Гордеев, скрестив на груди руки — с правой на темляке свисала сабля. Он смотрел вперед, на Плевну, откуда со штыками на перевес бежали турки...

Третий штурм Плевны стоил России тринадцати, а Румынии трех тысяч жизней. Русская армия прекратила бессмысленные попытки сокрушить Османа-пашу и стала переходить к правильной осаде, постепенно стягивая кольцо. Руководить блокадой было предписано герою Севастопольской обороны генералу Тотлебену. В кровавой истории Плевны наступал новый этап.

Немногим позднее государственный секретарь Половцев записал в своем дневнике:

«Слава Скобелева растет ежедневно. Когда он едет по лагерю, все солдаты выбегают из палаток с криками «ура», что до сей поры делали для одного государя. Скобелев умен, решителен и безнравствен — таковыми были кесари и Наполеон. Белый китель и белая лошадь дразнят турок и восхищают солдат. Николай Николаевич старший его ненавидит и в последнее плевненское дело письменно запретил посылать ему подкрепления, а получи он их и удержи редуты, так и Плевна была бы нашей...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Летучий отряд Гурко все еще стоял перед Балканами, когда Калинин вызвал поручика Олексина.

— В вашей роте числится дружинник Славенов. Проводите его к подполковнику Рынкевичу.

У Рынкевича сидел полковник Артамонов. Гавриил сразу узнал его, хотя видел всего раз. Отрапортовал, что прибыл вместе с дружинником Славеновым и что дружинник ожидает приказа. Рынкевич тут же молча вышел.

— Садитесь. — Полковник помолчал, потеряв костистый лоб цепкими пальцами. — Что знаете о Славенове?

Гавриил докладывал то, что могло интересовать собеседника: прошлое Славенова, работа в Комитете, особо подчеркнув его дружбу с Карагеоргиевым.

— Карагеоргиев... Кажется, убит в Сербии?

— Погиб мученической смертью, господин полковник. Последним словом его было «Болгария».

— Да, это аргумент, — произнес полковник. — Скажите, поручик, а Славенов способен принять подобные муки?

— Я должен поручиться за него?

— Да.

Гавриил задумался. Он мало знал Славенова, но за Славеновым ему упорно мерещилась фигура хрипевшего Карагеоргиева. И собственный выстрел, оборвавший его мучения. «Болгария...» — выдохнул вместе с жизнью Карагеоргиев. И поэтому поручик сказал:

— Я ручаюсь за Славенова, господин полковник.

Артамонов долго молчал. Сидел, уставившись в одну точку, машинально потирая лоб.

— Чтобы вы поняли цену своего поручительства, вы будете присутствовать при нашей беседе, поручик. Пригласите Славенова.

Полковник долго и дотошно расспрашивал дружинника о прошлом, о родных и близких. Потом сказал:

— По поручению Комитета вы нелегально проникали в Забалканье. Какими перевалами?

— Разными: Шипкинским, Травненским, Хаинкиойским. Какой вас интересует?

— Скажем... — Артамонов помолчал. — Допустим, Хаинкиойский.

— Очень труден, практически тропа. Можно в поводу провести лошадей, но артиллерия и обозы там не пройдут.

— Меня интересует не география, а турки. Возьметесь установить, охраняют ли они этот перевал и как именно? Мне известно, что вы свободно владеете турецким.

— Я согласен, господин полковник, — не раздумывая ответил Славенов.

— Хорошо. — Артамонов чуть повысил голос. — Алексей Николаевич, прошу!

Бесшумно открылась дверь соседней комнаты и вошел князь Цертелев. На казачьей черкеске поблескивал новенький Георгий.

— Рад видеть вас, Олексин.

Он дружески кивнул Гавриилу и тут же обрушил на Славенова целый поток быстрых турецких фраз. Славенов скупно ответил на том же языке, а полковник тихо сказал Олексину:

— Вы свободны, поручик, благодарю.

Отряд генерала Гурко готовился к маршу, когда казакам выдали деньги для расчета за прокорм и фураж. Поскольку казаки исстари содержали себя и коней в походах с добычи, Гурко приказал собрать все имеющиеся в его распоряжении иррегулярные части. К назначенному часу вахмистры выстроили и донцов и кубанцев посотенно на равнине. Привычные к дисциплине казаки терпеливо стояли в конном строю, но гомонили и пересмеивались, поскольку офицеров не было, а младшие командиры были своими же станичниками. И враз замолчали, когда в чистом поле показался скачущий всадник.

Приблизившись, всадник в простой черкеске бросил стремя и поводья и на том же распаленном лошадином скаку стал выделять такое, что весь казачий строй разразился восторженной матерщиной.

— Ура! — дружно, от души взревели казаки, когда генерал Гурко на крупной рыси въехал в центр построения.

— Ну как, казаки, моя джигитовка?

— Лихо, ваше превосходительство! Не всякий черкес сделает!

— Ну, коли лихо, принимаете в казаки?

— Принимаем! — радостно отозвались казаки.

— Может, и в походные атаманы выберете?

— Выбираем, батька! Прими булаву и головы наши!

— Тихо! — Гурко поднял руку, и все смолкло. — Тогда слушать меня, как бога. Вам деньги на поход выданы, а я вашу казачью повадку знаю. Так вот мой первый наказ: платить болгарам за все. Ежели узнаю, кто болгарина или мирного турка обидел, взыщу как атаман вплоть до расстреливания на месте. Все меня слышали? И второе. Меня государь командиром вашим поставил, а вы своей волей в атаманы выбрали, так что не посетуйте. За удаль крестов не пожалею, за трусость, грабеж и пьянство семь шкур спущу. Как, любо вам это?

— Любо, батька! — согласно ответили донцы и кубанцы.

— В строю да в бою я вам ваше высокопревосходительство. А вне строя, да еще у костра — батька-атаман. На том, стало быть, и порешим. Вахмистры, развести сотни по бивакам!

Перед броском в рейд по глубоким тылам противника Иосиф Владимирович всеми способами сколачивал отряд. Теперь в казаках он был уверен: они могли провести любого командира, но выбранному на поход атаману, батьке, блюли традиционную верность.

Славинов вернулся один, доставив записку Цертелева: азартный князь отправился далее на свой страх и риск.

— Турки часто задерживали? — отрывисто спросил Гурко.

— Три раза: патруль, часовые на спуске и дежурный офицер отряда, охраняющего выход.

— Допрашивали?

— Скорее беседовали одновременно с обоими. Беседу вел дежурный офицер в караулке.

— Чем интересовался?

— В основном вами, ваше превосходительство, — сдержанно улыбнулся болгарин. — Турки убеждены, что вы нацелены на Шипкинский перевал, и князь Цертелев не стал их разубеждать.

— И по этой причине решил сам проверить Шипкинскую дорогу?

— Да. Там безуспешно пытается пробиться Орловский полк: нам об этом рассказали турки.

— Благодарю, будете представлены к награде. — Генерал чуть наклонил голову, отпуская разведчика. — Полковник Артамонов позаботится о вашем отдыхе.

— К сожалению, на отдых у меня нет времени, — сказал Славинов. — К утру я должен ждать князя в условленном месте.

— Передайте Цертелеву мою просьбу не рисковать понапрасну, — с некоторым неудовольствием заметил Гурко. — Она касается также и вас. Ступайте.

На следующий день Гурко выслал на Хаинкиойский перевал авангард под начальством генерала Рауха. Во главе шли коннопионеры графа Ронникера, расчищая и укрепляя дорогу. Никто их не беспокоил, турок на перевале не было.

Вскоре казачий дозор авангарда чуть было не обстрелял двух турок, неожиданно спустившихся с гор. Турки требовали немедленного свидания с генералом Раухом, и казачий урядник, для порядка поорав, доставил их под конвоем к командиру авангарда. К ночи оба разведчика с предосторожностями были переправлены в тыл, и генерал Гурко получил исчерпывающие сведения о турецких гарнизонах, сосредоточенных поблизости от Шипкинского перевала. Направления ударов были ясны; 30 июня, за восемь дней до первого штурма Плевны, десяти тысячный Летучий отряд выступил к Хаинкиойскому перевалу.

Трехдневный переход через Балканы был чрезвычайно тяжелым. Гурко отказался от обозов, погрузив боеприпасы и снаряжение на вьючных лошадей и сведя до минимума запасы продовольствия. И тем не менее подъемы и спуски оказались столь круты, что пушки и зарядные ящики тащили на руках.

С зарею 2 июля авангард Рауха вышел из устья и внезапно атаковал турецкий батальон, стоявший в деревне Хаинкиой. Летучий отряд ворвался в Забалканье. Следом за ним тем же мучительным путем прошла посланная на поддержку 4-я стрелковая бригада генерала Цвейцинского. Оставив для охраны перевала Столетова с двумя дружинами, Гурко двинул основные силы на Казанлык.

Он хорошо понимал, что означает маневренная война в глубоком тылу противника. Не давать врагу опомниться, запутать его, оглушить, посеять панику и — как результат — отвлечь от основной цели рейда: таков был тщательно продуманный им способ борьбы.

Вскоре заметались не только остатки разгромленных гарнизонов, но и многочисленные конные банды башибузуков: турецкое командование стремилось навязать Гурко партизанскую войну. Сабельными ударами казаков и огнем драгун банды были рассеяны. Лишившись возможности активно противодействовать русским, башибузуки стали вымещать ненависть на мирном болгарском населении: казаки, кавалеристы, стрелки и дружинники все чаще встречали теперь сожженные села, изуродованные трупы болгар, зверски замученных женщин. Насмотревшись на это, казаки поклялись в плен никого не брать.

— Не слишком ли, станишники, усердствуете? — спросил Гурко, ужиная у казацкого костра.

— Мало, батька, — сурово отрезал пожилой есаул. — Кабы они только раненых наших мучили, а то ведь мирных не щадят.

— Мы такого нагляделись, что сердце запеклось, — поддержали казаки. — Нет уж, батька, по-нашему будет: око за око.

— Смотрите, казаки, враг тот, кто с оружием, — сказал Гурко. — Коли дознаюсь, что хоть одного мирного кто тронул, расстреляю на месте. То же и имущества касается, даже если дом турками брошен и хозяев нет.

По тому, как казаки замолчали и стали переглядываться, генерал понял, что насчет имущества угадал точно.

— Взяли дуван? Не крутись, есаул!

— Взяли, — со вздохом признался командир. — Третий день с собою возим. Пахомыч, покажи батьке дуван.

Из темноты в освещенный круг костра вступил немолодой казак в наброшенной на плечи не свйственной донцам бурке. Присел, откинул полу: на левой руке его, прижавшись щекой к груди, сладко спал смуглый годовалый мальчик.

— Турчонок, — ласково сказал Пахомыч. — В доме брошенном нашел. Жалко парнишку, пропадет ведь.

— Петьюкой назвали. — Хмурое лицо офицера расцвело умильной улыбкой. — Отзывается, лопочет что-то, ручки тянет.

— С собой таскаете? — растерянно спросил Гурко. — А кормите чем?

— Молоко болгары дают. А то кашку. Лопают! — вразнобой оживленно и радостно заговорили казаки. — Уговор меж нас такой: кто цел останется, тот ему и батька.

— Ах, казаки, казаки! — вздохнул Гурко. — Спасибо вам за доброту, только нельзя младенцу здесь. Завтра донесение везти-надо, вот ты, Пахомыч, и отвезешь вместе с ребенком.

Донесение, которое Гурко отправил с казаком, было адресовано командиру Габровского отряда: *«Согласно приказанию генерала Гурко сообщается, что 6 июля будет предпринята возможно раньше атака пехотою горы у Шипки; просится содействие атакою со стороны Габрова».*

Однако прежде следовало взять Казанлык. Утром 5 июля бригада старшего герцога конной атакой ворвалась в город, потеряв при этом всего девять человек да старого графа Ронникера, убитого пулей из засады уже в Казанлыке.

На следующее утро стрелки Цвецинского и казачьи пластуны начали штурм Шипки со стороны Долины роз. Два дня с переменным успехом шли упорные бои, а на третий турки бежали с перевала, бросив боеприпасы и девять стальных крупповских орудий.

Основная задача Летучего отряда была выполнена. Осталось лишь бросить войска, но свободных войск под рукою уже не было: Осман-паша успел накрепко приковать их к Плевне. Вместо стремительного развития успеха русское командование вынуждено было перейти к обороне и ждать либо разгрома Осман-паши, либо подхода свежих войск. В детально продуманном смелом плане кампании наступала опасная заминка.

2

Варя жила в Бухаресте одна: Хомяков уехал за Дунай ревизовать свои перевалочные склады. Она никуда не выезжала, отговариваясь занятостью, но занята была собственными мыслями. Открыв, что любит Хомякова, Варя могла думать только о нем и о себе. И чем больше думала, тем все чаще представлялась ей его увесистая походка, от которой вздрагивала мебель, его привычка расставлять локти за

столом, его манера цыкать зубом. «Да люблю ли я? — все чаще приходило ей в голову. — Когда любят, то любят все, не замечая недостатков. Значит, что же, увлечение? Потеряла голову, как тогда, в саду, когда умерла мама?..» Она постоянно растревляла себя сомнениями, и чем дольше не было Хомякова, тем обоснованней казались ей эти сомнения.

Появился Роман Трифонович внезапно. Варя этому не удивилась: Хомяков часто поступал неожиданно. Удивилась она его безулыбчивому лицу и — самой себе, ощутив, как начинают исчезать взлелеянные одиночеством мысли.

— Что-то случилось? Не отмалчивайтесь, Роман Трифонович.

— Случилось, Варвара Ивановна. — Хомяков улыбнулся одними глазами. — Не знаю, что и рассказывать-то сперва: дела или...

— Дела, — сказала Варя, прекрасно зная, что дело для него — цель, игра, азарт, весь смысл жизни.

— Вот за это и ценю, — серьезно сказал он. — Верно выбрала, не по-дамски: мы люди деловые, с остальным и обождать можно. — Он замолчал. — Хотя... Хотя тоже — новость.

Последнее слово произнес весомо, со значением, но Варю царапнула грубоватая его похвала, и она сухо повторила:

— Так что же с делом?

— С делом? — Роман Трифонович зло усмехнулся. — Наградил господь компаньонами: то ли прохвосты, то ли дураки — не разобрался пока. Муку, интендантством забракованную, но дешевке скупил, и пошло то гнилье через мои поставки. Хорошо, я вовремя спохватился.

— Исправили?

— Вернул, амбары запечатал. — Он вздохнул. — Ах, Варвара Ивановна, когда же Россия наша считать-то обучитея? А может, мы народ, вообще к арифметике неспособный?

«Рисуется, — неприязненно подумала Варя, уже не вслушиваясь, что именно он говорит. — Ах, зачем же, зачем? Так неуклюже... Он невоспитан. Груб и невоспитан...»

— ...Я без Числовой — ноль. Интендантство, пройдохи эти, жулье в мундирах шагу мне ступить не дадут, а я миллионы вложил.

«Вот что его заботит, — уже с грустью продолжала думать Варя. — Он даже не спросил, как я жила тут, как чувствую себя».

— ...Мне кредиты нужны, оборот, размах — я ведь не в сундук прибить складывать собираюсь, я их России стократно верну. Сейчас мужик из деревни в город валом валит, с хлеба на квас перебивается, а я ему работу дам, заработок, жилье...

«Он не то говорит, — поняла она. — Нет, нет, не то! И не рисуется вовсе, а не решается. Что-то случилось, и он просто не решается».

— Я не верю, что это уж так тревожит вас, Роман Трифонович, — неожиданно перебила она, чувствуя, как гулко забилося сердце. — Не с этим вы пришли и не это у вас на душе.

Глаза Хомякова, доселе напряженные, заволоклись прежним влажным блеском. Он улыбнулся вроде бы даже с облегчением, закурил сигару, походил по комнате, размышляя. Варя ждала, с удивлением ощущая, что в ней нет больше никакой тревоги. Роман Трифонович отложил сигару, сел рядом и взял ее за руку.

— Не по нутру мне слово, которое скажу тебе сейчас. Один раз скажу, не повторю никогда, но верь, слово это на всю жизнь сказано. — Он помолчал, нахмурился, сказал строго: — Полюбил я тебя, Варвара, крепко полюбил, никогда такого со мной не случилось.

Он замолчал, продолжая держать ее руку в своей, и Варя начала краснеть.

— Понравилась ты мне в Смоленске еще, — так же серьезно продолжал он. — Сильно понравилась, а думы — хошь прощай, хошь не прощай — дурные были. Купить я тебя хотел. Вы наших девок покупали да продавали, вот и мне вздумалось.

— Отомстить? — спросила она, невольно улыбнувшись.

— Рассчитаться, — жестко поправил он. — Показать, кто теперь кого купить может. Скверные думы были, дурные, а приехала ты — и, поверишь ли, позабыл обо всем. — Он помолчал, серьезно глядя ей в глаза. — Вот, все выложил, сама далее решай. Ничего меж нами не было, спокойно уехать можешь, если хочешь.

Вопрос был задан прямо, хоть и не прозвучал. Варя поняла его, поняла, что никуда не хочет уезжать, но сказала:

— Я подумаю.

— А замуж пойдешь за меня?

Варя напряженно смотрела на него. Он ждал, заглядывая в глаза, даже требовательно сжал руку.

— Молчишь, и на том спасибо. — Отошел к окну, сказал, помолчав: — На похороны я еду, Варвара. Вернусь сразу, на дела сославшись, а ты к тому времени и решишь.

Варя встала, глядя расширенными, почти испуганными глазами. Он шагнул и впервые крепко поцеловал в губы.

3

Болгарские дружины стали биваком южнее Казанлыка. По-прежнему кавалерийские отряды громили соседние гарнизоны, по-прежнему бесчинствовали башибузуки, и по-прежнему казаки гонялись за ними, блюдя клятву бандитов в плен не брать. Однако так продолжалось недолго. Все чаще южный ветер приносил запах гари, по ночам багровыми сполохами играли облака, а вскоре доползли черные, застилавшие небо клубы дыма и появились первые беженцы. Разутые, раздетые, голодные и до ужаса напуганные, рассказывали о вдруг нагрянувшей неисчислимой вражеской армии.

11 июля Столетов вступил в Эски-Загру. Тут же была организована народная милиция, вооруженная трофейным оружием. Через несколько дней Гурко разгромил турок у Джуранлы, но уже на следующее утро тридцатитысячный корпус Сулеймана всей мощью навалился на необстрелянных дружинников Столетова.

Аскеры Сулеймана были закаленными воинами: армия имела опыт боев в Черногории. Под прикрытием артиллерии турки повели наступление, а конные отряды черкесов начали обтекать фланги. Дружинам пришлось рассыпаться, огнем сдерживая первый натиск противника.

Столетов понимал, что огневой бой выгоден противнику. Следовало нанести удар, но это означало необходимость кем-то пожертвовать.

— Передайте Калитину приказание атаковать. И чтоб Самарское знамя видели все болгары!

Третья дружина, умело рассыпавшись, вела перестрелку; потерь было немного, но одним из первых был тяжело ранен Антон Марченко, и Самарское знамя перешло в руки второго знаменщика, Авксентия Цимбалука. Выслушав приказ, подполковник распорядился собрать ротных командиров. Объяснив задачу, задержал Олексина.

— Ваша рота пойдет первой, поручик.

— Благодарю за честь, Павел Петрович.

Гавриил вскочил в седло, поскакал к своим позициям. Турки сильно обстреливали, пули жужжали вокруг.

— Слушай меня! — по-болгарски крикнул поручик. — Болгары, сегодня вы грудью прикрываете свою несчастную родину! Дрогнете, побежите — и орды Сулеймана обрушатся на мирных жителей. Лучше умереть, но не допустить этого!

Он рисковал обдуманно: ему необходимо было внушить своим дружинникам, что не всякая пуля убивает. Нелегко это далось, но он кричал призыв и только тогда спрыгнул с коня.

— Барабанщик, атаку! Рота, за мной!

Гавриил шел быстро, зажав саблю в опущенной руке. До турок было еще далеко, и этой опущенной саблей он удерживал болгар от

преждевременного бега. Оглянулся он только раз: рота перестраивалась на ходу, русские — субалтерн-офицеры, унтеры, барабанщик и трубач — шли в первом ряду. Барабанщик безостановочно отбивал дробь, а трубач неотрывно следил за мгновением, когда командир взметнет саблю ввысь, чтобы тут же сыграть атаку. Турки стреляли часто, но торопливо и пока не залпами. «Успеть до залпа с атакой, — все время думал Гавриил, прикидывая, сколько осталось до турок. — Господи, дай мне упредить залп атакой, господи, помоги...»

Он понимал, что турецкий офицер тоже считает его шати и тоже стремится упредить его атаку залпом, чтобы выбить офицеров и расстроить ряды. С обеих сторон счет шел на секунды, с обеих сторон испытывались выдержка и глазомер, с обеих сторон проверялся сейчас боевой опыт и хладнокровие командиров.

«Господи, не допусти...»

Залп прозвучал одинаково неожиданно как для Олексина, так и для турок. Нестройный, один-единственный, сразу же сменившийся беспорядочной пальбой, залп этот ударил туркам во фланг из ближайших строений. И опытные, закаленные боями аскеры на какой-то миг опешили, их командир потерял из виду роту Олексина, и Гавриил уловил этот миг. Взметнул саблю, и тотчас запела труба.

— Ур-ра-а!..

Турки так и не успели со встречным залпом. Рота уже пробежала считанные шаги, со всей яростью ударив врукопашную.

— Вперед! — крикнул Калитин. — Всем ротам — атаку, знамя — вперед!..

Тот неожиданный фланговый огонь, обеспечивший успех атаки, был открыт группой местных жителей. Их ожесточенная пальба сбила турок с толку, и аскеры не очень-то уверенно встретили первый штыковой удар ополченцев.

Яростная рукопашная шла по всему фронту: вслед за 3-й дружиной Столетов бросил в бой все, что у него было. Но огромный численный перевес турок вскоре стал ощутимым. Атаки шли непрерывно, черкесы обтекали оба фланга, а бою не было видно конца. Самарское знамя реяло по всему фронту, и рев тысяч глоток заглушал ружейную пальбу.

От Гурко под градом пуль прорвался генерал Раух: вторая колонна Летучего отряда встретила другое крыло сулеймановской армии и тоже вела тяжелый затяжной бой.

— Держать позицию сколь возможно, — сказал он Столетову. — Я выведу обозы раненых и жителей в горы, к Шипкинскому перевалу.

Хуже всех пришлось 3-й дружине. Она дралась в низменности, и противник охватывал ее с трех сторон. Все офицеры, оставшиеся к тому времени в строю, сражались в рядах, как простые ополченцы, и только подполковник Калитин метался на лошади вдоль всего фронта.

— Отменный бой! — прокричал он Гавриилу, оказавшись рядом. — Спасибо за роту, поручик! Молодцы болгары!

Самарское знамя странно взметнулось, заколебалось и стало медленно клониться, исчезая в дыму, пыли и сумятице боя.

— Цимбалюк убит! Знамя! Турки взяли знамя!..

— За мной!.. — Олексин рванулся вперед.

Но первым успел подполковник Павел Петрович Калитин. Грудью послав коня на аскеров, пробился, ударил саблей уже схватившего древко турка, левой рукой поднял знамя.

— Ребята, знамя наше с нами! — что было силы прокричал он. — Вперед, за ним! За мной!..

В упор прогремел залп. Пробитый пулями Калитин рухнул с седла. Знамя подхватил унтер-офицер 2-й дружины, снова взметнул ввысь, и новый залп свалил его на землю. И опять аскеры не дотянулись до знамени: их опередил болгарин-ополченец. И тоже упал, и снова знамя

ополчения исчезло в толчее среди болгарских черных и турецких синих мундиров.

Казалось, оно утеряно навсегда: Гавриил, задыхаясь, пробивался к месту, где оно упало. Сабля то сверкающим полукружьем ослепляла аскеров, то делала стремительный выпад: поручик хорошо освоил рукопашный бой. А воздуха уже не было, сердце билось в глотке и острой болью отдавало в проткнутой штыком левой руке. За ним, хрипя, ломили его дружинники. Впереди в ревущей яростной куче вновь взметнулось знамя.

Олексин пробился, когда двое аскеров уже волокли стяг за полотнище. Увернулся от встречного штыка, с ходу до половины вонзил саблю в спину турка и двумя руками рванул знамя к себе.

Никогда еще он не ожидал смерти с такой пронзительной ясностью, как в это мгновение. Он держал знамя двумя руками, стоял в рост среди озверелой рукопашной, не мог ни отбить удара, ни увернуться от него. Не мог, да и не думал об этом.

Это продолжалось недолго. Он успел осознать, что жив и что его со всех сторон плотным кольцом окружают свои — русские и болгары. Увидел рослого, усатого, в изодранном, окровавленном мундире незнакомого унтера и протянул ему знамя:

— Храни.

Отчаянная схватка за Самарскую святыню и стала тем переломным моментом боя, которого так ждал Столетов. Огорошенные неистовым натиском, турки первыми вышли из рукопашной.

— Слава богу, отстояли, — с облегчением вздохнул Николай Григорьевич. — Немедля отводите войска в горы с общим направлением на Шипкинский перевал.

4

Маша разминулась с Иваном на двое суток. Прочитав записку, тут же вскрыла адресованное ей письмо Рихтера. Строгая Глафира Мартиановна, принимавшая Ивана, держала лампу.

— Жив-здоров братец, Мария Ивановна. Креп, возмужал — за чем же бога гневить?

— А эта... девочка?

— Леночка спит. Не тревожьте ее. Утром.

— Утром? Да, да, Глафира Мартиановна, вы совершенно правы. Я сейчас, я к генералу Рихтеру.

Рихтер еще не ложился; по стариковской привычке он вообще спал мало, допоздна засиживаясь за отчетностями, донесениями и рапортами. Долго метался по кабинету, дергая себя за седые виски.

— Ах остолоп, ах бестолочь!

С этого свидания и началась их дружба. Санитарный отряд купцов-старообрядцев братьев Рожных, которым заведовала Маша, служил звеном между действующей армией и тылом. Здесь больше было больных, чем раненых, да и больные после сортировки направлялись в другие госпитали. Работы было много, а людей мало — братья-миллионщики считали копейки с усердием церковных старост, — но Маша поначалу и слышать не хотела о том, чтобы отправить Леночку в Смоленск. Пока разумная Глафира Мартиановна, стойко скрывавшая за маской суровой строгости и добрую душу и мягкое сердце, не сказала:

— Мария Ивановна, я настоятельно требую, чтобы ребенка отправили в Россию. В отряде отмечено шесть случаев сыпного тифа.

Это подействовало, и Маша, проплавав ночь, отправила Леночку в Смоленск с Глафирой Мартиановной. А сама, тоскуя, все свободные вечера проводила у Рихтера.

И еще писала письма в Москву братьям Рожных Филимону и Сильвестру Донатовичам. Не только отчеты и напоминания о деньгах (без напоминаний братья денег не переводили), но и с настойчивыми просьбами разыскать вольноопределяющегося Прохорова.

Вскоре после отъезда Леночки Рихтер встретил Машу озабоченно. Ходил, вздыхал, плохо слушал. Потом сказал невпопад:

— Сегодня посетил военно-временный госпиталь номер тридцать четыре. Лежит там один человек с нервным потрясением, как доктора говорят. Часто в бред впадает и в бреду том, Мария Ивановна, в бреду том... — Рихтер помолчал, — вас поминает.

— Кто? Кто-нибудь из братьев? Как фамилия, не знаете? Не Бенево... то есть не Прохоров?

— Нет, нет, что вы, Мария Ивановна. Это князь Насекин.

— Князь Насекин... — Маша с облегчением откинулась к спинке стула. — Да, да, Сергей Андреевич. Говорите, нервное потрясение? От чего же? Какова причина?

— Доктора определили нервы, а я так думаю, что сдвинулся. — Рихтер выразительно покрутил пальцами у виска. — Сами посудите, Мария Ивановна, какие уж тут нервы, когда человек живым свидетелем зверств башибузукских оказался. Ездил с миссией Красного Креста и угодил, что называется, в переплет. Застрелил сгоряча какого-то мерзавца, сам чудом уцелел, истинным провидением господним: австрийцы с американцами спасли... Что ж это я все о печальном да о печальном! Сейчас чайку попьем, мне семейство варейница домашнего с оказией прислало.

На следующий день Маша выехала в Свиштов. Ехала, с грустью вспоминая тусклые глаза, лишь однажды сверкнувшие вдруг жизнью, желанием, юмором.

Князь лежал в маленькой отдельной комнате. Увидев ее, отложил книгу, и Машу поразило горящий странным огнем взгляд.

— Вот и вы, — тихо сказал он, протянув худые, изжелта-белые руки. — Ждал вас как чуда, и вот сбылось.

— Помилуйте, какое чудо? — вздохнула Маша. — Вы ли это, князь?

— И я и не я. — Князь на миг улыбнулся прежней улыбкой. — В человеке много человек. Какие-то частицы накапливаются в каждом из рода в род от времен библейских. Они молча вершат дела свои, определяя наклонности наши, капризы, привычки. Но иногда будто оживают в душе и шепчут. Странно.

Князь замолчал, уставя горящий — фанатичный, как определила Маша, — взгляд мимо нее. И от этого ей было куда неуютнее, чем от того, что он до сей поры не отпускал ее рук.

— Странно, странно, — задумчиво повторил он. — Я ведь знаком с братом вашим. Василий Иванович, кажется? Год назад, дождливая осень в Ясной Поляне. Вот бы кто понял меня.

— Вася? — удивленно спросила Маша.

— Василий Иванович? Нет. Ваш братец — потерянный, а понять может ищущий. Такой один в России — граф Лев Николаевич.

— Так поезжайте к нему. Вот окрепнете...

— Это после всей скверны пред ним предстать? Нет. Мне очиститься сперва надо, Мария Ивановна, покой обрести. А покой — только в монастыре.

— Вы заживо хороните себя, — осторожно начала Маша, но князь уже не умел слушать; она поняла это и замолчала.

— Посмотрите на женщину, хотя вы сама — женщина. Сколько в ней хрупкости, нежности, трепета, ожидания. Мы называем это грациозностью, шармом или кокетством, а за всем этим — страх. Древний, как сама земля, страх...

Маше стал неприятен и этот разговор и мокрые от пота ладони князя, которыми он все еще сжимал ее руки. Начинаясь бред, она в этом не сомневалась и поэтому рискнула перебить:

— Извините, князь, позвольте, я поправлю подушки.

Она высвободила руки, уложила больного и села. Встретила прежний иронический взгляд и смешалась.

— Вам сказали, что я галлюцинирую? Нет, Мария Ивановна, это

не галлюцинации, это память. Память моих предков-воинов, а следовательно, убийц, проливших моря человеческой крови.

— Полагаю, что вы утрируете, князь. — Маша постаралась улыбнуться. — В конце концов, все мы потомки победителей, а не побежденных. Побежденные исчезли с лица земли.

— Вы правы, вы совершенно правы, Мария Ивановна, но позвольте рассказать историю побежденных, а не победителей.

— Может быть, в другой раз? — осторожно спросила Маша: ее пугал рассказ о зверствах турок. — Вы утомлены.

— Другого раза не будет, — с твердостью сказал Насекин. — Не беспокойтесь, я столько дней повторял про себя эту историю, что готов рассказать ее в совершенно отвлекенной, почти беллетристической форме. Дайте мне книгу.

Маша подала. Насекин раскрыл, не выбирая страницы.

— Представьте, что я читаю. — Он помолчал. Затем начал говорить, старательно выдерживая не только интонацию читающего вслух, но и особо строя фразы. — Это случилось в те времена, когда еще не было любви. На краю лесов стояло большое село, жители которого в поте лица взращивали хлеб. Сразу же за их полями начиналась степь. Из степей приходили орды...

Приподнятая декламация князя лишила разговор естественности, и Маша уже думала о своем: о Глафире Мартиановне с Леночкой, об Иване, с которым так обидно разминулась, о Федоре, сгинувшем неизвестно куда. Думала уютно и привычно, когда голос князя вновь прорвался к ней:

— ...все мужчины пали в бою. Были добиты раненые, убиты старики и старухи, а дети согнаны в кучу. И только женщин пока не трогали: им предстояло утолить неистовую ярость победителей.

Князь опустил Евангелие, глянув на Машу блестящими глазами. Во взгляде его было страдание, и Маша поняла, что сейчас начнется то, ради чего и сочинил Насекин литературное вступление. Ужаснулась, но не осмелилась отказаться.

— Продолжайте. Пожалуйста, если в силах.

— Если вы в силах, Мария Ивановна, — с тихой горечью вздохнул Насекин.

Он вновь отгородился книгой, скорее, как показалось Маше, чтобы спрятать лицо, чем для того, чтобы разыгрывать чтение. И голос его начал дрожать.

— Их распинали на супружеских ложах, в пыли дорог и у семейных очагов. Их рвали за волосы, их били о землю, их топтали, мяли, кусали, кромсали, и лишь белые обнаженные тела их напрасно молили небо о пощаде!..

— Князь, не надо более, — не выдержала Маша.

— Нет, надо, — хрипло, его душили слезы, сказал князь из-за книги. — Я же мог? Мог видеть?... — Он помолчал. — Простите, это всего лишь выдумка. Ежели не желаете...

— Читайте, — сказала она. — Читайте, Сергей Андреевич.

Насекин начал на той же ноте, словно не было разговора. И с каждой фразой нарастала нервная дрожь, передаваясь Маше.

— Победители ушли — насытившиеся, усталые, опьяненные. Ушли, гоня перед собою детей: поверженный народ должен был быть уничтожен. Ушли в степь, и когда перестала дрожать земля, раздалась стона и от груды мертвых поползли те, кто еще мог ползти. Ползли девочки с окровавленными бедрами. Ползли женщины с рассеченными грудями. Ползли поседевшие в четырнадцать и онемевшие в десять... — Насекин трудно проглотил ком. — И надо было жить. Надо было забыть о погибших мужьях и угнанных в рабство детях. Надо было забыть о собственной боли и собственном позоре. Прежде чем начать жить, надо было забыть прошлое.

Он замолчал, по-прежнему заслоняя лицо раскрытым Евангелием.

Маша обождала и, скорее почувствовав, чем поняв, что это еще не конец рассказа, тихо спросила:

— А потом? Что случилось с ними потом?

— И вы, женщина, спрашиваете, что было потом? Через положенный природой срок они стали рожать. Рожать в муках, и радоваться каждой новой жизни, и хранить ее. И так было издревле по всей земле, а мы... — Князь вдруг зло рассмеялся. — Мы до сей поры со средневековой тупостью регистрируем, кто есть кто. Русских, французов, немцев, турок, англичан. Так не лучше ли выбрать самую густую, самую прочную краску и навсегда замазать это разделение? Замазать ложь, потому что все мы, все без исключения — дети женщин. Только дети женщин.

— Это ужасно, что вы рассказали, князь, ужасно, — вздохнула Маша. — Но вывод ваш, как всегда, парадоксален.

— Вывод? — резко перебил он. — Это общий вывод, Мария Ивановна, но есть еще вывод частный. Я читал вам Евангелие, а Евангелие никогда не лжет, даже если оно от Сергия, а не от Матфея. Так знайте же, что бога нет!.. — Князь сел, отшвырнул книгу. — Нет, ибо если бы он был, он не допустил бы того, что видели мои глаза и слышали мои уши. Нет!..

— А как же монастырь?

— Монастырь — раковина, в которую я заплзу, чтобы не видеть более женских глаз. Я боготворил вас, дорогая Мария Ивановна, и буду боготворить, но душа моя опозорена виденным. Оставьте меня сейчас и никогда более не навещайте. Знайте только — вы единственная звезда моя, что горит еще во мраке человеческого... Человеческого? Нет! Нечеловеческого зверства!

Маша возвращалась с чувством, что виделась она с человеком, уже закончившим свой жизненный путь, уже подводившим итоги. И даже неожиданное признание князя в любви лишь увеличивало ее горечь.

В тот день, когда Маша навещала князя Насекина, генерала Рихтера на дому посетил высокий худощавый мужчина в тесном потрепанном мундире без погон.

— Вольноопределяющийся Великолукского полка, — представился он. — Следуя к месту назначения, подвергся нападению неизвестных, был оглушен и ограблен до нитки. Все деньги и документы мои пропали, и лишь по счастью уцелела метрическая выписка, подтверждающая мое имя, дворянство и место рождения. Умоляю ваше превосходительство...

Неизвестный с такой живостью описывал детали ограбления и собственное печальное положение, что добродушному генералу оставалось лишь возмущаться и соболезновать. Тронутый несчастьем, начальник переправы тут же выдал справку об ограблении, деньги на проезд и подорожную до города Ловчи, где находился полк, в который спешил вольноопределяющийся из дворян Волинской губернии Андрей Совримович.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Умело выведенные из боя остатки дружин Болгарского ополчения без помех добрались до Шипкинского перевала, где располагался Орловский полк, порядком потрепанный в июльских боях. Здесь общее командование обороной было возложено на генерала Столетова, раненые отправлены в тыл, а ополченцы и орловцы сразу же взялись за кирки и лопаты: оборонительных сооружений перевал практически не имел.

— Дорогу строили, — огорченно вздохнул генерал-лейтенант Кренке, месяц назад командированный на Шипку.

Никто ни в чем не упрекал, но старый инженер, еще в 1869 году ушедший в запас и с началом войны по собственному желанию вернувшийся в армию, считал себя кругом виноватым.

— Ставьте фугасы,— сказал он начальнику саперной команды поручику Романову.— А мы в землю зарываться будем, сколь только успеем.

Олексин лихорадочно укреплял свой участок, не давая дружинникам передышки. Он хорошо знал, какой убийственный огонь открывают турецкие стрелки при атаке, и хотел не только углубить ложементы, а успеть отрыть и вторую линию. Турок еще не было ни видно, ни слышно, но по шоссе снизу, из Долины роз, нескончаемым потоком шли беженцы. Они двигались молчаливой понурой толпой, не обращая внимания на работавших, и поручик запретил своим солдатам отвлекаться на расспросы и разговоры. Он дорожил каждой минутой и видел не только беженцев, но и озабоченно размечавшего позиции Кренке, хмурого Столетова, Рынкевича, устраивающего центральный лазарет у двух белых домиков почти на середине их вытянутой с юга на север позиции, седлавшей шоссе на Габрово. И сотни солдат, под палящим солнцем роящихся укреплениях. Насмотревшись, сам хватал лопату, но долго работать не мог: начинала тупо ныть проткнутая штыком рука.

Рядом зарывались в землю орловцы. Их командир — круглолицый румяный подпоручик — работал вместе с солдатами. Впрочем, вместе с солдатами работали все офицеры; лишь командиры участков определяли ориентиры, выясняли скрытые подходы к позициям или уславливались с артиллеристами о взаимной поддержке. Но молоденький, с чуть пробившимися рыжеватыми усиками подпоручик был соседом, с ним хотелось не просто познакомиться, а и поговорить. Однако представляться первым Олексин не желал, поскольку был выше и чином и должностью, и тихо злился, поглядывая на увлеченно копавшего ложемент юношу. Знакомство приходилось откладывать на вечер, но во время короткого перекура Олексина вежливо тронули за локоть.

— Хотите водички? — Подпоручик протягивал фляжку.— Холодненькая.

Офицер источал такое молодое простодушие и наивность, что Гавриил молча взял фляжку.

— Разрешите представиться,— спохватился юноша.— Подпоручик седьмой роты Глеб Никитин. Ваш сосед.

— Рад познакомиться. Олексин Гавриил Иванович.

Щелкнув каблуками запыленных сапог, Никитин торжественно пожал протянутую руку и уселся рядом. Он был без мундира, в расстегнутой нижней рубашке с закатанными рукавами.

— Ужасно горят ладони,— доверительно сообщил он.— Нехорошо, что до сих пор руки никак не загрубеют, правда? Ведь я офицер. А какие молодцы местные жители! Целый день воду на себе тащат, а там такая крутизна, что я на четвереньках взбирался. Нет, право, они очень хорошие люди, эти болгары. Впрочем, что же это я? Вы же с ними в бою были. А каковы они в деле?

— Я за них спокоен,— сказал Гавриил: он все время сдерживал улыбку, опасаясь обидеть юного офицера.— А вы бывали в боях?

— Я? — Никитин помолчал, а потом расхохотался.— Знаете, хотел соврать и раздумал. Вы такой взрослый, с сединой да со шрамами, вы, поди, на три аршина подо мной видите. Не был я ни в каком бою, Гавриил Иванович, я из пополнения сюда. Повезло, правда? И полк отличный и вот-вот дело начнется. Конечно, перед вами я юнец, но и юнцам отечеству послужить хочется.

— Сколько вам лет?

— Двадцать. Пора бы уж и послужить, правда?

Офицер оказался всего на пять лет моложе, но эти пять лет поручик ощущал как пятнадцать. Слишком многое он видел, через мно-

гое перепахнул, чтобы вот так радостно улыбаться раскаленному солнцу, холодной воде и первым мозолям.

Вскоре доставили обед, а там и солнце стало клониться к закату, резкие тени гор начали расти, перекрывая ущелья, откуда наконец-то повеяло ветерком. А беженцы все шли и шли, темной молчаливой толпой пересекая позицию. Глядя на них, Гавриил думал о своих ополченцах. Они свято соблюдали дисциплину, запрет разговаривать с кем бы то ни было воспринимали как нечто само собой разумеющееся, но с нетерпением ожидали, когда поручик отменит этот запрет. И поэтому он очень рассердился, увидев, что какой-то орловец, оставив кирку, спустился к дороге и начал длинную беседу, даже присел, и болгары тут же окружили его. Кричать было бесполезно — кругом пыхтели, крякали, стучали, с грохотом сыпали камни, — и Олексин быстро пошел к солдату.

— Марш на место! — еще издали крикнул он. — Я ополченцам запретил работу бросать, а ты, бездельник...

— А я, сударь, перевязываю мальчика, — по-французски ответил солдат не оглядываясь. — И сделайте милость, не кричите, не пугайте несчастных. Они и так достаточно напуганы.

Гавриил растерянно посмотрел на солдата, догадался, что это вольноопределяющийся, и тоже перешел на французский.

— Простите. Вы медик?

— Я умею обрабатывать раны.

— Раны?

— Сквозное пулевое ранение левого плеча. А мальчонке лет девять, не больше.

Солдат мельком через плечо глянул на Олексина, отвернулся, глянул снова. Гавриилу показалось, что при этом он улыбнулся в густые пшеничные усы.

— Поручик Олексин, я не ошибся?

— Да.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, Гавриил Иванович. Вечером, если позволите.

До вечера поручик ходил, ломая голову, кем мог быть вольноопределяющийся Орловского полка и, главное, откуда он знал его, Гавриила Олексина. Все разрешилось в первой фразе при встрече:

— Я жених вашей сестры, Гавриил Иванович.

— Варвары? — опешив, уточнил поручик.

— Нет. Марии Ивановны.

— Господи, да она же еще... — Гавриил замолчал. Потом сказал, вздохнув: — Чуть больше года прошло, как последний раз видел их всех. На маминых похоронах.

— С той поры было еще две потери, — тихо добавил Беневоленский. — Вы не получали писем из дома?

— Нет. — Олексин напряженно смотрел на него. — Две, вы скажали? Неужели отец?

— Да, Гавриил Иванович. Он узнал, что вы пропали без вести, и...

Беневоленский замолчал, заметив излишнюю поспешность, с которой прикуривал поручик. Зная со слов Маши о крутом характере отца, он не предполагал, что известие о его смерти может так подействовать на боевого офицера.

— Извините, — сказал Гавриил. — Он был неласков, а я любил его. — Он помолчал. — Кого же еще мы недосчитались?

— В прошлом году на дуэли погиб Володя.

Эта новость была куда большей неожиданностью, чем смерть отца, но Гавриил ощутил ее скорее разумом, чем сердцем. «До чего же я очерствел, — с болью подумал он. — Ведь погиб Володька, по-собачьи влюбленный в меня Володька, самый самолюбивый и самый восторженный из всей нашей семьи...» Он сразу представил его — живого, веселого, не очень умного, но очень искреннего, доверчивого и доброго.

Представил, что его больше нет, а на душе по-прежнему было пусто, словно отец заслонил собой все потери. Может быть, потому, что Гавриил вдосталь нагляделся на гибель молодых.

— Да, Марии было от чего повзрослеть.

— Тем более что для нее три смерти, а не две. Все ведь считают вас погибшим.

— В известной степени я воскрес. Вы давно из Смоленска?

Беневоленский стал рассказывать о Маше, Федоре, Варваре, Тае Ковалевской, но вскоре замолчал, поняв, что Гавриил не слушает его. А поручик и не заметил, что собеседник умолк. Покивал, думая о своем.

— Да, да. Говорят, меня-де воспитал такой-то и такой-то, а это не так. Человека воспитывает не кто-то определенный, имярек, а сама семья, ее традиции, ее быт, ее нравы — ее мир, если попытаться выразить все в одном слове. В моей, например, жизни суровая прямота отца сыграла не меньшую роль, чем добро, которое делала мать. А может быть, и большую, потому что из добра не вылепишь война, добром не внушишь понятие чести, отвращение ко лжи и подлости. Добро куда чаще утверждает «можно», чем «нельзя», а ведь именно в запретах, в табу, впитанном с детства, и заложен весь нравственный опыт предков.

— В общем смысле вы правы, — сказал Беневоленский, — но в каждом конкретном случае ваша система не выдержит критики, поскольку и «можно» и «нельзя» весьма относительны. Табу крестьянина куда многочисленнее и определеннее, чем табу дворянина: в классовом обществе классовая мораль, Гавриил Иванович.

— Мы столь часто стали употреблять слова «классы», «классовый» и тому подобные, что это уже похоже на моду, — с неудовольствием сказал Олексин. — Человек должен думать и стараться по-своему объяснить мир, а не пользоваться готовыми формулами. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить: знаю это по личному опыту. Слава богу, у меня хватило здравого смысла расстаться с внушенными идеями и обрести свой символ веры.

— Какой же?

— Я служу отечеству, вот и все.

— Отечеству в лице государя?

— Отечество всегда отечество.

— Опять общо, а потому и относительно. Существует отечество народа и отечество правящего класса — извините, был вынужден вновь прибегнуть к слову, которое вам претит.

— Какому же из этих отечеств вы добровольно изъявили желание послужить?

Беневоленский долго молчал. В вечернем сумраке слышался беспрестанный шум: поток беженцев не иссякал и ночью.

— Издалека доносится запах гари, — сказал он наконец. — Завтра турки придут в Долину роз, и запах этот станет уже невыносимым. Кого благодарить за то, что мы обрекли ни в чем не повинных женщин и детей на гонения, голод и смерть? Народ России? Нет: он умирает за завтрашнюю свободу Болгарии. Тогда кого же?

— С точки зрения военной, рейд Гурко был блестящим планом.

— Знаете, чего не хватает всем нашим блестящим планам? Заботы о народе: они его попросту не учитывают. Но мы-то, честные русские люди, должны это учитывать? Не знаю, какие чувства испытываете вы, глядя на беженцев, а я испытываю стыд.

— Это уж чересчур.

— Возможно. — Беневоленский помолчал. — Поймите, я не ставлю под сомнение доблесть русских солдат и офицеров, я говорю, что служить отечеству значит и отвечать за его ошибки. Если мы служим России, а не правящей ею фамилии, Олексин. Извините, но я рядовой и мне пора в свое капральство. Фельдфебель, правда, уважает мои на-

шивки, однако не стоит этим злоупотреблять. Спокойной ночи, Гавриил Иванович.

— Спокойной ночи, — машинально отозвался поручик.

Беневоленский ушел, а Гавриил еще долго сидел на медленно остывающих камнях. Снизу, из долин, полз горький запах горя, который он ощущал сейчас куда сильнее, чем до этого разговора.

2

С утра 7 августа в Долине роз появились густые массы войск. Черкесы двинулись к деревне Шипка, но отступили, встреченные огнем охранения. А Сулейман неторопливо разворачивал табор за табором: наблюдавшие в бинскили офицеры считали знамена и бунчуки с горы святого Николая.

Как на грех, в тот же день у городка Елена показались крупные партии черкесов. Тамошний начальник генерал Борейша, не разобравшись, послал уведомление командующему корпусом генералу Радецкому о том, что перед ним передовые части всей армии Сулеймана, и срочно запросил помощи. Радецкий распорядился двинуть к Елене 4-ю стрелковую бригаду Цвезинского, отошедшую из-за Балкан в резерв корпуса. Форсированным маршем Цвезинский бросился к Елене, но там уже справились своими силами. Дав своим стрелкам три часа отдыха, Цвезинский повернул назад, к Габрову, но двое суток были потеряны.

Впрочем, тот день, 8 августа, когда стрелки торопились к Елене, для защитников перевала прошел спокойно. Турки не атаковали, и шипкинцы лихорадочно зарывались в каменистую землю. Поставили динамитные фугасы на опасных направлениях, оборудовали центральный перевязочный пункт, доделывали ложементы; казалось, все было по-прежнему — исчез лишь поток беженцев, отрезанных турками от перевала.

Поздно вечером Гавриила разыскал подпоручик Никитин.

— Смотрите, какая красота! — сказал он, глядя вниз, где горели костры.

— У вас взгляд художника.

— Вы угадали, Гавриил Иванович, была у меня такая мечта. Я даже брал уроки. А потом понял, что служить отечеству надо не там, где тебе хочется, а там, где от тебя будет больше толку. Ведь это же истинная правда, что рождаемся мы для того, чтобы славу отечества приумножить, так мне дедушка говорил.

— Волнение ваше естественно, Никитин, и не следует скрывать его звонкими словами. Война — произведение прозы, а не поэзии: готовьтесь читать ее с серьезностью и без восторга. Азбука не так уж сложна: видеть противника не как стихию, а как такого же человека, как и вы, склонного оберегать свою жизнь, поддаваться страху, усталости, отчаянию. Заставить его испытать эти чувства раньше, чем он заставит вас испытать их, — вот и вся задача. А решить ее могут только ваши солдаты. Верьте им, Никитин, верьте больше, чем самому себе: они не подведут.

Поручик говорил устало, и то, что он говорил, представлялось ему настолько очевидным, что Никитин мог понять его речь как желание отделаться от докучливого собеседника. Гавриил все время думал, что ложементы недостаточно глубоки, что вторая линия недостроена, что отбиваться придется залпами, а патронов мало. Но румяный, брившийся раз в неделю офицер воспринял его поучения очень серьезно. Искренне поблагодарил и тут же ушел к своим солдатам.

Первые звуки боя — редкий залповый огонь русских и неумолчная стрельба турок — донесли в предрассветной мгле. Этой бессистемной пальбой турки пытались ввести в заблуждение русских относительно направления главного удара. 8 августа на военном совете Сулей-

ман-паша—полководец непреклонной воли и еще более непреклонной жестокости — отдал приказ: основной удар наносился по левому флангу обороны отрядом Реджеба-паши.

— Овладеть перевалом немедля, — сказал Сулейман. — Пусть при этом погибнет половина нашей армии — с другой половиной мы по ту сторону гор будем полными хозяевами, потому что вслед за нами пойдет Реуф-паша, за ним Сеид-паша с ополчением. Русские ждут нас у Елены. Пока они доберутся сюда, мы уже будем в Тырнове.

Сулейман ошибся: русские ждали его на самом перевале. Но в этой ошибке турецкий полководец не был повинен: все было рассчитано, все учтено и все взвешено. Кроме необъяснимого упорства, отваги и презрения к смерти защитников перевала.

Так начинался знаменитый Шипкинский семиднев, каждый день которого навеки вошел в историю.

3

В семь утра стихла беспорядочная стрельба, заунывно запели сигнальные рожки, и со склонов Тырсовой горы, расположенной напротив горы святого Николая, потекли вниз, в седловину, тысячные колонны турок, и все вокруг покрылось сплошным качающимся ковром красных фесок.

— Ровно маки в поле, — сказал немолодой орловец и, сняв шапку, торжественно перекрестился. — Ну, братцы, постоим?

— Постоим, Акимыч! — вразной отозвались солдаты, торопливо осеняя себя крестным знамением.

Грохот первого орудийного выстрела перекрыл слова. Малая батарея, расположенная на восточном склоне святого Николая, открыла огонь. Вслед за ней заговорили орудия Стальной батареи, стоявшей ниже Малой. Снаряды рвались в гуще турецких колонн, но сулеймановские аскеры неудержимо катились в седловину.

— Картечь их сегодня не остановит.

Рядом с Гавриилом оказался капитан Перван Нинов, накануне прибывший на перевал вместе с сыном подпоручиком Ангелом Ниновым и небольшим пополнением. Мало зная Нинова, Олексин относился к нему с особым уважением. Старик — ему уже исполнилось шестьдесят восемь лет — сражался под Севастополем, где отвага его была отмечена не только орденами, но и офицерским званием.

— А что остановит, капитан?

— Мы.

Это было сказано с неколебимой убежденностью. Гавриил посмотрел на хмурое, посеченное шрамами лицо ветерана.

— Говорите это почаще нашим ополченцам, капитан Нинов.

— Скаты круты, поручик. Не бросайте все силы в атаки: кто-то должен прикрывать отход.

— Благодарю, Нинов.

— Ай, будет жарко! — весело крикнул ополченец с Таковским крестом Тодер Младенов. — Снимайте мундиры, болгары! — Он глянул на поручика. — Можно, господин поручик?

Олексин сердито отмахнулся: он смотрел вниз, куда спускались турки, и считал шаги, чтобы не запоздать с залповым огнем. Но картечь продолжала кромсать ряды атакующих, колонны их уже не выдерживали прежнего равнения, и поручик облегченно вздохнул, поняв, что противник выдохся.

— Вот теперь можно снять мундиры!

Турки резко замедлили движение, затоптались и повернули назад. Русские батареи выпустили вдогонку несколько снарядов и прекратили стрельбу: боеприпасы шли на счет. А когда смолк грохот, восторженное «ура» прокатилось по всей позиции.

Синие клубы порохового дыма стлались в неподвижном воздухе. Еще все молчало, еще не началась даже обычная неприцельная и частая турецкая стрельба, и только русские солдаты оживленно переговаривались, с любопытством разглядывая синевенные на противоположащих склонах груды тел.

В ложементах ополченцев было тише, чем у орловцев. Хмурое лицо старого капитана Нинова и молчаливая сосредоточенность Олексина сдерживали даже самых молодых. Они верили опыту своих командиров и понимали, что это еще не атака, а жестокая ее демонстрация. Первыми подхватив «ура», они тут же и замолчали, услышав фразу Первана Нинова:

— Еще не вечер, болгары.

Вскоре противник возобновил штурм. Аскеры наступали не только со склонов Тырсовой горы: густые колонны их показались на шоссе. Извилистая дорога позволяла Большой и Малой батареям вести огонь лишь на отдельных открытых участках; турки перебегали их и вновь упорно продвигались вперед. Действуя так, они в конце концов прорвались бы к отрогам горы святого Николая, которые шипкинцы называли Орлиным гнездом. Скалы здесь почти отвесно обрывались вниз, но аскеры Сулеймана, пройдя жестокую школу боев в Черногории, не боялись скал, пропастей и обрывов. Начальник южной позиции полковник граф Толстой понял опасность.

— Взрывайте фугасы.

Первый фугас был взорван неудачно: взрыв произошел раньше, чем подошли турки. И все же сила его была такова, что противник сразу отхлынул: первая атака по шоссе была сорвана.

Однако свежие таборы по-прежнему яростно рвались к левому флангу. Их громили пушки со Стальной и Центральной батареями, но в седловине между Тырсовой и Николаем лежало мертвое пространство, недоступное артиллерии; достигнув его, аскеры получали передышку, возможность накопить силы и атаковать расположенные по гребню ложементы.

Артиллерия могла сорвать начало турецкой атаки, но на втором ее этапе была бессильна. Защитникам оставалось рассчитывать на самих себя: на залповый огонь и штыковые контратаки. И из всех ложементов еле слышно за грохотом, ревом снарядов, криками «алла» и воем турецких рожков донеслось:

— К стрельбе готовься! Залпами по полувзводно!..

Почудилось, будто эту команду услышали турецкие стрелки: град пуль обрушился на ложементы. Высланные Реджебом-пашой черкесы укрылись в скалах Тырсовой горы, откуда и вели безостановочный огонь из дальнобойныхмагазинок. Упали первые убитые.

— Садись!.. — срывая голос, закричал Гавриил. — Всем сесть в ложементах! Сесть!..

Пока аскеры Реджеба-паши прорывались сквозь заградительный огонь батарей, на шоссе вновь началось наступление. Среди синих колонн атакующих замелькали белые одежды мулл, взвыли рожки, донеслось далекое «алла». Большая и Малая батареи вели частый огонь, но противник умело использовал изгибы шоссе. Волна все ближе и ближе подкатывала к Орлиному гнезду.

— Прошу более не ошибаться, поручик, — сквозь зубы сказал Толстой.

Романов и сам понимал, что ошибиться нельзя. Он стоял в рост, держа провода от гальванической батареи, и напряженно следил за турками. Пуля ударила в бок, но поручик даже не почувствовал, что ранен. Затаив дыхание, он считал шаги, он весь был там, у своих фугасов. «Только бы не перебило провода, только бы не перебило провода...» И соединил контакты, когда первые ряды вступили на фугас. Вторично гигантский взрыв динамита потряс воздух, взлетела земля, камни, тела в синих мундирах, и колонну будто сминуло.

— Хвалю, Романов, — сдержанно сказал Толстой. — Ступайте на перевязку.

Напуганные мощными взрывами турки более на шоссе не показывались, но продолжали упорно рваться к отрогам левого фланга. Такого боевого порыва доселе никогда еще не встречали русские. Все ярусы ложементов полыхали залпами, а турки, топча тела павших, все шли и шли, и на поддержку им скатывались со склонов Тырсовой новые колонны. Над всей позицией стоял несмолкаемый грохот, в котором тонули отдельные выстрелы, и солнце тускло светило сквозь сплошную завесу дыма и пыли.

И снова атака захлебнулась. Очередная колонна на скате Тырсовой горы наткнулась на картечный смерч со Стальной батареей, дрогнула, заметалась и повернула назад, под защиту скал. Смолк грохот батарей, смолкли турецкие рожки, дикие крики «алла», и даже стрельба черкесов стала заметно реже. Медленно рассеивался пороховой дым, сползая в низины, сухая каменная пыль скрипела на зубах.

— Раненым на перевязку, убитых убрать из ложементов, — сказал Олексин, обессиленно садясь на горячие камни.

С другой стороны к Гавриилу шел капитан Нинов. Седые волосы его побурели от пыли и пороховой копоти.

— Сколько турок бежало, а сколько отошло, считали?

— Не было времени.

— Я тоже не считал, но показалось, что отошло меньше. Послал Тодора Младенова: говорит, не все отошли. Много осталось под горою.

— Благодарю, капитан. Первые ложементы, изготовиться к бою! Никитин, глядите в оба, здесь нам артиллерия не поможет.

— То же самое я сказал моему сыну Ангелу, — усмехнулся Нинов, садясь рядом. — Аскеры Сулеймана больше боятся своего вождя, чем смерти. Я дрался с турками в Болгарии, Герцеговине, Черногории и под Севастополем, но я не видал таких атак.

Красные фески появились перед ополченцами внезапно, словно вынырнув из-под земли, и так близко, что защитники отчетливо различали лица. На таком расстоянии не ожидавшие броска не успели бы наладить залпового огня, на что и рассчитывали турецкие офицеры. Исход боя решали секунды, и казалось, что власть над этими секундами принадлежит аскерам Сулеймана.

— Ур-ра!

«Ура» было жиденьким: пятнадцать ополченцев во главе с подпоручиком Ангелом Ниновым дружно ударили в штыки. Турок к тому времени скопилось уже около двухсот, снизу лезли и лезли, но удар был внезапен, а «ура» стало пугающе грозным: все защитники горы святого Николая — орловцы и ополченцы, стрелки и артиллеристы, офицеры и рядовые — подхватили это «ура». Штыками и грозным ревом сотен пересохших глоток противник был сброшен со ската. Из атаки вернулись десять болгар; они молча положили к ногам капитана Нинова тело убитого подпоручика.

Но аскеры рванулись не только в этом месте. Они атаковали вдоль всего левого фланга, и стрелять было некогда. Навстречу штурмующим посыпались камни, бревна — полетело все, что можно было обрушить на врага. Грохот камней, крики раненых и непрекращающееся «ура» заглушали все команды, и Олексин только махнул рукой, призывая своих. Он бежал навстречу туркам, зажав по револьверу в каждой руке, стрелял почти в упор и только по офицерам. Ложементы, которые оказались вне зоны штурма, лежавшая в резерве за Стальной батареей рота орловцев и все артиллеристы помогали своим чем могли: хриплым, неистовым и страшным боевым кличем России.

Это были мгновения не только величайшего боевого подъема — это было единение. В бою перемешались русские и болгары, солдаты и офицеры, перемешались, помогая друг другу, выручая из беды, спасая от гибели. Неудержимый боевой восторг, восторг общей победы охватил

всех. Орловец в грязной изодранной рубахе вскочил на бруствер ложе-мента.

— Братья! — крикнул он, и Гавриил узнал жениха своей сестры. — Братья-русские, братья-болгары! Общее дело сплотило нас, общая кровь породнила. Поклянемся же умереть здесь, но не пустить турок в долину Янтры!..

— Клянемся! — откликнулись ложементы. — Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Орловцы бросились к ополченцам, ополченцы к орловцам, русские и болгары троекратно целовали друг друга, узнавали имена. У многих на глазах блестели слезы, а Никитин восторженно плакал, но в этот миг никто не стеснялся слез. И только капитан Нинов стоял с сухими глазами.

— Примите мои соболезнования, — тихо сказал Олексин.

— Не надо соболезновать, — строго ответил капитан. — Мой мальчик пал за свободу. — Он вдруг выпрямился, крикнул: — Это наша земля! Наша! Ляжем костями, но не отдадим ее османам! Не отдадим никогда!

Голос его звенел от боли и горя. При каждой фразе старик торжественно простирал раскрытую ладонь над мертвым сыном, точно призывая его в свидетели и одновременно клянясь его гибелью.

— Велики ли потери, поручик?

Гавриил оглянулся. К ним подходил генерал Столетов в сопровождении ординарца Петра Берковского.

— Ложементы удержу, ваше превосходительство.

— Благодарю. — Столетов снял фуражку, шагнул к Нинову и склонил голову. — Позвольте считать вас братом, капитан Нинов.

— Здравствуй, брат, — тихо ответил Нинов.

Он обнял генерала, плечи его затряслись. Берковский бросился к нему, но капитан уже овладел собой и, троекратно расцеловавшись со Столетовым, отстранился с прежним замкнутым лицом.

Генерал обернулся к Олексину:

— Выстоим, поручик?

— Или умрем тут, генерал.

Николай Григорьевич молча протянул Гавриилу руку.

4

Через час турки возобновили ружейный обстрел, а на скатах Тырсовой горы задвигались густые массы таборов. Толстой отдал приказ офицерам следить и первым, подавая пример, встал в ложементе. Офицеры падали от турецких пуль, но туркам не удалось незамеченными спуститься с гор.

И эта атака захлебнулась. Разбитые таборы спешно отошли, пороховые дымы поползли в ущелья, открывая раскаленное солнце: на всей позиции не было ни клочка тени. И не успели передохнуть защитники, как у краев плато в непосредственной близости от ложементов снова показались сотни красных фесок.

Эта схватка была продолжительнее и яростнее первой. Противники дрались врукопашную на крутых скатах, у обрывов, и часто тяжело раненные орловцы и ополченцы в последнем усилии цеплялись за врага и вместе с ним летели в пропасть. Потеряв оружие, защитники грудью бросались на штыки, стремясь заслонить собою товарищей, а аскеры хватили за сабли офицеров, рвали их на себя и, сбив с ног, тут же приканчивали. Так потащили было Никитина — по неопытности он продел кисть в темляк и не мог отпустить саблю; его отбили орловцы, дружно ударив на турок, уже волочивших к себе подпоручика. Гавриил водил ополченцев, по-прежнему вооруженный револьверами: болела рука, раненная в битве за Самарское знамя. Он и в этом бою старался не терять спокойствия, видел все, вовремя приходил на по-

мощь и не тратил зря патронов, выскивая офицеров. В разгар побоища, когда казалось, что турки вот-вот сомнут горсточку защитников, Петр Берковский привел резервный взвод.

В первый день боев — самый длинный день Шипкинского семиднева — левый фланг отбил десять турецких атак, в среднем они повторялись через каждый час. Глотки горели от надсадных криков, каменной пыли, порохового смрада и копоти. Последнюю атаку противник предпринял против Стальной батареи уже при лунном свете; отбиваться опять пришлось рукопашную, но отбили и ее, десятую. И тогда наступила тишина, только всю ночь не замолкая мучительно стонали под обрывами раненые.

Солдатам и офицерам раздали сухари. А надо было исправлять и достраивать ложементы, хоронить убитых, позаботиться о раненых. На это уже не доставало сил, но в темноте беззвучно задвигались тени: шли болгарские женщины и дети, которых только сейчас Столетов допустил на позиции.

Около полуночи полковник Липинский привел Брянский полк, и Столетов вздохнул с облегчением. Обсудив с командирами участков положение, а заодно узнав от Липинского, что в Габрове доселе нет войск, он возложил на командира брянцев заботу о правом фланге. Отданный им боевой приказ был по-суворовски лаконичен: держать перевал.

С низин потянуло прохладой, скопившимся пороховым дымом, запахом искромсанных тел. Олексин сидел под скалой на шинели, понимал, что должен хоть немного вздремнуть, но не дремалось и даже не думалось. Ломило все тело, ныла растревоженная рана, и все время хотелось пить.

— Олексин, вы? — Беневоленский в наброшенной на плечи шинели опустил рядом. — Искал вас.

— Ранены? — спросил поручик, увидев перебинтованную руку.

— Пуля. По счастью, в мякоть.

— Это когда вас на бруствер энтузиазмом вынесло?

— Нет, позже, в атаке. — Беневоленский усмехнулся. — Никогда не переживал такого подъема, такого торжества духа, что ли.

— Ступайте-ка к доктору Конькову, господин энтузиаст.

— Зачем? Я еще могу стрелять и перевязывать.

— Я хочу сохранить жениха для сестры, Прохоров.

Беневоленский помолчал, в темноте искоса поглядывая на грязное, осунувшееся лицо поручика. Потом сказал тихо:

— Я не хочу более обманывать вас, Гавриил Иванович. Я никакой не Прохоров. Я Аверьян Леонидович Беневоленский, сын священника села Борок, что неподалеку от Высокого. Нет, нет, я не вор, я не поддельвал векселей и никого не убивал: за мной охотились, вот и пришлось сменить паспорт.

— Кто за вами охотился? — устало спросил поручик. — Коли признаваться, так до конца.

— Вы правы, Олексин. — Беневоленский опять помолчал. — Что вы знаете о русских социалистах? Я имею в виду не говорунов типа господина Лаврова, а настоящих революционеров.

— Я не имею чести быть знакомым ни с господином Лавровым, ни с кем-либо из настоящих революционеров, — сказал Гавриил. — Впрочем, в Сербии под моей командой служили трое парижан-коммунаров, и это не мешало им быть отважными солдатами.

— Наша деятельность требует мужества, Олексин.

— Ваша?

— Да. Я разделяю мысли Ткачева об активной борьбе с существенными, правда, поправками, но это уже теория.

— Надеюсь, вы не втянули Марию в свою мужественную деятельность?

Он спросил с ворчливой улыбкой. Он никогда не интересовался никакими учениями, относясь к ним с полным равнодушием, и никого не осуждал. Каждый человек волен поступать по долгу совести — этому учил отец, и все Олексины воспринимали свободомыслие как нечто само собой разумеющееся.

— Только не занимайтесь пропагаторством в полку.

— Зачем? — улыбнулся Аверьян Леонидович. — Здесь эту работу неплохо выполняют турки, разве не так? Разве сегодняшний день не знамение завтрашних битв за свободу? Я воспринял его именно так, Олексин. Когда русский искренне считает болгарина братом, а болгарин не раздумывая жертвует за русского жизнью, когда простые солдаты грудью заслоняют офицеров, а офицер отдает нижнему чину последний глоток воды, война выходит из тех берегов, в которых ее хотело бы видеть самодержавие. На Шипке произошло чудо, Олексин: царская расчётливая бойня превратилась в войну народную по воле самих народов.

— Для вашего возраста вы слишком восторженны. Это пройдет, просто сказывается первый бой.

— Отнюдь, Олексин, я скорее сдержан, чем горяч. А некоторая приподнятость речи объясняется открытием: я, подобно Архимеду, все время хочу кричать «эврика».

— Открыли, что рядовые спасают офицеров, а офицеры жалеют подчиненных? Мало для того, чтобы кричать «эврика», Беневоленский.

— Нет, я открыл нечто большее. Мне пока трудно объяснить, надо многое передумать. А суть в том, что все наши споры, теории да и вся наша практика вдруг представились мне детской игрой по сравнению с той силой, которую я ощутил сегодня. Эта сила и только эта сила правит историей, Олексин.

— Послушайте, Беневоленский, не пора ли нам отдохнуть? — Гавриил деланно зевнул. — Завтра у нас не диспут о том, кто творит историю, а история. Дама довольно кровавая и беспощадная. Тем паче что я все равно ничего не понимаю.

— Не понимаете, так поймете, — с неожиданной резкостью сказал Аверьян Леонидович. — Вы решительнее Василия Ивановича и умнее блаженного Федора, и вам совсем не все равно, за что воевать.

— За что же, по-вашему, я воюю?

— За свободу, Гавриил Иванович. Пока за чужую.

— Свобода — понятие относительное, поскольку не может быть свободой для всех. А вот справедливость всегда справедливость.

— Справедливость тоже каждый понимает по-своему.

— Э нет! Справедливость связана с честью человека: если человек дорожит своей честью, он будет отстаивать справедливость, чего бы это ему ни стоило. Только бесчестные люди способны мириться с несправедливостью.

— Вы идеалист, Олексин.

— А вы?

— Если меня не убьют, я попробую пересмотреть свои идеи. Террор, бунты, упования на крестьянскую стихию — все это не то. Революционер не спичка, которую подносят к фитилю... Да, вы правы, надо послать. Дай нам бог продолжить этот разговор.

— Дай бог, чтоб мне хватило патронов на завтра, — хмуро сказал Гавриил, расстилая шинель на остывшей земле.

За ночь турки подтянули артиллерию и весь следующий день слали на русские позиции снаряд за снарядом. И все же второй день был куда легче первого. Противник провел всего шесть атак, направленных только против горы святого Николая; атаки были короткими, аскеры шли в бой вяло.

— Демонстрируют, — вздохнул Столетов, прибыв на южную позицию вместе с генералом Кренке.

— Видимо, так, — согласился Толстой. — С какой же целью?

— Обходят, — сказал Кренке. — Вчера лазутчики прощупали наш правый фланг, а сегодня Сулейман перебрасывает туда таборы. Господи, как же это мы лес вырубить не успели?..

Однако в течение всего дня противник ни разу не побеспокоил защитников справа, где оборону в основном держали брянцы. К вечеру прекратились атаки, и только черкесы продолжали вести беспокоящий ружейный огонь. Но к этому уже привыкли; болгарские жители опять доставили воду, увезли в Габрово тяжелораненых, а войска впервые за двое суток получили вареное мясо.

Зато утро 11 августа встретило защитников полной неожиданностью: на Тырсовой горе противник успел возвести батарею, втащив пушки и снаряды на канатах. Девять черных жерл глядело на шипкинскую позицию из девяти амбразур.

— Гляди, девятиглазая!.. — ахнул пожилой орловец.

С его легкой руки это название так и закрепилось за батареей, почти сразу же открывшей огонь: с Тырсовой горы турецким артиллеристам была видна вся система русской обороны. Турки еще не начинали атак, проклятая «девятиглазая» была без перерыва, а черкесы вновь открыли бешеную стрельбу. Все пространство, занятое защитниками перевала, простреливалось насквозь, что не мешало, впрочем, ординарцу Столетова Берковскому на казачьем коне проскакать вдоль всей позиции:

— Помощь идет! К полудню будет помощь, держитесь!

В это время эта обещанная помощь, еле двигая ногами, втягивалась в Габрово после безостановочного суточного перехода.

— Немедля выступить на перевал, — сказал Радецкий, выслушав рапорт командира.

— Это невозможно, ваше превосходительство, — вздохнул Цвейцинский. — Стрелки шли всю ночь.

— Столетов третий день держит Сулеймана! — побагровев, закричал Радецкий. — Вы единственная его надежда. Единственная!

— Я понимаю и все же настоятельно прошу дать стрелкам шесть часов отдыха.

— Четыре! — отрезал Радецкий: он был грубоват даже с генералами. — Ровно двести сорок минут!

Турецкие разведчики действительно прощупали правый фланг обороны, но Сулейман не стал дробить свои силы. Он направил туда свежие таборы подошедшего Реуфа-паши, а сильному отряду Весселя-паши приказал окружить русских с севера, перерезав дорогу на Габрово. Именно этот день, 11 августа, турецкий полководец избрал днем генерального штурма и настолько был уверен в победе, что еще до атаки направил донесение султану о взятии Шипкинского перевала.

В половине пятого утра началась мощная артиллерийская подготовка. Шипкинская позиция была засыпана снарядами, противник вел огонь с трех сторон одновременно, грохот разрывов сливался в единый безостановочный гром, солнце померкло в дыму и пыли. Русские батареи на огонь не отвечали. В семь утра оборвалась канонада, и турки ринулись на приступ ложементов правого фланга. Через несколько минут они начали атаки по всему фронту.

Берковский добрался до ложементов Олексина чудом: пули сплошной завесой накрыли всю позицию.

— Ваш отряд, поручик, переводится в резерв правого фланга. Приказа на контратаку не будет, генерал полагается на ваш опыт.

— Я понял. — Гавриил подобрался к соседнему ложементу. — Никитин, вы живы еще? Сколько у вас людей?

— Семнадцать.

— Вольноопределяющийся цел?

- Отправился к доктору.
 — Помните, левее вас ложементы пусты: меня перебрасывают.
 — Нет, не пусты, — сказал капитан Нинов. — Я останусь здесь, поручик. Здесь погиб мой сын.
 — Если позволите, я останусь с капитаном Ниновым, — сказал рослый, очень молчаливый ополченец.
 — Фамилия?
 — Леон Крудов.
 — Оставайтесь, Крудов. Держите связь с Никитиным, Нинов.
 Нинов лишь молча кивнул, а Крудов сказал хмуро:
 — Мы не отдадим живыми этих ложементов.

После полудня турецкие атаки стали стихать. Смолкли турецкие рожки, крики «алла», залповый огонь защитников и их редкое «ура».

Беневоленский лежал в неглубокой снарядной воронке. Боль в раненой руке, начавшись сутки назад, переросла в невыносимо ноющую, от которой он скрипел зубами. «Неужели гангрена? Но я же обработал рану... Неужели гангрена?..» Надо было спешить к врачу, пока притих бой, пока его не свалила эта страшная боль, пока еще были силы. Он выбрался из воронки и, не обращая внимания на пули, потащился к белым домикам перешейка, где доктор Коньков развернул основной перевязочный пункт.

— Эй, куда под пули-то, куда? Пригнись, слышь, что, лы!..

Кричали брянцы, около роты их лежало в наспех открытых ложементах. Это был резерв полковника Липинского, который он пока приберегал. Беневоленский услышал крики, но посмотрел в другую сторону: ему почудился звон. Оглянувшись и рядом, в полусотне шагов, увидел турок. Пригнувшись, они быстро пересекали позицию, намереваясь с тыла ударить по Стальной батарее и таким образом замкнуть оба конца подковы, охватившей гору святого Николая. Как свыше двух сотен турок сумели просочиться через оборону правого фланга, раздумывать было некогда.

— Брянцы, за мной!.. — крикнул Беневоленский. — Бей турок, братцы! Ура!..

Турки крались осторожно, опасаясь не только преждевременно обнаружить себя, но и пуль собственных черкесов. Все внимание их было устремлено вперед, к Стальной батарее; брянцы первыми увидели противника и рванулись к нему с такой неудержимой яростью, что часть турок тут же бросилась бежать, но большинство было перебито на месте.

— Благодарю, вольноопределяющийся, — сказал капитан, командовавший брянцами. — Вы вовремя отдали команду. Ранены? Дать прожогатого?

— Нет... — задыхаясь от боли, сказал Беневоленский. — Я доберусь сам, капитан.

И, пошатываясь, медленно потащился к белым домикам, со страхом думая, что это все-таки она. Гангрена.

6

4-я стрелковая бригада генерал-майора Цвезинского не принадлежала к гвардии, не обладала никакими привилегиями и даже не имела истории. Бригада впервые показала себя в боях за переправу, отлично действовала в составе Летучего отряда Гурко, но особую славу принесли ей дни Шипкинского семиднева. Именно тогда она получила от солдат прозвище Железная — сначала неофициально, затем в газетах и корреспонденциях, а позднее и в официальных документах. Это был первый и единственный случай в русской армии, когда воинская часть называлась не по месту первоначального формирования и даже не по имени шефа — как правило, члена царствующего дома, — а так, как назвал ее сам народ.

Дорожа каждой минутой, отпущенной корпусным командиром на отдых, Цвецинский все же провел своих стрелков через Габрово. До этого тихого, не тронутого войной городка уже добрались толпы измученных беженцев и ужасающие слухи о несметных полчищах османов.

— Стрелки! — сказал Цвецинский, перед тем как отдать команду. — Мы единственная русская сила, которую увидят сейчас жители и беженцы из-за Балкан. Знаю, что устали вы непомерно и марш нам предстоит тяжелый, но подтянитесь, братцы.

Стрелки, совершившие двухсуточный бросок по сорокаградусной жаре, молча выровняли ряды, застегнули мундиры, лихо надвинули кеги. Бригада прошла через город, печатая шаг разбитыми сапогами, в которых уже нестерпимо горели ноги. И, несмотря на ранний час, жители высыпали на улицы от мала до велика. Мужчины снимали шапки и кланялись в пояс, женщины плакали, поднимали детей, девушки бросали цветы под ноги стрелков. А когда колонна появилась на площади, где скопилось особенно много народа, седой священник с крестом в руке громко крикнул:

— Болгары, на колена!

Вся площадь опустилась на колени, и лишь священник остался стоять, торжественно осеняя крестом проходивших солдат. И стрелки прошли через эту площадь так, как не ходили ни на каком высочайшем смотру.

За городом Цвецинский выбрал запущенный сад, остановил бригаду и приказал всем спать.

— Подниму ровно через двести минут.

Солдаты и офицеры падали на землю, едва дойдя до тени, и скоро усталый храп повис над спящей бригадой. Цвецинский расположился в полуземлянке хозяина, сын и дочь которого вторые сутки возили на Шипку воду и хлеб.

— Через час разбудишь, — сказал он, тут же рухнув на хозяйский топчан.

Его разбудил не старик, а незнакомый господин в легком чесучовом пиджаке.

— Пора вставать, генерал.

— Кто вы? — удивленно спросил Цвецинский, еще не придя в себя со сна.

— Корреспондент Василий Иванович Немирович-Данченко. Получил разрешение корпусного командира Федора Федоровича Радецкого следовать с вами. Не возражаете? — Не ожидая согласия, Василий Иванович улыбнулся и указал на низенькое оконце. — Ваши спят как в раю.

Стрелки по-прежнему храпели в саду, но теперь вокруг них было множество болгарских женщин. Они осторожно перетаскивали спящих в тень, когда до них добиралось солнце, отгоняли мух, смачивали губы водой; многие, сев на землю, положили на колени стриженные солдатские головы.

Через полчаса бригада выступила. Передохнувшие стрелки шли быстро, но дорога становилась все круче, а солнце уже немилосердно жгло спины; солдатские рубахи покрылись соленой коркой, панцирем сковав разгоряченные тела.

— Ваше благородие, дозволейте разуться. Ноги в кровь сбил, немоготу.

Офицеры кивали: на слова не хватало сил. Уже добрая треть стрелков шагала босиком, оставляя кровавые следы на пыльной каменной дороге. Цвецинского, ехавшего впереди, нагнал командир батальона.

— В батальоне три случая солнечного удара, ваше превосходительство. Необходим короткий привал.

— Посмотрите вперед, полковник.

За поворотом резко выделялась в ослепительной синеве неба крутая вершина святого Николая. Темные облака дыма скрывали ее подножие, и уже слышался тяжкий грохот орудий.

— Лучше потерять сто человек от солнечных ударов, чем опоздать на полчаса. — Цвейцинский спрыгнул с седла. — Офицерам спешиться, на лошадей сажать слабосильных. Вперед, стрелки!

Шоссе вздыбилось еще круче, раскаленный воздух дрожал перед глазами, жара достигала сорока градусов. Все чаще падали теряющие сознание солдаты; их оттаскивали в тень и оставляли до подхода женщин: с кувшинами воды болгарки шли позади бригады.

Из-за отрога горы навстречу вылетел казак в изодранной нательной рубашке, без фуражки, с кое-как перебинтованной головой.

— Братцы, скорее! — хрипло кричал он. — Со всех сторон турка валит! Наших совсем мало осталось, поднатужьтесь, братцы!..

— Часа три продержитесь? — спросил Цвейцинский.

— А куда ж деваться?

— Скачи. Скажи, что идем.

Казак огрел нагайкой коня, с дробным топотом скрылся за изгибами дороги. Стрелки из последних сил прибавили шаг. Вскоре их нагнал Радецкий на взмыленной лошади.

— Подзете?

Сдержанный корректный Цвейцинский дернулся, как от удара. Но грубоватый генерал на сей раз не дал ему высказаться.

— Молодцы! — неожиданно весело продолжил он. — Суворов гордился бы вами, не то что я. Молодцы, сынки, русские вы ребята, а русские никогда в беде товарищей не оставят. Верю в вас, стрелки, надай еще! Я шагом поеду, и чтоб никто от меня не отставал. — Тут он свесился с седла и тихо добавил: — Особо вы, ваше спешенное превосходительство.

Несмотря на усталость, Цвейцинский улыбнулся. Федор Федорович Радецкий при всей грубости умел запросто разговаривать с солдатами, искренне заботился о них, при необходимости был суров до жестокости, но не отличался остроумием. А тут поддел, и это почему-то обрадовало Цвейцинского.

7

После того как резервная рота брянцев неожиданной атакой уничтожила прорвавшихся у перешейка турок, наступило некоторое затишье. Обстрел продолжался, но со штурмами противник не спешил. Залегшие в аванпостах спешенные донцы слышали топот ног, далекие команды: турки заменяли потрепанные таборы свежими, готовясь к новым приступам.

Сюда, к этой уже изрядно поредевшей, растерявшей всех офицеров сотне, приполз раненый казак, встретивший стрелков на дороге. Казак доложил о встрече Столетову, а теперь добрался до командовавшего остатками сотни вахмистра.

— Идут стрелки, Фомич. Поспешают, но аж в задыхе. Часа три, а то и поболее держаться велят.

Худощавый немолодой вахмистр почесал небритую щеку, подумал.

— Коней наших черкесня не перебила?

— Кони целы. Там же, в балочке.

— Бери коней, Лаврентий, и гони к стрелкам. Пусть хоть роту на конь посадят да сюда наметом.

— В гору наметом? — усомнился казак. — Коней погубим, Фомич.

— Коней тебе жалко, сукин ты сын, а дело не жалко?

В это время Беневоленский, едва не теряя сознание от боли в воспаленной, распухшей руке, сидел у домика, дожидаясь очереди на перевязку. Крышу домика разворотило снарядом, но изрешеченные пулями стены еще стояли: здесь размещался основной перевязочный

пункт, старшим которого был врач Болгарского ополчения доктор Коньков. Кроме него, здесь же и рядом, в палатках, без сна и отдыха работали другие врачи и фельдшеры, но к Конькову всегда была особо длинная очередь. Солдаты и офицеры уважали в нем не только опытного хирурга, но и бесстрашного человека, возглавившего под Эски-Загрой атаку роты, когда пал ее командир. Коньков делал преимущественно сложные операции, после которых раненых тут же укладывали до ночи, до прихода болгар, доставлявших их далее в Габрово. А легкораненые упорно возвращались в свои ложементы.

— Куда тебе в строй? — сердился едва державшийся на ногах от бессменной трехсуточной работы врач. — Ты же стрелять не можешь, а штыком работать и подавно.

— Ну и что, что не могу? Я еще камень могу ему на голову свалить либо прикрыть кого. А уж «ура», ваше благородие, лучше меня никто не крикнет, не сомлевайся!

Доктор Коньков — небольшого роста, с некогда гусарскими, а теперь уныло обвисшими усами, серый от бессонницы и бесконечных операций — только свистнул, увидев руку Беневоленского.

— Будем резать, вольноопределяющийся.

— Значит... — Аверьян Леонидович горестно покачал головой. — Неужели нет надежды?

— Левая — не правая. Жить можно.

— Безусловно. А работать?

— В канцелярии устроитесь.

— Я медик, доктор, — тяжело вздохнул Беневоленский.

— Медик? — Коньков внимательно посмотрел на него красными, воспаленными глазами. — Тогда сами понимаете, что вас ждет, если я не сделаю ампутацию. Да, да, она самая. — Он вздохнул. — Наркоза у меня нет, коллега. Если угодно, дам стакан водки.

— Не надо, — тихо сказал Беневоленский.

— Я попробую разять по суставу. Возьмите нашатырный спирт: будете терять сознание, нюхайте.

— Предпочитаю оказаться без сознания.

— У меня нет помощников, коллега, и я рассчитываю на вас, — устало пояснил Коньков. — Я расположу инструменты возле вашей правой руки, будете подавать, что скажу. Поэтому нюхайте, вы мне нужны в сознании.

Коньков еще только готовился к операции, когда турки предприняли новую серию атак. На сей раз их цепи, встреченные залпами, не отступали, как обычно, а падали на землю, и тотчас же из-за деревьев выбегали новые толпы. И они не откатывались, остановленные русским огнем, а тоже падали, постепенно скапливаясь в непосредственной близости от ложементов. А из леса снова и снова шли в атаку свежие таборы, и все ревело от грохота, залпов и криков.

Из укрытия, куда Берковский положил отряд Олексина, хорошо была видна неистовая турецкая атака, но Гавриил до времени старался не обнаруживать себя. Он сразу понял маневр противника: накопить вблизи от русских возможно большее число аскеров, а затем одним броском ворваться в ложементы, смять защитников и всей мощью навалиться на центральную позицию и на командный пункт обороны. Он знал, что так оно и будет, но при этом турки неминуемо подставляли его отряду свой фланг, и поручик ждал этого мгновения. Он взвесил последний шанс и твердо был убежден, что внезапный удар во фланг сорвет и эту атаку.

Во время этого небывалого по жестокости штурма два коновода гнали лошадей навстречу 4-й стрелковой бригаде. Оба были ранены, но боевая ярость третьего шипкинского дня была столь велика, что казаки не чувствовали боли. Оба понимали, что именно от них, от рядовых донцов, зависит сейчас судьба всего Шипкинского сражения, и вопреки врожденной, с молоком матери впитанной любви к лоша-

дям сегодня не жалели нагаек. На полном аллюре они вылетели из-за поворота на задыхающуюся, из последних сил поспевающую колонну, впереди которой ехал генерал Радецкий, сразу запрудив узкое шоссе разгоряченным скачкой табуном.

— Дорогу! — гневно закричал Радецкий. — Коней спасаете, мать вашу? Дорогу, сукины дети!

— Погоди, ваше превосходительство! — торопливо прокричал казак, нагайкой охладившая сбившихся в кучу лошадей. — Мы за вами. Сажай на конь по два! Сажай, чего время теряешь? Там турка на штурм попер, сил уж нету боле!

— Садись! — громко скомандовал Радецкий. — Молодцы, казаки, вразумили старика. Стрелки, живо на коней — и за казаками!

Двести стрелков авангарда не очень умело рассаживались на храпевших лошадей. Казаки забористой матерщиной успокаивали коней, помогая стрелкам устроиться поудобнее.

— Готово? Ну, держись, стрелки!

Казаки еще выстраивали перегруженных коней, когда случилось то, что предвидел Олексин: вместе со свежей волной атакующих вскочили залегшие под ложементами аскеры. Дикий рев «алла» заглушил залпы, турки одним рывком достигли ложементов, и началась рукопашная. А новые толпы в синих мундирах все выбегали и выбегали из-за деревьев.

— Поручик, пора! — не выдержав, крикнул Тодор Младенов.

— Лежать! — гаркнул поручик. — Застрелю, кто поднимется без команды!

И застрелил бы: ему некогда было церемониться. Он напряженно наблюдал за схваткой, ожидая, когда иссякнут силы защитников и турки ринутся к центральной, подставив ему фланг. Видел, как на помощь бежали жалкие резервы Столетова во главе с полковником Липинским, как началась паника у перевязочного пункта, как командир Центральной батареи штабс-капитан Поликарпов вместе с прислугой на виду у турок под пулями яростно рубит проломы в брустверах, чтобы успеть выкатить из-за них пушки и открыть картечный огонь в упор. Видел и ждал, ждал почти спокойно, сам удивляясь этому спокойствию.

То же спокойствие ощущал и доктор Коньков, неторопливо ампутировавший по локоть руку Беневоленского. Аверьян Леонидович с побелевшим сквозь грязь и загар лицом сидел не шевелясь, изредка правой рукой отирая крупные капли пота. От нестерпимой животной боли заходило сердце, он старался дышать глубоко и ровно, но сделать это было трудно, потому что он никак не мог разжать судорожно сведенных челюстей.

— Надо все же почистить, — озабоченно приговаривал врач. — Это дурное мясо. А вы молодцом, молодцом.

Беневоленский был оглушен болью и ничего не слышал, но Коньков слышал все. Слышал, как оборвалась залповая стрельба, как совсем рядом, за стенами дома, взревело торжествующее «алла». Он отчетливо представлял себе, что означают эти звуки: рукопашная шла в ложементах.

— Коньков, турки ворвались!.. — закричал с порога бородатый в окровавленном кожаном фартуке. — Бегите, Коньков!

— Перестаньте орать, я занят. — Коньков мельком глянул на дверь, достал револьвер, взвел курок и положил револьвер на стол. — Нюхайте спирт, нюхайте. И не волнуйтесь, коллега, я успею застрелить вас, если турки пожалуют к нам. Дайте зажим. Не тот! Чему вас в университетах учили?..

Туркам оставалось три десятка шагов до белого домика, но им не суждено было их пробежать. В ожесточенной рукопашной они сломали сопротивление брянцев, вырвались на простор, развернулись в сторону центральной и тут же подставили свой фланг болгарам Олексина.

— Без «ура», — сказал Гавриил, вскакивая. — За мной!

В шуме боя турки не расслышали топота, не успели оглянуться. Офицер, получивший олексинскую пулю в затылок, рухнул на землю, и штыки ополченцев вонзились в атакующих аскеров. Это не остановило рвущуюся к победе толпу: передние ряды продолжали атаку, но задние смешались. Смятение их продолжалось недолго, но было полностью использовано дружинниками: они ожесточенно работали штыками. Гавриил стрелял из обоих револьверов (третий был заткнут за ремень), но в толчее уже не мог выбирать только офицеров. Он старался следить за боем, видел, что Поликарпов с артиллеристами на руках выкатывают пушку через прорубленный в бруствере пролом. Но через опустевшие ложементы валом валили турки, дикие крики «алла» заглушали отчаянное «ура», и дружинники Олексина дрались уже в плотном кольце врагов. Поручик расстрелял все патроны, рванул из-за пояса запасной кольт, и в этот момент его сбили с ног. Дюжий турок навалился сверху, телом прижал правую руку Олексина к животу и, визжа и брызжа слюной, кромсал ножом. Гавриил вертел головой, спасая глаза, левой рукой ловил нож, бился, пытаясь сбросить аскера, а тот резал и резал не разбирая лицо, руки, плечи...

Это были самые критические мгновения обороны: проломив брешь, турки текли и текли в нее. Старый Кренке, сидя в столетовской землянке, где был оборудован командный пункт, заряжал винтовки и аккуратно ставил их к стене, готовясь отстреливаться до конца. Столетов послал Берковского с приказом покинуть ложементы и всем стягиваться к центральной позиции. Сам же, не обращая внимания на пули, стоял перед землянкой, следя за боем, за настороженно притихшим левым флангом и за дорогой вниз, в Габрово. Оттуда — Столетов знал это — шла помощь, но эта помощь могла прийти слишком поздно...

Когда защитники заметили всадников на хрипящих, загнанных лошадях, то решили было, что это черкесы, и кто-то крикнул: «Черкесы сзади!» — но паники не возникло: черкесы не ездил по двое. Стрелки 4-й бригады, получившей гордое прозвище Железная не только за последующие бои, но и за этот невероятный горный марш, ворвались на позиции, прыгая с запаленных коней и срывая с плеч винтовки. К ним бежал кто-то в полковничьем мундире, изодранном в лохмотья, — это был Липинский.

— Братцы!.. — задыхаясь, кричал он, и слезы текли по грязному, заросшему лицу. — С песней! Умоляю, с песней, братцы!..

Он не командовал «в атаку»: стрелки сами знали, что им делать. Он просил о песне, и они поняли, зачем нужна эта песня. И гаркнули в двести пересохших глоток вместо привычного «ура»:

Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои!
Сени новые, кленовые, узорчатые!..

Эта неожиданная песня с озорным посвистом не только вдохнула в защитников силы — она ошеломила турок. Двести измученных переходом солдат были каплей, которую без труда поглотил бы поток атакующих, но противник и представить не мог, что его контратакуют полторы роты, а не все подкрепления, подошедшие из Габрова. Стрелки стремительным натиском опрокинули ворвавшихся на позиции аскеров и вышвырнули за линию ложементов, где Поликарпов тут же накрыл их картечью.

Шипкинский перевал был спасен, но Олексин этого уже не увидел. Он чувствовал, что его куда-то волокут, пытался разлепить залитые кровью глаза, не смог, с ужасом подумал, что это плен, и потерял сознание.

Стрелки вместе с защитниками еще загоняли залпами турок за деревья, когда на позициях появились головные роты 4-й бригады. Ра-

децкий, пришпорив коня, галопом выехал в центр позиции. Оглядевшись и поняв, где скопился противник, крикнул:

— Атаковать горушку! Забейте им аллаха в глотки, ребята, да так, чтоб они имена свои позабыли! Вперед, стрелки!

Адъютант упрашивал хотя бы спешиться, чтоб не подвергать себя риску. Генерал пренебрежительно отмахнулся.

— Меня черкесская пуля на Кавказе миловала, а тут уж и подавно не осмелится.

Все же офицеры уговорили его. Федор Федорович слез с седла, по-стариковски потер натруженную поясницу. Навстречу спешил Столетов, но Радецкий не дал ему заговорить.

— Какой рапорт, когда сам все вижу. — Он обнял и троекратно расцеловал Столетова. — Спасибо тебе, Николай Григорьевич, ты не просто перевал спас, ты всю армию нашу спас. Сюда Драгомиров поспешает. Когда прибудет, отведешь молодцов своих болгарских в тыл. Хватит им, хорошо потрудились, на славу вечную.

К вечеру атаки прекратились, и Радецкий в сопровождении адъютанта решил обойти позиции. Он начал с того места, где ворвались турки, шел медленно, не пропуская ни одного ложемента. И всюду видел оборванных, грязных, до последней крайности истомленных солдат, большинство которых было ранено. Заросшие, едва держащиеся на ногах офицеры в изодранных мундирах вставали с рапортами, но генерал только махал рукой и говорил всем одно и то же:

— Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Так он добрался до горы святого Николая, где его встретил полковник граф Толстой. Радецкий едва узнал в исхудавшем, оборванном, покрытом копотью и грязью офицере некогда блестящего флигель-адъютанта. Расцеловав полковника, приказал ему отдохнуть, и направился дальше через Орлиное гнездо и Малую батарею. И, миновав эту батарею, остановился.

Перед пустым ложементом лежали семнадцать солдат Орловского полка, а весь скат вокруг был усеян турецкими трупами. Над солдатами, опираясь на саблю, стоял худой офицер в драном мундире, с покрытым засохшей кровью лицом. Увидев генерала, он тяжело шагнул навстречу, заметно хромя.

— Не буди солдат, — предупредил Радецкий. — Пусть спят.

— Да, ваше превосходительство, спят, — тихо сказал офицер. — Спят вечным сном. Все семнадцать, вся моя команда.

Генерал снял фуражку, помолчал, склонив седую голову. Спросил дрогнувшим голосом:

— Фамилия?

— Подпоручик Орловского полка Никитин.

— От имени государя поздравляю тебя с Георгием...

— Простите, я ошибся с фамилией, ваше превосходительство, — твердо перебил Никитин. — Поздравьте с Георгием Ивана Самсонова, Фрола Пенькова, Игната Лещука, Лазаря Горнзго, Федота Сидорова, Спиридона Коваленко...

— Погоди. — Радецкий гулко проглотил комок, сказал адъютанту: — Записать всех. Диктуй, поручик.

— Я подпоручик, ваше...

— Я сказал — поручик, и не ошибся. Диктуй.

Никитин поименно перечислил адъютанту всех своих семнадцать солдат. Генерал молча стоял рядом. Когда Никитин закончил это скорбное перечисление, вздохнул:

— Справедливо поправил, поручик: Шипка — солдатская слава. Вершина солдатской славы! — Он судорожно всхлипнул. — Ничего, то святые слезы, за них и генералам не стыдно. — Шагнул к Никитину, обнял. — Идем в лазарет, сынок, перевязать тебя надобно. Идем, идем, не откажи старику проводить тебя...

Ночью генерал Драгомиров привел полки 14-й дивизии. На позицию доставили снаряды, патроны, продовольствие. Кризис обороны миновал. Столетов увел остатки Орловского полка и дружин Болгарского ополчения в тыл. Четыре последующих дня турки еще огрызались, атаковали, обстреливали, но вскоре боевая инициатива окончательно перешла в руки русского командования.

Закончился знаменитый Шипкинский семиднев, и началось не менее знаменитое Шипкинское сидение. Продолжалось оно до середины зимы, в лютую стужу, при ураганных ветрах, солдаты куда чаще гибли от холода, чем от турецких пуль. Но как бы тяжело это ни было, после отражения натиска Сулеймана-паши уже можно было с полным основанием утверждать, что на Шипке все спокойно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Обывательскому обозу Ивана Олексина на обратном пути из Габрова дали груз, которому он сопротивлялся как только мог. Грузом оказались раненые пленные турки, уже достаточно окрепшие, чтобы перенести дальнюю дорогу. Среди этих турок, захваченных в шипкинских боях, были два рослых негра, весело сверкавших зубами. Негров Иван видел впервые, из литературы знал, что они необычайно сильны, коварны и свирепы, и сразу же потребовал конвой.

— Никаких конвоев раненым не положено, — сухо пояснил пожилой начальник военно-временного госпиталя. — Погонцы у вас здоровые, как-нибудь сами управятся. Бричка свободная есть?

— К себе никого не посажу! — отрезал Иван.

— Офицер у нас умирает, крови много потерял. Доктора считают, что ежели в дороге не помрет, то, может, и вылечат.

Офицер был весь опутан бинтами — виднелись только глубоко запавшие закрытые глаза. Иван уступил ему бричку, получил пакет с офицерскими документами, дорожный потрепанный чемодан да поименный список пленных турок. Он очень боялся, что пленные того и гляди разбегутся, а потому поручил офицера артельщику, решив, что лично будет наблюдать за опасным грузом.

Невероятно озабоченный свалившейся на него ответственностью, Иван, мельком глянув на офицера при погрузке, более к нему не подходил. Поминутно ощупывая револьвер, он то брел рядом с медленно тащившимся обозом, то подсаживался на последнюю телегу, чтобы не спускать глаз с пленных. Он учредил ночные дежурства, но при этом и сам почти не спал, чуть ли не через каждые полчаса вскакивая и заново пересчитывая мирно храпевших аскеров Сулеймана.

— Да куды они денутся? — ворчал Никита. — Спи ты, Иван Иванович, ради Христа, не беспокой себя понапрасну.

Погонцы относились к пленным с дружелюбной снисходительностью. Получив на них довольствие, варили общий обед и ели вместе, растолковывая глупым, с их точки зрения, туркам что к чему. А звероподобного верзилу с забинтованными кистями Никита кормил сам, старательно, как маленькому, заправляя ложку в заросший черным волосом рот. И приговаривал:

— Ешь, басурман, кушай. Кулеш называется, поди, не хлебал такого-то? Во-от. Жуй, не спеши, еще дам. Рожа ты басурманская и креста на тебе нет, а все едино человек, божья душа. И зачем люди друг дружку калечат?

Андрон Кондратьев участия в этих обедах не принимал. Наскоро похлебав, бежал к офицеру, с головой накрытому от дождя и ветра. И всю дорогу шел пешком, чтобы не тревожить тяжело страдающего человека.

— Живой еще, ваше благородие? Хочешь водички испить?

Простуженный мужицкий голос Гавриил выделял из всех остальных шумов. Олексин почти не видел его — что-то бородатое, бесцветное, — но голос помнил. Воду пил жадно и часто, а от еды отказывался, и жалостливый мужик всеми правдами и неправдами добывал для него молоко.

— Пей, ваше благородие, силы тебе поддержать надо. Испей молочка, богом прошу.

— Пьет, Кондратьич?

— Пьет помаленьку, слава те господи! Может, поговоришь с ним, Иван Иваныч?

— Стоит ли беспокоить? Накрой поплотнее его, опять дождь начинается.

Второй голос — юный, еще ломающийся — Гавриил различал тоже, но не прислушивался к нему. Иванов Ивановичей было на свете много, а сил мало, и он тратил их очень экономно, как патроны в дни шипкинских августовских боев.

Все же он не удержал сознания на зыбкой грани между обмороком и забытием. Очнулся внезапно, увидел над собою звезды и чье-то белое расплывавшееся лицо.

— Очнулся, кажется? — спросил женский голос. — Вы слышите меня?

— Не довели, — вздохнул где-то поодаль юноша.

— Не говорите чепухи, он жив. Дайте его документы и отнесите вещи каптенармусу: я оставляю раненого здесь.

— Простите, мадемуазель, мне приказано...

— Ступайте, дорога каждая минута. Господа, несите раненого в офицерскую палатку.

— Барышня, — торопливо заговорил мужицкий простуженный басок. — Барышня, куру я раздобыл.

— Какую куру?

— Уваристую, с жиром. Сваришь, стало быть, его благородию, силенки ему нужны.

— Помилуйте, у меня и денег-то нет.

— Эх, нехорошо сказала, барышня, нехорошо! Он за Россию кровь пролил, а я с тебя деньги спрошу, так думала?

— Простите. Благодарю вас. Осторожнее берите, господа!

Гавриил долго балансировал на грани жизни и смерти, без единого стона снося мучительные перевязки. Старший врач сам делал Олексину ежедневную очистку ран, непременно навещал вечерами, но день ото дня все более мрачнел.

— Гангрена меня не беспокоит, — говорил он за чаем патронессе госпиталя Александре Андреевне Левашевой. — Но раны упорно не заживают, и рожистое воспаление я исключить не могу.

— Николай Васильевич, я умоляю сделать все возможное. Это Гавриил Иванович Олексин, которого считали погибшим в Сербии. Я хорошо знаю его семью.

— Попробуем, — вздыхал доктор. — Все испробуем, уважаемая Александра Андреевна, все, что в силах наших.

Был еще один человек, который знал, кто этот израненный, умирающий офицер. Когда сестра милосердия, столь решительно распорядившаяся судьбой Гавриила, вскрыла пакет и прочитала фамилию, все вдруг поплыло перед ее глазами. Она знала этого человека, знала едва ли не каждый день, проведенный им в Сербии, но была убеждена, что его нет в живых, как нет в живых и ее брата. Перед нею в беспомощности лежал тот, о ком с такой необычной теплотой говорил всегда сдержанный, холодноватый Отвиновский. Через погибшего Андрея, через шагнувшего в страшную, опутанную жандармами темноту Отвиновского шла прямая ниточка к Гавриилу Олексину. Ниточка, связавшая обеспамятвшего поручика с сестрой милосердия Ольгой Совримович.

Вокруг грозных плевненских укреплений неотвратно стягивалось кольцо блокады. Войска закапывались в землю, строили позиции для артиллерии, улучшали дороги — и ждали. Ждали, когда Осман-паша либо выйдет из города, либо сдастся на милость, поскольку не сможет прокормить свой гарнизон: основной путь его снабжения — Софийское шоссе — уже трещал по всем швам под ударами собранных в единый кулак русских кавалерийских частей.

16-я пехотная дивизия, командиром которой был назначен Михаил Дмитриевич Скобелев, получила самостоятельный участок. Осень 1877 года выдалась, как на грех, ранней, холодной и дождливой. Прозорливое интендантство, поспешившее вычеркнуть из списка поставок зимнее обмундирование, пыталось наверстать упущенное, а солдаты и офицеры тем временем мокли под проливным дождем и стыли на пронизывающем ветру.

Война изменилась, изменились и обязанности ординарца. Теперь Федор Олексин уже не скакал с боевыми приказами, не разводил части по позициям и не передавал устные распоряжения. Теперь он, помогая штабным офицерам, добывал портяночное полотно и нательные рубахи, вымаливал внеочередные сапоги и шинели. Война показала Олексину свой целехонький, жирный, неприглядный зад: взяточничество интендантов, пьянство тыловиков, картежные игры с тысячными банками поставщиков-посредников. И все они горестно вздыхали и клялись в отсутствии того, о чем он просил, выразительно шевеля цепкими пальцами. Федор доказывал, просил, умолял, ругался и грозил, выходя из себя, но возвращался, не исполнив приказа, куда чаще, чем с рапортом об исполнении.

— Не расстраивайтесь, Олексин, — улыбался Куропаткин. — Выбить у нашего интендантства лишнюю пару сапог труднее, чем выиграть сражение.

Он возвращался под вечер после одной из таких пустых поездок: улыбчивые снабженцы отказали в просьбе выделить дивизии трофейные одеяла для лазаретов. Топал по грязи, с ненавистью вспоминая холеные лица и блудливые глаза, и в упор столкнулся с незнакомым поручиком, наотмашь хлеставшим по щекам низкорослого солдата в грязной, насквозь промокшей шинели. Солдатик стоял навтыжку, дергая головой от каждого удара, и молчал.

— Вот тебе, скотина, вот!..

— Прекратить! — Олексин рванул офицера за плечо. — Как смеете?

— Вы это мне, сударь? — со зловещим удивлением спросил поручик.

— Иди, — сказал Федор солдату.

Но солдат не двинулся с места: приказание господина в длинном пальто и шляпе с мокрыми обвисшими полями его не касалось. Он лишь посмотрел на Олексина тоскливыми покорными глазами и вновь преданно уставился на офицера.

— Ступай, — проронил поручик; дождался, когда солдат уйдет, натянуто улыбнулся. — Вы что-то хотели сказать?

— Я хотел сказать, что вы мерзавец, поручик. А поскольку мерзавцы мерзости своей не понимают, то восчувствуйте ее.

И наотмашь ударил поручика по щеке. Офицер дернулся, рука его метнулась к кобуре; возможно, он бы и пустил в ход оружие, но неподалеку показалась группа солдат.

— Я пристрелю вас, господин ординарец. Рано или поздно...

— Зачем же поздно? Завтра в семь утра я буду ждать вас в низине за обозным парком. — Федор коротко кивнул и не оглядываясь зашагал к штабу доложить об очередной неудаче.

Вечером он попросил Млынова быть его секундантом. Адъютант потребовал подробностей, молча выслушал и спросил:

— Прискучили служить, Олексин?

— Полагаете, что он непременно убьет меня?

— Полагаю, что Скобелев вышвырнет вас из дивизии при любом исходе.

— А вы не говорите ему. Идет война, и никто не застрахован от турецкой пули.

— Это мысль, — усмехнулся Млынов. — Тогда идите-ка спать.

Отправив Федора, Млынов тут же разыскал Михаила Дмитриевича, которому и доложил о предстоящей дуэли. Поступил он так не потому, что беспокоился за Олексина, а из неприятия самих дуэлей как средства улаживания ссор. Ему, отнюдь не дворянину, а всего лишь сыну обер-офицера, глубоко претило дворянское спесивое кокетство с собственной жизнью без особой к тому необходимости.

— Арестовать, провести дознание, — хмуро сказал Скобелев. — А Олексина вон. Хотя и жаль.

— Олексин не виноват, Михаил Дмитриевич. — Зная генеральскую вспыльчивость, Млынов говорил осторожно. — Уверен, если бы на ваших глазах били человека, который не может защищаться, вы бы тоже не удержались от пощечины.

— Да? — Скобелев недовольно посопел. — В семь часов у них рандеву? Ну что же, все должно быть по правилам.

Со временем Олексин ошибся: в семь утра в низине было еще темным-темно. Однако они с Млыновым приехали точно, а вскоре пожаловала и противная сторона: оскорбленный поручик Сампсоньев и его секундант, крайне недовольный всем происходящим.

— Господа, — сказал он, представившись. — Я прошу вас не по кодексу дуэли, а исходя из более высоких принципов немедленно примириться. Дуэль во время войны, да еще в расположении дивизии чревата...

— Нет, — резко перебил Федор.

— Примирения не будет, — сказал Млынов. — Извольте, господин секундант, пройти со мной и определить место.

Федор вспомнил о Владимире, но это не вывело его из спокойствия, в котором он пребывал. Оно даже пугало его, это спокойствие, ибо разумом-то он понимал, что поручик стреляет лучше. «Уж не к смерти ли этот покой?» — подумал он, но и подумал-то вскользь, по-прежнему не ощущая никакого волнения.

Вернулись секунданты. Олексину выпал второй номер, и он, взяв у Млынова револьвер, пошел на позицию, чавкая сапогами по болотной топи.

— Готовы? — спросил секундант.

— Готов, — отозвался Олексин.

— По команде начнете сходитьсь. После первых трех шагов имеете право стрелять.

— Простите, первый выстрел за мной, — сказал поручик. — Я оскорбленное лицо.

— Нет уж это вы простите, — ворчливо сказали из рдеющего тумана: к дуэлянтам подходил Скобелев. — Оскорбили вы, поручик. Оскорбили дивизию, в которой по недоразумению числитесь, оскорбили мундир, офицерскую честь, боевого товарища. Вот сколько оскорблений, и вам лишь ответили на них, съездив по физиономии. А так как прежде всего оскорблена моя дивизия, то стреляться вы будете со мной, ее командиром.

— Ваше превосходительство, — пролепетал поручик, — я...

— Не трусьте, — презрительно сказал Скобелев. — Я не претендую на первый выстрел. Олексин, где вы там? Идите сюда, а я пошел на ваше место. Кто должен подать команду, господа?

— Я, — машинально сказал секундانت поручика. — Но это невозможно, ваше превосходительство.

— Отчего же невозможно? — усмехнулся Скобелев. — Подстрелить штатского возможно, а подстрелить генерала уже невозможно? Эполеты мешают? Так не беспокойтесь, я в сюртуке. Без эполетов и даже без Георгия. Млынов, прими пальто. — Он сбросил форменное пальто на руки невозмутимому адъютанту. — Надеюсь, вы не подсунули Олексину незаряженный револьвер?

— Я проверил, ваше превосходительство, — снокойно подтвердил Млынов.

Подошел Федор. Сказал недовольно:

— Михаил Дмитриевич, вы поставили меня в ложное положение.

— Бог простит, — отрезал Скобелев; взял у Олексина револьвер, взвел курок. — Жду сигнала.

— Ваше превосходительство! — отчаянно закричал поручик. — Я не могу, ваше превосходительство!.. Не могу, не смею..

— В воздух выстрелить не смеее? — насмешливо спросил Млынов.

— Я так и думал, что вы трус, — сказал, помолчав, генерал. — Слышите, вы, бретер? Я при свидетелях называю вас трусом, недостойным носить офицерский мундир. Хотя бы возмутитесь, ответьте оскорблением, пригласите к барьеру. Ну?

— Я... Я не могу, — пролепетал поручик, опустив голову. — Поднять руку на вас...

— А на солдата можно? — вдруг бешено выкрикнул Скобелев. — Можно, я вас спрашиваю? — Он неожиданно вскинул револьвер, не целясь выстрелил, и с головы поручика слетела фуражка. — Пуля в лоб тебя ожидала, мерзавец, и ее-то ты и испугался. — Он бросил револьвер секунданту. — Суд чести, Млынов, по обвинению в трусости. Возьми у него саблю.

Повернулся, пошел. Млынов торопливо сунул генеральское пальто Олексину, кивком послал его следом. Федор нагнал Скобелева, на ходу набросил пальто на плечи.

— Наденьте, Михаил Дмитриевич, сыро. И позвольте заметить, что вы скомпрометировали меня и мне остается лишь покинуть вашу дивизию.

— Ну и правильно, — проворчал Скобелев. — Шляются тут всякие господа в шляпах, бьют офицеров по мордасам — разве это порядок? — Он остановился, потыкал пальцем в грудь Олексина. — Приказываю немедленно подать прошение о допущении тебя к экзамену на офицерский чин. И сегодня же представить мне.

Круто повернулся и быстро пошел вперед, не обращая более внимания на растерявшегося ординарца.

3

Суд чести предложил поручику Сампсоньеву немедленно покинуть полк. Не довольствуясь этим, Скобелев приказал собрать выборных нижних чинов и лично выступил перед ними. Он говорил о славе русского оружия, приводя примеры не только из истории, но и из личного опыта. Выборные слушали внимательно, но их сосредоточенные замкнутые лица не выражали ровно ничего. Скобелев ощутил это дисциплинированное, показное внимание, усмехнулся невесело:

— Барам не доверяете? Мол, болтают, ну и пусть себе болтают? Ну так я не барин, я генерал, то есть такой же солдат, как и вы. А дел мой был крепостным, на царской рекрутчине двадцать пять годов отломал и дослужился до офицерского чина за геройство при Бородине. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана...» — слышали, поди? Так вот любой из вас может стать офицером, по крайней мере в моей дивизии. Может, если будет примерным

солдатом, верным долгу и боевому товариществу. О чем и прошу рассказать тем, кто выбрал вас на этот совет.

Хотя последняя генеральская тирада и вызвала некоторое оживление, Скобелев проведенным совещанием был недоволен. Интуитивно он чувствовал, что между ним и солдатами существует что-то недоговоренное, какая-то стена, мешающая искреннему товарищескому общению.

— Перестарались ваши ретивые фельдфебели, господа, — сказал он офицерам, собранным через неделю. — Делают из наших боевых товарищей олухов царя небесного. Замордовали солдата, затуркали его. Поэтому прошу особо похлопотать о том, чтобы люди в ответах не были деревянными и чтоб задолбленными словами впредь не отвечали. Пусть лучше говорят бессвязно, да свое, да чтобы видно было понимание, чем будут хорошие слова болтать, как попугаи. Дружбы нет в окопной жизни нашей, а коли нет сейчас, так и в бою не будет.

Он не видел иной причины, кроме муштры, угнетавшей и унижавшей солдат. Это было просто, понятно и объяснимо, и неизвестно, как бы повернулась дальнейшая история 16-й дивизии, если бы в землянку не вошел Куропаткин с солдатским котелком.

— Вот из чего пекут солдатам хлеб, ваше превосходительство, — сказал он, поставив котелок перед Скобелевым.

В серый, издававший гнилостный запах муке ползали жирные черви. Скобелев молча разглядывал ее.

— Так, — сказал он наконец. — Красивые слова болтаем, а жрать-то даем, от чего и свинья отвернется. Извольте ознакомьтесь, господа командиры. — Он повернулся к Млынову. — Олексина сюда.

Млынов вышел. Скобелев угрюмо молчал, пока офицеры передавали друг другу котелок. А когда Млынов вернулся с Федором, сказал отрывисто:

— Олексин, выяснишь, кто поставил это дерьмо, и... Словом, забирай котелок и без свежей муки не являйся.

— Слушаюсь, Михаил Дмитриевич.

— Позор, — вздохнул Скобелев. — Позор всей дивизии и прежде всего позор нам, господа. Виновные понесут наказание, но этого мало. Надо кормить солдат доброкачественно, а Олексин когда еще доставит обоз. Значит... — Он вдруг улыбнулся. — Вчера казначей выдавал жалованье, все получили? — Достал из внутреннего кармана пачку ассигнаций, бросил на стол. — Выкладывайте. Если кто успел проиграться за ночь, пусть платит выигравший. Это наша вина, а следовательно, и наш долг, господа. Алексей Николаевич, собери деньги и через маркитантов достань муку. Чтобы в ужин солдаты ели пышки!

И, развернувшись на каблуках, быстро вышел из землянки.

4

На похороны жены Роман Трифонович опоздал. Отстоял панихиду, завершил дела по наследству и не задерживаясь тотчас же отбыл в Бухарест. В этой поспешности было нечто неприличное, и Варя отчитала его. Хомяков слушал, как провинившийся мальчишка. Варя понимала, что спешил он из-за нее, а не из-за дел, но как раз потому, что оба они отныне были свободны, что все меж ними было согласовано, Варя хотела неукоснительного исполнения освященных традициями сроков. Неопределенность ее положения кончилась, а с нею кончились и компромиссы. Хомяков понял это.

— Не надо гневаться, Варенька, — сказал он. — Завернул, чтоб на тебя глянуть, и сразу же далее. Сегодня же вечером.

Он и вправду выехал в тот же вечер, хотя поначалу намеревался задержаться. Ехал всю ночь, с удивлением обнаружив, что впервые не обдумывает планов предстоящей деятельности, а мечтает о дальнейшей жизни.

Под утро он прибыл в болгарский городишко, где размещались его склады. С кряканьем и оханьем окатившись холодной водой, оделся, приказал подать завтрак и, прихлебывая кофе, просматривал отчеты. Гартинг жил через два дома, но Роман Трифонович хотел знать дело из бумаг. Он не успел просмотреть документы, как лакей доложил, что личный порученец генерала Скобелева просит немедленно принять его.

— Приси.

Роман Трифонович встал и пошел к дверям, радостно улыбаясь, поскольку хорошо знал этого порученца. Но Федор лишь холодно кивнул.

— Завтракаете? Вот вам пирожок к кофе.

И поставил на стол котелок. Хомяков с удивлением посмотрел на забрызганного грязью, непримиримо колючего гостя.

— Что сие, Федор Иванович? Сюрпризик никак?

— Сюрпризик. — Олексин сорвал тряпицу, которой был обвязан котелок. — Презент от солдат Шестнадцатой дивизии генерала Скобелева. Приятного аппетита, господин Хомяков.

— Приятного аппетита, говорите? — Роман Трифонович взял котелок, встряхнул, сразу перестал улыбаться. Постоял над ним, опершись руками о стол, выдал: — Сволочи.

— Зачем же во множественном числе?

Роман Трифонович посмотрел на него тяжелым отсутствующим взглядом, взял сигару, тут же отбросил ее и начал лихорадочно листать документы.

— Если бы поставщиком оказались не вы, я бы вколотил в глотку эту муку, — маловразумительно сказал Федор. — Уж не только на кро-ви солдатской барыш наживаете — на хлебе. Хлебе!

— Оправдываться не буду, — не поднимая головы, сказал Хомяков. — Моя фамилия, я и в ответе. Муку получишь новую, бесплатно, все тридцать тысяч пудов. Поезжай, сам разберусь.

— Без муки не поеду.

— В глотку, говоришь, вколотил бы? — Хомяков прошел к дверям, распахнул. — Гартинга ко мне. Живо! — Вернулся, постоял. — Хорошо, Федор Иванович, покажу я тебе, кто это сделал, а что потом будет... — Вдохнул, покрутил головой. — Ах сволочи, что учинили! Я жену ездил хоронить, две недели отсутствовал. Нет, не оправдываюсь, только... Только у меня тоже своя честь имеется, не у тебя одного.

Федор молчал. Гнев его не исчез, а как бы ушел вглубь, и выплевывать его в адрес Хомякова он уже не мог. Не из-за Варвары: он понял, что Роман Трифонович действительно не имеет отношения к этой муке.

— Пирожки, — усмехнулся Хомяков, по-прежнему тяжело глядя куда-то мимо Олексина. — Знаешь, Федор Иванович, кто пирожки такие печет? Тот, кому на Россию плевать, на солдат плевать, на народ тоже наплевать да растереть.

— Разве в этом дело? — вдохнул Федор. — Вот он, ваш частный почин, которому вы дифирамбы пели, что же теперь-то возмущаетесь? В барышах обошли, окопачили?

— Окопачили, — согласился Роман Трифонович. — Только не в том, в чем ты думаешь. Имя мое они опоганили, Федор Иванович, имя. Это, брат, куда посерьезнее. Я делом жив, а его без обману делают, с полной совестью.

— О совести бы лучше помолчать, — буркнул Федор. — Знаю я вашу совесть, господа предприниматели. И по Петербургу знаю, и по Туле, и по войне. Все я теперь знаю.

— Нет, не все, — усмехнулся Хомяков. — Меня ты не знаешь.

Он прошел к дверям, велел подать два прибора. Пока накрывали, ходил по комнате, сосредоточенно попыхивая сигарой.

— Проведешь Гартинга и более не входи.

Дождлся, когда лакей вышел, жестом пригласил Федора к столу.

— Благодарю. Сыт вашими поставками.

— Да, не знаешь ты меня, Федор Иванович, — с непонятной обидой сказал Роман Трифонович.

Федору показалось, что эта злосчастная гнилая мука больно ударила по Хомякову. Он не понимал, чем вызвана эта его догадка, но размышлять не стал, а вдруг помягчев, сел за стол.

— Кофе. Признаться, ночь не спал и продрог.

Хомяков налил кофе. Федор пил, а он продолжал ходить по кабинету. И ходил, пока не доложили, что пришел Гартинг.

— Приси.

Едва закрылась дверь, как Роман Трифонович бросился к столу, снял с салатницы крышку, высыпал внутрь все содержимое котелка, вновь накрыл крышкой, а пустой котелок сунул под стол. И улыбнулся одними зубами.

— С приездом, дорогой Роман Трифонович, — сказал Гартинг, входя. — Еще раз примите соболезнования мои в связи с постигшим вас горем. Федор Иванович, если не ошибаюсь? Какая приятная неожиданность!

— Прошу к столу, — угрюмо сказал Хомяков.

— Помилуйте, только позавтракал.

— Прошу, прошу. Я вас таким блюдом угощу, какого вы сроду не пробовали.

— Ну разве что попробовать, — улыбнулся Гартинг, садясь за стол и заправляя салфетку. — Как ваша служба, Федор Иванович? Вижу, вижу, что превосходно, Георгия государь понапрасну не жалует.

Хомяков снял крышку, аккуратно положил на стол и, взяв салатницу обеими руками, вывернул все в тарелку Гартинга.

— Жри!

— Это.. это что такое?

— Думаешь, я с тобой стреляться буду? — с тихим бешенством спросил Хомяков. — В суд на тебя подавать? Я мужик, видишь, гнида, мои кулаки? — Он сунул оба кулака под нос Гартингу. — Я бить тебя буду. Смертным боем бить, сволоочь.

— Как... как вы смеете?

Гартинг попытался встать, но Хомяков ударил его по плечу. Гартинг боком упал на стул, цепляясь за скатерть.

— Как смеете? Люди!

— Жри, скотина! — Схватив Гартинга за толстую шею, Хомяков ткнул его лицом в тарелку. — Жри, или забью. До смерти забью!

— На помощь!..

— Роман Трифонович, успокойтесь, — сказал Федор.

— Что? — Хомяков тяжело глянул. — Ступай-ка ты отсюда, Федор Иванович. Дело у нас свое, компанейское, нам без свидетелей сподручнее.

5

Маленький городишко был забит тыловыми службами, госпиталями, обозами, и Федора местные военные власти устроили на постой в болгарской хижине — полудомике-полуземлянке. В единственную комнату вход был прямо со двора, и ступени вели не вверх, а вниз, на земляной, покрытый домоткаными половиками пол.

На следующее утро Федора разыскал Евстафий Селиверстович Зализо. Всегда тихий, он выглядел уж совсем тишайшим.

— Можете ехать, Федор Иванович. Обозы уж пошли, к полудню нагоните. Крупчатка саратовская, тридцать тыщ пудиков.

— А где же Роман Трифонович? — спросил Федор, собираясь.

— Отбыл. Кланяться велел. — Зализо помолчал, снял шапку, торжественно перекрестился. — Не оставляю я его, вот те Христос, не оставляю благодетеля своего!

— Прогнал он вас, что ли?

Зализо промолчал. Федор взял саквояж, вышел во двор. На полпути расстались: Федор спешил в комендатуру, где оставил коляску и ездового, а Евстафий Селиверстович направлялся в другую сторону.

— Кланяйтесь Роману Трифоновичу. — Федор пожал вялую руку Зализо. — И Варваре при случае.

— Поклонюсь. — Зализо всхлипнул. — Храни вас бог, Федор Иванович.

В другое время Федор, может быть, и обратил бы внимание на угнетенное состояние Евстафия Селиверстовича, но он больше думал о своих делах. А поскольку дела эти уладились, то и настроение у Олексина было прекрасным. В этом прекрасном настроении он и отбыл вслед обозам, так и не поинтересовавшись, чем же закончилось столкновение с Гартингом и во что обошлось оно Роману Трифоновичу.

Роман Трифонович предполагал, во что оно может обойтись. И поэтому, вышвырнув за дверь избитого компаньона, тут же выдал Евстафию Селиверстовичу деньги и доверенность и приказал как можно быстрее, не торгуясь отправить обозы Скобелеву. Отпустив Зализо, сел за документы, но проверить их не успел, поскольку был арестован.

Дело приняло дурной оборот: Хомякова обвинили не только в избиении, но и в подлогах, злоупотреблениях и хищениях, принёсших урон русской армии. За этим стоял великий князь главнокомандующий, Роману Трифоновичу грозил военно-полевой суд, действующий, как он прекрасно понимал, не по законам, а по велению свыше. Оставался единственный путь: взять все на себя, но зато выторговать отмену решения о суде. Через неделю бесконечных споров, уверток, угроз и обещаний стороны пришли к соглашению. Хомяков безропотно уплатил все взятки, неустойки, комиссионные, штрафы, проценты — все, что с него потребовали. Компания перестала существовать, а сам Роман Трифонович под конвоем был препровожден за Дунай с категорическим приказом в трехдневный срок покинуть пределы Румынии.

До Бухареста он добрался уже без конвоя, на обывательском экипаже. Постоял перед весело освещенным особняком, усмехнулся и привычным хозяйским шагом вошел в дом. По счастью, Варя была одна и с такой искренней радостью поспешила навстречу, что сердце его защемило тяжелой, незнакомой доселе хваткой.

— Вот и я. — Он попытался улыбнуться, как прежде, но по мгновенно изменившемуся взгляду ее понял, что это ему не удалось. — Как поживаете, Варвара Ивановна?

— Что-то случилось, — тихо сказала она. — Я же вижу, чувствую, что случилось что-то серьезное.

— Случилось, — вздохнул он. — Три дня на отъезд нам выделено. Вот, стало быть.

Бросил пальто горничной, прошел в гостиную, закурил. Варя вошла следом, ждала, что еще скажет, но он молчал.

— Почему же три дня? — спросила она не дождавшись. — А дело?

— Дело? — Он повернулся к ней. — А нет больше дела. Взбесились пристяжные мои, понесли под уклон, удила закусив, и... опрокинулась карета наша золоченая. И коли по карманам поскрести, так от силы тыщонку наберу. Нищий я, Варвара Ивановна, нищий перед вами стою. А посему... — он помолчал, — уж коли вышло боком, так свободны вы, Варвара Ивановна. От всего свободны, как птица небесная.

Он отвернулся к окну, а Варя молчала, чувствуя, как гулко бьется сердце. И как раньше всех дум и размышлений, раньше всех доводов рассудка растет в ней глухая обида.

— От чего же свободна я, сударь? — тихо спросила она. — От слова, данного вам? От своей любви? От дружбы? Если так полагаете, так, стало быть, игрушкой меня считали? Червонной дамой, с которой под партнера пойти удобно? Это вы свободны, Роман Трифонович, а я

несвободна. Я — Олексина, мы друзей в беде не бросаем, а тем паче любимых...

Последние слова она выговорила уже сквозь душившие ее слезы. А выговорив, бессильно опустилась на стул и тихо заплакала, спрятав лицо в ладонях. Роман Трифионович рванулся к ней, швырнув сигару. Упал на колени, целуя руки.

— Варенька, родная моя, единственная ты моя! Не проверял, богом клянусь, не проверял: в тягость быть боялся. А пуще того боялся, что согласишься ты на свободу, до ужаса боялся. Варя, Варенька, прости меня, дурака...

Варя выпрямилась, и он тотчас же положил голову ей на колени. Она вытерла слезы, вздохнула, потрепала его за волосы.

— Смел подумать, что я за миллионы тебя люблю? Глупый. Ты же сильный, ты еще и не такие дела поднимешь. Для начала в Высокое поедем, я тебе все отдам, с него и начнешь.

— Варенька! — Он поднял к ней сияющее лицо. — Все потерял, а тебя нашел, вот счастье-то какое необыкновенное. Мы с тобой теперь вместе рука об руку, на всю жизнь вместе. Да мы еще таких дел наворим, что... Эх! — Он вдруг рассмеялся. — А один заводилко я у них все же оттягал, есть с чего начинать. Небольшой, правда, заводилко, на племянника записан, потому и не докопались. Нет, Варенька, живем еще! И так с тобою жить будем, что нам и в раю позавидуют!..

Он вскочил, поднял ее на руки и понес через все комнаты, жадно целуя на ходу. И Варя знала, куда он ее несет, и, краснея, смеялась громко и радостно...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

— Говорят, людям свойственно ошибаться, — рассуждал Макгахан, часто поглядывая на молчаливого князя Насекина. — Я принимаю эту аксиому с одной поправкой: людям свойственно ошибаться в других. Понять человека постороннего куда сложнее, чем не понять. А мозг склонен избирать путь наименьшего сопротивления, и потому мы с легкостью объявляем другого глупцом, легкомысленным, ограниченным или еще с бог весть какими недостатками, чем пытаемся встать на его точку зрения.

Он завел неопределенную и необязательную беседу, как только вошел и увидел князя. Увидел его сосредоточенный взгляд, нервную подвижность, странный румянец на впалых щеках; Насекин был серьезно болен (надорван, как про себя определил это состояние корреспондент), и Макгахану показалось, что князя необходимо отвлечь от какой-то навязчивой идеи.

— Душа человеческая сложна, а разум причудлив: только дети и гении размышляют на общечеловеческом языке. Я прожил весьма пеструю жизнь, в досталь помыкался по свету и знаю, что неграмотный кочевник несколько не глупее своего ровесника, получившего образование в Кембридже или Сорбонне. Сумма знаний современного цивилизованного человека в восьмидесяти случаях из ста напоминает банковские вклады: их заботливо хранят, но ими почти не пользуются. А истый сын природы должен пускать в оборот все свои знания, иначе он просто не выживет. И это придает его жизни тот смысл, которого мы лишены.

— Смысл, жизнь, — странным резким голосом перебил князь. — В жизни нет никакого смысла, потому что жизнь — всего-навсего смерть, растянутая на неопределенный срок. Попробуйте поискать смысл в смерти, это куда плодотворнее, Макгахан.

Корреспондент помолчал, с грустью глядя на князя, по-прежнему нервно метавшегося по комнате. Опыт не удался, и Макгахан тут же отбросил его, заговорив куда серьезнее и тише:

— Друг мой, мне довелось повидать такое, что не в силах описать и куда более талантливое перо, чем мой корреспондентский карандаш. Да, в каждом из нас сидит зверь. Сидит на цепи, откованной веками цивилизации. Но парадокс заключается в том, что если человек сам спускает этого зверя с цепи, общество дружно объявляет его уголовным преступником, стоящим вне закона. Но если этот же самый закон спускает с цепи зверя, то человек уже не несет никакой ответственности перед обществом: удобно, не правда ли?

— Вы пытаетесь оправдать убийц?

— Я не оправдываю убийц, я хочу понять, почему человек становится убийцей и нет ли в этом нашей общей вины.

Насекин перестал метаться и остановился перед Макгаханом. Помолчал, в упор глядя лихорадочно поблескивающими глазами.

— Как считаете, человек рождается в мучениях?

— Библия утверждает это, — улыбнулся американец.

— Библия утверждает мучения женщины, а я спрашиваю о младенце. Вы помните свою боль при рождении?

— Нет, естественно. Но, полагаю, не потому, что ее не было, а потому, что не было памяти.

— Значит, боль есть только тогда, когда есть память? Нет памяти — нет боли?

— Простите, князь, это софизм.

— Софизм, — задумчиво повторил Насекин. — Человек рождается, не ощущая боли, а умирает в мучениях — тоже софизм? Женщина, отдающаяся по любви, испытывает блаженство, а при насилии — ужас, боль, отвращение: тоже софизм? Что есть смерть — последнее мгновение жизни или первый миг небытия: опять софизм? Не слишком ли много софизмов для того, чтобы выстроить закономерность, Макгахан?

Американец не спешил с ответом, понимая, что Насекин и не нуждается в нем. Нет, князь был не надорван — князь был сломлен; корреспондент окончательно понял это. Вялый, анемичный, всегда избегавший активной жизни, борьбы и страсти, утверждавший себя лишь ленивой снисходительной иронией, он не вынес — да и не мог вынести — первого удара. Насекин не только видел убийц и убийства — он сам стал убийцей; совесть разошлась, разошлась на непримиримые полюса, и согласовать ее уже было невозможно.

— Хорошо бы вам переменить обстановку, князь, — сказал он. — Хотите посетить Америку? У меня добрых полторы тысячи друзей, и каждый с радостью примет вас...

Князь улыбался. Корреспонденту показалось, что улыбается он так, как улыбался раньше. Это обнадеживало, и Макгахан с юмором начал описывать свою родину, не скупясь на обещания и всячески стараясь заинтересовать Насекина. Князь, продолжая все так же улыбаться, перебил на полуслове:

— Вернемся к закономерностям софизмов, Макгахан. Вы не беретесь их сформулировать?

— Ох, князь, князь, — сокрушенно вздохнул американец.

— Мы все — убийцы, — медленно, почти торжественно сказал Сергей Андреевич. — Все, Макгахан, без малейшего исключения. Убийцы — правители, бросающие народы, точно стаю волков, уничтожать друг друга. Убийцы — политики всех мастей, натравливающие эти народы. Убийцы — священнослужители, благословляющие войны, казни и репрессии. Убийцы — вы, господа корреспонденты, и вы, господа писатели, возвеличивающие собственную нацию и уничтожающие всех инакомыслящих. Убийцы — жены, ласкающие своих мужей, пропахших кровью, и дети, по неведению играющие с ними. Убийцы все. Все!.. — Князь торопливо вытер мокрое от пота лицо. — Это простая констатация, причина спрятана глубже. Всего одна причина: ложь. Человечество лжет, Макгахан, лжет привычно, убедительно и даже искренне, ибо разучилось уже говорить правду. Спросите, почему? Да потому,

что все, все до единого преследуют какие-то цели — будь то чин или должность, власть или слава, деньги или наслаждения. Потому-то и лгут монархи и президенты, чиновники и философы, верующие и атеисты, образованные и необразованные, мужчины и женщины: ведь при достижении цели не стесняются в средствах и ложь — лучшее из средств. И она стала единственной формой общения, доступной, понятной и принятой всем миром, и говорящих правду в лучшем случае объявляют сумасшедшими. Ложь есть величайшее достижение цивилизации, она совершенствуется из года в год и будет совершенствоваться всегда, постоянно, пока не уничтожит человечество, как ржавчина уничтожает железо. — Он замолчал, устало поникнув, ссутулившись. Помолчав, сказал тихо: — Я устал, очень устал, Макгахан. Извините, придется лечь.

— До завтра, князь. — Макгахан пожал вялую руку Насекина. — Я буду вашим частым гостем, если не возражаете.

— Бога ради, — вздохнул Сергей Андреевич, садясь на постель. — Мне всегда приятно видеть вас.

Корреспондент был уже в дверях, когда услышал тихий смешок. Оглянулся: князь, улыбаясь, смотрел на него.

— Знаете, какая забавная мысль пришла мне в голову, Макгахан? Смерть — последняя неприятность, которую человек доставляет своим друзьям. Неплохо, а?

— Слишком цинично для смеха, — проворчал американец. — Сочините что-нибудь поостроумнее — посмеемся вместе.

И, еще раз поклонившись, вышел из комнаты.

2

Добровольческий отряд братьев Рожных все более превращался в санитарный кордон: участились случаи сыпного тифа, грозившего лавиной ринуться в Россию с обозами погонцев и эшелонами раненых. Не хватало медикаментов, палаток, дезинфицирующих средств да и просто обслуживающего персонала: братья-близнецы все неохотнее пересылали деньги. Их подачек теперь еле хватало на самое необходимое, и Маша, собрав добровольцев, вынуждена была скрепя сердце объявить, что жалованья более не будет.

Из Смоленска вернулась Глафира Мартиановна. Леночка была благополучно доставлена, обласкана и без малейших колебаний принята в семью. Глафира Мартиановна спокойно восприняла проведенные Машей меры, признала их разумными, но сказала:

— По дороге слыхала я, что Рожных сейчас в Кишиневе. Справьтесь и, если там они, поезжайте.

Рихтер проверил телеграфным запросом. Слух подтвердился: братья-миллионщики добивались каких-то поставок.

— Газетками их припугните, газетками, — советовал он.

Маша уже несколько дней скверно себя чувствовала, но никому не говорила. Ехать на свидание с братьями могла только она, поскольку являлась их доверенным лицом. Маша хорошо помнила свидание в Москве с Филимоном Донатовичем Рожных, его отменную любезность, благовоспитанность и умную иронию, знала, что он спас от суда Аверьяна Леонидовича, и упорно верила, что все образуется само собой.

До Кишинева она добралась вполне благополучно. С трудом сняв номер в дешевой гостинице, разыскала братьев Рожных.

— Рад, душевно рад, — добродушно улыбаясь, сказал рослый мужчина, как только Маша вошла в гостиную. — Не забыли еще, кто таков я и чем отличен? Осмелюсь напомнить, что я — Филимон Донатов Рожных, а от брата Сильвестра родинкой отмечен. А это, стало быть, братец мой, Сильвестр Донатов Рожных — без родинки.

Братья различались, правда, не только родинкой под глазом у Филимона, но и манерой поведения. Сильвестр был молчалив. Зато

Филимон говорил не переставая, улыбался и вообще всячески проявлял повышенное внимание.

— Не прикажете ли чаю или кофею? Мы, признаться, кофей не уважаем, но чайком балуемся.

— Благодарю, Филимон Донатович. Нам необходимо поговорить.

— Помилуйте, Мария Ивановна, помилуйте! Успеем еще, наговоримся.

Слушая его вкрадчивый голос, Маша ощущала, как постепенно гаснет в ее душе все, что накопилось. Как человек открытый и прямодушный, она не умела менять планов на ходу в зависимости от обстановки. Ей уже казалось неудобным что-то доказывать, чего-то добиваться; уже неоставало сил прорваться сквозь пелену вежливых, добрых и таких необязательных слов.

— ...мы дремучие, Мария Ивановна, дремучие. Батюшка наш, царствие ему небесное, самоучкой до чтения да письма дошел. Но, правда, нам с братом Сильвестром в коммерческом заведении приказал закончить, в городе Женеве: не случалось бывать? Вот там-то и довелось нам познакомиться...

Сквозь недомогание, головную боль, журчанье вкрадчивого голоса Маша уловила смысл оговорки: «Женева. Познакомились...» И скорее по наитию, чем по умыслу спросила:

— В Женеве вы познакомились с Беневоленским? Да, да, припоминаю, он рассказывал.

Беневоленский не рассказывал Маше ничего подобного, она обманывала и, чтобы скрыть неудобство, сразу же поднесла к губам чашку. Но повисшая над столом пауза и быстрая, но не ускользнувшая от нее переглядка братьев убедила в правильности внезапно мелькнувшей мысли. Она не умела хитрить и лукавить, но братцы сами были хитрецами наивысшей пробы, и это давало ей право продолжать.

— Помню, помню, — задумчиво сказала она. — Какой-то кружок, брошюрки, дебаты.

— Увлечение молодости, — нехотя сознался Филимон, помолчав.

Тон его сразу изменился. Исчезли вкрадчивая любезность, радушие, улыбочность; все это Маша не просто видела, а ощущала своим лихорадочно обостренным восприятием. Даже головная боль куда-то отступила, оставался лишь жар во всем теле.

— Поэтому вы и вытащили его из тюрьмы. — Она горько улыбнулась. — Испугались, что расскажет о ваших увлечениях молодости, и постарались отправить подальше?

— П-позвольте, — сказал Сильвестр: как многие заикающиеся, он питал склонность к тем словам, которые труднее всего ему давались. — Мы не имеем чести знать господина Беневоленского.

— Ладно, чего уж там, — грубовато перебил Филимон. — Все верно, брат Сильвестр, и хитрить нам не гоже. Только насчет того, что испугались мы, это вы напрасно, Мария Ивановна. По доброму знакомству услугу оказали, из дружеских чувств.

Маша уже не верила ни единому его слову. От Беневоленского избавились как от нежелательного свидетеля, искать его не собирались и сделали бы все возможное, чтобы пресечь попытки любого, кто пожелал бы заняться поисками. Прозрение глухой, безнадежной болью отозвалось в сердце, но Маша не могла позволить этим господам увидеть ее боль. Заставила себя улыбнуться.

— Оставим клятвы, господа. Я поспешила к вам сюда не в надежде услышать что-либо о господине Беневоленском. Я приехала напомнить, что вы не держите собственного слова, что ставит наш отряд в положение затруднительное.

— Помилуйте, Мария Ивановна, — вновь благодушно заулыбался Филимон. — Дела, знаете, дела.

— Не с руки нам это, — сухо кольнув ее глазами, сказал Сильвестр. — Мы люди купеческие, у нас каждая денежка свой счет знает,

Войне конца не видать, и в п-прорву эту нам капиталы бросать никакой выгоды нет.

— Денег, главное, денег свободных нет, — поспешно добавил Филимон. — Тут подряды предлагают, тоже на благо отечества. А долг свой патриотический мы с лихвой оплатили. С лихвой, Мария Ивановна, дай бог каждому истинно русскому патриоту стольким пожертвовать.

— Русские патриоты жизнями жертвуют, а не рублем, — сказала Маша, вставая. — Благодарю за разъяснения, господа, иллюзий больше не питаю. А что касается стойкости вашего патриотизма, то о сем вы скоро сможете прочитать в газете.

Рихтер был прав: при упоминании о газете лица братьев вытянулись совершенно одинаково. Они снова быстро переглянулись, а затем Филимон опять заулыбался, засуетился, зажурчал:

— Мария Ивановна, голубушка наша, мы же, так сказать, в общих чертах трудности свои обрисовали. Нет, нет, святое дело не позабыли, что вы, что вы, как подумать можно. Большие суммы, правда, не обещаем, но долг и слово свое купеческое исполним. И о господине Беневоленском, то бишь Прохорове...

— Не утруждайте себя господином Прохоровым, а тем паче денежными переводами. Извольте вручить чек на расходы по отряду согласно этому расчету. — Она положила на стол заранее составленную ведомость. — Если завтра к вечеру я не получу требуемой суммы, мне придется обратиться за помощью к газетам. Всего наилучшего, господа патриоты.

Через несколько дней Маша вернулась в отряд с чеком на шесть тысяч. Жар, головная боль и внезапные ознобы уже не оставляли ее: она понимала, что серьезно больна, но упрямо верила, что нужно лишь отлежаться, отдохнуть — и все будет хорошо. И всячески скрывала, что ей плохо, плохо по-настоящему не только из-за болезни, но и из-за того, что пути ее с Аверьяном Леонидовичем Беневоленским стараниями братьев-патриотов разошлись отныне надолго, если не навсегда.

— Вы горите, Мария Ивановна, — всполошилась сдержанная Глафира Мартиановна. — Немедленно в постель. Немедленно!

Уложив Машу, Глафира Мартиановна бросилась к генералу Рихтеру: своим врачам она не доверяла. Рихтер немедленно разыскал самого Павла Федотыча. Старый доктор внимательнейшим образом осмотрел больную, а выйдя, сокрушенно развел руками:

— Тиф.

— Не отдам! — решительно объявила Глафира Мартиановна. — Пусть здесь лежит, сама за нею ходить буду.

— Ах, господа, господа! — в отчаянии крикнул Рихтер. — Ах, господа, мало мы жертв войне отдаем, так хоть солдатами! А тут — женщина, святая душа, ее-то, ее-то за что? — Он горестно покачал седой головой, вытер слезы, вздохнул. Сказал тихо: — Князь Насекин Сергей Андреевич застрелился ночью. Глядите, чтоб Мария Ивановна о сем не узнала.

3

Кольцо плевенской блокады с каждым днем стягивалось все туже. Захватив опорные пункты турок на Софийском шоссе, Тотлебен обрек армию Османа-паши на голодный паек и столь непривычную для нее экономию боеприпасов. Это сковывало Османа-пашу, мешало маневрировать резервами, то есть вышибало из его рук ту козырную карту, с помощью которой он малой кровью отражал все предшествующие штурмы. Талантливому и решительному турецкому полководцу отныне отводилась роль, противоречащая его характеру.

— У турок на три — пять дней продовольствия, — сказал Тотлебен. — Учитывая это, полагаю, что Осман-паша попытается прорвать

осаду. Прошу командира гренадерского корпуса Ганецкого и генерала Скобелева быть предельно внимательными.

Вечером 27 ноября турки прекратили ружейный огонь против частей Скобелева. А через час один из секретов привел перебежчика.

— Осман-паша с рассветом уйдет из Плевны.

Скобелев уведомил Тотлебена и Ганецкого и отправил разведчиков. Они вернулись быстро: турецкие траншеи были пусты.

— Вперед, — распорядился Михаил Дмитриевич. — Занять траншеи и неотступно следовать за противником.

Получив сообщение от Скобелева, Ганецкий выслал дозоры к Плевне со строгим приказом не открывать огня и не мешать противнику выходить из города.

— Гренадеры встают быстро, а посему солдатам спать, — сказал он. — Тревогу играть по моей ракете, а отсюда следует, что господам офицерам придется бодрствовать.

Ночь на 28 ноября выдалась темной и холодной. Сторожевые посты ничего не видели, но слышали нарастающий гул, шум шагов и скрип обозов; не сомкнувший всю ночь глаз Ганецкий получал донесения об этом через каждые полчаса.

— Видеть, видеть, а не слышать, — ворчал он. — Глаза надежнее.

Предутренняя мгла долго не давала разведчикам рассмотреть, что происходит возле переправ. А шум все нарастал и нарастал, и когда наконец-таки утреннее серебристое марево стало таять, передовые посты увидели противника.

Рядом с каменным мостом через Вид турки за ночь успели навести еще один из тесно составленных повозок, покрытых досками и фашинами. По мостам сплошным потоком шла пехота, выстраиваясь в боевой порядок на противоположном берегу. Не успевшие переправиться густые массы аскеров, артиллерия и обозы покрывали весь плевненский берег: Осман-паша бросал на прорыв всю свою армию.

— Слава тебе, господи! — торжественно перекрестился Ганецкий, получив донесение от постов. — Сигнал! И общая тревога!

В небо взвилась ракета, по всей линии русских войск зарокотали барабаны. И тотчас же турецкие батареи открыли огонь. Бой начался; еще били барабаны, еще выстраивались колонны, а Ганецкий, прищипывая коня, уже мчался к передовым траншеям, занятым сибирскими гренадерами.

— С праздником вас, Иван Степанович, — приветствовал старого генерала начальник штаба полковник Манькин. — Противник стремится в бой, не закончив переправы.

— Кто это впереди, с биноклем? Усищи из-за щек торчат?

— Генерал Струков прибыл час назад.

— Что насмотрел, Струков? — спросил Ганецкий, подъезжая к личному представителю главнокомандующего.

— Две особенности, Иван Степанович. Во-первых, турки не ведут ружейного огня, а во-вторых, машут развернутым знаменем. — Струков протянул бинокль. — Извольте взглянуть.

Ганецкий сдвинул на затылок фуражку лейб-гвардии Финляндского полка, которую надевал только в боях, и по-стариковски неторопливо взял бинокль. Приладив, долго всматривался в турецкие цепи, развертывающиеся в заиндевелой низине.

— Что не стреляют, понятно: патронов мало, — сказал он, возвращая бинокль. — А знамя поглавнее. Оно зеленое, Струков, это знамя пророка, и, значит, отступать они не будут. Ну что ж, тем лучше. Манькин, передвинь Малороссийский полк, а резервы пока береги. Мне точно знать надобно, куда Осман рвется: к Софии или к Дунаю. Это тебе поручаю, Струков. Не упусти момент, когда их обозы заворачивать начнут.

— Они пошли в атаку! — крикнул Струков. — Да как стремительно. Черт возьми, молодцы турки!..

— Артиллерии открыть огонь, — спокойно распоряжался Ганецкий. — Ну, сибиряки, вам насмерть стоять. Насмерть, братцы.

Аскеры мчались через поле. Русские батареи открыли огонь, осыпая атакующих шрапнелью, но турецкие солдаты, закаленные штурмами и железной дисциплиной, не замечали ни пуль, ни снарядов. На месте убитых появлялись новые воины, зеленое знамя металось вдоль всего фронта; турки неудержимо рвались вперед. Им предстояло пробежать по низменной равнине, и они пересекли ее, несмотря на то, что гренадеры на последних сотнях шагов начали залповый огонь. Аскеры падали десятками, живые, не задерживаясь, топтали мертвых и раненых, и дикие крики «алла! алла!..» уже заглушали ружейную пальбу.

Вслед за атакующими на рыжем жеребце ехал всадник в черном. Когда аскеры, добежав до первой линии траншей, ворвались в нее, завязав штыковой бой, он придержал коня, мановением руки посылая в атаку все новые и новые таборы. Над головой рвалась шрапнель, жеребец, приседая, прыдал ушами, но Осман-паша, сдерживая его, не ведал страха.

Свежие таборы турок накатывались на первую траншею, где шла ожесточенная рукопашная. Большая часть сибиряков легла в этом бою, выиграв несколько драгоценных минут. Завладев траншеей, турки без малейшей передышки ринулись на вторую линию, но тут подоспел Малороссийский полк. Гренадеры с ходу бросились в бой, помогая изнемогавшим сибирякам; все смешалось во второй линии — сибиряки, турки, украинцы, лязг оружия и рев сотен глоток.

— Прикажете поторопить резервы? — нервничая, спросил невозмутимого Ганецкого полковник Манькин.

Яростного порыва турок хватило, чтобы выдержать рукопашную и взломать вторую линию, но силы их уже были подорваны. Вырвавшись из траншей на предполье третьей линии, они бежали тяжело и медленно. Заметив это, генерал-майор Рыкачев приказал архангелогородцам с вологодцами открыть огонь. Встреченные залпами уже выдохшиеся аскеры залегли, ожидая помощи из глубины, откуда по обоим мостам все еще переправлялись войска и артиллерия. В штурме наступило некоторое затишье.

— Турецкие обозы и артиллерия смещаются к левому флангу! — неожиданно крикнул генерал Струков.

— Вот куда он рвется — к Дунаю! — Спокойствие оставило Ганецкого. — Фанагорийцев и астраханцев на левый фланг! Бегом!

Теперь, когда Осман-паша наконец-таки открыл свои карты, когда выяснилось, что отчаянный натиск на центр был всего лишь отвлекающим маневром, Иван Степанович отчетливо понял бой. Следовало перекрыть дорогу к Дунаю, встретить Османа-пашу контрударом свежих частей, окружить в низине — и добить. Все решала быстрота, и Ганецкий, вскочив на коня, пѣмчался навстречу подходившим резервам.

Фанагорийский гренадерский полк имени генералиссимуса Александра Васильевича Суворова поспешал к месту сражения бегом. Ганецкий встретил его на подходе, придержал коня.

— Ура, фанагорийцы! — прокричал он. — Вот так и в атаку, с ходу, с бегу! Помните, чье имя вы носите, ребята!

Фанагорийцы, не перестраиваясь, с марша ударили в штыки на том фланге, против которого Осман-паша нацелил свои резервы, артиллерию и обозы. Завязалась рукопашная, и Рыкачев бросил вперед свои испытанные в двух плевненских штурмах полки. Вологодцы и архангелогородцы смяли турок, на их плечах ворвались сначала во вторую, а затем и в первую траншею. Офицеры Сибирского и Малороссийского полков, спешно собрав уцелевших гренадеров, ударили по турецким резервам. Турки смешались, дрогнули, но не побежали, а отошли в относительном порядке. Рукопашные схватки кончились: начинался затяжной огневой бой. Выдвинув вперед стрелков и развернув артил-

лерию, Осман-паша собирал новый кулак. На рыжем скакуне турецкий полководец метался по фронту, приводя в порядок свои войска. Его черную фигуру все время видели наблюдавшие за боем офицеры штаба.

В начале двенадцатого часа фигура грозного турецкого командующего пропала, скрытая густым снарядным разрывом. Не оказалось Османа-паши и тогда, когда рассеялся дым. И еще никто не успел высказать какого бы то ни было предположения, как турецкий огонь стал резко ослабевать, а стройные колонны изготовившихся к бою аскеров забеспокоились, задвигались...

— Неужели Осман-паша погиб? — растерянно спросил полковник Манькин. — Турки бегут, Иван Степанович, бегут!

— Общая атака! — крикнул Ганецкий. — Огонь по мостам! Прижать к реке и уничтожить!

Русские войска дружно бросились в атаку, артиллерия громила мосты, где турецкие солдаты кулаками и оружием прокладывали себе путь сквозь встречные колонны, ломая перила, сбрасывая в воду людей, повозки, орудия.

— Победа, — с облегчением вздохнул Струков. — Это победа, Иван Степанович!

— Не торопись, сглазишь, — проворчал генерал. — Солнышко всходит, но еще...

Он замолчал: на мосту через Вид в копошащейся людской массе кто-то отчаянно размахивал белым флагом. Флаг колебался, исчезал, но возникал снова.

— Прекратить огонь! — крикнул Ганецкий. — Остановить войска!

Трубы запели отбой, отзывая атакующих. Смолкла артиллерия, ружейная стрельба, крики: на залитое кровью, заваленное телами убитых и раненых поле сражения обрушилась тишина. Иван Степанович вздрогнувшей рукой снял фуражку, широко, торжественно перекрестился.

— Дай поцелую тебя, Струков. Кончилась Плевна.

4

Русские войска, ставшие там, где застали их трубные звуки отбоя, в полной готовности наблюдали за спешным отступлением турок на другой берег. В этом отступлении уже не было паники — на мосту по-прежнему размахивали белым флагом, но никто не торопился сообщить русскому командованию, что плевненский гарнизон готов сложить оружие. Минуты тянулись, безмолвное противостояние продолжалось, белый флаг развевался, а ясности не было.

— Что будем делать, Иван Степанович? — тихо спросил Манькин. — Вдруг они перегруппируются под белым флагом?

— Сообщите Скобелеву, что противник отходит в Плевну.

Ординарец был тотчас же послан, но Михаил Дмитриевич к тому времени уже вошел в город. Скобелевцы продвигались осторожно, не вступая в соприкосновение с противником.

— Прекрасно, — сказал Михаил Дмитриевич, прочитав записку. — Сейчас самое главное — выдержка.

Турки выслали парламентаря лишь после того, как отвели все части за реку. Они стояли там огромной копошащейся массой и, по всей видимости, возвращаться в покинутый город не собирались.

— Адъютант его высокопревосходительства Осман-паши Нешед-бей, — по-французски представился парламентар.

— Я буду вести переговоры только с вашим командующим, — сказал Ганецкий.

Стоявший рядом Струков перевел его условие Нешед-бею. Адъютант горестно развел руками.

— Осман-паша ранен, ваше высокопревосходительство.

— Опасно? — быстро спросил Ганецкий, не дожидаясь перевода.
 — Прострелена нога. К счастью, кость цела, как говорит его врач Хасиб-бей.

— Слава богу, судьба бережет хороших полководцев. — Иван Степанович помолчал, размышляя. — Поезжай-ка ты к Осману, Струков.

— Благодарю, Иван Степанович, — заулыбался Струков. — Для меня это большая честь.

— Условие одно: полная и безусловная сдача, — торжественно напутствовал старый генерал. — Коли подтвердит, за мной пришьешь.

Струков тронул коня. Миновав молчаливую стражу на мосту, стал подниматься по шоссе среди сплошной толчей неохотно уступавших дорогу аскеров. За ним ехали казак и Нешед-бей. Они уже приближались к караулке — небольшой мазанке с черепичной крышей, притулившейся к горе, — когда неожиданно перед конем Струкова взметнулось зеленое знамя.

— Ла-илла, илала, ва Магомед расуль алла! — тонким голосом истошно вопил худой старик в чалме, размахивая знаменем.

— Прикажите прекратить! — резко крикнул генерал Нешед-бею, сдерживая испуганно всхрапывающего коня. — Не хватайся за шашку, казак.

Казак отвел непроизвольно метнувшуюся к оружию руку, тяжело вздохнул. Вокруг потрясали винтовками аскеры. Нешед-бей, встав на стременах, повелительно крикнул. Старик опустил знамя, юркнул в толпу, и аскеры нехотя расступились.

У караулки Струков спешил, кинул поводья казаку и, не ожидая Нешед-бея, вошел в хижину. В первой комнате было много офицеров, валялось оружие, рассыпанные патроны и плавали густые облака табачного дыма.

— Где Осман-паша? — громко спросил Струков по-французски.

Один из офицеров молча указал на закрытую дверь. Генерал распахнул дверь и шагнул через порог.

В маленькой, с единственным окошком комнатке на деревянной скамье сидел Осман-паша. Левая нога его была обнажена, над раной трудился немолодой доктор. На командующем был черный сюртук, расшитый галунами, но без орденов, на поясе висела кривая сабля в дорожных ножнах. В углу комнаты, скрестив руки, молча стоял Тахир-паша.

— Я имею честь явиться сюда, чтобы сообщить, что генерал Ганецкий ждет вашего подтверждения о полной и безоговорочной сдаче.

Струков говорил по-французски, видел, что Осман-паша понимает его, но по каким-то соображениям предпочитает перевод. Переводил Нешед-бей, неслышно скользнувший в комнату вслед за Струковым. Выслушав его, паша надолго задумался. Потом медленным, ровным голосом сказал что-то своему врачу Хасиб-бею.

— День следует за днем, но аллах не даровал нам одних удач, — тихо перевел адъютант.

— На все воля всевышнего, — сказал Струков.

Осман-паша медленно покивал, соглашась. В комнате опять повисло молчание, и было слышно, как за дверью о чем-то громко спорят офицеры.

— Я покоряюсь этой воле. — Осман-паша со спокойной гордостью посмотрел в глаза Струкову. — Мои войска сложат оружие.

Переведя это, Нешед-бей поклонился и вышел. В комнатке вновь воцарилась тишина, но вскоре вошел молодой офицер. С удивлением посмотрел на Струкова, поклонился раненому командующему и что-то сказал.

— Пока мы дрались, генерал Скобелев занял Плевну, — пояснил Тахир-паша.

Снаружи послышался шум, в комнату стремительно вошел Ганецкий. Остановился на мгновение и, сняв с седой головы повывавшую не

одно сражение лейб-финляндскую фуражку, протянул руку Осману-паше.

— От всей души поздравляю, — громко сказал Ганецкий. — Вы великолепно вели атаку, великолепно, генерал!

— Кismet! — вздохнул Осман-паша.

— Да, судьба, — согласился Иван Степанович: он не нуждался в переводчике, тут же по-турецки спросив, не беспокоит ли рана.

— Скоро буду ходить. Правда, в плену.

— Вы почетный пленник и герой Турции.

Оба генерала опустили на скамью, продолжая внимательно разглядывать друг друга. Осман-паша смотрел серьезно и грустно, а седой Ганецкий улыбался. И с той же улыбкой сказал:

— Прикажете же, однако, войскам сложить оружие.

Осман молчал, продолжая задумчиво смотреть на своего победителя. Ганецкий спокойно ждал, понимая, как тяжело турецкому полководцу, пожалованному султаном титулом гази (непобедимый), отдать такое приказание.

— Ваше превосходительство, — тихо сказал Струков, посмотрев на карманные часы. — Скоро начнет темнеть.

— Я прошу вас, генерал, не задерживать более с приказанием, — мягко повторил Ганецкий Осману.

— Первым его должен исполнить я. — Осман-паша тяжело вздохнул и снял с себя саблю.

Ганецкий встал. Осман обеими руками протянул ему оружие, и старый генерал столь же торжественно, в обе руки принял его.

— Я полвека воюю с вашей страной, генерал, — тихо сказал он. — С двадцать восьмого года, во всех войнах. Но я и мечтать не смел, что когда-нибудь приму оружие из рук лучшего полководца Турции. Может быть, у вас есть какие-либо желанья, генерал? Если они в моей власти, я исполню их.

— Желание? — Осман-паша чуть улыбнулся. — Я бы хотел увидеть генерала Скобелева.

— Ждите его здесь, генерал.

Осман вежливо склонил голову, тут же резко вскинул ее и строго посмотрел на своего начальника штаба.

— Чего вы ждете после того, как ваш командир сложил оружие?

И повелительным жестом указал на дверь. Тахир-паша почтительно поклонился и пошел к выходу, сказав Струкову:

— Сейчас армия сложит оружие. Соблаговолите присутствовать?

— Проследить, — приказал Ганецкий. — Вызови караульные команды и немедленно пошли за Скобелевым.

Струков отдал честь и вышел вместе с Тахиром. В первой комнате по-прежнему толпились офицеры и по-прежнему плавали облака табачного дыма.

— Командующий сдал саблю, — сказал начальник штаба. — Прошу пройти к своим частям и обеспечить порядок сдачи оружия.

Сказав это, Тахир-паша вышел из караулки, и Струков последовал за ним. У входа стоял конвой Ганецкого. Распорядившись о караульных командах, генерал отозвал корнета и приказал разыскать Скобелева. Корнет вскочил на коня и помчался в Плевну, а Струков поспешил за Тахиром, который быстро поднимался на холм. Поднявшись, он повернулся к войскам и, воздев руки к небу, начал что-то кричать, а Струков всматривался в угрюмые лица аскеров. Исхудалые, истощенные голодом и боями, они оставались по-прежнему грозной силой, по-прежнему горели решимостью сражаться, и Александр Петрович впервые за этот день ощутил не только восторг победы, но и огромное облегчение. Самая боеспособная и опытная армия противника сдавалась русским войскам во главе с лучшим полководцем Османской империи.

Но сдавалась эта армия крайне неохотно. Глухой рокот пробежал по толпе, кое-где вновь упрямо взметнулись винтовки. Тахир-паша вырвал из ножен саблю, выкрикнул что-то и бросил ее к ногам Струкова. За ним стали бросать оружие офицеры, что-то объясняя аскерам, выталкивая из рядов самых несговорчивых. Медленно началось разоружение; многие разбивали о камни многозарядки, ломали штыки и ятаганы, разбрасывали патроны, рвали патронташи, сталкивали в воду орудия и зарядные ящики.

А над всей этой разоружающейся армией с того берега уже гремяло ликующее «ура» и первые караульные команды вступали на мост.

5

Победное «ура» донеслось и до Плевны, где его подхватили скобелевские войска. Сам генерал в это время работал со штабом. Только что к нему прискакал отец, получивший приказание главнокомандующего принять под свою ответственность пленных. Одновременно великий князь, уже знавший, что Скобелев-второй вступил в Плевну, сказал:

— Коли вступил первым, так и быть ему там губернатором.

В тоне Николая Николаевича старшего звучало раздражение, вызванное стремительной самостоятельностью Михаила Дмитриевича, но старый рубака по простодушию не заметил этого.

— Растешь, Михаил, — не без гордости добавил он. — Получается, что я у тебя в подчинении. Дожил, как говорится.

Однако Михаил Дмитриевич не склонен был разделять отцовское торжество. Он сразу понял, что главнокомандующий этим назначением обрекает его на сидение в тылу. А за окнами продолжали воодушевленно кричать «ура», и это раздражало.

— Олексин, узнай, с чего они там орут, — недовольно сказал он. — И разыщи Млынова.

— Не орут, а воинский восторг выражают, — строго поправил отец, когда ординарец вышел. — Османке хребет сломали, а ты — орут!

— Османке, — проворчал сын. — Нам бы таких османок хоть парочку.

— Корнет от генерала Ганецкого, — доложил Олексин, появляясь в дверях.

Юный корнет, розовый от воодушевления и скачки, влетел в комнату. Звякнув шпорами, доложил, что генерал Ганецкий просит тотчас же прибыть к Осману-паше генерала Скобелева.

— Какого именно Скобелева? — спросил Михаил Дмитриевич.

— Обоих, ваши превосходительства! — не задумываясь гаркнул корнет, поскольку не получил от Струкова ясных указаний.

Оба Скобелева прискакали к шоссейной караулке, когда разоружение уже закончилось. Офицеры строили молчаливых, покорившихся участи аскеров под наблюдением русских конвойных команд. Ганецкий уехал с докладом к великому князю главнокомандующему, а всем распоряжался Струков. Он радостно приветствовал Михаила Дмитриевича, с некоторым удивлением — старика, и приказал Нешед-бею доложить об их прибытии Осману-паше.

— Он вас представит, а меня извините, господа. Дел по горло.

Вернулся Нешед-бей и с поклоном пригласил генералов в караулку. Оба Скобелева последовали за ним. Осман-паша сидел на прежнем месте, но встал с помощью подскочившего адъютанта. С недоумением посмотрев на седого генерала, сначала почтительно поклонился ему, а затем протянул руку Скобелеву-младшему и что-то сказал, улыбаясь.

— Его превосходительство говорит, что пожимает сейчас руку будущему русско-му фельдмаршалу, — перевел Нешед-бей.

— Передайте паше мою признательность и скажите, что я искренне завидую ему. Он оказал своей родине неоценимую услугу.

Когда Нешед-бей перевел это, Скобелев представил отца. Осман-паша еще раз почтительно поклонился старику, но продолжал смотреть только на молодого генерала.

— Судьбе угодно было, чтобы я отдал свою саблю генералу Ганецкому, но было бы куда справедливее, если бы я вручил ее вам, Акпаша. Вы дважды заставили меня думать о поражении, а значит, дважды победили. — Он вежливо улыбнулся старику. — С удовольствием поздравляю вас, генерал, с великим сыном.

— Ничего, — невпопад ответил Дмитрий Иванович, растерянно погладив усы. — Пил бы поменьше, так и цены бы ему не было.

Неизвестно, как перевел эту фразу Нешед-бей, но Осман-паша тихо рассмеялся.

— Кровный скакун спотыкается чаще рабочей лошади.

Скобелева обидела эта покровительственная похвала. Он был военным не просто по призванию, а по особому складу души, где все решительно подчинялось восторженному азарту боя, ослепительной уверенности в победе и убежденности в своей правоте. Он всегда уважал противника, но при этом внутренне требовал и ответного уважения.

— Этот же афоризм я могу адресовать и вашему превосходительству.

Осман-паша продолжал улыбаться, но из этой улыбки уже уходила искренняя теплота.

— После третьего штурма с поля боя выбрался солдат. Я навестил его в госпитале, и он рассказал, как на его глазах добивали моих раненых, паша.

— Война жестока. Кроме того, это были башибузуки.

— Это были ваши войны, Осман-паша, — отчеканил Скобелев. — Вам известно, что у нас действуют лазареты для раненых? Вам известно, что мои солдаты под огнем вытаскивают раненых аскеров, которых вы бросаете на верную гибель?

— Мне известно, что вы оказываете помощь раненому противнику, но аскер этого не знает и не узнает никогда, — сухо сказал Осман. — Аскер знает одно: с ним поступят так, как поступает он. И чтобы он не сбежал в ваши лазареты, я вынужден закрывать глаза на его жестокость. Это закон войны, генерал.

— Это нарушение законов войны, паша. Вам не кажется, что вы заменили солдатскую честь круговой порукой бандитов?

— Мне кажется, что вы последний генерал в истории, который еще верит в эту самую честь.

Вошел Струков, сообщивший, что Осман-паша должен отбыть в Плевну и что личный экипаж паши уже подан. Турецкие офицеры на руках вынесли раненого командующего и усадили в экипаж. Хасиб-бей устроился напротив паши, Струков верхом ехал сбоку, а сзади двигался конвой улан и турецкая свита паши.

— Генералам и в плену ни жарко, ни холодно, — вздохнул старший Скобелев, когда экипаж паши скрылся в темноте. — Тебя, поди, тоже на руках носить будут, коли в плен угодишь?

— Нет уж, ваше превосходительство, я всегда застрелюсь успею, — неожиданно зло отрезал сын.

В двенадцать часов следующего дня наступившую тишину вновь нарушил грохот канонады: русская артиллерия салютовала въезд Александра II в Плевну. В одном из лучших болгарских домов был сервирован завтрак для императора, особ царской фамилии, румынского князя Карла и некоторых приближенных. Во дворе были накрыты столы для офицеров свиты, за которыми ухаживали болгарские девушки в праздничных нарядах.

В доме едва успели поднять бокалы за здоровье Александра II, как за окнами раздался шум: турецкий полководец шел к дому, опи-

раясь на Хасиб-бея. Русские и румынские офицеры встали. Осман молча пересек двор и сразу же был введен к императору. Низко поклонившись, остался у порога, ожидая вопросов.

— Что вас побудило прорываться? — спросил император после весьма продолжительного молчания.

— Долг, ваше величество.

— Отдаю полную дань уважения вашей твердости в исполнении священного для всех долга служения своей родине, — напыщенно сказал Александр. — Знали ли вы о полном окружении Плевны?

— Я не знал подробностей, государь, но даже если бы и знал их, я бы все равно поступил так, как поступил.

— На что же вы рассчитывали?

— Полководец всегда рассчитывает на удар там, где его не ждут, государь. В данном случае я надеялся, что генерал Ганецкий примет мою демонстрацию за направление решающей атаки.

— В знак уважения к вашей личной храбрости я возвращаю вам вашу саблю.

— Благодарю, ваше величество. — Паша низко поклонился.

В то время как происходила эта театральная церемония, Дмитрий Иванович Скобелев прискакал к сыну. Оба генерала были молчаливо обойдены приглашением к царскому завтраку, но старику стало известно, что Скобелев-младший утром испросил аудиенцию и был принят императором.

— Унижался? — загремел старик, едва переступив порог. — Сапоги царские лизал, а что вылизал? Вот что! — Он повертел фигой перед надушенной и любовно расчесанной бородой сына. — Тебе сам Османка руку тряс, а хрен вам вместо праздничка, хрен с редькой, ваше превосходительство!

— Хрен с редькой тоже закуска, — улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Он был в мундире и вместе с парадно одетым Млыновым деятельно накрывал на стол. Столь же парадный Куропаткин молча поклонился разгневанному генералу.

— Празднуешь? — презрительно отметил Дмитрий Иванович. — Унижение водкой заливаешь?

— Не унижение — победу, — сказал Скобелев. — А какую, сейчас узнаешь. Готово, Млынов? Зови.

Млынов вышел. Скобелев критически оглядел стол.

— Наливай, Алексей Николаевич. Первый тост — стоя.

Куропаткин едва успел разлить шампанское, как Млынов пропустил в комнату Олексина.

— Доброе утро, — сказал Федор, удивленно оглядывая накрытый стол и парадных командиров. — Звали, Михаил Дмитриевич?

— Возьми бокал. — Скобелев обождал, пока все разберут шампанское, расправил бакенбарды. — Сегодня утром государь соизволил прозвести тебя в офицеры. За здоровье подпоручика Олексина! — Он залпом осушил бокал, взял со стола погоны и протянул их Федору. — Носить с честью. И чтоб завтра представился мне по всей форме.

— Благодарю, Михаил Дмитриевич, — растерянно пробормотал Федор.

— Вот уж нет! — вдруг сердито крикнул старик. — Кончился для тебя Михаил Дмитриевич, понятно? Отныне он тебе — ваше превосходительство. Так-то, поручик, и дай-ка я тебя поцелую на счастье!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Осень 1877 года выпала затяжной и холодной, зима обещала морозы и снегопады, русская армия была разута и раздета; по всей логике надлежало перейти к обороне, презимовать, подготовиться и весной

возобновить военные действия. Исходя из этой логики, германский канцлер Бисмарк приказал убрать со своего стола карту балканского театра военных действий.

— Она не понадобится мне до весны.

Гавриил считал, что он тоже не понадобится до весны. Он находился в офицерском госпитале для выздоравливающих; решительно отклонив предложение уйти в отпуск, написал письмо Столетову с просьбой использовать его хотя бы для обучения новых ополченцев. В ожидании ответа читал, отсыпался или гулял в одиночестве.

В середине декабря Олексин получил письмо от начальника 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Павла Петровича Карцова: «...капитан Олексин Гавриил Иванович откомандировывается в распоряжение штаба Траянского отряда, для чего ему надлежит незамедлительно прибыть в город Ловчу». Гавриил тут же выехал и сразу был принят начальником штаба 3-й пехотной дивизии подполковником Сосновским. Поздравив Олексина с производством в чин капитана, подполковник перешел к цели вызова.

— Главнокомандующим принято решение преодолеть Балканы, когда противник да и весь мир этого не ожидают. Колонна генерала Гурко выступает на Софию, через Имитлийский перевал в скором времени пойдет Скобелев. Для обеспечения этих ударов формируется Траянский отряд.

— Насколько мне известно, Траянские Балканы зимой непроходимы.

— Совершенно верно, капитан, — с непонятным удовольствием согласился Сосновский. — Смысл нашего марша — активная демонстрация.

«Воевал он доселе все больше за зеленым сукном, — неприязненно подумал Гавриил. — А демонстрировал на балах».

— Каковы наши силы?

— Если мы будем рассчитывать только на себя, мы не просто погибнем — мы погибнем бессмысленно, — сказал подполковник. — Мы должны рассчитывать еще на две силы: на помощь местных жителей и на гайдуков Цеко Петкова.

При упоминании Петкова Гавриил сразу понял, почему именно его откомандировали в распоряжение Траянского отряда. Правой рукой воеводы был Стойчо Меченый — боевой товарищ Олексина по сербской войне.

— Кто же обо мне вспомнил? — улыбнулся капитан.

— Сам воевода, Олексин. Вы назначены нашим представителем у Петкова и будете координировать совместные боевые действия. Но это потом, сначала мне нужна разведка. Как именно, где и какими силами противник охраняет перевал, где резервы и какова их численность? И самое главное — возможные пути обхода турецких укреплений. Чета Петкова организована по всем воинским правилам, хорошо вооружена, имеет опытного начальника штаба. Его имя Здравко, фамилии я не знаю. С ним вам и предстоит работать. Завтра за вами заедет управитель Траянской околии Георгий Пулевский. Кстати, он обеспечивает помощь местных жителей. Генерал Карцов распорядился идти с полевой артиллерией, значит, понадобится много упряжных волов.

— С горными было бы проще.

— Горными пушками мы противника не удивим, а полевыми девятифунтовыми заставим призадуматься, не здесь ли русские наносят главный удар. Уж коли играть, так по-крупному, не так ли, капитан?

В это время главнокомандующий великий князь Николай Николаевич обсуждал с генералами Карцовым и Левицким детали предстоящего броска через Балканы. Левицкий, в последнее время заметно потеснивший старого Непокойчицкого, сыпал цифрами: о расстояниях, глубине снежного покрова, скорости продвижения и тому подобном. Он весь был сосредоточен на каких-то второстепенных деталях, но циф-

ры нравились главнокомандующему; Карцов пропускал их мимо ушей, справедливо полагая, что сочинены все эти данные в кабинетах. Когда Левицкий наконец замолчал, сказал осторожно:

— Ваше высочество, это прекрасный и дерзкий план, но я прошу учесть, что сроки его исполнения зависят не от штабных расчетов, а от природы, с коей бороться труднее, чем с противником.

— Если успеешь и перейдешь — честь и слава, — сказал Николай Николаевич, тыча пальцем в грудь генерала при каждом слове. — Если нет — демонстрируй, но молодецки, усердно демонстрируй. Природа? Знаю. Знаю, что пройти невозможно, но ты пройдешь. С богом, генерал, дай я тебя поцелую.

Сосновский и Олексин расстались совсем не столь торжественно. Оба почувствовали взаимную антипатию, и если Гавриил определил начальника штаба как жуира, то Илья Никитич про себя обозвал капитана ипохондриком и пожалел, что замену искать уже поздно.

Георгий Пулевский заехал за Гавриилом ранним утром.

— Я очень рад познакомиться с вами, господин капитан, — сказал он, крепко пожимая руку. — Видел вас под Старой Загорой. Сам ранен там, но, кажется, нам предстоит что-то потруднее. Знаете, как у нас зовется Траянский перевал? Магаре смърт — ослиная погибель.

— Генерал Карцов распорядился доставить на перевал девятифунтовые орудия.

— Тяжко, — вздохнул Пулевский. — Мы готовим дорогу от Княжевицких колиб.

Пара лошадей легко несла сани по накатанной дороге. Слегка морозило, воздух был чист и прозрачен, и Гавриил с наслаждением вдыхал его сейчас. Уже в сумерках показался полусожженный турками Траян, но Пулевский, не доезжая, свернул налево.

— Разве мы не в город? — спросил Олексин.

— Мы к отцу Макарию в Траянский монастырь Успенья.

— Мне нужно поскорее попасть к Цеко Петкову, бай Георгий.

— Воевода Цеко — старый друг отца Макария. — Пулевский был очень польщен, что Олексин употребил болгарскую вежливую форму обращения к старшему по возрасту. — У него в монастыре находили убежище не только мы с Цеко — я ведь тоже гайдук, капитан, — но и сам Василь Левский. Монастырь Успенья всегда был нашей опорой в борьбе с османами. И сейчас монахи прокладывают дорогу в горах, заготавливают фураж и пекут хлеб на сухари для отряда генерала Карцова.

К монастырю подъехали в темноте. Тяжелые ворота распахнулись, сани миновали первый двор и остановились во втором. Олексин не успел вылезти из саней, как кто-то высокий ловко подхватил его под руку.

— Я замерз в сосульку, ожидая вас, командир!

— Митко?

— Он самый, командир. Кажется, сегодня есть повод выпить доброй траянской ракии, бай Георгий? Нечасто у нас такие гости.

Митко повел Гавриила на антресоли второго этажа. У лестницы стоял человек с фонарем, вежливо поклонившийся капитану.

— Добре дошли, господин капитан. Заповядайте.

— Я провожу, отец дьякон, — сказал Митко.

На длинную террасу второго этажа выходили двери келий. Митко распахнул одну из них.

— Прошу, командир.

Пригнувшись, Олексин шагнул через порог. В небольшой келье за накрытым столом сидели трое мужчин. Двоих Гавриил узнал сразу, но с порога низко поклонился тому, кто сидел в центре: почтенному старцу с иконописным строгим лицом, в простой черной рясе, с серебряным крестом на груди. Он понял, что это и есть архимандрит отец Макарий; справа от него сидел Цеко Петков в богато расшитом костю-

ме, улыбнувшийся в густые усы, а молодой гайдук шагнул из-за стола навстречу.

— Рад видеть вас живым, Олексин.

— Здравствуйте, Стойчо.

Друзья обнялись, и Меченый подвел капитана к отцу Макарию.

— Позвольте представить вам, святой отец, моего друга капитана Олексина.

— Я много слышал о вас, капитан, — сказал игумен. — Слава опережает тех, кто обнажает меч за правое дело.

Пришел Пулевский. Отец Макарий благословил трапезу; все молча приступили к ужину, только Митко изредка подмигивал Гавриилу совсем так, как когда-то подмигивал в кафане. Наконец с ужином было покончено, воевода поднял последнюю чашу, отпил глоток, привычным жестом расправил усы.

— Если позволишь, отец Макарий, я начну разговор, которого ждет гость.

— Возблагодарим господа и перейдем к делам.

— Завтра ты увидишь, капитан, голую вершину Траян. Турки называют ее Курт Хиссар — Волчья крепость. Там их укрепления, Здравко давно присматривается к ним.

— Можно ли обойти укрепления?

— Мы ищем пути.

— Большие морозы, большие снега, — сказал отец Макарий. — Траяны стали непроходимы, но мы проведем генерала Карцова.

— Очень важно поскорее узнать, сколько турок обороняют перевал и где их резервы, — напомнил Олексин.

— Кирчо должен был доставить разведку. — Цеко Петков озабоченно глянул на Меченого. — Если не придет к утру, ты, Стойчо, пойдешь навстречу. Заодно проводишь капитана к Здравко.

— Здравко, — повторил капитан, пытаюсь припомнить. — С нами в Сербии его не было.

Смешливый Митко неожиданно громко фыркнул и тут же смущенно забормотал:

— Простите, святой отец. Это же смешно: Здравко его ждет не дожидаясь, а он говорит, что его в Сербии не было.

Меченый сдержанно улыбнулся:

— Здравко вы хорошо знаете, Олексин. Это — Збигнев Отвиновский, начальник штаба нашей четы.

Лицо Олексина было таким, что Митко, не выдержав, вновь весело расхохотался и крепко ударил себя по бедрам.

2

В то время, когда Митко весело смеялся в келье Траянского монастыря, Кирчо был еще жив. Задыхаясь и с каждым выдохом выплевывая на снег сгустки крови, он еще брел по заметенной, одному ему ведомой тропинке, падал, собрав силы, вставал, шел снова и снова падал.

Он не ожидал встретить турок там, где встретил. Где ожидал, шел осторожно, часто останавливаясь и прислушиваясь, перебегая, а то и переползая открытые места. Но здесь-то, на северном склоне, где гайдуки давно уже чувствовали себя полными хозяевами, он никак не предполагал, что его найдет пуля. Ощутив удар, сразу упал в снег — благо снег был рыхлым, недавним, — утонул в нем, и следующие пули не нашли его. Долго лежал, не ощущая боли, но чувствуя теплую кровь, что текла по груди; рубашка быстро намокла, прилипая к телу. Потом шевельнулся, но никто больше не стрелял: турки ушли. Тогда он сел и увидел рану: пуля ударила ниже правого плеча, пробив верхушку легкого. Он затолкал в рану лоскутья рубашки, кое-как перевязал и пошел. Он нес разведку воеводе и должен был дойти.

Поначалу казалось, что ничего страшного не произошло. Он был очень силен, да и кровь не слишком текла из раны. Морозный воздух приятно освежал лицо. Кирчо никогда не задыхался в горах, но тут почувствовал, что воздуха мало, стал дышать глубже и чаще, и тогда с каждым выдохом начала выбрасываться кровь. «Дрянъ твоё дело, Кирчо, — подумал он. — Надо отдыхать, иначе не хватит крови. Просто не хватит...». Сначала он садился после каждой полтысячи шагов, потом после двухсот, а вскоре ощутил, как тянет ко сну и как все труднее вставать после отдыха. И невольно начал думать о ране, о том, что у него неостанет сил пробиваться по пояс в снегу, и, чтобы отогнать эти расслабляющие мысли, решил вспоминать. Вспоминать по порядку всю свою недолгую жизнь.

...Он вырос в селе, где турки и болгары жили рядом. Конечно, у турок и земли было побольше, и воды хватало, и в вечерние прохладные часы, когда турецкие женщины выходили подышать воздухом, болгарам запрещалось покидать дома, но жили, в общем, мирно. А сосед — добродушный рослый турок с двумя такими же рослыми крепкими сыновьями — случалось, помогал в поле по-соседски, как и ему всегда помогала убратъся с урожаем семья Кирчо: он, отец, мать и сестра. Естественно, о дружбе между семьями и речи быть не могло, и Кирчо с детства принимал все как должное, но ни обид, ни оскорблений, ни посягательства на имущество не было. Кирчо привычно ходил по солнечной стороне, зная, что тень принадлежит туркам, уступал им дорогу, низко кланялся при встрече и никогда не заговаривал первым. Таковы были условия жизни, и он безропотно принял их, как до него принимали эти условия его отец, деды и прадеды.

— Уссур!..

До сих пор он помнил этот крик. Даже сейчас, когда кружилась голова, когда клонило ко сну, дрожали ноги и с каждым выдохом вылетали на снег стуски алой крови.

— Уссур!..

В 1876 году у них было тихо. Здесь не существовало подпольных комитетов, сюда не наведывались апостолы Василия Левского, и гайдуки далеко обходили село, где каждый болгарский дом соседствовал с турецким. До них доносились известия о восстаниях, вокруг полыхали селения и гремели выстрелы, но они ни в чем не провинились перед турецкими властями.

Но однажды утром над селом раздались крики болгарских женщин. Вся их семья сразу выбежала на улицу: беду издревле привыкли делить пополам, потому что только так можно было выжить. И еще не поняли, в чем дело и почему так страшно кричат женщины, как на улицу вышел сосед-турок. Всегда добродушно улыбающийся, он забыл тогда об улыбке. В руке его был остро отточенный ятаган, за поясом пистолет. Следом шли вооруженные сыновья.

— Уссур!.. — крикнул он, увидев их.

Мать закричала, а отец безмолвно опустился на колени, сложив на груди руки и вытянув шею. Сверкнул ятаган, голова отца скатилась в апрельскую грязь, а братья уже тащили его сестру.

Так началось то, что турецкое правительство впоследствии пыталось выдать за стихийную самозащиту мусульманского населения, хотя само отдало приказ о массовых погромах и резне. Конечно, если бы семья Кирчо тогда не выбежала на улицу, их бы, наверно, не тронули: турки исполняли приказ, но не врывались в дома соседей. Но они выбежали...

— Уссур!..

Кирчо не встал на колени. Он никогда не мог вспомнить, как в его руках оказался кол. Он взмахнул им раньше: сосед с проломленным черепом рухнул рядом с обезглавленным т лом отца. Последнее, что Кирчо помнил, был крик матери:

— Беги!..

Он спасся, хотя за ним гнались все турецкие парни. Сумел убежать от их выстрелов, уйти от их коней и через три дня пробраться в горы. Неделю он блуждал там, кормясь у чабанов, пока его не свели с Меченым. Он неплохо отомстил за отца, и вот сегодня наконец-то турки рассчитались с ним...

Кирчо уже не шел, а полз, разгребая руками снег. Он ясно понял, что ему не дойти до монастыря, но он должен был, обязан был выйти на тропу Меченого. Только там Стойчо мог наткнуться на его тело и взять разведку, написанную Отвиновским.

Ветер усиливался, голая, как череп, вершина перевала уже не проглядывала за снежной завесой. Дышать стало совсем не вмоготу, и Кирчо хрипел, с трудом втягивая воздух. А в груди kloкотала и булькала кровь; он чувствовал, что задыхается. Он сбросил с себя все, что мешало — ремни, одежду, оружие, — оставшись в окровавленной, заколовшей на морозе рубашке. И туманно подумал: хорошо, что рубашка в крови, — Меченый скорее заметит ее среди ослепительно белого горного снега.

Он раньше почувствовал, чем увидел, что дополз до приметного корявого дерева: отсюда начиналась тропа Меченого. А сознание уже мутилось, воздух с трудом, с хлюпаньем и свистом проникал в переполненные кровью легкие, но больше не надо было ползти; он дошел туда, куда хотел дойти. Завтра утром Меченый найдет его тело и разведку Отвиновского, передаст ее русским, и никакая Волчья крепость не спасет османов от разгрома. Кирчо оперся спиной о ствол дерева и хрипло рассмеялся: в последнем своем бою он все-таки победил. И закрыл глаза: он заслужил спокойную смерть.

А снег валил и валил и с неба и с гор. Кирчо не чувствовал холода — он чувствовал другой холод, изнутри, вечный холод смерти, — но в ускользящем сознании мелькнула вдруг ясная мысль: снег. Снег заметит его тело, и утром Меченый, не заметив, пройдет мимо.

Он не мог этого допустить. И, собрав все силы, хрипя и судорожно выкашливая густую кровь, встал, цепляясь за дерево. Вынул из шаровар пояс, зажал в левой руке бумагу, которую должен был доставить, захлестнул ее у запястья петлей и накрепко привязал к обледенелому суку. И сполз в снег, в кровь обдирая спину о шершавый древесный ствол.

3

Митко разбудил Гавриила затемно. За крохотным окном кельи бушевал ветер, стекла звенели от колючего снега.

— Кирчо не пришел. Воевода приказал идти искать.

— Думаешь, турки взяли? — спросил Олексин, быстро одеваясь.

— Кроме турок, командир, есть еще и пропасти.

У Петкова были Меченый и бай Георгий. Все трое лишь молча кивнули капитану.

— Ешьте поплотнее и ступайте искать Кирчо, — распорядился Петков. — Я с отцом Макарием и Георгием выеду в Княжевицкие колибы: туда к полудню должен прибыть полковник Сосновский. В перестрелки не вступать.

Олексин никогда не видел воеводу таким суровым, но сразу понял, чего он опасается. Если разведка, которую нес Кирчо, попала к противнику, приходилось на ходу менять весь план похода, а времени уже не было.

— Кирчо скорее бы бросился в пропасть, — сказал Меченый.

— Найди, — отрезал Петков и протянул руку Олексину. — До встречи в чете, капитан.

Когда вышли, чуть посветлело, перестал идти снег, но ветер по-прежнему яростно рвался с гор, сек лицо, не давал дышать. Митко шел впереди, утаптывая дорогу. Гавриил никак не мог понять, по

каким ориентирам гайдук находит заметенную тропу. Еще вчера, узнав, что Збигнев Отвиновский умудрился вторично пробраться к Цеко Петкову, он хотел подробнее расспросить о нем. Но разговор складывался по-иному, отец Макарий, воевода и бай Георгий обсуждали с капитаном пути движения колонн генерала Карцова, рассчитывали продовольствие и фураж, места лазаретов и перевалочных пунктов, потребное количество саней, волокуш, волов и буйволов. Он отложил расспросы до утра, а утро встретило таким неожиданным ударом, что сразу стало не до Отвиновского. Лучший, опытейший гайдук четыре не пришел в монастырь, имея при себе решающую разведку.

Путь был тяжел, заснеженная тропа круто поднималась в горы; с непривычки Гавриил задыхался, но внимательно смотрел по сторонам, надеясь заметить хоть какой-нибудь след. Вокруг было пустынно, от яростной белизны слезились глаза, и следы Кирчо, даже если он и добрался сюда, давно уже были занесены пушистым, всю ночь валившим снегом.

Спутники молчали. Шедший позади Меченый изредка останавливался, шаривая биноклем белое безмолвие склонов, заметенные деревья и черные обломки скал. «Если услышите крик или выстрел, сразу падайте в снег», — сказал он Олексину в начале пути и более не разговаривал.

Они поднялись довольно высоко, когда Меченый дал капитану передохнуть. Воздух здесь был реже и морознее. Олексин еще не приспособился, кровь часто била в виски, и кружилась голова. Опершись о палку, которой его снабдил Митко, капитан старался дышать глубже, чтобы успокоилось сердце.

— Ты знаешь, каким путем он ходил в монастырь? — спросил Меченый.

— У Кирчо свои тропы, — вздохнул Митко: сегодня ему было не до шуток.

— Вы отдохнули, капитан? Пошли, нельзя остывать.

Ветер стал сникать, а тропа все круче забирала в горы. Митко старательно утапывал снег, идти с каждым шагом делалось все труднее. Олексин, отступаясь и проваливаясь, упрямо шагал и шагал, хотя дышать было уже нечем. Меченый нагнал его.

— Посмотрите вперед: голая гора — вершина перевала. Вот там-то и расположен Курт Хиссар, где нас ожидают турки.

— Обойти, — задыхаясь, сказал Олексин. — Можно ее обойти?

— Нужно, — вздохнул Стойчо. — Если расселины забило снегом...

— Рука! — крикнул Митко. — Рука у дерева!

Из снега торчала голая рука, примотанная к обледенелому суку. Из-под захлестнувшей ее ременной петли виднелся конверт. Митко уже торопливо разгребал снег.

— Это Кирчо, — задыхаясь, бормотал он. — Кирчо, командир.

Меченый попробовал вытащить из-под петли конверт, но ремень был затянут намертво. Стойчо достал нож, разрезал ремень, бережно развернул смерзшуюся бумагу.

— Да, это Кирчо. Читайте, Олексин.

Он отдал донесение капитану и стал помогать Митко разгребать снег. Гавриил хотел помочь, но Меченый сурово повторил:

— Читайте, капитан.

— «Курт Хиссар: два ряда окопов, семь каменных укрытий для стрелков, — читал Олексин. — Правее его — редут Картал. Турки охраняют перевал шестью таборами и сотней султанской гвардии. Расположение: Курт Хиссар — три табора, два орудия. Редут Картал — один табор, орудий нет. Резерв — в деревьях Текке и Карнари — два табора и гвардейцы султана. Командир Рафик-бей: служака из солдат. Смел, опытен, но недалек и в бою, как правило, решений не меняет. Схему обороны прилагаю, обходные тропы ишу. Здраво».

Олексин опустил письмо и впервые увидел окаменевшее тело Кирчо. Мертвые, остекленевшие на морозе глаза смотрели в упор на капитана, изодранная, окровавленная рубашка ярким пятном выделялась на чистом снегу, а нелепо и страшно заломленная, вывернутая в плечевом суставе левая рука указывала ввысь.

4

В соответствии с планом общего штурма Балканского хребта Западный отряд под командованием генерала Гурко выступил на рассвете 13 декабря. После неимоверно трудных десятидневных боев и маршей утром 25 декабря Кавказская бригада первой вошла в Софию. В тот же день великий князь Николай Николаевич старший телеграфировал военному министру Милютину:

«...войска от стоянки и работы на Высоких Балканах и при походе через них остались в эту минуту — равно офицеры и нижние чины — без сапог уже давно. А теперь окончательно и без шаровар...»

Как бы там ни было, а жители Софии уже восторженно встречали разутое, раздетое, но победоносное русское войско. Отряд Гурко первым проломил забаррикадированную льдами, морозами и снегом дверь Балканского хребта; очередь была за отрядом генерала Карцова. Пока от него требовалась лишь демонстрация, чтобы сковать резервы противника и тем самым помочь отряду генерала Скобелева-второго прорваться Имитлийским проходом.

Первым эшелон отряда, выделенным Карцовым для демонстрации, командовал подполковник Сосновский. Ему предстояло проложить дорогу основным силам, перетащить артиллерию и подготовить позиции на виду у неприятеля.

В ночь на 23 декабря никто не спал на биваке у Княжевицких колиб. Артиллеристы разбирали орудия, предназначенные к подъему на вершины. Стволы орудий укладывались в долбленные дубовые лубки, а передки, лафеты, колеса и прочее — на салазки. И в лубки и в салазки впрягали волов и буйволов: пробовали, подгоняли упряжь. К каждой волокуше отряжалось по шесть — десять человек болгар, пехотинцев и казаков: волы должны были лишь удерживать тяжесть на крутых обледенелых склонах — тащить приходилось людям.

Монахи Траянского монастыря и местные жители еще с вечера ушли горить дорогу: утапгывать снег, вырубать ледяные наплывы, убирать корни, камни и рухнувшие деревья. Казаки и пехотинцы получали патроны и сухарное довольствие на четверо суток; кругом трещали огромные костры, возле которых грелись русские и болгары, слышался смех, веселые голоса, гармонь.

Стрелковый батальон подполковника Бородина готовился к походу с особой тщательностью. Стрелки выступали налегке, скорым маршем, без дорог и троп. Они должны были подняться на последний кряж перед перевалом, чтобы предупредить турок и не позволить им оборудовать там позиции. Стрелков вели проводники из четы Цеко Петкова, и сам воевода лично осмотрел солдат.

— На каждых пять человек нужно иметь длинную веревку. Если кто сорвется, четверо вытащат.

Веревки в запасе не оказалось, но выручили казаки. Ровно в четыре утра стрелки молча тронулись в путь. Вскоре кончилась протоптанная дорога, проводники, по пояс проваливаясь в снег, шли впереди, держа перед грудью посохи. За ними гуськом в три цепочки ломили сквозь сугробы солдаты.

Митко доставил разведку Отвиновского накануне; вечером следующего дня в Княжевицкие колибы прибыл генерал Карцов. Выслушав доклад подполковника Сосновского и соображения воеводы, сказал:

— Пока не найдете обходных путей, демонстрируйте.

— Я должен вернуться в чету, генерал.

— После того как ваш гайдук приведет сюда охрану, воевода. Я не могу отпустить вас без конвоя, когда турки уже переполошились от нашей «Дубинушки».

— Я дам охрану, — тихо сказал отец Макарий, доселе безмолвно перебивавший четки. — Дьякон Кирилл поведет пятнадцать иноков.

— Они умеют стрелять? — спросил Карцов.

Отец Макарий и Цеко Петков молча улыбнулись. Генерал заметил это и тоже улыбнулся.

— Простите, святой отец, я запомнил, что в Болгарии любой монах умеет стрелять по туркам.

Цеко Петков и Митко в сопровождении вооруженных иноков выпли в ночь. Через несколько часов они добрались до овчарни — сложенного из плитняка четырехугольного загона без крыши. По плану Сосновского тут предполагалось открыть лазарет, и Петков оставил дьякона Кирилла с монахами, приказав соорудить навес и очаг. Перекусив и отдохнув, воевода и Митко продолжили путь и к утру достигли основной стоянки. Здесь были утепленные шалаши и землянки, где зимовала чета. В одной из землянок их встретили Олексин, Меченый и Отвиновский. У горящего очага молодая женщина готовила завтрак.

— Нашли обход? — первым делом спросил Петков.

Меченый хотел что-то сказать, но Отвиновский опередил его.

— Нашли. Для уточнения я снова отправил человека.

— Любчо, подай еду и ступай к себе, — сказал Меченый.

Любчо молча поставила на низенький столик жареное мясо, хлеб и вино и тут же вышла.

— Кого ты отправил к перевалу, Здравко? — спросил воевода, садясь к столу.

— Я обманул вас, воевода, — тихо сказал Отвиновский. — Три дня назад из разведки не вернулся Бранко. А сейчас турки перекрыли все дороги и мы не смогли найти обходных путей.

— Ты думаешь, Бранко не выдержал пыток?

— Нет, — угрюмо ответил Стойчо. — Просто турки почуяли.

— Ешьте, — помолчав, сказал воевода. — Потом будем думать. Завтракали в молчании. Под конец Петков спросил:

— Когда Любчо рожать?

— Месяца через четыре.

— Отправь ее в Лом-Паланку. У меня нет сына, так пусть будет внук.

Закончив трапезу, воевода тяжело поднялся, взял чашу с вином. Все встали, опустив головы.

— Вечная память тебе, Кирчо, и тебе, Бранко. Кровь за кровь.

— Кровь за кровь, — глухо отозвались гайдуки.

Выпив вино, сели за стол. Отвиновский развернул схему Траянских Балкан с обозначением троп и турецких укреплений.

— У нас есть одно соображение, воевода. Не обходный маневр Карцова, а обходный маневр нашей четы. Нам не нужны дороги, но нам необходима отвлекающая атака Курт Хиссара. Если генерал Карцов согласится на нее, мы переберемся в леса против редута Картал. И ударим оттуда, когда русские предпримут генеральный штурм. Капитан Олексин согласен с этим планом.

Петков долго разглядывал схему. Сказал, не поднимая головы:

— Пиши подробную записку, Здравко. Митко, тебе придется еще раз сходить к полковнику Сосновскому. — Он посмотрел на Гавриила. — Условьтесь о сигналах, капитан, будет так.

— Если атаку возглавит полковник Сосновский, я не поручусь за ее исход, — помолчав, сказал Олексин. — Для такой задачи он слишком любит жизнь.

— Будет так, — сурово повторил воевода.

Когда Олексин узнал, что начальник штаба Цеко Петкова Збигнеф Отвиновский, он не только удивился. Засыпая на жесткой монастырской постели, он думал, как встретятся они, ограничатся ли одним рукопожатием или улыбнутся друг другу. Его отношения с Отвиновским в Сербии были настороженно-холодоватыми, но чем дальше отступало волонтерское прошлое, тем со все большей теплотой он вспоминал сдержанного поляка. Он понял истинную цену мужской дружбы, научился ценить ее, отсеивать мелочи, которые когда-то так раздражали. Тем более что Отвиновский первым шагнул к нему, первым обнял и первым прижал к груди. Правда, ни разу не улыбнувшись. С той поры сутками работая вместе, они так и не поговорили. Отвиновский был привычно сдержан, не любил душевных излияний, а Гавриил не хотел расспрашивать. Да и времени прошло достаточно, и то, что когда-то казалось важным, уже утратило всякую новизну. Дел было по горло, спали урывками, ели на ходу, и все помыслы их занимала предстоящая операция.

Обходный марш, на который рассчитывал генерал Карцов, требовал дорог, а значит, и времени. Настороженные турки умело заслонили все удобные пути, привычно закопавшись в каменистую мерзлую землю и с избытком обеспечив себя боеприпасами. Оценив это, начальник германского генерального штаба фельдмаршал Мольтке предрек гибель русскому отряду:

— Тот генерал, который вознамерится перейти Траян, заранее заслуживает имя безрассудного, потому что достаточно двух батальонов, чтобы задержать наступление целого корпуса.

У турок было шесть батальонов, а отряд Карцова представлял собой лишь усиленную дивизию. По всем военным канонам выходило, что германский фельдмаршал прав: русские обречены были на неудачу, а их командир на бесславное имя безрассудного генерала. Но у Карцова была третья сила, которую не учитывал начальник германского генерального штаба: вооруженный народ Болгарии. Эта сила могла обойтись без дорог, если бы удалось отвлечь внимание противника.

— Что же, это разумно, тем паче что Рафик-бей не любит менять решений в бою, — сказал Карцов, когда Сосновский доложил о решении Цеко Петкова под прикрытием атаки скрытно сосредоточиться на правом фланге турок. — Однако неприятель поверит в наш штурм только в том случае, если все — от нижних чинов до старших офицеров — будут биться с упорством. Значит, о том, что это всего-навсего демонстрация, не должен знать никто.

— Капитан Олексин просит начать штурм к ночи.

— Обоснуйте как-либо эту необходимость в приказе. И атакуйте до рассвета, пока воевода не проведет своих молодцов у турок под носом. Что же касается настоящего удара... — Карцов подумал. — Трех дней Петкову хватит?

— Сигнал — костер в ночь на двадцать седьмое.

— Очень хорошо. С зарею двадцать седьмого — штурм. Сообщите этот срок ординарцу воеводы.

Сосновский всегда был образцом строевого послушания, но на сей раз лишь задумчиво покивал. Молча собрал карты, молча поклонился.

— Присядьте. — Карцов, сдвинув брови, походил по комнате, поглядывая на молчаливого начальника штаба. Потом сел напротив. — Понимаю ваше состояние, Илья Никитич.

— Я двадцать лет... — Голос Сосновского дрогнул. — Капитан Олексин — опытный офицер, но обманывать собственных солдат...

— У вас есть иной план?

— Нет. И, вероятно, не нужно, план превосходен. Я ведь не в нем сомневаюсь, Павел Петрович, я в праве своем сомневаюсь. Я двадцать

лет... — Подполковник вдруг спохватился. — Господи, дались мне эти двадцать лет! Только ведь я семьями дружен, у доброго десятка в кумовьях, я детей крестил. Для Олексина — демонстрация, да так, чтоб турки поверили, а для меня... — Он замолчал. Чуть дрогнувшей ладонью расправил усы, встал, сказал тихо: — Все будет исполнено, Павел Петрович.

— Я знаю, что все будет исполнено, — вздохнул Карцов. — Садитесь, Илья Никитич, садитесь. Неблаговидная вам роль выпала, однако что же делать, друг мой, что?

— Зачем же, Павел Петрович? — застенчиво улыбнулся Сосновский. — Хотите, чтоб я сам сказал, что случаются обстоятельства, когда офицер обязан не помышлять о собственной совести? Знаю я об этом, Павел Петрович, знаю.

— Простите меня, Илья Никитич, — тихо сказал Карцов, помолчав. — Бога ради, простите. Не для своей славы обмана требую — для славы и чести отечества нашего. Простите.

Он встал, поклонился подполковнику и вышел. А Сосновский долго сидел неподвижно, машинально поглаживая стол и не замечая, как по круглым румяным щечкам его текут слезы. Потом достал платок, решительно вытер лицо и начал писать приказ на генеральный ночной штурм турецкой крепости Курт Хиссар.

В сумерках 23-го чета выступила со стоянки, двумя лентами обтекающая турецкие позиции. Первую колонну вел воевода, вторую — Меченый. Гайдукам предстояло низинами миновать занятые турками горы, чтобы противник этого не заметил, иначе весь маневр, вся предстоящая операция, в том числе и отчаянная ночная атака передового эшелона, становилась бессмысленной. Поэтому с величайшими предосторожностями приблизившись к турецким постам, воевода и Меченый положили своих людей в снег.

Передовой эшелон — стрелки 10-го батальона, спешенные казаки Донского полка и три роты 9-го Старо-Ингермандландского пехотного полка — спешно подтягивался, готовясь к штурму.

— Помилуйте, господа, атаковать без артиллерии сильно укрепленную позицию — это, знаете ли, чересчур смело, — недоумевали офицеры, получив приказ о ночной атаке.

Артиллерия прошла половину мучительно трудного пути, на котором замертво падали волы, а у людей от невероятного напряжения шла кровь из ушей и горла. Именно этим отставанием и обосновал Сосновский атаку в ночной темноте. И пока солдаты и офицеры готовились к ней, а четники недвижно мерзли в снегу, артиллеристы полковника Потапчина вместе с болгарями, захлебываясь кровью, волокли орудия, радуясь каждому аршину.

Точное время штурма оговорено не было. Сумерки уже сгустились; в низине, где лежал Гавриил, стало совсем темно. Он порядком одревенел, пока донесся первый залп.

Турки ответили частым огнем, завязалась перестрелка, откуда-то издали донеслось «ура». Но Петков еще не давал знака, и все по-прежнему неподвижно лежали в снегу.

А «ура» нарастало. Стрелки отвлекали на себя огонь противника, и под их прикрытием донцы и ингермандландцы начали штурм крутых обледенелых склонов. Хриплое «ура» накатывалось на укрепления, турки, поверив в реальную опасность, сосредоточили по атакующим весь огонь.

— Вперед! — шепнул Отвиновский.

Темные тени гайдуков беззвучно обтекали гору, вершина которой светилась от частого ружейного огня. Цеко Петков точно выбрал время: туркам было не до наблюдения, а грохот заглушал топот ног, хруст снега и тяжелое дыхание четырех сотен людей.

Русские атаковали по крутому склону, откуда ветер давно сдул рыхлые снега. **Карабкаясь, солдаты сапогами и прикладами пробивали**

наст, чтобы упереть ногу. Убитые, раненые и просто сорвавшиеся кубарем катились вниз, сбивая тех, кто поднимался следом. На высоте пяти тысяч футов воздух, сухой и колючий при двадцатиградусном морозе, оказался настолько разреженным, что дышать было почти нечем.

— Это безумие! — задыхаясь и сплевывая кровь, сказал командир стрелков Бородин, сорвавшийся со ската к ногам хмурого Сосновского. — Даже если мы и взберемся на эту чертову гору, у солдат не хватит сил на штыковой удар.

— Возьмите резервную роту и повторите штурм, — сухо сказал подполковник.

— Мы погубим солдат!

— Исполняйте.

Турецкий огонь и ледяные кручи остановили первую атаку на половине горы. Залечь было негде, и солдаты скатывались вниз. В скалах остались лишь стрелки, пробравшиеся туда ранее, да кое-кто из атакующих — в основном донцов, — сумевших вцепиться в лед. Стрелки еще вели разрозненную пальбу, но казаки ждали подкрепления. Напряжение боя упало, и опытный Цеко Петков тут же уложил гайдуков в снег.

— Ждем второй атаки, — тихо пояснил Отвиновский.

— Значит, нашим придется атаковать всю ночь?

— Игра стоит свеч, Олексин.

— Ну, эта игра стоит жизней, — буркнул Гавриил.

Отвиновский промолчал. Такая игра действительно оплачивалась жизнями, но выхода не было. Турки умело приспосабливались к местности, а здесь, на Траяне, их позиции можно было взломать только с флангов. Олексин понимал это, но гибель людей, верящих, что они и вправду могут именно в этом месте ворваться в укрепления противника, угнетала его.

Через час Сосновский повторил отчаянную атаку обледенелого склона, крутизна которого местами достигала шестидесяти градусов. Вновь со стонущим «ура» лезли солдаты, вновь скатывались к подножью и вновь начальник штаба с непонятным упорством слал наверх новые резервные роты. И опять турки отбили их; опять замер бой, и гайдуки попадали в снег.

— Я не понимаю вашего упрямства, — задыхаясь, говорил Бородин. — Объясните, если не желаете, чтобы я считал вас...

— Считайте кем угодно, — вздохнул Сосновский. — Ровно через час атака.

Еще четыре раза русские бросались на штурм: в последние атаки их вел Сосновский. Осунувшийся, почерневший, как после тяжелой болезни, он лез впереди всех, и слезы замерзали на некогда круглых, а теперь дряблых, мешками обвисших щеках. Уже роптали офицеры, уже в голос, не стесняясь ругались казаки, но подполковник был непреклонен.

— Вперед! — визгливым, пронзительно неприятным голосом кричал он. — Именем отечества!..

Он искал смерти, боялся ее, плакал, но упрямо лез первым. Он очень любил жизнь, и жизнь баловала его, пожаловав карьерой, красивой и состоятельной женой, тремя детьми, благосклонностью начальства и дружбой офицеров. Но в эту страшную ночь безумного ледяного штурма благословенная судьба предъявила подполковнику Сосновскому счет без всяких условий: он должен был, обязан был посылать товарищей своих на бессмысленную гибель. И при этом не имел права погибнуть в первой атаке: на эту льготу он мог рассчитывать только в конце. И теперь упорно карабкался вверх, рыдая и визгливо крича перехваченным от ужаса горлом:

— Вперед! Вперед! Вперед!

Пули с шорохом вспарывали синий ледяной наст. Скатывались вниз убитые и раненые, а Сосновский был по-прежнему цел и невредим.

Но только когда противник отбил последний—шестой по счету—безумный натиск русских, он отдал приказ прекратить атаки. И жалко улыбнулся Бородину.

— Вы просили объяснений, Федор Алексеевич? Извольте. Это была всего лишь демонстрация: пока мы катились по этой горке, четники Цеко Петкова обошли турок. — Он неожиданно расхохотался. — А я, представьте себе, жив! Жив курилка!

Бородин молчал, странно глядя на подполковника. На усах его смерзлась кровь.

— Сына убили, — сказал он наконец. — Мальчишка, сопляк семнадцати годов. Под пулю угадал в последней атаке...

Подбородок у него задрожал, он резко повернулся и пошел куда-то, загребая снег усталыми ногами.

6

На последних сотнях сажен до вершин, на которых предполагалось установить орудия, полковник Потапчин приказалпрягать в каждую волокушу по сорок восемь волов, которым помогало по две роты пехотинцев подошедшего второго эшелона и все отряженные бай Георгием болгары. И опять волы лишь удерживали тяжесть на крутизне: тащили ее по-прежнему люди, без сил падая в снег после каждого стойвшего невероятных усилий аршина. Но каких бы трудов это ни стоило, а к вечеру 26 декабря Потапчин доложил Карцову, что орудия доставлены, собраны и готовы к открытию огня. Одна неожиданность уже ожидала противника.

Четникам Цеко Петкова надо было не только просочиться в считанных шагах от передовых секретов турок, не только укрыться от них, отдохнуть и изготавиться к бою. Им предстояло взобраться на почти отвесный горный кряж, пересечь его и по столь же крутому обрыву спуститься вниз, в леса, примыкающие к правому флангу противника — редуту Картал. На кряже не было турецких секретов, и все же осторожный и многоопытный воевода приказал идти ночью. Это и имел в виду Карцов, спрашивая у своего начальника штаба, хватит ли Петкову трех дней на подготовку.

Даже бывалым гайдукам, большинство из которых выросло в горах, этот ночной подъем давался с огромным трудом. Шестеро четников сорвались при восхождении, но только один вскрикнул: остальные пятеро безмолвно приняли смерть на дне пропасти. Две ночи в две очереди чета брала подъем и переваливала через кряж. И когда спустился последний, Митко зажег костер, сушняк для которого волокли четники на себе вместе с оружием и боеприпасами.

Подполковник Сосновский с нетерпением ожидал этого сигнала, приказав своему ординарцу не спускать глаз с кряжа левее Курт Хисара. В полночь там вспыхнуло далекое пламя.

— В семь утра — общая атака, — сказал Карцов, узнав о сигнале. — Первый через Траян шагнет русский солдат.

К моменту, когда рокот барабанов и призывные звуки труб далеко разнеслись по горам, чета Петкова сосредоточилась на опушке леса. Перед нею расстился заснеженный пологий склон, на вершине которого отчетливо виднелся правый угол редута Картал. Здесь у турок не было артиллерии, но снег оказался глубоким и рыхлым, и воевода понимал, что атаковать будет нелегко и что залповый огонь турок может нанести значительный урон. Кроме того, редут седлал дорогу на Карнари, где стояли турецкие резервы; следовало не допустить их, отрезать, зажать на узкой горной дороге. Поэтому еще до боя он выслал в обход сотню четников во главе с Меченым.

— Держи дорогу. Если османы не примут боя и отойдут, ударишь по редуту с тыла.

Внезапный грохот орудий потряс морозный воздух: заняв высоты, полковник Потапчин начал обстрел Курт Хиссара. Под прикрытием огня роты ингермандландцев и спешенные донцы начали атаку, и в редуте Картал сразу задвигались турки.

— Пора, воевода, — сказал Отвиновский.

— Еще не пора. Меченый должен успеть перерезать дорогу, а турки — втянуться в бой.

Прошел час, наполненный грохотом орудий, далекими криками «ура», стрельбой и тревогой, прежде чем воевода отдал приказ. Четники дружно выбежали из леса, но бег их сразу замедлился, едва они вырвались на простор. Они уже не бежали, а ломились через глубокий рыхлый снег.

Цеко Петков, Олексин и Отвиновский стояли на опушке, наблюдая за атакой. Гавриил каждое мгновение ожидал встречного залпа, но турки пока не стреляли, то ли подпуская поближе, то ли не ожидая опасности с этой стороны. Так продолжалось недолго: противник начал частый, но бессистемный огонь. Пальба не остановила атакующих и даже не принесла существенного вреда, но через некоторое время огонь турок стал прицельным, залповым и явно по команде. Гайдуки не выдержали его и упали в снег.

— Здравко, подними их, — не оглядываясь, сказал воевода. — Ты должен ворваться в редут. Должен!

— Я понял вас, воевода.

Чуть пригнувшись, Отвиновский побежал к залегшей цепи. Гавриил видел, как пули вспарывали снег вокруг него, но поляк продолжал тяжело бежать по истоптанному снегу. Поравнявшись с четниками, он остановился, что-то сказал им и, вынув из кобуры револьвер, не оглядываясь побрел через сугробы навстречу залпам. И упал через несколько шагов. И почти тотчас же послышалась стрельба левее, за редутом. Гавриил рванулся вперед.

— Останься здесь, капитан, — негромко сказал Цеко Петков.

— Там гибнут мои друзья, воевода!

— Они не гибнут. Они побеждают. Меченый атакует редут с тыла.

Услышав стрельбу, Отвиновский, а за ним и гайдуки вскочили и, уже не ложась, пошли к редуту, стреляя на ходу. Пальба гремела вокруг: русские части, перегруппировавшись, вновь двинулись на штурм. «Ура» слышалось все яснее и яснее.

— Вот теперь пора, капитан, — сказал воевода.

В резерве стояли два десятка четников. Гавриил сбросил полушубок, привычно сунул запасной револьвер за ремень, взяв два других в руки.

— За мной, юнаки!

Только выбравшись из леса, капитан понял, как трудно было атаковать юнакам Цеко Петкова. Он тяжело бежал по уже умятому снегу, и каждый шаг стоил пота. Ноги проваливались в запорошенные ямы, скользили на обледенелых камнях, тонули в рыхлом снегу. Да, если бы не отчаянная ночная атака первого эшелона, турки не оставили бы на этом голом скате никого в живых. Но теперь все их внимание переключилось на Курт Хиссар, и Рафик-бей наверняка снял из редута лучших стрелков. И получил подряд три неожиданности: прицельный огонь русских полевых орудий, атаку с правого фланга и внезапный удар Меченого с тыла.

Противник уже не мог опомниться. Карцов бросил все силы на последний решительный штурм; неприятель встретил атакующих залповым огнем. Солдаты падали один за другим; видя это, командир полка затребовал резервы. Однако те солдаты и казаки, что ворвались в ложементы, не ушли. Пока подтягивались резервы, ингермандландцы и донцы по собственной охоте в одиночку и группами перебежали в эти ложементы, постепенно накапливаясь в них. Прибывшие резервы еще только разворачивались, когда грянуло внезапное «ура» и собравшиеся

в ложементх русские дружно рванулись в атаку. Справа тут же ударили болгары, и к часу пополудни дело было кончено. Отрезанные четниками, турки в панике бежали без дорог.

— Не давать им передышки, — сказал Карцов. — Отдыхать будем в Долине роз.

Русские наступали по всем дорогам, ведущим с Траян в Забалканье. Впереди шли стрелки, огнем добивавшие бегущих турок. Спешенные донцы и гайдуки Петкова двинулись напрямик по крутому заснеженному склону, скатываясь в вихрях поднятого снега. И уже не «ура», а веселый хохот сотен глоток обрушивался с ледяных вершин в солнечную долину.

Отвиновский, Олексин и группа гайдуков спускались по тропе в обход Карнари. Спустились без помех, по дороге обстреляв сунувшихся было на их тропу турок.

— Мы первыми в истории прорвались через Траян! — с торжеством отметил Гавриил.

— Оглянитесь, Олексин, — тихо сказал Отвиновский.

Войска уже спустились в долину, но весь южный склон, все дороги и тропы были усеяны тысячами людей. Вслед за победоносной русской армией шли женщины и мужчины, старики и дети. Народ Болгарии, согнанный полчищами Сулеймана, возвращался на свою родину.

— Меня всегда мучил вопрос, за что меня убивали и за что убивал я. Теперь я знаю ответ, Олексин: вот за это. За то, чтобы женщины и дети вернулись к своим очагам.

В светло-голубых, всегда холодных глазах Отвиновского Гавриил с удивлением заметил слезы.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Ни природное здоровье, ни врачебная помощь «самого» Павла Федотыча, ни самоотверженный уход Глафиры Мартиановны не могли изменить естественного хода болезни. Маша металась в бреду, отказываясь от еды и никого не узнавая. Редко на считанные минуты видения отпускали ее, но и тогда у Маши хватало сил лишь на то, чтобы осознать, что минувшее было бредом. И едва поняв это, вновь видела погибавшего Беневоленского. То окровавленного, с огромными слепыми глазами, то летящего в пропасть. И всегда он безгласно разевал рот, и она понимала, что он зовет ее, спешила на помощь, а ноги не двигались. Возможность спасти Аверьяна Леонидовича была только одна, к ней нельзя было прибегать бесконечно, ее следовало беречь, и Маша пользовалась ею, когда сил более не было:

— Мама!

И мама появлялась. Наклонялась над нею, вытирала пот, поила, переодевала, успокаивала. Маша отчетливо видела ее, но понимала, что разговаривать с мамой нельзя, что ответит она незнакомым голосом и что тогда на помощь позвать ее будет уже невозможно.

— Доченька ты моя, — шептала Глафира Мартиановна, переодевая Машу в сухую теплую рубашку.

— Надобно передать Марию Ивановну в госпиталь, — настаивал Павел Федотыч, видя, что больная тает в горячечном бреду, а вытащить ее оттуда он не в силах. — Там медикаменты и врачи. Да, да, ваше превосходительство, светила науки, не то что я.

Рихтер горестно кивал седой головой, Глафира Мартиановна, прорыдав ночь, тоже согласилась, и Маша была перевезена в ближайший военно-временный госпиталь. Сама она не заметила и не ощутила этого переезда, но перевели ее вовремя. Через неделю больная пришла в себя в незнакомой палате, и незнакомая сестра милосердия в иной, казенной форме была пергой, кого увидела она.

— Вот мы и в сознании, — нараспев, как маленькой, сказала сестра. — И глазки все видят, и ушки все слышат. Сейчас позовем доктора.
— Зеркало. — Маша с трудом выговорила первое осмысленное слово. — Нельзя ли зеркало?

Сестра на миг задумалась, потом снова заулыбалась и беспечно махнула рукой.

— Отрастут, Мария Ивановна!

Подала зеркало, и Маша увидела себя — и не себя. Увидела незнакомое, худенькое, очень бледное личико, знакомые синие глаза и — чужую голову. Стриженую, как у новобранца.

Последняя волна болезней, катившаяся по многострадальным тылам, под конец свалила и железную Глафиру Мартиановну. Правда, то был не тиф, не оспа и даже не воспаление легких, а всего лишь простуда, но проходила она тяжело, и Павел Федотыч навёдывался по нескольку раз на дню. Генерал Рихтер тоже навещал больную, помогая в делах неотложных, и однажды среди очередной почты обнаружил письмо из Кишинева, адресованное Марии Ивановне Олексинной. Зная, как ждет Маша вестей о пропавшем женихе, генерал распорядился тут же переслать ей зашлепанный штампелями конверт.

Письмо было от братьев Рожных. Ссылаясь на официальные сведения, братья с прискорбием извещали о гибели вольноопределяющегося Орловского полка Аверьяна Беневоленского. И жизнь сразу представилась конченой, без цели и интересов, и, едва окрепнув, Маша попросилась домой.

— До какого пункта желали бы? — угнетенно спросил Рихтер.

— В Смоленск.

Рихтер выправил билет первого класса, подал личный экипаж, расцеловал и благословил. Провожала уже оправившаяся Глафира Мартиановна; они добрались до Бухареста, распрощались по-родственному. Маша долго махала в окно, а когда оглянулась, в купе сидела Александра Андреевна Левашева.

Чем ближе подъезжали к дому, тем все заснеженнее и суровее становилось вокруг. Поезд медленно полз по обледенелым рельсам, подолгал отдуваясь на станциях; пассажиры высыпали из вагонов и прятались в спертom тепле вокзалов, гоняя бесконечные чаи. Но в первом классе было тепло и покойно, чай подавал проводник, выходить не было необходимости, и случайные попутчицы коротали время в разговорах.

— Дорогая моя, вы полагаете, что война — кровь, муки, смерть? Если бы. Увы, война — это безнравственность. Это торжество безнравственности, это апофеоз безнравственности, это триумф безнравственности. Да, да, дитя мое. Когда весьма воспитанная девица приживает на стороне ребенка — это война. Когда ваш друг и советник, которому вы доверяете, как себе самой, оказывается мошенником, поставлявшим гнилую муку, — это война. Когда милая барышня... — Левашева покосилась на сдержанную Машу, — становится содержанкой этого мошенника Хомякова...

— Что? — вдруг переспросила Маша.

— Увы, дорогая моя, — вздохнула Левашева. — Не будем называть имен, но ваша сестрица сама выбрала свой путь.

Александра Андреевна строго откинула голову, ожидая возражений, но тихая, по-монашески не снимавшая платка попутчица только тяжело вздохнула. Она более не спорила, не отстаивала своих взглядов, она покорно выслушивала все, что ей говорили, и эта покорность очень нравилась Левашевой.

— Вы прелестны, Машенька, прелестны. Не могу представить, что расстанусь с вами.

Маше казалось, что и ей не хочется расставаться с Александрой Андреевной. В уютном купе, в бесконечно длинном путешествии было покойно. Здесь она не встречала ни сочувствующих родных, ни любо-

пытных посторонних взглядов; рядом находилась женщина, которая говорила только о себе, и Маша была глубоко благодарна ей за это: любое сочувствие, любой жалостливый вздох были невыносимы. Настолько невыносимы, что приближалась она к дому скорее со страхом и беспокойством, чем с радостью и нетерпением. А Александра Андреевна все чаще и чаще сокрушалась, что придется расстаться, а потом напрямик предложила Маше собственный дом, средства и вечную свою признательность.

— Мой несчастный брат любил вас, я знаю это, дорогая моя. Я безмерно богата и безмерно одинока. Будьте милосердны: скрасьте мою старость — и я устрою вашу судьбу. А бедный Серж будет радоваться на небесах и благословлять нашу любовь.

Маше уже не хотелось ехать в Смоленск, что-то объяснять, рассказывать, выслушивать. И она согласилась посвятить свою жизнь развлечениям стареющей матроны, утонула в ее слезах и поцелуях и испытала странное, почти болезненное удовлетворение, что ставит крест на собственной судьбе.

Все окончилось к обоюдному удовольствию, и обе проплакали добрых сорок верст: Маша — от горечи, а Александра Андреевна — от умиления. В Туле она деловито вытерла слезы и уже иным тоном — тоном патронессы и барыни — послала Машу прогуляться по станции.

Тула пряталась в серых зимних сумерках. Низкое пасмурное небо было сплошь в черных столбах паровозных дымов и белых фонтанчиках пара, и Маша невольно залюбовалась этим еще новым для России пейзажем. А когда насмотрелась вдоволь, подняла голову и в окне санитарного поезда напротив увидела Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Увидела с фотографической отчетливостью: освещенного свечой в четкой раме окна. Он улыбался и что-то говорил невидимым собеседникам, а окно было высоко, и Маша напрасно подпрыгивала и размахивала руками.

Грузный усатый кондуктор курил у ступеньки вагона вместе с таким же солидным санитаром. Оба равнодушно глядели мимо Маши.

— Не велено пущать. Никого не велено, заразы бояться.

— В вашем вагоне — мой жених. Я видела в окно.

— Не велено.

— Так позовите же его, господи! Вольноопределяющийся Бене... — Маша осеклась. — Нет, нет, Беневоленский — это другой. Другой.

Она точно не знала, под какой фамилией ушел в армию ее жених, и потому сразу же отошла от тамбура и вновь стала смотреть в окно, за которым только что так ясно видела Аверьяна Леонидовича.

В оконной раме долго никто не появлялся: Маша испугалась, что он ушел или что ей показалось. Потом он вновь ясно и отчетливо возник за стеклом. Улыбнулся, повернул к ней голову.

— Аверьян Леонидович! — что было сил закричала Маша. — Аверьян Леонидович, это я! Я!..

Поезд дернулся и пошел, и Беневоленский продолжал так же упорно и незряче глядеть на Машу. Глядеть и не видеть...

— Это я!..

Маша сорвала с головы платок, замахала им, стараясь прыгнуть выше; поезд шел медленно, и она, размахивая платком и подпрыгивая, шла рядом. Маша не понимала, что смотрит Беневоленский из освещенного вагона в густые сумерки и, глядя на нее, ничего не видит.

— Гля-ко, стриженная, — громко сказал кондуктор. — Жених, говорит, а фамилии не знает. Энта из тех, значит, которых полиция стрегет. Чтoб все видели, кто они из себя.

— Тьфу, лярва! — плюнул санитар, проезжая мимо Маши.

Маша не слышала этих слов: Беневоленский видел ее, видел — в этом она не сомневалась! — видел и не узнавал. Почему? Просто не узнал или забыл, не пожелал узнать или не осмелился? Но главное было не в этом, не в этом: главное, он был жив. Жив! И Маша точно

проснулась: она должна была, обязана была разыскать его, под какой бы фамилией он ни числился. А для этого прежде всего следовало избавиться от властных нежностей Александры Андреевны.

С олексинской стремительностью она вошла в купе после второго звонка. Носильщик еле поспевал следом, а Александра Андреевна не успела удивиться.

— Чемодан, баул и корзинка, — странным, чужим голосом сказала Маша. — Я остаюсь в Туле, Александра Андреевна. Прощайте.

И вышла из купе.

2

28 декабря произошло решающее сражение возле деревень Шипка и Шейново. Войска генерала Скобелева без артиллерийской подготовки начали атаку и, умело маневрируя, соединились с войсками генерала Святополк-Мирского. Армия Весселя-паши оказалась в полном окружении и сложила оружие; путь в Южную Болгарию был открыт.

Передовой колонной отряда Радецкого командовал Скобелев. Приняв назначение, он рапортом попросил великого князя главнокомандующего откомандировать ему генерал-майора Струкова, обосновав эту просьбу следующей оценкой: «Генерал Струков обладает высшим качеством начальника — способностью к ответственной инициативе». Николай Николаевич старший, получив рапорт, поначалу засопел, но отказать в просьбе не решился: к тому времени Скобелев-второй был не только героем плевненских штурмов, но и победителем Весселя-паши.

Конный авангард Скобелева, командование которым принял Струков, 3 января 1878 года стремительной атакой захватил железнодорожный узел Семенли. На следующий день Струков занял Германлы, отрезав армию Сулеймана. Форсированным маршем подтянув силы, Скобелев вновь бросил Струкова вперед. Пройдя за сутки восемьдесят верст, кавалеристы Струкова неожиданно появились перед Андрианополем. Паника была столь велика, что двухтысячный гарнизон сдал крепость без боя.

К тому времени генерал Гурко разгромил армию Сулеймана под Филиппополем. Турки повсеместно бежали, без боев откатываясь к Константинополю, и на острие русского преследования шел кавалерийский отряд генерал-майора Александра Петровича Струкова. Начав войну лихим набегом на Барбошский мост, он же и заканчивал ее на подступах к Константинополю. 19 января турки запросили перемирия. Кровавая девятимесячная война заканчивалась полным военным разгромом Блистательной Порты.

Затихнув на полях сражений, война перешла в кабинеты: Европа единым фронтом выступила против русских условий мира и Англия демонстративно направила свой флот в Мраморное море. Ощувив поддержку, турецкое правительство начало упорствовать. Глава турецкой делегации Севфет-паша решительно воспротивился требованию признать автономную Болгарию. Тогда граф Игнатъев, руководивший переговорами с русской стороны, навестил главнокомандующего в его ставке в Андрианополе.

— Английская эскадра стоит в пятнадцати верстах от Константинополя, — сказал он. — Это ближе, чем штаб вашего высочества.

Главная квартира русской армии была переведена в местечко Сан-Стефано, расположенное на том же расстоянии от турецкой столицы, что и английские корабли. На другой день состоялся большой военный парад, и турецкое правительство сразу стало сговорчивее.

19 февраля 1878 года был наконец-таки подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. В договоре признавалась автономия Болгарии и полная независимость Румынии, Сербии и Черногории. России отходили три южных уезда Бессарабии, а также

территория в Малой Азии с городами Ардаган, Карс, Баязет и Батум в счет убытков, понесенных Россией в этой войне. Двести тысяч русских солдат и офицеров, убитых, искалеченных и пропавших без вести, не входили в число этих убытков.

3

Сан-Стефанский договор породил скрытую войну в Европе. Англия, Австро-Венгрия, Франция усилили дипломатический нажим. Источенное войной русское правительство вынуждено было передать на международное обсуждение некоторые статьи договора. Конференция европейских держав открылась 1 июня 1878 года, войдя в историю под названием Берлинского Конгресса.

На Конгрессе председательствовал канцлер Германии Бисмарк, игравший роль арбитра, но на деле всячески поддерживавший притязания Австро-Венгрии. Россия оказалась в изоляции. В результате длительной дипломатической борьбы, закулисных интриг и прямых угроз европейским стран, обеспокоенных полным поражением Турции и усилением русского влияния на Балканах, Сан-Стефанский договор во многом был пересмотрен. Единая Болгария была искусственно разделена: северная ее половина от Дуная до гор Стара Планина получала статус автономного княжества; южная оставалась провинцией Турции под названием Восточная Румелия. Половина болгарского населения вновь оказывалась в кабальной и правовой зависимости от турецкого правительства. Жертвы русского и болгарского народов, вынесших основную тяжесть кровопролитной войны, были перечеркнуты одним росчерком пера 1 июля 1878 года, в день подписания Берлинского трактата.

Двумя месяцами позже в небольшой софийской кафане сидели два молодых офицера: подполковник с иссеченным шрамами лицом и штабс-капитан. Подполковник хмуро курил, а капитан просматривал длинное письмо. К столу подошел пожилой болгарин. Молча поставил кашкавал, хлеб, кувшин вина.

— Скару подам, как готова будет, — сказал он.

— Меня могут спросить, — предупредил подполковник.

— Я укажу. Да ви е сладко.

— Благодаря ви. — Подполковник разлил вино в глиняные чаши.—

На здраве, брат.

— На здраве, Гавриил.

Братья выпили, и Федор с молодым аппетитом накинулся на еду. Гавриил нехотя отщипывал хлеб. Спросил, скорее чтобы нарушить молчание, чем из любопытства:

— Что пишет Василий? Только своими словами: его почерк не для меня.

— Изволь. — Федор развернул письмо. — У Маши благополучно отрастают волосы. Коля в гимназии. Далее идет сплошная абракадабра: он, видишь ли, не согласен с графом Толстым. «...а если кумиры ваши начинаю излагать ложь, уйдите, дабы сохранить великую любовь в сердце своем. Вот почему я решительно попросил освободить меня от обязанностей учителя...» Как это тебе нравится?

— Каждый волен поступать согласно собственной совести.

— А деньги как он будет зарабатывать?

— Олексины стали думать о деньгах, — невесело усмехнулся Гавриил. — Васька прав, Федор: не сотвори себе кумира.

— Есть люди, которых ничему не учит жизнь, брат.

— И знаешь, они мне по душе: им можно доверять, — сказал подполковник. — А вот тем, которые все время тшатся попать в ногу с веком... — Он помолчал. — Кумир, Федька, может быть в разном обличье, ты не находишь? Карьера — это ведь тоже кумир.

— Возможно. — Федор наклонился к стоявшему на полу саквою,

покопался, достал измятый пакет. — Знаешь, что это? Рекомендация полковника Бордель фон Борделиуса. Хватило же у меня характера самому себя отрекомендовать. И, заметь, в боях, а не в гостиной.

— Не понял, извини.

— А я понял, что мое предназначение — служить отечеству в военном мундире.

— Кому? — перебил подполковник. — Народ и отечество — две самые затасканные ширмы, Федор. Предают тоже во имя интересов отечества или народа: просто так в своем предательстве никто не распишется, дураки ныне перевелись. Васька, конечно, блаженный, но куда правильнее и честнее нас поступает. Страшно не тогда, когда кумир рушится, — страшно, когда он создается.

— Когда рушится, пожалуй, страшнее.

— Умер монарх, но осталась монархия: что же тут страшного? Страшно, когда идея подменяется кумиром, когда уже не он ей служит, а она ему: именно об этой метаморфозе предупреждает Библия.

— Уж не стал ли ты социалистом, полковник Олексин?

— России вреден социализм, Федор, ибо взрослые мы под скипетром, в чужие дела не совались и в переселении народов не участвовали. И мощь наша — в самодержавии, а не в парламентских дебатах. Но... — Гавриил понизил голос, — государь не всегда олицетворяет собой идею монархии. Хуже того, порою он дискредитирует ее, давая пищу различным социальным вывихам. Как в этом случае должен поступить честный офицер?

— Полагаю, он всегда должен оставаться честным.

— Он должен взять на себя всю ответственность за своего сюзерена и в меру сил своих очистить святую идею от пятен.

— Красиво, но маловразумительно, — усмехнулся Федор. — Мы словно поменялись местами, ты не находишь? Война всегда рокировка: у кого длинная, у кого короткая. Насколько я понял, ты намереваешься подать прошение об отставке?

— Я намереваюсь оставить армию без всякого прошения.

— Как? — Федор оторопело смотрел на старшего брата. — Ты хочешь дезертировать? Изменить государю, которому присягал?

Болгарин принес скару, и Федор замолчал. Продолжил, когда мясо было разложено и хозяин ушел:

— У нас в роду не было предателей, Гавриил!

— Я не могу сохранить верность человеку, который предал целый народ, — сказал подполковник, помолчав. — Во имя политики он поступился честью России, ну а я во имя чести России поступлюсь фамильной политикой и не напишу прошения.

— Опомнись, Гавриил, — тихо сказал Федор. — Напиши прошение об отставке, я обещаю добиться ее для тебя через Скобелева. Ты получишь отставку с мундиром и пенсией — и делай что хочешь.

— Каждый отвечает за историю лично, Федор. Не «мы отвечаем за все», а «я отвечаю за все» — вот истина, ради которой стоит пожертвовать даже честью.

— Сначала уйди со службы. Подай прошение...

— Мы, Олексины, никогда не просили милостей у государей: так сказал мне отец, Федор.

— Всего-то три строчки...

— Вот вы где, командир! Еле разыскал.

К ним подходил молодой болгарин в форме ополченца. Поклонился Федору, сказал, чуть понизив голос:

— Все готово, командир. Здравко в Рильском монастыре, кони у Младенова.

— Иди, Митко, я догоню.

Митко еще раз поклонился, вышел. Гавриил поднял чашу.

— Прощай, брат. Вряд ли мы увидимся с тобой.

— Гавриил, я еще раз прошу тебя...

— Прощай, Федор. — Гавриил поднял чашу, торжественно осушил ее, поклонился и вышел.

Федор долго сидел молча, машинально поглаживая стол. Подошел пожилой болгарин, начал тихо убирать посуду. Федор рассеянно посмотрел на него, сказал вдруг:

— Перо, бумагу, чернила. Живо!

4

На рассвете 5 октября 1878 года воевода Стоян Карастоянов с четырьмя сотнями повстанцев атаковал турецкий гарнизон в Кресне — селе, расположенном в Восточной Румелии. Турки были разгромлены наголову, а через месяц боевые действия развернулись по всей округе: начался последний акт трагедии болгарского народа, вошедший в историю под названием Кресно-Разложенского восстания.

Турецкое правительство спешно стягивало войска, орды башибузуков со всех сторон ринулись на пылающий край. Петля вокруг восставших затягивалась все туже; оружия не хватало, но патроны добывались в бою, а доставка их стоила огромных трудов. Отлично вооруженные регулярные турецкие войска клиньями вонзались в охваченные восстанием районы, башибузуки сжигали села, убивали мужчин и угоняли женщин. Как ни велико было мужество и стойкость повстанцев, турки к концу 1878 года сумели разрезать восставший край на части, изолировать отряды друг от друга, лишив их связи и заперев в горах.

Зима здесь была легче, чем на Балканах, а снега выпало много. Он шел часто, засыпал дороги и тропы, и турки прекратили попытки добить окруженный отряд. Патронов почти не осталось, и кончалась еда, а вместе с четниками в горах прятались сотни женщин и детей.

Перед рассветом Гавриил проснулся от далекого грохота. Подумал, что гроза, и не удивился: грозы в горах случались и зимой. Накинул полушубок, вышел из землянки. С однообразно серого неба сеял снежок.

— Слышали гром? — спросил он у немолодого четника, сидевшего у костра.

— То не гром. Обвал, может быть. Меченый придет — скажет: он в полночь к дороге ушел.

Меченый возвратился часа через два. Сразу прошел в землянку, где ждали Гавриил и Отвиновский.

— Патронов не будет.

— Откуда известия? — спросил Отвиновский. — Митко вернулся?

Меченый сел у входа, долго переобувался, вытряхивал снег. Гавриил и Отвиновский молча ждали, что он скажет.

— Слышали грохот? Митко вез патроны и попал в засаду. Два часа отстреливался, а потом взорвал патроны. И себя вместе с ними. Большая у него могила. — Меченый прошел к столу, разлил ракию. — Вечная память тебе, Митко. Кровь за кровь.

Все выпили. Стойчо налил себе еще.

— Не пей, — сказал Отвиновский. — Ты не ел два дня.

— Я замерз, Здравко. — Меченый хлебнул ракии, сел за стол. — Сколько у нас патронов?

— Чуть больше полсотни. — Отвиновский показал в угол. — Вот они все. Я отобрал у четников.

— А револьверных?

— К чему спрашивать? — тихо сказал Олексин. — Тут иная арифметика: у нас бреста женщин и детей. Не считая раненых.

— У нас боевая чета, — жестко уточнил Меченый. — Мы должны сохранить ее.

— Разгромив турок пятью десятками патронов? — усмехнулся Отвиновский.

— Турки не ожидают нашего удара, и мы можем вырваться из кольца. Уйти в Родопы, раздобыть боеприпасы и начать сначала.

— А женщин и раненых оставить башибузукам? — спросил Олексин.

Меченый угрюмо молчал, изредка прихлебывая ракию. Потом сказал:

— Всех не убьют.

— Вам будет легче от этого?

— Всех не убьют, — упрямо повторил Стойчо. — Молодые разбегутся, уйдут в горы, спрячут детей. Давайте спросим самих людей, Олексин. Как скажут, так и будет.

— Так не будет. — Олексин закурил, прошелся по землянке, привычно пригибая голову. — Есть решения, которые командир обязан принимать, советуясь только с собственной совестью.

— Предлагаете сдать на милость? — криво усмехнулся Меченый. — Забыли, как выглядит турецкая милость, Олексин?

— Я не предлагаю, Меченый, я приказываю. Приказываю вступить в переговоры с противником и спокойно взвесить, что они нам предложат.

— Петлю, полковник Олексин!

— Возможно, Стойчо.

Меченый выругался, крепко ударил кулаком по столу.

— Тебе не кажется, Здравко, что он предает восстание?

— Олексин прав, — тихо сказал Отвиновский. — Не надо горячиться, Стойчо. Надо всегда исполнять свой долг до конца. Сегодня наш долг — спасти женщин и детей.

— А мужчины пусть болтаются на виселицах?

— И вы испугались? — Олексин вздохнул. — Не верю, Меченый, я знаю ваше мужество. Вы растерялись и поэтому цепляетесь за привычный для гайдуков выход: прорываться куда глаза глядят. Но в гайдуцких четах не было женщин и детей.

— Слишком велика цена, Стойчо, — тихо сказал Отвиновский.

— Вы не о том говорите, Отвиновский, — строго продолжал Олексин. — Я командир отряда, и решение мною уже принято. Сегодня в час пополудни я иду на переговоры.

В землянке наступила тишина. Слова подполковника прозвучали приказом, и друзья оценивали последствия этого.

— Ну, так, значит, так, — тяжело обронил Меченый. — Наверно, вы правы: Митко был последним из гайдуков Цеко Петкова. Последним, кто был с нами в Сербии, полковник.

— На переговоры с турками пойду я, — негромко сказал Отвиновский. — Не спорьте, Олексин. Вас тут же схватят и передадут русским, а Меченого в лучшем случае пристрелят на месте.

— А тебя помилуют? — спросил Стойчо.

— А я поляк, — улыбнулся Отвиновский. — Им придется сначала подумать.

— Кажется, вы вовремя вспомнили о русских, — задумчиво сказал Гавриил. — Поскольку отрядом командует подполковник русской армии, поставьте противнику непременным условием присутствие представителей русской администрации при сдаче. Это заставит турок выполнить наши требования. А мы с вами, Стойчо, пойдем к четникам и разъясним, что ничего позорного в этой сдаче нет.

Отправляя Отвиновского на переговоры, Гавриил отчетливо представлял опасность, которой подвергал своего друга. Турки вообще мало обращали внимания на выполнение каких бы то ни было законов ведения войны, а по отношению к повстанцам никогда их не придерживались. Отвиновский мог быть тут же задержан, убит, а то и подвергнут пыткам; шансов вернуться у него было мало, и Олексин, беседуя с четниками, все время думал об этом. Думал не только с тревогой, но и с острой горечью, будто прощаясь навсегда.

В сумерках Отвиновский вернулся целым и невредимым. Всегда сдержанно-немногословный, он был как-то по-особому, почти торжественно молчалив, но отнюдь не подавлен. Сел за стол, пристально посмотрел на Олексина.

— Что же турки? — нетерпеливо спросил Стойчо.

— Приняли все наши условия: присутствие представителя русской администрации, беспрепятственный выход женщин и детей, транспорт и медицинская помощь для больных и раненых. Более того, они готовы отпустить и наших четников на все четыре стороны, как только будет сдано оружие. При этом уроженцы Северной Болгарии могут вернуться в княжество.

— Хорошей мы были занозой, если они с такой готовностью отпускают всех по домам! — воскликнул Меченый. — Нет, вы были правы, Олексин. Видимо, и османам надоела эта война, если они согласны на мировую.

Олексин смотрел на Отвиновского и не спешил радоваться. Что-то в глазах поляка было, мешающее вздохнуть с облегчением.

— Что же они потребовали взамен? — спросил он.

— Наши головы, — сказал Отвиновский. — Естественно, я согласился — это выгодный обмен. Завтра турки свяжутся с русским командованием и сообщат нам, когда прибудет представитель.

Они долго сидели молча. Трещала свеча, бросая дрожащие отблески. Потом Меченый встал, принес ракию и последний кусок сыра.

— Они хоть накормили тебя, Здравко?

— Мы пили кофе.

— Нет, они не люди, эти османы, — вздохнул Меченый, разливая ракию. — Знать, что человек голоден, и не накормить его добрым куском мяса — это уже свинство. Сколько тебе лет, Здравко?

— Тридцать.

— А вам, Олексин?

— Зачем вам понадобился мой возраст?

— Из любопытства, полковник.

— Двадцать шесть.

— Мне двадцать два. Если сложим все, получим семьдесят восемь. Оказывается, мы не так мало прожили на этом свете, а?

— Ровно столько, сколько весь девятнадцатый век.

— Значит, мы ровесники века!

— Ты прав, Стойчо. Мы сам девятнадцатый век, век мятежей и восстаний, Гарибальди и Парижской коммуны. Что ж, мы оставляем потомкам неплохое наследство.

— Так выпьем же за девятнадцатый век, — сказал Стойчо. — Правда, нам не хватило его, чтобы жениться, но Здравко рассудил верно: мы прожили его не напрасно. На здраве!

Друзья шутили, но Олексин не поддерживал шуток. Он понимал, что ему не разделить их судьбы, что присутствие русского представителя означает, что он, подполковник Гавриил Олексин, будет под конвоем препровожден на родину, тогда как Меченый и Отвиновский останутся у турок. До того как расстаться с жизнью, ему предстояло расстаться с друзьями, и печаль этого неминуемого расставания уже овладевала им.

«Сколько тебе лет?» — спросил Стойчо. Он ответил, а сейчас как бы со стороны увидел свой возраст и усомнился: в нем жило твердое ощущение, что он воюет столько, сколько живет на свете. Нет, он отлично помнил, что его война длилась всего лишь два года с перерывами, но сейчас не хотел прислушиваться к голосу памяти, а слушал самого себя и видел самого себя таким, каким должен был бы быть. Между двадцатичетырехлетним поручиком, влюбленным больше в себя, чем в женщину, и изуродованным двадцатилетним, рано поседевшим подполковником лежало не знакомство со смертью, а вся

жизнь, отпущенная судьбой и прожитая в два года. Любопытно, сколько ее было отпущено: лет пятьдесят? семьдесят? И на что отпустились эти годы: на размеренную службу, женщин, любовь, семью, детей, долгие сумерки старости? А получил он случайных девок вместо любви, товарищей вместо семьи и расстрел вместо покойной старости. Трагическая, нелепая подмена, но жалел ли он о ней? Он подумал — спокойно, искренне — и твердо ответил: нет. Он не жалел, что прожил такую жизнь: он гордился ею. Он защищал идею, в которую веровал и которую предал его монарх: идею благородной миссии России, несущей народам мира свет истины и свободы вместо привычных виселиц, залпов и грохота солдатских сапог. В разговоре с Федором он назвал себя убежденным монархистом, но сегодня, прощаясь с самим собой, он обязан был быть искренним: он не хотел умирать за царя — он хотел умереть за родину. За Россию, олицетворяющую все лучшее, ради чего стоило бы жить и умирать.

Через два дня турецкие парламентары прибыли в отряд. Они подтвердили условия: беспрепятственный выход мирных жителей, транспорт для раненых, свобода рядовым четникам после разоружения.

— Ваши помощники будут арестованы и предстанут перед судом его величества султана, — сказал парламентар. — Вы, господин полковник, будете переданы русским властям. Извольте подписать.

Турок развернул документ. Он был скреплен подписью представителя русской администрации князя Цертелева.

Утро выдалось тихим и солнечным. Еще затемно лагерь начал готовиться к сдаче, множество четников приходили прощаться. В девять, когда командиры вышли из землянки, перед нею стоял строй повстанцев. Гавриил и Меченый сказали несколько слов, четники в последнем салюте подняли оружие. Олексин отдал им честь и первым вышел из лагеря.

Вскоре его нагнали Отвиновский и Меченый. По тропинке перевалили через горный кряж, с которого уже были сняты часовые, и еще издали увидели аскеров и длинную ленту санитарных фургонов. А на середине пологого спуска — сотню спешенных донцов, крытый возок и стоявших поодаль двух турецких офицеров и господина в штатском.

— Обождем. — Отвиновский остановился.

— Зачем? — вздохнул Стойчо. — Часом раньше, часом позже.

— Я не торгуюсь со смертью, Меченый, — усмехнулся Отвиновский. — И думаю сейчас не о тех шагах, что нам осталось пройти, а о том шаге, что мы уже прошли. Мы — русский, болгарин и поляк — сделали маленький шаг и чтобы понять друг друга и чтобы понять, за что стоит сражаться. Поэтому обнимемся здесь, чтобы никто не принял слезы нашей гордости за признак нашего малодушия. Прощай, Гавриил.

— Прощай, Збигнев. — Олексин троекратно расцеловался с Отвиновским. — Прощай, Стоян.

Друзья обнялись в последний раз, улыбнулись друг другу и, уже не останавливаясь, направились к ожидавшим их офицерам и господину в штатском. Подойдя, молча отдали честь, а господин шагнул навстречу и протянул руку Олексину.

— Как всегда, рад вас видеть, Олексин.

— Здравствуйте, князь. — Гавриил поклонился. — Вы протягиваете руку инсургенту.

— Да полноте вам, — улыбнулся Цертелев. — Вы поступали по совести, и я поступлю так же.

— Благодарю, князь. — Гавриил пожал протянутую руку. — Прикажете сдать оружие?

— Зачем? — искренне удивился князь. — Вы частное лицо, и уж если турки не предъявили вам никаких претензий, то мы и подавно не предъявим.

— Я подполковник русской службы, — сухо пояснил Олексин. — Может быть, вам неизвестно, что я самовольно покинул армию?

— Вы такой же подполковник, как я хорунжий Кубанского полка, — опять улыбнулся князь. — Я видел ваши бумаги: прошение об отставке утверждено государем, следовательно, никого вы самовольно не покидали и никакого служебного преступления не совершили. Мало того, скажу по секрету, что своим участием в этих беспорядках вы оказали большую услугу нашим дипломатам. Так что не удивлюсь, коли вскорости поздравлю вас с орденом...

Гавриил уже не слышал, о чем со светской непринужденностью болтает князь Цертелев: такого ужаса, какой он ощутил, он не испытывал ни в боях, ни в кошмарах. До сей поры он был твердо убежден, что разделит участь своих друзей; пусть не здесь, пусть не сейчас, но все равно разделит: будет расстрелян, повешен или, на худой конец, заточен в каземат или сослан в бессрочную каторгу. Эта общность судеб примиряла его со смертью, давала силы гордо смотреть в глаза как друзьям, так и недругам, оставляла его безупречно честным перед всеми, и прежде всего перед самим собой.

— Помните обед в Бухаресте? Из пяти веселых мужчин, сидевших когда-то за одним столом, двое уже перебрались в лучший мир: князь Насекин застрелился, а беднягу Макгахана унесла тифозная горячка. Вчера я напомнил об этом обеде Скобелеву, и он попросил непременно доставить вас к нему.

— Зачем? — быстро спросил Гавриил.

Он ясно слышал «доставить», он еще надеялся на генеральский гнев.

— Отобедать, Гавриил Иванович, — улыбнулся Цертелев. — Кстати, и с Федором Ивановичем увидите.

В стороне под охраной двух офицеров стояли Меченый и Отвиновский. Оружия у них уже не было.

— Что будет с моими друзьями?

— Мне удалось добиться военного суда, а следовательно — расстрела, — сказал князь. — Это единственное, что я мог сделать.

— Смерть от пули — хорошая смерть. Когда это случится?

— Если завтра вечером суд, то на рассвете казнь. Да, так я о Федоре Ивановиче: он делает блестящую карьеру. Михаил Дмитриевич представил его ко двору; государь очень смеялся, когда узнал, как штатский порученец вел в бой колонну генерала Добровольского под Ловчей...

Казнь на рассвете, государь очень смеялся, Федор делает карьеру: трагедия превращалась в фарс. Точнее, ее превращали в фарс, дабы не омрачать мелкими неприятностями самовлюбленные лица властителей народных судеб. Народное восстание изо всех сил выдавали за фарсовую случайность, за очередной анекдот, и не тем ли помог он, Гавриил Олексин, русской дипломатической службе, что, уже числясь в отставке, бежал впереди колонны, подобно штатскому Федору? Ах, как посмеется государь, когда ему расскажут об этом...

Женщины и дети уже прошли, уже погрузили раненых и уехали фургоны; с гор длинной вереницей спускались четники. Проходя мимо аскеров, они клали на снег оружие, и Гавриил все время слышал тихое позвякивание металла. А возле Меченого и Отвиновского незаметно, будто сама собой появилась охрана, и теперь Стойчо улыбался Олексину из-за жандармских спин. Ах, как весело посмеется государь...

— Извините, Олексин, меня зачем-то зовут турки, — сказал князь. — Может быть, пойдем вместе и вы заодно попросаетесь...

Заодно? Аве, цезарь, моритури те салютант — так, вероятно, скажут ему его друзья. «Нет, ваше сиятельство, заодно уже не получается...».

— Благодарю. Полагаю, что успею еще это сделать.

— Тогда поспушайте.

— Вас позвали по моей просьбе, князь, — сказал Отвиновский, когда Цертелев подошел. — На Воляни в Климовичах живет единственный человек, которому я дорог. — Отвиновский достал офицерский Георгиевский крест. — Я получил эту награду из рук генерала Карцова. Если бы вы могли передать ее Ольге Совримович.

— Я непременно исполню вашу просьбу. — Князь спрятал орден в нагрудный карман. — Волянь, Климовичи, Ольга Совримович.

— Вы оказываете мне огромную услугу. — Збигнев помолчал. — Естественно, для Ольги я погиб в бою.

— Безусловно, Отвиновский.

— Смотрите, что с Олексиным?! — вдруг крикнул Меченый.

В морозном воздухе никто не расслышал выстрела: Гавриил прикрыл револьвер полой полушубка. Когда князь подбежал, Олексин был уже мертв.



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР



АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!*

Роман

VIII

Сегодня дыхательных упражнений не будет. Окно, выходящее на замерзший пустой квадратный дворик, осталось закрытым; на противоположной стене погасли почти все окна, кроме двух или трех; часы скоро пробьют полночь, и их невозмутимый мелодичный звон, прозрачный и хрупкий, как стекло, прозвенит в неподвижном студеном воздухе (снег уже прошел).

— Итак, старик велел черномазому позвать Генри, — сказал Шрив. — И когда Генри явился, старик сказал: «Они не могут пожениться, потому что он твой брат», а Генри возразил: «Ты лжешь» — прямо так, с места в карьер, без остановки, без передышки, без ничего, вроде как бы ты нажал кнопку — и в комнате зажегся свет. Старик просто сидел, он даже не шелохнулся, не ударил его, и потому Генри не сказал еще раз: «Ты лжешь» — ведь теперь он знал, что так оно и есть, он просто сказал: «Это неправда»; он не сказал: «Я не верю» — а только: «Это неправда»; потому что теперь он, может, опять посмотрел старику в лицо и — демон тот был или нет — увидел в нем скорбь и жалость, не к самому себе, а к Генри: ведь Генри был просто молод, тогда как он (старик) знал, что у него еще остается храбрость и даже вся его расчетливость...

Шрив теперь уже не сидел, он снова стоял у стола напротив Квентина. В пальто, натянутом на купальный халат и криво застегнутом не на те пуговицы, огромный и бесформенный, как взъерошенный медведь, он стоял, уставившись на Квентина (южанина, чья кровь быстро остывала и потому бежала более стремительно, быть может, чтоб уравновесить резкие колебания температуры, а быть может, просто находилась ближе к поверхности), который сгорбившись сидел на стуле, засунув руки в карманы, словно пытался согреться, обхватив себя обеими руками; он казался очень хрупким и даже болезненно бледным в свете лампы, в розовом отблеске, который теперь не давал ни тепла, ни уюта, между тем как дыханье их обоих превращалось в еле заметный парок в этой холодной комнате, где их теперь было не двое, а четверо, и те двое, которые дышали, были теперь не два отдельных индивида, а нечто одновременно и большее и меньшее, чем близнецы, нечто, объединенное их общей юностью. Шриву было девятнадцать лет, на несколько месяцев меньше, чем Квентину. У него и вид был точь-в-точь как у девятнадцатилетнего; он принадлежал к тем людям, чей возраст никогда нельзя правильно определить, потому что их внешность точно соответствует их возрасту, и потому ты говоришь себе, что ему или ей никак не может быть столько лет: ведь их внешность слишком точно соответствует их возрасту, и, стало быть, они не могут этим не воспользоваться, и оттого никогда нельзя безоговорочно поверить, что им действительно столько лет, сколько они говорят или, доведенные до полного отчаянья, признают, или же столько, сколько кто-то про них сказал, и каждому из таких людей достанет силы и готовности на двоих, на две

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8, 9 с. г.

тысячи или на всех им подобных. Не двое в комнате колледжа в Новой Англии, а один в Миссисипи шестьдесят лет назад, в библиотеке, украшенной по зримому времени остролистом и омелой — букеты в вазах на камине, гирлянды на картинах, развешанных по стенам, и, может быть, две-три веточки над фотографией, изображающей группу — мать с двумя детьми, — на письменном столе, за которым сидел отец, когда вошел сын; и вот они оба, Шрив и Квентин, думают о том, как после слов отца и еще до того, как потрясение, вызванное его словами, прошло и слова начали обретать смысл, Генри (позже он об этом вспомнит) увидел в окне за головой отца, как его сестра со своим возлюбленным медленно идет по саду; она слушает, наклонив голову, голова возлюбленного склонилась над ней; они медленно проходят мимо, в том ритме, который отмечают и отмеряют не глаза, а сердце, проходят и скрываются за какими-нибудь зарослями или за кустом, сверкающим звездами белых соцветий — жасмина, таволги или жимолости, а может, даже китайской розы с россыпью лишенных аромата мелких цветочков, тех, что никак не сорвешь из-за слишком коротких стебельков, — названия, цветы, которых Шрив, вероятно, никогда и не слышал и не видал, хотя тот ветер, что ласково их взлелеял, сначала овеял лицо ему. Здесь, в Кембридже, не будет иметь значения, что в том саду тоже была зима и оттого в нем не осталось ни листочка, ни цветка, ни тем более кого-нибудь, кто бы мог там гулять и кого можно было там увидеть, — ведь, судя по дальнейшим событиям, в том саду тоже была ночь. Но это не имело значения, потому что происходило так давно. И уж во всяком случае это не имело значения для них (для Квентина и Шрива): они могли, даже не шелохнувшись, столь же свободные сейчас от плоти, как отец, который тогда приказывал и запрещал; сын, который не верил и отвергал; возлюбленный, который на все соглашался; возлюбленная, которая еще не понесла утраты; они могли без скучного томительного перехода от очага и сада к седлу уже сейчас гулко стучать подковами по промерзшим ухабам в ту декабрьскую ночь, на заре того рождественского дня, дня радости и мира, доброты, и остролиста, и поленьев, горящих в очаге, и не вдвоем, как тогда, а вчетвером скакать верхом на двух лошадях в кромешной тьме; равным образом не имело значения ни какие у них лица, ни какими именами они себя называли, ни как называли их другие до тех пор, покуда в их жилах текла еще кровь — кровь, бессмертная недолговечная неизменная юная кровь, для которой честь превыше ленивого несожаленья, а любовь превыше ничтожного и глупого позора.

— А Бон про это ничего не знал, — продолжал Шрив. — Старик не шелохнулся, и Генри на этот раз не сказал: «Ты лжешь»; он сказал: «Это неправда» — и старик сказал: «Спроси у него. Если так, спроси у Чарльза»; и тогда Генри понял, что именно это отец все время имел в виду и что именно это имел в виду и он сам, когда сказал отцу, что тот лжет, — ведь отец не сказал ему просто: «Он твой брат» — а сказал: «Он все время знал, что он брат тебе и твоей сестре». Но Бон ничего не знал. Послушай, разве ты не помнишь, как твой отец говорил, что он — старикан, демон — казалось, ни разу не задумался о том, как та, другая жена ухитрилась его выследить, отыскать; ни разу не задумался о том, что она могла делить все это время, все тридцать лет с того дня, когда он с нею за все расплатился, и получил в том расписку (так он считал), и своими глазами увидел, что все (так он считал) уничтожено, разорвано в клочья и развеяно по ветру; ни разу об этом не задумался, а думал только, что вот она как сделала — захотела его выследить, и на тебе, выследила и настигла. Значит, это не она рассказала Бону. Она бы не стала рассказывать, может, потому, что знала: он — демон — все равно подумает на нее. А может, она так и не собралась с духом ему рассказать. Может, ей никогда и в голову не приходило, что ей придется еще кому-то рассказывать, как ее обидели и как она страдала, — ведь на всем свете у нее нет никого ближе ее единственного родного сына. Но, может, не успел он вырасти, еще не знал слов, а она уже начала ему рассказывать, а к тому времени, когда он вырос и стал понимать, что ему говорят, она успела уже столько раз и так настойчиво все это повторить, что сама перестала вникать в свои слова, и потому дело дошло до того, что когда ей казалось, будто она их произносит, она на самом деле молчала, а когда ей казалось, будто она молчит, она на самом деле кипела ненавистью и злобой, которые лишали ее забвения и сна. Но, может, она просто не хотела, чтобы он об этом узнал тогда. Может, она готовила его к тому часу и к той минуте — она не знала, когда они настанут, но что они настанут, знала точно, ибо иначе и быть не может, ибо иначе ей пришлось бы посту-

пить, как тетушка Роза, и отрицать, что она когда-либо жила на свете вообще, — к той минуте, когда ему (Бону) придется встать бок о бок (не лицом к лицу, а именно бок о бок) с отцом, и тогда судьба, или удача, или справедливость, или как она там это называла, довершат остальное (они и довершили, и даже лучше, чем она могла бы измыслить, надеяться или даже мечтать, и твой отец сказал, что, будучи женщиной, она, наверно, этому даже и не удивилась) — сама его растила, сама воспитывала, своими руками умывала, кормила и укладывала спать и, как лекарство, отмеряла ему игрушки, сласти, развлечения, радости и нужды, совсем как у других детей, — и вовсе не потому, что в том была необходимость: ведь на те деньги, на тот куш, который он (демон) ей отвалил, от которого добровольно отказался, дабы погасить свои моральные счета, она могла бы нанять или купить сотню слуг, которые сделали бы это за нее, — а как миллионер, который мог бы нанять сотню грумов и жокеев, но для которого существует лишь одна-единственная, еще не бравшая приза лошадь, одно-единственное счастливое мгновение, когда сочтается друг с другом сердца, мускулы и воля, и ради них он (миллионер) готов терпеть и пропотевший комбинезон и запах навоза в конюшне; и вот мать вела его к той минуте, когда она ему скажет: «Он твой отец. Он бросил нас с тобой и запретил тебе носить его имя. Ступай», — а потом съедет и предоставит Господу Богу закончить все самому — пистолетом, ножом или дыбой, предбелью, бедою или горем, предоставит Господу Богу отдать команду спустить курок или повернуть колесо. О Господи, мне даже кажется, будто я его вижу: маленький мальчик, который, еще не успев узнать свои имя или название города, где он живет, еще не научившись их произносить, уже понимает, уже ждет, что его будут поминутно отрывать от игры, хватать и держать обеими руками, дрожащими от исступленной любви (или, по крайней мере, от того, что он за таковую принимал), исступленно стиснув между колен, а лицо, которое он запомнил еще прежде, чем начал помнить что-либо, всегда его улажало, пеклось о его питании, пищеварении и забавах, заботилось, чтобы он был в безопасности и в тепле; это застывшее разгоряченное лицо обрушивалось на него откуда-то сверху; он принимал это как нечто закономерное, как одно из естественных явлений бытия; лицо, исполненное страстного, почти невыносимого непростенья, почти как лихорадка (не горечь и не отчаянье, а просто неукротимое стремление к мести), как одно из проявлений материнской любви, — а он и понятия не имел, зачем все это нужно. Он был слишком мал, чтобы извлечь какой-нибудь связный смысл из злости, ненависти и бешеной спешки, он не понимал и оставался безразличным, ему было просто любопытно, и он составил себе (без всякой посторонней помощи, да и кто мог ему в этом помочь?) свое собственное представление не то о Пуэрто-Рико, не то о Гаити или еще каком-то месте, где, как он смутно догадывался, он появился на свет, — так благоспитанные дети составляют себе представление о небесах, или капустной грядке, или еще каком-то месте, где они появились на свет; причем место его рождения отличалось лишь тем, что никто (его мать, во всяком случае) не предполагал, что он когда-либо должен туда вернуться (а быть может, когда он доживет до ее лет, он тоже станет приходиться в ужас всякий раз, как обнаружит у себя в мыслях хотя бы тень или подобие желания туда вернуться). Предполагалось, что он не знает, когда и зачем он оттуда уехал, знает только, что он оттуда бежал и что сила, которая создала это место, чтобы он его ненавидел, вызволила его оттуда, чтоб он мог еще крепче его ненавидеть и никогда ему не прощать, живя в тишине и покое (хотя словом «мир» это состояние тоже не обозначишь), и должен благодарить Бога, что ничего об этом месте не помнит, хотя в то же время не должен или даже не смеет о нем забывать... возможно, он даже считал, что у всех остальных мальчиков тоже нет отцов, и это казалось ему само собой разумеющимся; а что его чуть ли не каждый день отрывают от любой невинной забавы, когда он никому не мешает и даже обо всем на свете позабыл, отрывает кто-то, потому что этот кто-то больше и сильнее его, и что потом его минут пять держат под чем-то вроде лопнувшей водопроводной трубы, из которой хлещет поток непостижимой ярости, горькой тоски, ревнивого и мстительного гнева, — все это он считал неотъемлемую часть детства, которую матери всех детей получили в наследство от своих матерей, а те, в свою очередь, от своих матерей из того Пуэрто-Рико, или Гаити, или еще какого-то места, где все мы появились на свет, но где никто из нас никогда не жил. И потому, когда он вырастет и у него тоже будут дети, ему тоже придется им это передать (и, быть

может, он тогда же решит, что это слишком уж хлопотно, что у него не будет детей или, по крайней мере, он надеется, что их не будет), и, следовательно, ни у одного мужчины нет отца, ни у кого нет своего Пуэрто-Рико или Гаити, а лица всех матерей, которые когда-либо рождали детей в чуть ли не заранее predeterminedные минуты, обрушивались на них откуда-то из темных, допотопных обид и оскорблений, каких настоящая, живая, наделенная даром речи человеческая плоть вовсе никогда и не испытывала, а просто получила по наследству; а все мальчики, которые когда-либо дышали и ступали по земле, произошли из этой одной-единственной неуловимой двусмысленной отцовской головы, и потому все они кровные братья во веки веков, везде и всюду под солнцем...

Квентин и Шрив устались, вернее, возрились друг на друга; их спокойное, размеренное дыхание медленно превращалось в легкий парок в воздухе, теперь ледяном, точно в склепе. Было что-то странное в том, как они друг на друга смотрели, странное, спокойное и глубоко сосредоточенное; так могут смотреть друг на друга не два молодых человека, а скорее юноша и очень молоденькая девушка из глубины самой невинности, словно они застенчиво и откровенно чего-то ищут, и каждый их взгляд полон древней, как мир, одержимостью юности — не тяжким грузом времени, что при их осуществлении у нее не дрогнет рука, а может, постепенно уразумел (или увидел), что она обманом заставила его принять эту форму и закалку, но ему и это было все равно — ведь к тому времени он уже, наверно, убедился, что на свете существуют только дыхание, наслажденье, тьма и ничего больше; что без денег не может быть наслажденья, а без наслажденья будет даже не дыхание, а всего лишь втягиванье воздуха, как у протоплазмы, и что слепой неорганизм обрушится во тьму, где даже еще не начал брезжить свет. А деньги у него были, ибо он знал, что она знает: лишь с помощью денег она сможет его умаслить, принудить его взять барьер, когда настанет день скачек, и потому не смеет ни в чем его стеснять и знает, что он это знает, так что он, возможно, даже ее шантажировал, подкупал, например, так: «Ты мне дашь, сколько я захочу, денег, а я пока не стану допытываться зачем и почему». А может, она была так занята его подготовкой, что даже никогда и не задумывалась о деньгах — ведь в промежутках между приступами ненависти и гнева у нее, наверно, никогда не хватало времени о них вспоминать, пересчитывать их или даже просто думать, сколько их у нее есть, и потому следить за его тратами мог один лишь адвокат. Ему (Бону) наверняка прежде всего стало ясно именно это: стоит ему пойти пожаловаться матери — и у адвоката тотчас поджилки затрясутся, все равно как с лошадей миллионера: приди она хоть раз в мыле — и назавтра у нее уже будет другой жокей. Ну, ясно, кто это мог быть — только адвокат, тот адвокат, что смотрел на свою шальную миллионершу как на поле, которое надо возделывать: она, наверно, так мало заботилась о деньгах, что, подписывая чеки, даже не смотрела, не стоит ли на них уже чья-нибудь подпись; она, конечно, с тех самых пор, как он себя помнил, и даже еще раньше уже плела интриги и замышляла планы, готовясь к тому дню, когда он без промедленья превратится в кучку обильно унавоженной земли, — тот адвокат, который пахал, и сеял, и снимал урожай и с него и с матери, как если б он уже в эту землю превратился; — тот самый адвокат, у которого в потайном сейфе, возможно даже, был потайной ящик, а в ящике хранилась тайная бумага, а может, даже карта, и в нее были воткнуты булавки с разноцветными головками, как у генералов, и все записи зашифрованы: *Сегодня Сатпен обманом выманил у пьяного индейца сто миль девственной земли стоим. 25 тыс. долл. В 2.31 принес с болота последнюю доску для дома, стоим. вм. с землей 40 тыс. Сегодня в 7.52 пополудни женился. Угроза двоеженства, стоим. минус ноль, если срочно не подвернется покупатель. Маловероятно. Несомненно в тот же день совокупился с женой. Накинем 1 год, — а затем, может быть, снова дата и даже час: *Сын Действ. стоим, возм., хотя маловероятн. принуд. продажа**

*дома и земли плюс стоим. урожая, минус четверть, принадл. сыну. Эмоц. стоим. плюс 100% от ноля, плюс стоим. урожая. Накинем 10 лет, еще один или неск. детей. Действ. стоим. принуд. продажа дома и воздел. земли плюс ликвидные активы, минус доля детей. Эмоц. стоим. плюс 100% ежегодно: прирост для каждого ребенка плюс действит. стоим., плюс ликвидн. активы, плюс приобрет. кредит, — а может быть, тут же и тоже с датой: Дочь, и, может, дальше стоял вопросительный знак и даже еще слова: дочь? дочь? дочь? они постепенно расплывались — не потому, что расплывалась мысль, а, наоборот, потому, что мысль здесь остановилась, немного отступила и начала распространяться вширь, как если ты, к примеру, перегордил бы палкой ручеек; она начала подниматься и медленно разливаться вокруг него где-нибудь в таком месте, где он мог бы запереть дверь, спокойно сидеть и вычитать суммы, которые Бон растрчивал на шлюх и на шампанское, из капитала, которым владела его мать, и прикидывать, сколько останется от него на следующий день, на следующий месяц или год или пока Сатпен окончательно созреет, — сидеть и думать о доброй полновесной монете, которую Бон просаживал на лошадей, на костюмы, на шампанское и на женщин (он наверняка задолго до матери узнал об окторонке и о мorganатическом браке — если это вообще скрывалось, — а может, даже держал соглядастая в спальне, как, очевидно, и в спальне у Сатпена, а может, он даже сам ее туда посадил, сказав себе, как говорят про собаку: *Он начинает шалить. Ему нужен поводок. Не намордник, а просто какой-нибудь тонкий поводок, чтоб он не смог пролезть внутрь чего-либо, что огорожено забором*), и только он один пытался за всем этим следить постольку, поскольку ему хватало смелости, и, разумеется, без особого успеха — ведь он отлично знал, что стоит только Бону пойти пожаловаться матери — и скаковая лошадь, буде она того пожелает, получит золотую кормушку, а если жокей не станет смотреть в оба, то и другого жокея, — и вот он считал деньги, прикидывал, какую сумму — при этом нормальном приросте — он огребет чистоганом в ближайшие несколько лет, сидел и мучительно размышлял над выбором: не умыть ли руки от всех Сатпеновых дел, не собрать ли все, что осталось, да поскорее смотаться в Техас? Однако чуть только ему приходила в голову эта мысль, он вспоминал обо всех тех деньгах, которые Бон уже растранижил, и о том, что, удери он в Техас лет десять, или пять, или даже год назад, он огреб бы намного больше, так что, быть может, ночами, ожидая, когда в окнах забрезжит белесый рассвет, он начинал смахивать на тетушку Розу, какой она, по ее словам, была, и ему приходилось отрицать, что он вообще когда-либо жил на свете (а может, он даже хотел бы и вовсе на свет не родиться), если б не эти двести процентов от действительной стоимости каждый новый год, — и тут вода снова отступала от палки, и поднималась, и разливалась вокруг него медленно и неуклонно, как свет, а он сидел там в белом сиянье ясновидения (или прозорливости, или веры в человеческое несчастье и глупость, или как там это ни назови), которое открывало ему не только то, что могло бы произойти, но и то, что действительно произойдет, а он отказывался верить, что это произойдет, — не оттого, что это явилось ему как виденье, а оттого, что оно непременно будет связано с любовью и честью, со смелостью и гордостью, — и все же верил, что это могло бы произойти: не потому, что это логично или возможно, а потому, что для всех причастных к этой истории лиц это было бы наихудшим из всего, что могло бы с ними случиться, и хотя он мог бы поверить в существование порока, добродетели, смелости или трусости, если б ему показали живых носителей этих свойств, равно как он мог бы поверить в существование смерти, если б ему показали мертвое тело, в несчастье он все же верил, потому что сухое, суровое, изнуряющее, внушеское воспитание оставляет счастье и радости человека на волю Божию, а уж Бог в обмен на это передаст все его горести, глупости и несчастья на съедение вшам и блохам, засидевшим фолианты Коука и Литтлтона. А старуха Сабина...*

Они уставились, воззрились друг на друга. Говорил все это Шрив, хотя, если б не ничтожные различия, внедренные в них несколькими разделявшими их градусами широты (различия не в интонации, не в высоте тона, а в оборотах речи и выборе слов), говорить мог бы любой из них, и говорили в известном смысле оба: оба думали одно, и голос, который выражал мысль, был не чем иным, как мыслью, обретшей звуковую, словесную форму; они вдвоем взяли всю эту разношерстную компанию, населявшую старинные побасенки и сплетни, и создали из нее людей, которых, быть может, нигде никогда не существовало; это были лишь тени, но тени не

живых, облеченных в плоть и кровь людей, которые некогда жили и умерли, а тени тех, кто, в свою очередь (по крайней мере для одного из них, для Шрива), был тоже тенями, спокойными и тихими, как видимый глазу шелест превращавшегося в пар дыхания их обоих. Часы теперь начали бить полночь; их мелодичный размеренный звон едва проникал в закрытое, запорошенное снегом окно.

— ...старуха Сабина, которая даже ради спасения собственной жизни не могла бы сказать ни тебе, ни адвокату, ни Бону, да и никому вообще, чего она хочет и ждет, на что надеется, ибо ей как женщине вовсе не обязательно было хотеть или ждать чего-то, надеяться на что-то, а достаточно было просто хотеть, надеяться и ждать (и к тому же, как говорил твой отец, когда ты полон хорошей здоровой ненависти, ты можешь и вовсе обойтись без надежды, потому что тебя будет питать одна только ненависть)... старуха Сабина (она была не так уж стара, а просто перестала за собой следить, вроде того как бы ты, к примеру, чистил и смазывал котлы и засыпал в угольную яму первосортный уголь, но больше не давал себе труда мыть палубу и драить медяшки, просто перестала следить за своей внешностью. Она не разжирила — все, что она проглатывала, слишком быстро перегорало, пересыхало прямо у нее в глотке, даже не успев дойти до желудка; еда не доставляла ей ни малейшего удовольствия, необходимость есть раздражала ее так же, как забота об одежде; ее равно раздражало и то, что старая одежда изнашивалась, и то, что надо выбирать себе новую; она не испытывала ни малейшего удовольствия ни от его (ни тот, ни другой не произнес: «Бона») элегантной фигуры в элегантнох штанах, ловко облегающих его ноги, и в элегантнох сюртуках, ловко облегающих его плечи, ни от сознания, что его часы и запонки, его белье, лошади и экпажи с желтыми колесами (не говоря о девицах) лучше, чем у большинства других; все это было лишь неизбежной докукой, от которой ему надо будет избавиться прежде, чем он сможет чем-нибудь быть ей полезным, — точно так же, как ему надо было пережить прорезание зубов, ветряную оспу и детскую мягкость костей, чтобы он смог чем-нибудь быть ей полезным)... старуха Сабина получала от адвоката лживые доклады наподобие докладов, присылаемых в штаб с фронта; может, у адвоката в приемной даже сидел специальный черномазый только затем, чтобы их ей относить, может, раз в два года, а может, пять раз за два дня, смотря по тому, когда ей приспичит узнать новости и она начнет ему докучать, — доклад, коммюнике, что, мол, теперь мы от него (от Сатпена) совсем близко, что он в Техасе или в Миссисипи, а может даже и в Калифорнии (в Калифорнии? прекрасно — это так далеко, что уже в силу одной лишь отдаленности не требует никаких доказательств, а, напротив, заставляет принять все на веру), и мы теперь вот-вот его нагоним, а потому не беспокойтесь. Она и не беспокоилась, ни капельки не беспокоилась, она только приказывала подать карету и ехала к адвокату, она врвалась к нему — вся в черном, ни дать ни взять осевший обрубок печной трубы, и на голове, может, даже и не шляпа, а всего лишь платок, так что не хватало только ведра и метлы, — врвалась и говорила: «Он умер. Я знаю, что он умер, но как он смел, как он смел умереть»; при этом она имела в виду не то, что имела в виду тетушка Роза: *Где нашли или как изобрели ту пулю, которая могла его убить*, а нечто совершенно иное *Как допустили, чтобы он умер, не заставив его сначала признаться, что он был не прав, не заставив его раскаяться, сожалеть о содеянном и страдать*. И вот за следующие две минуты они почти что его настигли (он, адвокат, показывал ей самое что ни на есть настоящее письмо на английском языке, которого она не знала, — оно, мол, только что получилось, когда она входила, он как раз послал за черномазым, чтобы тот ей его отнес; адвокат очень долго практиковался в искусстве ставить на письмо нужную дату и теперь мог проставить ее, поворачиваясь к ней спиной на те две секунды, которые требовались, чтобы вынуть письмо из папки), настигли его, подбирались к нему так близко, что могли воочию убедиться, что он еще жив; до того близко, что, не дав ей даже сесть, адвокат ухитрился вывести ее из конторы, посадить в карету и отправить домой, где среди флорентийских зеркал, парижских драпри и отделанных перьями negligie она все равно выглядела как поломойка, в черном платье, которым даже пятью или шестью годами раньше, когда оно было еще совсем новым, побрезговала бы и кухарка; в одной руке она крепко держала, сжимала письмо, которого не умела прочесть (быть может, единственным словом, которое она могла в нем разобрать, было имя «Сатпен»), а другою отбрасывала со лба космы черных с проседью прямых волос; при этом она смотрела на письмо не так,

как если бы она его читала, даже умея она его прочитать, а бросаясь, обрушиваясь на него откуда-то сверху, и глаза ее метали молнии, словно она знала, что читать его она сможет всего лишь одно мгновение, что оно сможет остаться целым и невредимым всего лишь на одно мгновение после того, как ее глаза его коснутся, и тут же вспыхнет и потому будет не прочитано, а поглощено огнем, и у нее в руках останется лишь горсточка рассыпчатой черной золы.

— А он... (никто из них не называл имя Бона)... за нею наблюдал; он вырос уже достаточно, чтобы понять: то, что он считал детством, вовсе не детство; понять, что других детей родили матери и отцы, между тем как его создали вновь, когда у него появилась память; создали вновь, когда его детский костяк стал костяком юноши; создали вновь, когда из юноши он превратился в мужчину; его создали соединенными усилиями адвокат и женщина, которая, как он думал, кормит, умывает, укладывает его спать, ублажает его лакомствами, придумывает для него развлечения потому, что он — это он; он думал так, пока не вырос достаточно, чтоб убедиться: на самом деле она умывает, пичкает сладостями и развлекает вовсе не его, а некоего мужчину, который даже еще не появился на свет, которого даже она сама еще никогда не видела и который, когда он действительно появится на свет, будет чем-то совершенно отличным от этого юноши — подобно тому как динамит, уничтожающий дом и семью, а может даже и все селение, вовсе не та славная невинная бумажка, что скорей предпочла бы легко и бесцельно носиться по ветру; не славные веселые опилки и даже не славные спокойные химические вещества, что предпочли бы тихо и мирно лежать в спокойной земле, где они именно так и лежали, покуда не явился нахальный тип в очках минус десять и не начал их оттуда выкапывать, коверкать, месить и мять, — его создали соединенными усилиями эта женщина и наемный адвокат (женщина, которая, как он теперь убедился, еще прежде, чем он стал себя помнить, уже воспитывала и готовила его к какой-то минуте, которая наступит и пройдет, после чего он, как он теперь увидел, станет для нее не более чем куском жирной, обильно уваженной земли, а адвокат, который, как он теперь убедился, еще прежде, чем он стал себя помнить, уже пахал, засеивал, поливал, удобрял его и снимал с него урожай, словно он в этот кусок земли уже превратился); и вот Бон за этой женщиной наблюдал, быть может, прислонившись к камину в своем элегантном костюме, овеванный фирмиамам, если можно так выразиться, сомнительной гаремной добродетели, наблюдал, как она смотрит на письмо, и ему даже не приходила в голову мысль *Я вижу свою мать обнаженной*, ибо если ненависть — это нагота, она ходила нагою так долго, что нагота могла теперь служить ей одеждой, как говорят, может служить и действительно служит одеждою скромность...

Итак, он уехал. В возрасте двадцати восьми лет он уехал учиться. Он не знал и не интересовался, кто из них — мать или адвокат — решил, что ему надо ехать учиться, и почему они это решили, ибо он все время знал, что мать его что-то замышляет и что адвокат тоже что-то замышляет; однако что именно каждый из них замышляет, интересовало его не настолько, чтобы он постарался про это узнать, — ведь он знал: адвокату известно, что мать его что-то замышляет, а матери неизвестно, что адвокат тоже что-то замышляет и что адвоката вполне устроит, если мать получит то, чего она хочет, при условии, что он (адвокат) получит то, чего хочет он, на секунду раньше или хотя бы одновременно. Он уехал учиться; он сказал: «Ладно, попрошайся с окторонкой и уехал учиться — он, которому за все двадцать восемь лет никто никогда не говорил: «Сделай то-то и то-то, реши эту задачу к девяти утра завтра, или в пятницу, или в понедельник»; может быть, они (или адвокат) даже использовали для этой цели окторонку — тонкий поводок (а не намордник), который адвокат на него надел, чтобы он не забрался в какое-то место, которое было обнесено забором, что могло обнаружиться позже. Быть может, мать узнала про окторонку, про ребенка и про обряд, выведала даже больше, чем сам адвокат выведал (или чему он мог поверить, ибо считал Бона всего лишь лентяем, а не дураком), и послала за ним, и он пришел и снова прислонился к камину и, быть может, понял, что она замыслила, что случилось, еще прежде, чем она ему сказала, и стоял, прислонившись к камину, с таким выражением, которое ты назвал бы улыбкой, хотя это была совсем не улыбка, а нечто вроде непроницаемой маски, а мать смотрела на него и, быть может, прямые, черные с проседью космы опять свисали ей на лоб, и теперь она даже не давала себе труда их отбросить, потому что теперь глаза ее смотрели не на письмо, а метали молнии на него, и голос ее дрожал от неотступной

тревоги и страха, но ей удавалось их подавлять — ведь она не могла говорить об измене, потому что тогда она ему еще ничего не рассказала, а сейчас, в эту минуту, не смела пойти на такой риск, меж тем как он смотрел на нее, улыбаясь тою улыбкой, что была совсем не улыбкой, а чем-то вроде непроницаемой преграды, и говорил, признавался: «А почему бы и нет? Все молодые люди так поступают. Да и обряд тоже. Я не собирался заводить ребенка, но раз уж он появился... и ведь это совсем неплохой ребенок», а она смотрела на него, сверкая глазами, и не могла сказать ему то, что хотела, ибо слишком долго это откладывала и потому могла лишь сказать: «Да, но ведь это ты. Ты совсем другое дело», а он (ей вовсе не нужно было это говорить. Он и так это знал, он уже понял, почему она за ним послала, хотя он вовсе не знал и не интересовался, что именно она замыслила еще прежде, чем он стал себя помнить, еще прежде, чем он познал женщину — с любовью или без любви), он отвечал: «А почему бы и нет? Мужчинам, по-видимому, рано или поздно приходится жениться. А эту женщину я знаю, и она не доставляет мне хлопот. И этот нудный обряд тоже уже позади. Что же до такой безделицы, как капля негритянской крови...» — при этом не было нужды долго распространяться, не было нужды говорить *Я, как видно, родился на свет, имея так мало отцов, что у меня слишком много братьев, которые при жизни будут мною возмущаться и меня стыдить, и потому после смерти у меня останется слишком много потомков, которым я должен передать по наследству свою долю неприятностей и зла,* — достаточно было сказать только: «Маленькая капля негритянской крови...» — а потом посмотреть ей в лицо, увидеть на нем мольбу, отчаянье и страх, после чего удалиться, быть может, сперва поцеловав ее, а может, поцеловав ей руку, которая будет лежать в его руке и даже касаться его губ, словно рука мертвеца, после отчаянных тщетных попыток уцепиться за ту или иную соломинку, и, быть может, выходя, он сказал себе *Она пойдет к нему (к адвокату); подожди я минут пять — и она уже накинёт шаль. Так что сегодня к вечеру я, наверное, смогу узнать — если б я хотел узнать.* Может, он и узнал, может, к вечеру, а может, и раньше — если только им удалось его найти, известить, ибо она и правда пошла к адвокату. А это было как раз по части адвоката. Может, еще до того, как она начала говорить, появилось это слабое белое сиянье, какое бывает, когда подкручиваешь фитиль; может, ему даже почудилось, будто он видит, как рука адвоката вписывает что-то в тот просвет, где слова *дочь? дочь? дочь?* так и не появились. Ведь вполне может быть, что адвокат именно об этом все время и заботился; может, с тех самых пор, когда она заставила его обещать никогда не рассказывать Бону, кто его отец, он ждал и все думал, как это сделать; ведь вполне возможно, он знал, что если рассказать об этом Бону, Бон может поверить ему или не поверить, но уж непременно пойдет и сообщит матери, что адвокат все ему рассказал, и тогда он (адвокат) погиб — не потому, что он причинил какой-то ущерб, никакого ущерба он этим причинить не мог, ибо слова ничего не изменят, а потому, что он посмел ослушаться своей бесноватой клиентки. Может, пока он сидел у себя в конторе, складывал и вычитал деньги, прибавлял суммы, которые они получают от Сатпена (он никогда не беспокоился о том, как Бон поступит, когда все узнает; он наверняка давным-давно мысленно воздал Бону должное и считал, что будь тот даже слишком равнодушен и ленив, чтобы самому дознаться, кто его отец, он, однако, не настолько глуп, чтоб не воспользоваться этим, когда кто-либо подскажет ему, что для этого надо предпринять; может, если ему и приходило в голову, что Бон не захочет, откажется это сделать — из соображений любви, чести или бог весть каких еще соображений, в том числе даже и юридических, — то он (адвокат) сумел бы даже доказать, что отца его уже нет в живых)... может, все время именно это его и мучило: как довести Бона до того, что он либо обнаружит все сам, либо кто-нибудь — мать или отец — вынужден будет все ему рассказать. Так что, может, она не успела выйти из конторы или хотя бы, едва он нашел время открыть свой сейф, заглянуть в потайной ящик и убедиться, что Генри поступил именно в Университет Миссисипи, рука его уже твердо и четко вписывала в тот просвет, где слова *дочь? дочь? дочь?* так и не появились, и тоже с датой: *1859 г. Двое детей. Допустим, 1860 г., 20 лет. Прирост 200% действит. стоим. ежегодно плюс ликвидные активы, плюс полученные доходы. Приблизит. стоим. в 1860 г. — 100 тыс. Вопрос: угроза двоеженства — да или нет? Возможно, нет. Угроза кровосмешения? Вероятно, да, а затем, вреднее чем поставить точку, рука возвращается назад, вычеркивает Вероятно, вписывает слово Несомненно и подчеркивает его,*

Но его не интересовало и это; он сказал только: «Ладно». Возможно, теперь он уже знал, что мать не знает и никогда не будет знать, чего она хочет, и потому он не может взять над нею верх (возможно, он уже узнал благодаря окторонке, что над женщиной вообще нельзя взять верх; и если ты не дурак и не любишь свар и скандалов, то не станешь даже и пытаться); и он знал, что адвокату не нужно ничего, кроме денег, и что если он не совершит ошибки, воображая, будто сможет взять себе все, если постарается сидеть тихо и держать ухо востро, то сможет взять хотя бы часть... Итак, он сказал: «Ладно», предоставил матери уложить свои элегантные костюмы и тонкое белье в сундуки и саквояжи, а может, заглянул в контору к адвокату и, улыбаясь тем, что можно было бы назвать улыбкой, наблюдал, как адвокат суетливо ерзает на стуле, распространяясь насчет того, что надо погрузить на пароход его лошадей, может, даже купить ему еще одного слугу, а также распорядиться насчет денег и всего прочего; улыбаясь, смотрел, как адвокат пытается разыгрывать из себя заботливого родителя, рассуждая о пользе образования, учености, латыни и греческого, благодаря которым он приобретет знания и лоск, приличествующие его положению в жизни; слушал его соображения насчет того, что все это, разумеется, можно приобрести где угодно, в том числе и у себя в библиотеке, было бы желание, и тем не менее подлинную культуру, подлинное образование может дать лишь монашеское монастырское уединение... как бы это сказать... безвестного маленького (однако первоклассного, да, первоклассного) колледжа... а он... (никто из них не назвал имя Бона. У них ни разу не возникло ни малейшего сомнения, кого именно Шрив разумеет под словом «он»)... он слушал вежливо и спокойно под этой своей непроницаемой маской и наконец, может даже перебив собеседника, спросил этак вежливо и любезно, без тени иронии, без тени сарказма: «Как, вы сказали, этот колледж называется?» — и тут адвокат снова заерзал, перебирая бумаги в поисках той, где было записано это название, которое он заучивал наизусть с тех самых пор, когда впервые упомянул о нем в беседе с его матерью: «Университет Миссисипи в...» Где, ты говорил, он находится?

— В Оксфорде, — сказал Квентян. — Это примерно милях в сорока от...

— «...в Оксфорде». Затем бумаги опять перестали шуршать, потому что он опять заговорил об этом маленьком колледже, который существует всего лишь десять лет; о том, как ничто не будет отвлекать его от занятий (ведь там, если можно так выразиться, самая мудрость еще сохранила девственность или, по крайней мере, еще не успела очень уж истрепаться) и как ему представится возможность наблюдать иную, провинциальную часть того края, в котором ему со временем суждено занять высокое положение (в случае благоприятного исхода этой войны, которая, без сомнения, неизбежна, но на успешное завершение которой мы все уповаем, нисколько в нем не сомневаемся) как человеку и как обладателю состояния, которое перейдет к нему, когда его матушки не станет; а он все слушал с этой своей непроницаемой маской на лице и только спросил: «Значит, вы не советуете мне избрать себе профессии право?» — и тут адвокат вдруг замолк, но ненадолго, во всяком случае не на такой промежуток времени, который был бы достаточно долгим и достаточно заметным, чтобы можно было назвать его паузой, и в свою очередь глянул на Бона: «Мне, признаться, в голову не приходило, что вам может быть по душе право», — на что Бон заметил: «Равным образом мне было не по душе фехтование — пока я им занимался. Но я помню по крайней мере один случай в своей жизни, когда я был рад, что у меня есть практика», — и тогда адвокат поспешно и ловко повернул: «Ну что ж, право так право. Ваша матушка будет сог... довольна». «Ладно», — сказал он, не «до свидания», а «ладно»; ему ведь было все равно. Может, он не сказал «до свиданья» даже и окторонке, отмахнулся от ее слез, причитаний, а может, даже и объятий, от мягких рук цвета магнолии, в отчаянии цеплявшихся за его колени; и (примерно) на три с половиной фута выше этих бескостных стальных оков опять появилось это его выражение — не улыбка, а просто непроницаемая маска. Ибо над ними нельзя взять верх, от них просто бегут (и, слава богу, можно бежать, можно спастись бегством от этой вязкой, как кишащий червями сыр, общности, которая слоem в пять футов толщиной обволакивает весь земной шар и в которой мужчины и женщины парами построены в шеренгу словно кегли; спасибо неведомым богам за этот мужской узкобедрый, сужающийся конусом клин, что легко, как по маслу, входит туда, где его, точно патрон в патроннике, крепко удерживают бедра женщины)... сказал не «до свидания», а «ладно» и в один прекрасный вечер поднялся

по освещенным факелами сходням; и провожал его, наверно, только адвокат — он пришел не пожелать ему счастливого пути, а всего лишь убедиться, что он и вправду сел на пароход. И вот новый, специально купленный для этой цели черномазый уже отпирает саквояжи и раскладывает по каюте элегантные костюмы, и дамы уже собираются в кают-компанию на ужин, а мужчины перед ужином заглядывают в бар, и только он одиноко стоит на палубе, быть может, курит сигару и смотрит, как город, сверкая и мерца огнями, уплывает, погружаясь во тьму, и тогда все останавливается и пароход застывает в неподвижности и висит, прикрепленный к звездам двумя канатами искристого дыма, что тянутся к небу из обеих труб. Кто знает, что он думал, что трезво взвешивал и отвергал, давно уже поняв: мать что-то замышляет и адвокат тоже что-то замышляет, — и хотя он знал, что речь шла всего лишь о деньгах, он знал также, что, несмотря на известную мужскую ограниченность, он (адвокат) мог быть не менее опасным, чем неизвестная величина — его мать; и в довершение всего еще и это — учебное заведение, колледж, когда ему уже двадцать восемь. Мало того, именно этот колледж, о котором он и слыхом не слыхал, которого десять лет назад вообще еще не было; он понимал, что колледж этот выбрал для него не кто иной, как адвокат, и хмуро, мучительно, неотступно думал *Почему? Почему именно этот, а не какой-либо другой?* думал, быть может, стоя в одиночестве на палубе среди пыхтящих труб и котлов, чувствуя, что сейчас ухватит ускользающий ответ, что отдельные части этой головоломки только и ждут, чтобы он их составил; беспорядочно мелькая перед глазами, пока еще зыбкие, непонятные, они вот-вот соединятся в четкий узор, который мгновенно, словно яркая вспышка света, откроет ему смысл всей его жизни, все его прошлое — Гаити, детство, адвоката и женщину, которая приходится ему матерью. А может быть, все объяснит ему само письмо, здесь, прямо у него под ногами, где-то во тьме под палубой, на которой он стоит, — письмо, адресованное не Томасу Сатпену в Сатпенову Сотню, а Генри Сатпену, эсквайру, проживающему в Университете Миссисипи близ Оксфорда, что в штате Миссисипи. Генри однажды показал ему это письмо, и перед ним возник не слабый, медленно разгорающийся отблеск, а вспышка, ослепительное сияние (показал письмо ему, человеку, вокруг которого — мало того что он не видел своего отца — еще в младенчестве плелась сеть заговоров и интриг с явной целью внушить ему, что отца у него вообще никогда не было; мать его, вырвавшись из царства теней, из блаженного беспамьяства, где слабые чувства находят убежище от темных безбожных сил, вынести которые слабая человеческая плоть не может, очнулась беременной; она кричала, плакала и билась; но то была не жестокая агония родовых схваток, а возмущение против чего-то, что разрасталось в ее лоне; и что он был зачат не естественным путем, а был брошен в ее тело и извержен оттуда все тем же inferнальным мужским началом, извечным воплощением безудержного ужаса и тьмы), и когда это ослепительное сияние осветило ему невинное лицо юноши почти десятью годами его моложе, одна часть его существа сказала *У него мой лоб, мой череп, мой подбородок, мои руки*, а другая сказала *Подожди. Подожди. Ты еще не знаешь. Ты еще не можешь знать, что у тебя перед глазами: то, на что ты смотришь, или то, в чем ты уверен. Подожди. Подожди.*

Письмо, которое он написал... — Шрив на этот раз имел в виду не Бона, но Квентин, казалось, опять без всякого усилия и труда понял, о ком идет речь, — ...быть может, сразу после того, как внес последнюю запись в свой кондуит вместо слов *дочь? дочь? дочь?* При этом он думал *Он ни в коем случае не должен ничего знать, ему не следует ничего говорить, пока он не придет туда и пока он и дочь...* но ничего не вспомнил о своей собственной молодой любви, а если даже и вспомнил, то не поверил самому себе, а только захотел использовать ее, как использовал бы смелость и гордость, и думал не о чьей-то угомонившейся необузданной горячей крови и не о чьих-то легких руках, жаждущих прикосновенья, а о том, что от Оксфорда до Сатпеновой Сотни всего один лишь день езды и что Генри уже обосновался в этом университете, и потому адвокат, быть может, на сей раз впервые за всю жизнь даже поверил в Бога:

Высокоуважаемый м-р Сатпен,

имя нижеподписавшегося, разумеется, ничего Вам не скажет, равно как и его положение и состояние, ибо все его достоинства и (льщу себя надеждою) также и значение, едва ли столь очевидные, чтобы он мог питать надежду когда-либо лично встретиться с Вами, суть всего лишь отражение достоинств и значения двух знатных

высокопоставленных особ, из коих первая, благородная дама и овдовевшая мать, проживает в уединении, приличествующем ее положению, в городе, откуда исходит сие письмо, тогда как вторая особа, молодой джентльмен, ее сын, в то самое время, когда Вы это читаете или вскоре вслед за сим, упадет жаждущим к тому же, что и Вы, источнику премудрости и познания. От имени сего последнего я к Вам и обращаюсь. Нет, я не смею сказать «от имени», ибо никоим образом не желаю, чтобы у вышепереченной дамы, равно как и у самого молодого джентльмена, возникло хоть малейшее подозрение, что я воспользовался сим термином, обращаясь даже к Вам, сэр, коему выпал счастливый жребий быть членом самой именитой фамилии округа. Увы — мне, разумеется, было бы лучше совсем к Вам не писать. Но я пишу, я должен писать, сие теперь неизбежно, и если Вы усмотрите в сем письме хотя бы малейшие признаки уничижения, благоволите принять их за нечто, исходящее не от матери и тем более не от сына, ибо они вышли из-под пера человека, чье скромное положение поверенного в делах вышеозначенной дамы и молодого джентльмена, человека, чья верность и благодарность к тем, чьему великодушью он был обязан (я не намерен сего скрывать, напротив, я во всеуслышание об этом объявляю) хлебом насущным, теплом и крышею над головою в течение времени достаточно продолжительного, дабы научить его благодарности и верности — буде он не знал их прежде, — а также побудить его к действию, хотя средства его и отстанут от цели, ибо он есть лишь то, что есть, и ни за что иное себя не выдает, а отнюдь не то, чем он желал бы быть. И посему прошу Вас, сэр, принять сие не за ничем не оправданную дерзость, каковою могло бы быть сочтено мое непрошеное обращение к Вам, не как мольбу о милости от имени неизвестного Вам лица, но за попытку (хотя, быть может, и недовкую) представить одному молодому джентльмену, о чьем положении нет нужды распространяться долго или коротко в том месте, где будет прочитано сие письмо, другого молодого джентльмена, о чьем положении равным образом нет нужды распространяться долго или коротко в том месте, где оно будет написано... Сказал не «до свидания», а «ладно» — ведь он имел столько отцов, что не мог ни принимать, ни расточать гордость и любовь, не мог ни разделить, ни передать по наследству честь и стыд; для него, как для кошки, были одинаково безразличны все места — и космополитический Новый Орлеан и буколический штат Миссисипи; ему были одинаково безразличны и его собственные, полученные или имеющие быть полученными по наследству флорентийские лампы, портативные клезеты с золочеными сиденьями, зеркала с затейливыми драпировками, и маленький, захолустный, не существовавший и десятка лет колледж; и шампанское в будуаре окторонки, и виски за грубо сколоченным новым столом в монашеской келье, и уж тем более деревенский юнец, прямой наследник буколического рая, который, вероятно, не провел и десяти ночей вне отчего дома (не считая тех случаев, когда он всю ночь напролет лежал у костра в лесу, слушая, как гонят по зверю собаки), покуда не уехал учиться; он наблюдал, как этот юнец подражает его манере одеваться, вести себя и говорить; он (юнец) делал это совершенно бессознательно и однажды вечером за бутылкой виски сказал, выпалил — нет, не выпалил, а скорее пробормотал, робко, как бы ощупью подбирая слова, между тем как он (космополит, почти десятью годами старше этого юнца, сидел, развалясь, в одном из своих шелковых халатов, каких тот в жизни не выдывал, да и вообще считал, что их носят только женщины) наблюдал, как этот юнец, залившись краской до корней волос, продолжает, не отводя глаз, смотреть ему прямо в лицо и, робко подбирая слова, отрывисто и совершенно некстати выпаливает: «Если б у меня был брат, я бы не хотел, чтобы он был моложе меня», — а он ему: «Вот как?» — а юнец: «Да. Я хотел бы, чтобы он был старше», — а он ему: «Ни один сын землевладельца не хочет иметь старшего брата» — а юнец: «А я хочу» — и при этом глядит прямо в лицо ему, посвященному, сибариту; он (юнец) встает, стройный и худощавый (ведь он был молод), лицо его багровеет, но он высоко держит голову и не отводит глаз: «Да. И я хотел бы, чтобы он был такой, как ты» — и тогда он говорит: «В самом деле? Вот виски. Пей или передай мне».

А теперь, — сказал Шрив, — поговорим о любви. — Но ему не нужно было говорить это, равно как не нужно было объяснять, кто разумеется под словом «он», ибо ни один из них ни о чем другом не думал; через все случившееся в прошлом надо было пройти; и, кроме них, пройти через это было некому — все равно как нельзя раздуть костер, не разворотив листьев. Поэтому ни для того, ни для другого

не имело значения, кто из них будет говорить — ведь чтобы раз и навсегда через это пройти, мало только говорить, тут важно одновременно и говорить и слушать, важна счастливая возможность, не дожидаясь требований или просьб, уже заранее простить и забыть ошибки друг друга, ошибки, которые каждый из них совершит, не только создавая этот призрак, о котором они вели разговор (или, вернее, в которого сами теперь превратились), но и выслушивая, просенная, отбрасывая все ложное и оставляя все, что казалось им верным или соответствовало их представлениям, — чтобы перейти к любви, в которой могли встретиться противоречия и парадоксы, но зато не было ни лжи, ни ошибок. — А теперь о любви. Он наверняка знал о ней все еще прежде, чем ее увидел: знал, какова она из себя, как проводит время в уединении провинциального женского мирка, о котором даже близким родственникам-мужчинам не полагалось слишком много знать; чтобы узнать об этом, ему даже не понадобилось задать ни одного вопроса. Господи, ведь вокруг него и так все клокотало и кипело. Сколько вечеров провел Генри, перенимая у него искусство прохладиться в спальне, облачившись в халат и домашние туфли, какие носят женщины; в легком, но безошибочном аромате духов, какие употребляют женщины; курить сигару — точь-в-точь как могла бы курить ее женщина, однако с такой небрежной, убийственной самоуверенностью, что лишь самый отъявленный смельчак мог бы отважиться на это сравнение (причем он нисколько не пытался учить, поучать, строить из себя ментора — а, впрочем, может, и пытался; кто знает, сколько раз, всматриваясь в лицо Генри, он думал — не так *если пренебречь той примесью в крови, которой нет у меня, передо мной мой череп, мой лоб, глазные впадины, лицевой угол, подбородок, и за всем скрываются отчасти даже мои мысли; и все это он, в свою очередь, мог бы увидеть на моем лице, умеи он смотреть, как умею я, а не сколько иначе передо мной, лишь слегка разбавленное чуждой кровью, примесь которой потребовалась для его появления на свет, лицо человека, создавшего нас обоих из той непроницаемой зыбкой тьмы, что люди называют будущим, и вот сейчас, сию минуту, железным усилием воли и страстным желанием я сквозь эту чуждую мне кровь увижу — не лицо брата, о существовании которого я ничего не знал и потому спокойно без него обходился, а лицо моего отца, чье отсутствие отбрасывает тень, от которой мой бессмертный дух никак не может уйти...* когда, в какие минуты он это думал, наблюдал этот пыл, в котором не было ни капли унижения, это смиренное паче гордости и беззаветную отдачу всей души — ведь бессознательное подражание одежде, манере вести себя и говорить было всего лишь внешней его оболочкой, наблюдал и думал *Чего только не мог бы я при желании сделать с этой податливой плотью, с этой плотью, кровью и душою, что вышли из того же источника, что и мои, но выросли в довольстве, мире и покое, под ровным, пусть даже и унылым светом солнца, тогда как те, что передал он мне, родились среди обиды, ненависти, непростения и выросли в глубокой тени; я мог бы вылепить из этой податливой и пылкой глины то, чего не создал и родной отец; какие зачатки добра могут, должны быть в этой крови, и никто не явился развить их в той ее доле, что течет во мне, пока не стало слишком поздно; в какие минуты он говорил себе, что это чепуха, что этого никак не может быть, что такие совпадения встречаются лишь в книжках, и — томный фаталист, неисправимый отшельник, словно кошка, что бродит сама по себе, — думал *Проклятый олух. Как мне от него отделаться?* но тут же голос, другой голос возражал: *Нет, ты вовсе этого не думаешь*, а он ему в ответ: *И вправду не думаю. Но все равно он олух*); сколько раз днем или вечером, когда они ездили верхом (Генри и тут ему подражал, хотя был более искусным наездником; возможно, лишенный того, что Бон назвал бы изяществом, он вырос в седле, и ездить верхом было для него так же естественно, как ходить пешком; он мог ездить на чем угодно, куда угодно и как угодно) и он видел, что барахтается и тонет в потоке веселой бессмысленной болтовни Генри, которая переносила их (всех троих — его, Генри и сестру, которой он никогда не видел и, может быть, не имел ни малейшего желания увидеть) в мир, подобный волшебной сказке, где ничего, кроме них, не существует; когда он скакал верхом рядом с Генри и слушал, причем ему даже незачем было ни задавать вопросы, ни как-либо вызывать на еще большую откровенность этого юнца, который даже не подозревал, что мужчина, скачущий рядом с ним, быть может, его брат; который всякий раз, как дыхание его касалось его голосовых связок, повторял *Отныне наш с сестрою дом — твой дом, наша с сестрою жизнь — твоя жизнь; у него (у Бона) возникал — а может, вовсе и не возникал —**

вопрос: допустим, все произошло наоборот и незнакомец — это Генри, а наследник — он сам, но все равно он знает то, что сейчас лишь подозревает; стал бы он тогда рассуждать так, как сейчас? И в конце концов он (Бон) соглашался, в конце концов говорил: «Ладно. Я поеду к тебе домой на Рождество», совсем не для того, чтобы увидеть третьего обитателя сочиненной Генри волшебной сказки, не для того, чтобы увидеть сестру — ведь он ни разу о ней не вспомнил. Он только слушал, что Генри про нее говорил, а сам при этом думал *Наконец-то я увижу его, человека, которого — судя по тому, как меня воспитывали, — я никогда не должен был надеяться увидеть и без которого я даже научился жить*; быть может, он даже представлял себе, как войдет в этот дом и увидит человека, который его породил, и тут ему все станет ясно; ибо наступит минута озарения, когда они безошибочно друг друга узнают и ему все станет ясно — наверное, раз и навсегда, — быть может, он думал *Это все, чего я хочу. Пусть он меня даже не признает, я сразу дам ему понять, что этого совсем не надо делать, что я этого совсем не жду, что меня это нисколько не обидит, а он, в свою очередь, сразу же даст понять мне, что я его сын*, думал, быть может, опять с тем выражением, которое ты мог бы назвать улыбкой, но которое было совсем не улыбкой, а чем-то таким, во что даже олух догадался бы не соваться: *Во всяком случае, я сын своей матери: я тоже, кажется, не знаю, чего хочу.*

Однако он совершенно точно знал, чего он хочет — только того, чтоб это было сказано, физического прикосновения, хотя бы и незаметного, тайного, живого прикосновения плоти, еще до его появления на свет согретой тою же кровью, которую она передала ему, чтобы согреть его плоть, и чтобы он в свою очередь тоже передал ее по наследству, и чтоб она, горячая и быстрая, бежала бы по жилам, когда умрет та, первая, а затем и его собственная плоть. И вот настало Рождество, и они с Генри поехали за сорок миль в Сатпенову Софию, и Генри все говорил, и его дыхание, словно надувая легкий воздушный шар, расцветивало радужным сиянием пустоту, в которой они существовали, жили, быть может, даже двигались, оставаясь бесплотными; все трое — он сам, его друг и сестра, которой друг никогда не видел и (хотя Генри этого не знал) о которой ни разу не подумал, а только слушал про нее как бы сквозь более важные мысли, и Генри, наверное, даже не замечал, что чем ближе они подъезжали к дому, тем меньше Бон говорил, высказывал свое мнение о чем бы то ни было, а может, даже (Генри, разумеется, не знал и этого) меньше слушал. И вот он вошел в дом, и, возможно, если бы кто-нибудь посмотрел на него, он увидел бы на его лице выражение, очень похожее на выражение лица Генри, — смиренную, хотя и гордую готовность к полной, безоглядной отдаче — и, возможно, он даже говорил себе *Я не только не знаю, чего хочу, но я еще, очевидно, гораздо моложе, чем сам думал*; и тут он встретился лицом к лицу с тем человеком, который, возможно, был его отцом, и не случилось ровно ничего — ни потрясения, ни жаркого соприкосновения плоти, которому и речь, далеко не столь стремительная, и то не может помешать, — ничего. И он провел там десять дней — не просто таинственный незнакомец, сибарит, стальной клинок в клетчатых шелковых ножнах, которому Генри начал подражать еще в университете, а еще и произведение искусства, некий шаблон, образец хорошего тона и манер, за каковой миссис Сатпен (как говорил твой отец) его принимала, настаивала (разве твой отец этого не говорил?), чтобы он им был (и в качестве такового купила бы, расплатившись за него даже своей родной дочерью Джудит, если бы среди них четверых не нашлось другого покупателя, — или твой отец этого не говорил?), а каковым он для нее и оставался, покуда не исчез, забрав с собою Генри, после чего она больше никогда его не видела, а война, лишения, горе и скверная пища до такой степени заполнили ее дни, что вскоре она, наверное, не могла даже вспомнить, что когда-то о нем позабыла. (А девушка, сестра, девственница — о боже, кто может знать, что ей привиделось в тот вечер, когда они подъезжали к дому по аллее, из какой сказочной страны явилась эта задумчивая девичья грёза, этот призрак, облаченный не в грубые железные латы, а в тонкие шелка, этот трагический тридцатилетний Ланселот, десятью годами ее старше; какою жизнью и какими наслаждениями был утомлен и пресыщен он, созданный в ее воображении письмами Генри.) Но вот наступил день отъезда, а ему еще не подали никакого знака; они с Генри уехали, а знака все не было: при расставанье он прочел на этом лице не больше, чем в тот день, когда впервые его увидел; на этом лице, если б не борода, он мог бы разглядеть (или поверить, что разглядел) истину, и тогда ему не нужен был бы знак; никакого знака не подали ему глаза, что ясно видели

его лицо: ведь у него не было бороды, чтобы за ней укрыться, — мог бы разглядеть истину, если б она в этих глазах была, однако в них не мелькнуло ни малейшей искры, и потому он понял, что истина открылась тому в его лице; он понял, что тот, другой, увидел ее с такой же очевидностью, как Генри в следующий сочельник, войдя в библиотеку, убедится, что отец не лжет, — убедится по одному тому, что отец ничего не скажет, ничего не сделает. Может, он даже подумал, подивился: уж не нарочно ли тот приклеил себе бороду, чтобы укрыться за нею в этот самый день, а если так, то почему же? почему? *Но почему же? почему?* думал он; ведь он хотел так мало, ведь он бы сразу понял, что тот, другой, хочет подать ему сигнал втайне; ведь он охотно, с радостью хранил бы эту тайну, пусть даже и не понимая почему; и в голове его мелькала мысль *О боже, я ведь молод, молод, а я совсем этого не знал; мне даже не сказали, что я так молод*; он был полон отчаяния и стыда, какие ощущаешь при виде физической слабости своего отца, и думал *Эту слабость должен был выказать я, я, а не он, в чьих жилах текла та же кровь, что и в моих, еще до того, как мою кровь испортили, запятнало нечто такое в крови моей матери, чего он не мог перенести...* Подожди! — воскликнул Шрив, хотя Квентин ничего не сказал; просто расслабленная, все еще согбенная фигура Квентина зашевелилась, начала выпрямляться, как будто он собирался заговорить, и потому, прежде чем он успел сказать хоть слово, Шрив уже произнес: — Подожди. Подожди. Ведь он на нее даже не взглянул. О, разумеется, он ее видел, у него были для этого все возможности, он при всем желании не мог от этого уклониться — миссис Сатпен уж наверняка позаботилась, чтоб эти десять дней они то и дело как бы случайно оказывались наедине в библиотеке, в гостиной, в коляске на вечерних прогулках, — все было задумано, подготовлено и разыграно подобно военным кампаниям умерших генералов из учебников, задумано еще три месяца назад, когда миссис Сатпен прочла первое письмо Генри, в котором упоминалось имя Бона, — пока они с Джудит^Е не стали чувствовать себя, как пара золотых рыбок в аквариуме; он разговаривал, конечно, и с ней, хотя не совсем понятно, о чем он мог бы говорить с деревенской девицей, едва ли прежде встречавшей мужчину — молодого или старого, — от которого бы рано или поздно не пахло навозом; он разговаривал с нею, как разговаривал бы со старухой, сидя с нею на золоченых стульях в гостиной, с той лишь разницей, что в первом случае ему приходилось все время поддерживать разговор, а во втором он не мог даже сам спастись бегством и вынужден был ждать прихода Генри, который бы увел его с собой. Возможно, к тому времени он наконец удосужился о ней подумать; наверное, это было тогда, когда он говорил себе *Не может быть, чтоб это было так; если б это было так, он бы не мог каждый день на меня смотреть и не подать мне никакого знака*, он даже говорил себе *С ней все пойдет легко*, как бывает за ужином, когда оставишь на столе шампанское, а сам идешь к буфету за виски и тебе вдруг случайно попадается поднос с чашей лимонада, и вот ты смотришь на лимонад и говоришь себе: он тоже пойдет легко, да только кому он нужен?.. Что ты на это скажешь?

— Но ведь это не любовь, — сказал Квентин.

— А почему нет? Слушай дальше. Помнишь, та старушенция, тетушка Роза, толковала тебе, что существуют вещи, которые обязательно должны существовать — не важно, есть они на самом деле или нет, — обязательно должны существовать, и притом гораздо больше, чем другие, которые, может, и существуют, но совсем не важно, есть они на самом деле или нет. Так вот именно в этом и была вся суть. У него просто еще не нашлось времени. Господи, да он наверняка знал, что это будет. Адвокат правильно считал, что он далеко не дурак; беда только в том, что не дурак он был совсем не того сорта, каким, по мнению адвоката, должен был оказаться. Он наверняка знал, что это случится. Вроде как бы ты прошел мимо того лимонада и, может, даже знал, что доберешься до буфета и до виски, но знал, что завтра утром тебе захочется этого лимонада, а потом добрался до виски и понял, что лимонада тебе хочется именно сейчас, а может, ты даже и не ходил к буфету, ты даже оглянулся на стол, где на измятой камчатной скатерти среди грязной дорогой посуды стояло это самое шампанское, и вдруг понял, что не хочешь возвращаться даже и туда. Суть не в выборе, не в том, что придется выбирать между шампанским, виски и лимонадом, а в том, что вдруг (там, в тех краях, где он еще весною не бывал, тогда наступила весна, а ведь ты говорил, что на севере штата Миссисипи климат чуть суровее, чем в Луизиане; там растет кизил, цветут фиалки и другие

ранние цветы, которые не пахнут, но земля и ночи еще прохладные и на черной ольхе, на иудином дереве, на буке и клене наливаются липкие тугие почки, похожие на девичьи соски, и даже от кедров веет чем-то молодым, чего он прежде никогда не знал) обнаруживаешь, что тебе хочется только этого лимонада и больше ничего, и все время только его и хотелось, и уже давно страшно его хочется, и к тому же знаешь, что лимонад этот предназначен для тебя. Не для кого-нибудь, а именно для тебя; и едва взглянув на эту чашу, ты уже знаешь, что она будет как цветок, но если к ней потянется не твоя, а чья-нибудь другая рука, окажется, что цветок-то с шипами; а ведь он к этому не привык, ибо во всех других чашах, которые охотно и легко шли ему в руки, был не лимонад, а шампанское или хотя бы дешевое вино. И более того. Он знал, что его подозрения могут оправдаться, или, наоборот, не знал, могут они оправдаться или нет. Да и кто скажет, не было ли там возможности кровосмешения, ибо какой мужчина (у которого нет сестры, про других я не знаю) был влюблен и не убедился в мимолетности и тщете плотского соприкосновения; кому не доводилось понять, что когда мгновенное уже позади, надо отступить от любви и наслаждений, собрать свои пожитки, все эти шляпы, башмаки и брюки, весь хлам, который тащишь за собой по беду свету, и отступить — ведь боги и сами не без греха; тогда как бесконечное совокупление наперекор минутным помехам и тревогам, всем этим *не было — есть — было* — удел одних лишь раздутых, как пузырь, безмозглых слонов или китов; хотя, впрочем, будь это тоже грех, тебе бы не позволили бежать, порвать все связи, возвратиться. Так разве я не прав? — Он умолк, и теперь его нетрудно было перебить. Теперь Квентин мог бы что-нибудь сказать, но он молчал. Он все еще сидел, засунув руки в карманы штанов, сжавшись и понутив голову; он странным образом казался меньше, чем на самом деле, из-за того, что был высок, но худ; его кости и суставы были так тонки, что даже в двадцать лет в них сохранилось что-то, какой-то слабый последний отголосок детства — во всяком случае по сравнению с сидевшим напротив мощным херувимом, который казался моложе, а оттого, что был намного крепче и плотнее, и еще моложе — так пухлый двенадцатилетний мальчик, который тяжелее другого фунтов на двадцать или тридцать, все равно выглядит моложе четырнадцатилетнего, потому что тот, некогда и сам такой же пухлый, потерял, променял свою пухлость (будь то по собственному желанию или нет) на состояние девственности, равно свойственное и юношам и девушкам.

— Не знаю, — сказал Квентин.

— Ну что ж, — сказал Шрив. — Может, я и сам не знаю. Но только, Господи, в один прекрасный день каждый непременно должен влюбиться. От этого никуда не денешься. Иначе было бы вроде того, как если бы Господь Бог родил Иисуса Христа, снабдил его плотницким инструментом, а потом ни разу не дал ему ничего этим инструментом построить. Разве это не так?

— Не знаю, — сказал Квентин. Он не двигался. Шрив посмотрел на него. Даже когда они молчали, их дыхание в этой холодной, как склеп, комнате медленно превращалось в легкий парок. Прошло уже некоторое время с тех пор, как пробил полночь.

— Ты хочешь сказать, что для тебя это не имеет значения? (Квентин ничего не ответил.) Ладно. Можешь этого не говорить. Я все равно тебе не поверю. Потому что я буду знать, что ты врешь. Ладно. Слушай. Суть в том, что о любви он мог не беспокоиться — она сама о себе побеспокоилась. Может, он даже знал, что отмечен судьбою, роком, вроде того, что старая тетушка Роза говорила тебе про некоторые вещи, которые непременно должны существовать — не важно, есть они или нет, — хотя бы только чтоб закрыть счета, написать «уплачено» на странице старого гроссбуха, и пусть бухгалтер ее оттуда вырвет, сожжет и тем от нее избавится. Может, он уже тогда знал: что бы там старик ни сделал, желал ли он при этом добра или зла, платить по счетам придется не старику; а теперь, когда старик одряхлел и обанкротился, кто должен платить, как не его сыновья, его потомство, ибо разве не так бывало во время оно? Старик Авраам, обремененный годами, слабый и неспособный более творить зло, наконец-то пойман, и вот военачальники и сборщики податей говорят ему: «Старик, ты нам не нужен» — а Авраам отвечает: «Хвала всевышнему, я вырастил сыновей, и пусть они несут бремя моих прегрешений и невзгод, а может, даже отберут у похитителей моих овец и коров, дабы я мог спокойно взирать на добро свое и на стократно умножившиеся поколения моих потомков и рабов, когда душа моя отлетит от тела моего». Он все время знал, что любовь сама о себе

побеспокоится. Может, именно оттого ему и не надо было о ней думать все те три месяца от сентября до Рождества, когда Генри ему о ней рассказывал, каждым своим вздохом как бы говоря *Ее и моя жизнь отныне будут переплетены с твоей*, ему не надо было терять время на любовь, когда она возникла и рикошетом ударила в него; ведь он даже не удосужился написать ей ни одного письма (кроме того, последнего), которое ей захотелось бы сохранить; он ведь, в сущности, даже не сделал ей формального предложения и не подарил кольца, которым миссис Сатпен могла бы везде и всюду хвастать. Ведь и она была отмечена роком — совсем как старик Авраам, который был так немощен и стар, что никто не хотел принять его в уплату долгов; может, ему даже не надо было дожидаться того Рождества, чтобы ее увидеть и все это понять; может, к этому как раз и привели рассказы Генри, которых он три месяца не слушал, но все равно услышал: *Я слушаю не про молодую девушку, девственницу; я слушаю про узкую, огороженную тонким забором полосу девственной земли, на которой уже вспаханы борозды, так что мне остается только бросить в них семя и снова их загладить*; он увидел ее в то Рождество, окончательно в этом убедился, а потом все это забыл, уехал обратно в университет и даже не вспомнил, что забыл, потому что у него тогда не было времени; возможно, лишь однажды, той весной, о которой ты рассказывал, он как-то раз остановился и сказал себе очень тихо и спокойно: *Ладно. Я хочу спать с той, кто, может быть, моя сестра. Ладно*, а потом забыл и об этом. Ведь у него не было времени. То есть у него не было ничего, кроме времени, — ведь ему приходилось ждать. Но не ее. С ней все было ясно. Речь шла о другом. Может, он надеялся, что оно будет в сумке у негра, всякий раз, когда тот приезжал из Сатпеновой Сотни и когда Генри думал, что он ждет письма от нее; между тем как на самом деле он думал *Может, он все-таки напишет. Пусть он только напишет: «Я твой отец. Сожги это» — и я послушаюсь. Или пусть это будет листок, клочок бумаги с одним только словом «Чарльз», написанным его рукой, и я пойму, что он хотел сказать, и ему не придется даже просить меня его сжечь. Или прядь его волос, или обрезок ногтя, и я их сразу узнаю — ведь я теперь уверен, что всю жизнь знал, как выглядят его волосы и ногти, и смог бы узнать эту прядь и этот обрезок из тысячи*. Но оно не пришло, и его письмо отправлялось к ней каждые две недели, а ее письма шли к нему, и, быть может, он думал *Пусть хотя бы одно из моих писем к ней вернулось нераспечатанным. Это был бы знак*. Но этого не случилось, и вскоре Генри пригласил его по дороге домой заехать на день или два в Сатпенову Сотню, и он согласился, он сказал себе *Письмо получит Генри; в нем будет сказано, что мой визит к ним в это время не совсем удобен, и, стало быть, он не намерен признавать, что я его сын, но я по крайней мере заставляю его в этом признаться*. Но и это письмо не пришло, и дату назначили, и семейство в Сатпеновой Сотне о ней уведомили, и письмо опять не пришло, и он думал *Значит, это будет; я был к нему несправедлив, может, он именно того и ждал*, и, может быть, тогда сердце у него екнуло и он сказал себе *Да. Да. Я откажусь от нее; я откажусь от любви и от всего остального; это будет легко, легко, и даже если он скажет: «Никогда больше не попадайся мне на глаза, прими мою любовь и мое признание, сохрани их в тайне и ступай», я послушаюсь; я даже не спрошу, какие поступки моей матери оправдывают его отношение к ней и ко мне*. И вот настал назначенный день, и они с Генри снова проскакали эти сорок миль и въехали в ворота и двинулись по аллее к дому. Он знал, что там будет — женщина, которую он увидел один раз, и увидел насквозь; девушка, которую он увидел насквозь, даже еще не увидев ни разу; мужчина, которого он видел ежедневно, за которым с трепетом и страстной тоской следил, но так и не мог разгадать; мать, которая во время этого рождественского визита отвела Генри в сторону, когда они еще не успели провести в доме и полдня, и сообщила ему о помолвке чуть ли не прежде, чем жених запомнил дочь в лицо; так что, по всей вероятности, еще прежде, чем они успели вернуться в университет, и совершенно того не сознавая, Генри уже рассказал Бону, что было на уме у его матери (он уже раньше рассказал Бону, что было на уме у него самого); так что, возможно, еще прежде, чем Бон отправился туда во второй раз (к тому времени уже наступит июнь, а каков июнь на севере штата Миссиссипи? ты ведь мне что-то об этом говорил?) цветущие магнолии и пересмешники, а через пятьдесят лет, после того, как они пойдут на войну, и потерпят поражение, и возвратятся домой, будет день поминования павших, будут ветераны в аккуратно вычищенных, собственноручно отутюженных серых мундирах, с никому не нужными бронзовыми

медалями, которые, впрочем, никогда ничего не означали, будут самые красивые девушки в белых платьях с алыми поясами, оркестр будет играть «Дикси», и все дряхлые старички — кто б мог подумать, что у них достанет силенок выйти из дому, приползти в город и даже просто сидеть на трибуне, — будут что есть духу вопить «ура»... — к тому времени уже наступит июнь, и будут и магнолии, и пересмешники в лунном свете, и колыханье занавесок на июньском ветерке в день присуждения дипломов и ученых степеней в университете, и музыка — скрипки и треугольники, — и закружатся в вихре танца кринолины, и Генри будет слегка навеселе; ему бы надо спросить: «Каковы твои намерения насчет моей сестры?» Но он не спрашивает, а вместо этого наверх опять краснеет, что видно даже и в лунном свете, однако стоит прямо — ведь если ты достаточно горд, чтобы выказать смирение, тебе нет нужды пресмыкаться (Генри, который каждым своим дыханием, казалось, твердил *Мы принадлежим тебе; поступай с нами как тебе вздумается*), — стоит и говорит: «Я раньше всегда думал, что возненавижу мужчину, на которого мне придется каждый день смотреть и чье каждое движение, слово и поступок будут говорить мне: я видел и трогал те части тела твоей сестры, которых ты никогда не увидишь и не тронешь; и теперь я точно знаю, что я его возненавижу, и потому хочу, чтобы этим мужчиной был ты»; он знает: Бон поймет, что он имеет в виду, пытается ему сказать и объяснить, и он (Генри) думает и говорит себе: *Не только потому, что он старше меня и знает больше, чем я когда-либо узнаю, и больше из всего этого запомнил, а по моей собственной доброй воле, не важно, знал ли я тогда об этом или нет, я отдал ему и мою жизнь и жизнь Джудит...*

— Но это еще не любовь, — сказал Квентин.

— Ладно, — сказал Шрив. — Ты только слушай. Они проехали эти сорок миль, въехали в ворота и вошли в дом. На этот раз Сатпена там даже и не было. А Эллен даже не знала, куда он уехал, спокойно и бездумно полагая, что он отправился по делам в Мемфис, а может, и в Сент-Луис, а Генри и Джудит и вовсе этим не интересовались, и только ему, Бону, было известно, куда Сатпен поехал; и он говорил себе *Конечно, он не был уверен, он должен был поехать туда, чтоб в этом убедиться*, теперь он говорил себе это громко, громко и быстро, так, чтобы не слышать, чтоб заглушить свои мысли. *Но если он подозревал, то почему бы не сказать об этом мне? Я бы на его месте сказала, я бы первым подошел к тому, в чьих жилах течет кровь, которая запятнана, испорчена какой-то примесью в крови моей матери*; теперь он говорил себе это громко и быстро *Так вот оно что: может, он поехал вперед, чтоб дожидаться меня там; он не оставил мне здесь никакой записки, потому что остальные не должны пока ничего подозревать; и он знает: увидев, что его здесь нет, я тотчас же пойму, где он*; он размышлял о них обоих — о мрачной, мстительной женщине, которая была его матерью, и о суровом, твердом, как скала, мужчине, который смотрел на него десять дней кряду, ничуть не изменившись в лице; о том, как почти через тридцать лет они, словно заключив перемирие, но все равно вооруженные до зубов, встретились лицом к лицу в этой богатой, убранной в стиле барокко гостиной, в этом доме, который он называл своим, ибо ведь у каждого человека, очевидно, должен быть свой дом; и мужчина, который, как он теперь окончательно убедился, был его отцом, даже и теперь не смирился (и это наполняло гордостью его, Бона), даже и теперь не сказал *Я был не прав*, а всего лишь *Я допускаю, что это так*, — о Господи, ты только подумай, что творилось в его душе все эти два дня, когда старуха поминутно норовила подсунуть ему Джудит: ведь она еще с того Рождества по секрету рассказывала всему округу об этой помолвке — разве твой отец не говорил, что весной она даже поехала с Джудит в Мемфис покупать ей приданое? — а Джудит даже не надо было на это соглашаться или этому противиться; она просто была, просто существовала, дышала, как и Генри, который, быть может, той весной в одно прекрасное утро проснулся и, не вставая с постели, сложил все цифры, подсчитал итог, свел баланс и сказал себе *Ладно. Я постараюсь стать таким, каким он хочет меня видеть; он может сделать со мною все, что хочет; пусть он мне только скажет, что делать, и я это сделаю, если даже то, о чем он меня попросит, покажется мне бесчестным, я все равно это сделаю*; да только Джудит, как женщина, лучше разбиралась в таких тонкостях и потому даже и не задумывалась о бесчестии, она только сказала *Ладно. Я сделаю все, о чем он может меня попросить, и поэтому он никогда не попросит меня ни о чем таком, что я считаю бесчестным*; и потому (может, на этот раз он ее даже поцеловал; может, это был

первый в ее жизни поцелуй, и она была слишком невинной, чтобы быть застенчивой или скромной или хотя бы понять, что ее чувствами играют; может, после этого поцелуя она просто посмотрела на него мирно, спокойно и слегка озадаченно — оттого что возлюбленный поцеловал ее в первый раз, но совершенно так, как мог бы поцеловать ее брат, разумеется, если бы брату когда-либо пришло в голову или кто-нибудь заставил бы его поцеловать ее в губы)... и потому когда эти два дня прошли, и он опять уехал, и Эллен набросилась на нее с криками: «Как! Ни предложения, ни клятвы в верности, ни кольца?» — она была слишком изумлена, чтоб хотя бы солгать; ведь только тут ее впервые осенило, что никакого предложения не было и в помине... Так представь себе, что творилось у него в душе, когда он ехал верхом к Реке. И после, когда он уже на пароходе шагал взад-вперед по палубе, ошущая сквозь дощатый настил, как машина с каждым днем все ближе и ближе подводит его к той минуте, которой, как ему теперь уж было ясно, он ждал с тех самых пор, как вырос и начал что-то понимать. Разумеется, временами ему приходилось повторять себе очень громко и быстро *Так вот в чем суть. Он просто хочет сперва окончательно убедиться, повторять, чтобы вытеснить прежнее. Но почему именно так? И почему не в Сатпеновой Сотне? Ведь он знает, что я никогда не потребую ни малейшей частицы из того, чем он теперь владеет, чего добился ценою жертв, долготерпения и унижений, о которых, кроме него, никто не знает (так говорили мне они; не он, а именно они); знает это так твердо, что ему — точно так же как и мне, и это он знает — никогда не пришло бы в голову, что именно этим и объясняется его поведение; ведь он не только щедр, но и безжалостен, ведь он, наверно, отдал матери и мне все, что принадлежало им обоим, в уплату за то, что он от нас оторвался; и не потому, что с ним так поступили, что это его обидело, оскорбило, заставило без всякой надобности так долго пребывать в напряженном ожидании, — ведь сам он ничего не значил; то, что он измучен и что над ним зло издеваются, тоже ничего не значило, а суть состояла в том, что ему надо было беспрерывно напоминать, что сам он никогда бы так не поступил, а ведь он был порожден той же кровью уже после того, как ее запятнали и испортили какие-то неизвестные ему поступки или свойства его матери... Все ближе и ближе, пока наконец напряженное ожидание, недоумение, нетерпение и все остальное не вылились в готовность всецело отдаться на милость победителя, в одну-единственную мысль *Ладно. Ладно. Пусть даже так. Даже если он хочет поступить так. Я обещаю никогда больше не видеться с ней. Никогда больше не видеться с ним.* Потом он приехал домой. И так никогда и не понял, был там Сатпен или не был. Так никогда и не узнал. Он предпологал, что был, но так никогда и не узнал — мать была все той же мрачной и свирепой психопаткой, какой он ее оставил в сентябре, и выведать у нее что-либо обиняками он не мог, а спросить напрямик не посмел; тогда как хитроумные, но совершенно для него прозрачные вопросы адвоката (насчет того, как ему понравился университет и местные жители, а возможно, он даже нашел — быть не может, чтобы не нашел — себе друзей среди тамошних семейств) только лишний раз доказывали, что Сатпен там не был, а если и был, то адвокат об этом ничего не знал, ибо теперь, когда он, как ему казалось, понял, зачем адвокат определил его именно в этот университет, из вопросов адвоката было ясно, что он за это время не узнал ничего нового. (Ничего нового он не извлек и из беседы с адвокатом, ибо она была короткой, чуть ли не самой короткой из всех — короче будет только та, что состоится следующим летом, когда Генри придет вместе с ним.) Ибо у адвоката не хватило духу спросить его напрямик — так же как у него самого (у Бона) не хватило духу спросить напрямик свою мать. Ибо хотя адвокат и считал его скорее дураком, нежели лентяем и тупицей, даже и он (адвокат) никогда бы не поверил, что Бон может стать такого рода дураком, каким он впоследствии стал. Итак, он ничего не сказал адвокату, а адвокат ничего не сказал ему, и прошло лето, и наступил сентябрь, и ни адвокат, ни мать так ни разу и не спросили, хочет ли он вернуться в университет. Так что в конце концов ему самому пришлось сказать, что он намерен туда вернуться, и, возможно, он даже понял, что сделал этот ход совершенно зря, ибо на лице адвоката нельзя было прочесть ничего, кроме молчаливого согласия посредника. Итак, он вернулся в университет, где его ждал (да, именно ждал) Генри, который даже не сказал ему: «Ты не ответил на мои письма. Ты даже не писал Джудит»; Генри, который уже раньше говорил *Я, моя сестра и все наше достояние принадлежим тебе*, а возможно, теперь он все же написал письмо Джудит и послал его с первым же черно-*

мазым, который повез почту в Сатпенову Сотню, сообщил, что провел очень скучное лето и потому писать было совершенно нечего, и, возможно, четко и ясно проставил на обороте конверта *Чарльз Бон*, а сам подумал *Он это обязательно увидит. Может, он отошлет его обратно. Может, если оно вернется, меня уже ничто не остановит, и тогда я наконец пойму, как мне быть дальше.* Но письмо не вернулось. И остальные тоже не вернулись. И прошла осень, и наступило Рождество, и они снова поехали в Сатпенову Сотню, и на этот раз Сатпен тоже отсутствовал — он был в поле, в городе, на охоте или еще где-то; когда они приехали, Сатпен отсутствовал, и Бону стало ясно, что он и не надеялся его там увидеть, и он сказал себе *Сейчас. Сейчас. Это произойдет сейчас, а я молод, молод, потому что все еще не знаю, как мне быть.* И вполне возможно, что в тот вечер (он знал, что Сатпен возвратился, что он уже в доме; это, наверно, было как порыв ветра, как чье-то дыхание в холодной тьме, и он остановился мрачно, спокойно, настороженно и подумал *Что это? Что это такое?* Потом он понял, почувствовал, что тот, другой вошел в дом, и тогда он перевел дух, глубоко вздохнул, и сердце тоже забилося спокойно и ровно), в тот вечер в саду, когда он прогуливался с Джудит, беседуя с ней любезно, почтительно, как автомат (а Джудит думала об этом то же, что прошлым летом о его первом поцелуе: *Вот оно. Вот что такое любовь, ее опять как обухом по голове сразило разочарование, но она все еще не поддавалась*), в тот вечер он, наверно, просто ждал, при этом говоря себе *А вдруг он все-таки за мной пошлет. Или хотя бы просто это скажет*, говорил, уже понимая, что этого не будет: *Он сейчас в библиотеке, он послал черномазого за Генри; сейчас Генри входит в комнату*; и, возможно, он остановился, посмотрел на нее, возможно, на его лице теперь даже появилось нечто вроде улыбки, он взял ее за локти, мягко и ласково повернул к дому и сказал: «Ступайте. Я хочу остаться один, чтобы подумать о любви» — и она ушла, ушла с тем же чувством, с каким приняла в тот день его поцелуй, и, возможно, ощутила у себя на спине легкое мимолетное прикосновение его ладони. А он стоял и глядел на дом; наконец оттуда вышел Генри; они молча постояли, посмотрели друг на друга, повернулись, пересекли сад и двор, вошли в конюшню, где, возможно, к их услугам был черномазый, а возможно, сами оседлали обеих лошадей и дождались, пока черномазый слуга вынес из дома две заново упакованные седельные сумки. И, возможно, он даже и тогда не спросил: «Разве он ничего не велел мне передать?»

Шрив умолк. То есть умолк постольку, поскольку они оба, Шрив и Квентин, понимали, что он кончил, — ведь они оба знали, что он даже и не начинал, ибо для них не имело значения, кто именно все время говорил (хотя, вероятно, ни тот, ни другой этого различия не сознавал). И потому теперь они уже не вдвоем, а четвером в тот сочельник, той темной декабрьской ночью скакали на двух лошадях по промерзшим ухабам; сначала четвером, а позже только вдвоем — Чарльз-Шрив и Квентин-Генри, — и оба были уверены, что Генри тогда думал *Он (то есть его отец) погубил нас всех*; были уверены, что ему ни на секунду не приходило в голову *Он (то есть Чарльз Бон) наверняка все время это знал или хотя бы подозревал; вот почему он так себя вел, вот почему он прошлым летом не предложил ей выйти за него замуж*; оба были уверены, что Генри непременно должен был это подумать, и именно в ту минуту, когда он вышел из дома и когда они с Бонем молча стояли и смотрели друг на друга, а потом пошли на конюшню и оседлали лошадей, но что Генри просто от этого отмахнулся, потому что все еще этому не верил, хотя и знал, что это правда; теперь, придя в полное отчаяние, он наверняка понял, в чем секрет его отношения к Бону, чем было вызвано то бессознательное чувство, которое охватило его год с четвертью назад, когда он впервые увидел Бона; он знал это, но не желал, отказываясь этому верить. И вот они все четверо скакали на двух лошадях по северу штата Миссисипи той ночью, а затем ясным безветренным морозным рождественским днем, словно парии объезжая городские дома, где к дверным молоткам были привязаны ветки остролиста, на люстрах висели пучки омелы, на столах в прихожей стояли чаши с пуншем и грогом, а из оштукатуренных труб негритянских хижин поднимались к небу прямые столбы голубого древесного дыма; скакали к Реке и к пароходу. На пароходе тоже праздновали Рождество — с теми же букетами остролиста и омелы, с тем же пуншем и грогом, а возможно, даже наверняка, с рождественским ужжином и балом, но все это было не для них — они стояли в студеной тьме у поручней над темной водой и все еще молчали, ведь говорить им было не о чем, и оба (четверо) как бы проходили некий искус, как бы в нерешительности

чего-то ожидали благодаря Генри, который знал, но все еще не верил, который хотел тщательно рассмотреть и доказать самому себе то, что, по мнению Квентина и Шрива, было для него равносильно смерти. Итак, все еще вчетвером, они сошли с парохода в Новом Орлеане, которого Генри никогда прежде не видел (все его знакомство с внешним миром, не считая пребывания в университете, ограничивалось, вероятно, двумя-тремя поездками в Мемфис, где они с отцом покупали рабов или скот), а теперь не имел времени осмотреть, Генри, который знал, но не верил, и Бон, которого мистер Компсон называл фаталистом, но который, как думали Шрив и Квентин, не противился решению и замыслам Генри по той простой причине, что он не знал и не хотел знать, как поступит Генри, ибо давно уже понял: он еще не знает, как поступит сам, — вчетвером сидели в затхлой, убранной в стиле барокко роскошной гостиной, которую вообразил себе Шрив и которая, вероятно, именно такой на самом деле и была, а дочь владельца сахарной плантации, уроженка Гаити, которую первый тесть Сатпена выдал ему за испанку (худая неряшливая женщина — растрепанные, черные с проседью, жесткие, как лошадиный хвост, волосы, кожа цвета пергамента, мешки под неукротимыми черными глазами — лишь они одни на всем лице оставались молодыми, ибо в них не было забвения, — женщина, которую Шрив и Квентин тоже выдумали и которая тоже, вероятно, именно такой на самом деле и была), ничего им не сказала — в этом не было нужды, потому что она уже все сказала раньше, не спросила: «Мой сын влюбился в вашу сестру?» — а заявила: «Значит, она в него влюбилась», после чего долго и грубо смеялась над Генри, который не мог бы ей солгать, даже если б ему было нужно, и которому даже не нужно было отвечать им Да или Нет. Их было четверо — там, в этой комнате в Новом Орлеане в 1860 году, точно так же как в некотором смысле их было четверо здесь, в этой холодной, как склеп, комнате в штате Массачусетс в 1910 году. И Бон, вполне возможно, даже наверное, взял Генри к своей любовнице-окторонке и к сыну, как говорил мистер Компсон, хотя ни Шрив, ни Квентин не думали, что этот визит произвел впечатление на Генри, как, судя по всему, полагал мистер Компсон. Во всяком случае, Квентин даже не рассказал Шриву, что его отец об этом визите говорил. Возможно, сам Квентин не слушал, что мистер Компсон рассказывал о нем в тот вечер; возможно, в ту минуту, сидя на веранде в жарких сентябрьских сумерках, Квентин пропустил это мимо ушей, как пропустил бы и Шрив, ибо они со Шривом — и, очевидно, тоже вполне справедливо — полагали, что для Генри окторонка и ее сын составляли всего лишь еще одну особенность Бона, которой следовало не завидовать, а подражать, если б это было возможно, если бы для подражания еще оставалось время и мир — мир ^{ни} между людьми, принадлежащими к одной расе и народу, а мир между двумя восставшими друг на друга юными душами и тем, что неотвратимо заставило их друг на друга восстать, — ведь Бон с Генри, равно как Шрив с Квентином, были не первыми в мире юношами, которые полагали (или хотя бы действовали согласно этому предположению), будто войны порою начинаются лишь затем, чтобы разрешать личные затруднения и споры молодых людей.

— Итак, старуха задала Генри один только этот вопрос, а потом долго над ним смеялась, и тогда он убедился, и тогда они оба убедились. И потому на этот раз оно оказалось коротким, это свидание с адвокатом, самым коротким из всех. Ведь адвокат несомненно за Боном следил; возможно, той, второй осенью даже пришло какое-то письмо, когда адвокат ждал, а там, казалось, все еще ничего не происходило (а возможно, именно из-за адвоката Бон не ответил на письмо Генри и Джудит тем летом — он просто их не получил), какое-то письмо — две, а может, даже три страницы с «Вашим покорным», а также «и т. д.», из которых можно было выжать тринадцать слов *Я знаю, что вы дурак, но какого именно дурака вы собираетесь свалить?* а Бон был вовсе не дурак, по крайней мере не настолько, чтобы не суметь их выжать... Да, следил за ним пока еще без особой тревоги, а лишь с изрядною досадой; он дал Бону достаточно времени, чтобы тот мог к нему явиться; может, даже прошла целая неделя (после того как он, адвокат, ухитрился залучить к себе Генри и выведать у этого простака кое-какие мысли), прежде чем он смог залучить к себе также и Бона; возможно, он обтяпал все это так ловко, что даже и Бон не сразу понял, что его ждет. Свидание было коротким. Теперь это уже не составляло тайны; они об этом просто не упомянули; адвокат сидел за конторкой (и, может, в потайном ящике лежал тот грессбух, в котором он только что произвел последние

подсчеты за прошлый год, определив прирост в двести процентов годовых от подлинной стоимости плюс гордость и любовь); адвокат был недоволен, раздосадован, но ничуть не озабочен — он не только знал, что держит все нити у меня в руках, но все еще не верил, что Бон именно такой дурак, хотя уже готов был несколько изменить свое мнение насчет тупости или хотя бы медлительности, — адвокат наблюдал за ним и говорил вкрадчиво и елейно, ведь теперь это уже не составляло тайны, и понимая, что Бон знает все, что когда-либо узнает, или что ему потребуется знать, он мог нанести внезапный удар: «Знаете ли вы, молодой человек, что вам очень повезло? Ведь большинство из нас даже в случае удачи вынуждено платить за месть, порою даже настоящими долларами. А вы можете не только отомстить, но только восстановить доброе имя вашей матушки, но бальзам, коим вы облегчите ее боль, будет иметь еще и дополнительную ценность, и эту ценность можно перевести в предметы, в которых каждый молодой человек нуждается, которые принадлежат ему по праву и которые — нравится нам это или нет — можно получить лишь в обмен на полноценную монету...» — а Бон еще не спрашивал: «Что вы хотите этим сказать?» — еще не двигался; вернее, адвокат еще не понял, что он уже начинает двигаться, и он (адвокат) продолжал вкрадчиво и непринужденно: «И более того, кроме мести, так сказать, в качестве бесплатного приложения к мести еще и этот букет, этот прекрасный цветок прерий, который не следует упускать и который может цвести в вашей петлице с не меньшим успехом, чем в любой другой, этот... как бишь вы, молодые люди, выражаетесь? — этот лакомый кусочек...» — и тут он вдруг увидел Бона, а может, только его глаза, а может, просто услышал, как начали двигаться его ноги. А потом, схватив пистолет («дерринджер»¹, кавалерийский пистолет, револьвер или что там у него было), он опрокинул стул, сторбившись прижался к стене, зарычал: «Отойдите! Стойте!» — потом завопил: «Помогите! Помогите! Он...!» — а потом просто вопил, пытаясь разжать свои пальцы, вцепившиеся в пистолет, чувствуя и слыша, как затрещали его собственные вывихнутые кости и даже шейные позвонки, когда Бон ударил его по одной щеке ладонью, а по другой тыльной стороной руки; может, он даже слышал, как Бон сказал: «Молчите. Тихо. Я не причину вам вреда», а может, даже не он, а сидящий в нем адвокат произнес это «тихо», которого он послушался, и, может, опять-таки этот самый адвокат поставил на место стул, посадил его, привалив всем телом к столу, приказал ему не говорить *Вы за это ответите*, а сидеть, привалившись к столу, обернуть носовым платком и гладить вывихнутую Боном руку, между тем как Бон стоял и смотрел на него сверху вниз; в свисающей вдоль бедра руке он держал за ствол пистолет и говорил: «Если вам¹ угодно получить удовлетворение, то, разумеется...» — а адвокат, который теперь откинулся на спинку стула и прикладывал к щеке носовой платок, отвечал: «Я был не прав. Я неправильно понял ваши чувства. Прошу извинения», — на что Бон сказал: «Пожалуйста. Как хотите. Я готов принять и извинение и пулю, как вам будет угодно», а адвокат (на щеках его выступили красные пятна, они постепенно блекли, и это было все; ни в голосе, ни в глазах ничего не было заметно) ответил: «Я вижу, за мою злополучную оговорку вы хотите воздать мне полной мерой — даже насмешкой. Даже если бы я считал, что право на моей стороне (чего я отнюдь не считаю), я все равно был бы вынужден отклонить ваше предложение. Я не ровня вам в искусстве владения пистолетом». «А ножом и рапирой?» — спросил Бон. «Ножом и рапирой тоже», — вкрадчиво и непринужденно ответил адвокат. Теперь адвокату не было даже нужды говорить *Вы за это ответите*, потому что Бон сказал это за него сам; он стоял, держал в расслабленной руке пистолет и думал *Но только на пистолетах, ножом или рапирах. Чтоб я не смог взять над ним верх. Я мог бы его застрелить. Я застрелил бы его без зазрения совести, как змею или как человека, который наставил бы мне рога. Но он все равно возьмет надо мною верх. Да. Он уже взял надо мной верх.* Он думал это, когда... (— Послушай, — сказал, вскричал Шрив. — Это произойдет через два года, когда он будет лежать в спальне того частного дома в Корните после Питсбург-Лендинга, и когда будет заживать рана у него на плече, и когда его наконец догонит письмо от окторонки (может, даже именно то самое, с фотографией ее и малыша), в котором она будет слезно молить его о деньгах, сообщая, что адвокат в конце концов сбежал в Техас, или в Мексику,

¹ «Д е р р и н д ж е р» — короткоствольный крупнокалиберный пистолет. (Здесь и далее примечания переводчицы.)

или куда-нибудь еще и что она (окторонка) не может нигде найти его мать — адвокат, наверное, убил ее, а потом украл деньги, а возможно, они оба сбежали или позволили себя убить, никак не позаботившись о ней)... Да, теперь они все знали. О Господи, подумай о ней, о Боне, который хотел узнать, у которого было на то достаточно оснований, который, насколько ему было известно, никогда не имел никакого отца, а был каким-то образом создан соединенными усилиями этой женщины, не позволявшей ему играть с другими детьми, и этого адвоката — без его согласия эта женщина не смела даже купить ни хлеба, ни мяса, — создан соединенными усилиями этих двоих людей, из которых ни один не испытал ни наслаждения, ни страсти при его зачатии, равно как не испытал ни родовых мук, ни боли при его рождении; и если б только хоть один из них сказал ему всю правду, то ничего из происшедшего никогда бы не случилось; а между тем Генри — тому, у кого был отец, кто жил в довольстве, не зная никаких забот, — сказали правду они оба; тогда как ему (Бону) не сказал ее никто. И подумай о Генри, который сначала сказал, что это ложь, а узнав, что это не ложь, все равно сказал: «Я не верю», который даже в этом «я не верю» почерпнул достаточно сил, чтобы, отрехшись от семьи и от родного дома, отстаивать свое непокорство, и, даже убедившись в ложности своих слов, еще сильнее укрепился в своем намерении не возвращаться домой; о Господи, подумай, какое бремя он взвалил себе на плечи, он, потомок двух методистов (или одного длинного ряда негнбаемых методистов), выросший в захолустье на севере штата Миссисипи и поставленный перед угрозой кровосмешения, ни более ни менее как кровосмешения, из всего, что могло быть ему уготовано и против чего должно было просто из принципа восстать все его наследие и все его воспитание, да еще попавший в такой переплет, из которого, как он и сам понимал, ни кровосмешение, ни принципы его не вызволят. Так что, возможно, в тот вечер, когда они ушли и шагали по улицам и когда Бон наконец сказал: «Ну? Что теперь?» — Генри ему ответил: «Подожди. Подожди. Дай мне к этому привыкнуть». И, возможно, дня через два или три Генри сказал: «Ты не посмеешь. Не посмеешь» — и тогда Бон в свою очередь повторил: «Подожди. Я твой старший брат; разве старшему брату говорят *Ты не посмеешь?*» А возможно, это было через неделю, когда Бон привел Генри к окторонке, а Генри посмотрел на нее и спросил: «Разве тебе этого недостаточно?» — а Бон ответил: «Ты хочешь, чтобы этого было достаточно?» — на что Генри возразил: «Подожди. Подожди. Мне нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Ты должен дать мне время». Господи, ты только подумай, что должен был говорить Генри той зимой, а потом той весной, когда был избран Линкольн, когда было создано законодательное собрание штата Алабама и южные штаты начали выходить из Союза, а потом в Соединенных Штатах оказалось два президента, и телеграф принес весть о событиях в Чарльстоне, и Линкольн призвал свою армию к оружию, и жребий был брошен — теперь уже окончательно и бесповоротно; и Генри с Боном, даже не посоветовавшись друг с другом, уже решили идти; они бы все равно решили идти, даже если б никогда в жизни не видели друг друга, а тем более теперь, ибо кто же пропустит войну; представь себе, что они говорили друг другу — Генри, наверно, сказал: «Разве ты должен на ней жениться? Зачем тебе это надо?» — на что Бон ответил: «Он обязан был мне сказать. Он обязан был сказать сам мне самому. Я вел себя честно и благородно. Я ждал. Теперь ты знаешь, почему я ждал. Я предоставил ему возможность сказать мне об этом самому. Но он не сказал. Если б он это мне сказал, я согласился бы и обещал бы никогда больше не встречаться ни с тобой, ни с нею, ни с ним, но он мне ничего не сказал. Сначала я думал — это потому, что он не знает. Потом я понял, что он знает, но все-таки ждал. Однако он мне ничего не сказал. Он сказал это тебе, а мне просто дал понять — вроде того как через черномазого передают нищему или бродяге, чтобы он убирался. Неужели ты не понимаешь?» «Но как же Джудит? Наша сестра. Подумай о ней», — сказал Генри, а Бон продолжал: «Ладно. Я о ней думаю. Ну а дальше что?» Ведь они оба знали, как поступит Джудит, когда узнает; ведь они оба знали, что у женщин есть гордость и честь почти во всем, кроме любви, и потому Генри сказал: «Да. Я жду. Я понимаю. Но ты должен дать мне время к этому привыкнуть. Ты мой старший брат, ты должен сделать для меня хотя бы это!» Представь себе их обоих: Бона, который не знал, что он предпримет, но должен был говорить, притворяться, будто знает, и Генри, который отлично знал, что предпримет он, но должен был говорить, что не знает. Потом снова наступило Рождество, а потом 1861 год, и они

ничего не получали от Джудит, потому что Джудит не знала точно, где они: ведь Генри пока еще не разрешал Бону ей писать; потом они услышали о роте под названием «Университетские Серые», которую организовали в Оксфорде, — они, наверное, только того и ждали. И вот они снова сели на пароход, идущий на Север; на этот раз там было еще более шумно и весело, чем даже на Рождество, как это всегда бывает в самом начале войны, пока еще не истощились запасы еды и не появились толпы раненых солдат, вдов и сирот, но они и теперь не участвовали в веселье, а снова стояли у перил над пенящейся водой, и, может быть, дня через два или три Генри неожиданно сказал, неожиданно воскликнул: «Но ведь так поступали даже короли! Даже герцоги! В Лотарингии был какой-то герцог по имени Джон, который женился на своей сестре. Папа римский отлучил его от церкви, но им это ничуть не повредило! Не повредило! Они все равно остались мужем и женой. Они все равно любили друг друга!» — а потом снова, очень громко, очень быстро: «Но ты должен подождать! Ты должен дать мне время! Может, война все это решит и нам самим ничего решать не придется!» И, может, именно в этом твой отец был прав: они поехали в Оксфорд, не заезжая в Сатпенову Сотню, записались в университетскую роту и куда-то спрятались, чтобы переждать, и Генри позволил Бону написать Джудит одно письмо; они послали его с черномазым, который должен был ночью пробраться в негритянскую хижину и передать его горничной Джудит, и Джудит послала ему свой портрет в медальоне, и они поехали дальше и дождались, пока рота сшила себе знамена, объехала весь штат, попрощалась с девушками и отправилась на фронт.

О Господи, ты только о них подумай. Ведь Бон знал, что делает Генри, точно так же как он всегда, с того первого дня, когда они увидели друг друга, знал, что Генри думает. Может, он именно потому и знал, что делает Генри, что не знал, каковы его собственные намерения, и не узнает этого, пока в один прекрасный день не произойдет взрыв, и тогда все вырвется наружу, и он поймет, что всегда знал, как это будет, и, значит, ему нечего думать о себе, а надо только наблюдать, как Генри пытается примирить свои намерения со всеми голосами своего наследия и воспитания, которые ему твердят *Нет. Нет. Нет. Ты не можешь. Ты не должен. Ты не посмеешь.* Может, к этому времени они уже были под огнем, над головами у них пронеслись, гремели и рвались снаряды, а они лежали, готовясь к атаке, и Генри снова восклицал: «Но ведь тот герцог Лотарингский так поступил! На свете, наверное, было множество таких, кто так поступал, только об этом никто не знал, и, может, они за это страдали и умерли и теперь находятся в аду. Но они так поступали, и теперь это не имеет значения; ведь даже от тех, про кого мы знаем, теперь остались только имена, и теперь это не имеет никакого значения», а Бон смотрел на него, слушал и думал *Это все оттого, что я сам не знаю, что мне предпринять, и потому он чувствует, что я колеблюсь, хотя он этого не сознает. Может, если б я ему сейчас сказал, что я на это пойду, он понял бы, чего он хочет, и сказал бы мне: Ты не посмеешь.* И, может, твой отец на этот раз был прав и они действительно думали, что война все решит и им не придется ничего решать самим, а может, на это надеялся один только Генри; ведь, может, твой отец прав и тут; и Бону было все равно: раз те два человека, которые могли дать ему отца, от этого отказались, для него теперь не имело значения вообще ничего — ни месть, ни любовь, ни все остальное; ведь теперь он знал, что месть не может восполнить ему ущерба, а любовь не может его умиротворить. А может, Бон не писал Джудит вовсе не из-за Генри, а оттого, что все было ему безразлично — даже и то, что он все еще не знал своих намерений. Затем наступил следующий год. Бон теперь был уже офицером, они двинулись к Шайло, опять-таки ничего об этом не зная, и снова разговаривали; они шли колонной, офицер отстал и подъехал к той шеренге, в которой шагал рядовой, и Генри снова восклицал, стараясь приглушить свой взволнованный, полный отчаяния голос: «Неужели ты до сих пор не знаешь, как тебе поступить?» — а Бон, взглянув на него с тем своим выражением, которое могло быть улыбкой, отвечал: «Допустим, я скажу тебе, что не намерен к ней возвращаться» — и тогда Генри, шагавший с ранцем и с восьмифунтовым мушкетом, начинал задыхаться; он задыхался, а Бон, не сводя с него глаз, говорил: «Я теперь впереди, далеко от тебя; когда начнется бой, атака, я буду еще дальше...» Тут Генри простонал: «Замолчи! Замолчи!» — а Бон все смотрел на него, и в уголках его глаз и рта блуждала эта смутная неясная улыбка: «...и кто про это узнает? Ты даже сам не будешь точно

знать, да и кто сможет доказать, что пуля янки не сразила меня в ту самую секунду, а может, даже раньше, чем ты спустил курок?..» — а Генри, задыхаясь, широко раскрытыми глазами смотрел в небо; он оскалил зубы, на лбу его выступил пот, он так крепко вцепился в приклад своего мушкета, что побелели костяшки пальцев, и, задыхаясь, твердил: «Замолчи! Замолчи! Замолчи! Замолчи!» Потом было Шайло, и на второй день битва была проиграна, и бригада отступила от Питсберг-Лендинга и... Послушай! — воскликнул Шрив. — Постой, подожди! — Уставившись на Квентина, он и сам начал задыхаться, словно должен был не только подсказать своей тени реплику, но и снабдить ее воздухом, в котором она могла бы ему повиноваться. — Ведь тут твой отец опять ошибся! Он говорил, что ранили Бона, но это не так. Кто мог ему про это сказать? Кто мог сказать Сатпену или твоему деду, который из них был ранен? Сатпен этого не знал, потому что его там не было, а деда твоего там тоже не было, потому что там его самого ранило и он потерял руку. Так кто же им сказал? Не Генри, потому что Сатпен после этого видел Генри всего один раз, и, может, им было некогда говорить о ранах, да и вообще говорить о ранах в армии конфедератов в 1865 году было все равно что углекопам говорить о саже; и Бон тоже не мог, ведь его Сатпен вообще больше не видел, потому что его уже не было в живых, — так вот, ранили не Бона, а Генри, и в конце концов Бон напел его, нагнулся, хотел поднять, а Генри не давался, он оттолкнул его и сказал: «Оставь меня! Дай мне умереть! Тогда я ничего не буду знать», — а Бон ему ответил: «Значит, ты хочешь, чтоб я к ней вернулся?»; и вот Генри лежал, сопротивлялся, тяжело дышал, пот выступил у него на лбу, он до крови закусил себе губы, и тогда Бон ему сказал: «Ты хочешь, чтоб я к ней вернулся. Скажи это. Может, тогда я не вернусь. Скажи», а Генри лежал, все еще сопротивляясь; сквозь мундир проступила свежая кровь, он оскалил зубы, лицо его покрывалось потом, и в конце концов Бон схватил его за руки, поднял и взвалил себе на спину...

Сначала их было двое, потом четверо, теперь снова стало двое. Комната и вправду напоминала склеп, в воздухе чувствовалось что-то застывшее, неподвижное и мертвенное, совсем не похожее на живой бодрящий холод. Но они оставались там, хотя всего в каких-нибудь тридцати футах их ожидало тепло и постель. Квентин даже не надел пальто: оно лежало на полу там, куда свалилось с ручки кресла, на которую Шрив его повесил. Они не уходили от холода. Они оба терпели его, словно в нарочитом пылу самобичевания хотели, чтобы их физические муки помогли им острее ощутить душевную боль тех двоих юношей в те времена, пятьдесят или, вернее, сорок восемь, а потом сорок семь и сорок шесть лет назад, ибо шел шестьдесят четвертый, а потом шестьдесят пятый год и голодные, оборванные остатки армии, отступив через Алабаму и Джорджию в Каролину, двигались дальше не под напором теснящего их победоносного войска, а скорее под напором взметнувшихся высоким валом имен проигранных обеими сторонами сражений — Чикамога, Франклин, Виксберг, Коринт и Атланта, — сражений, проигранных не только из-за численного превосходства противника и недостатка амуниции и провианта, а из-за генералов, которым совсем не следовало быть генералами — ведь они стали генералами не потому, что изучили современные методы ведения войн или способны были их усвоить, а потому, что ничем не ограниченная кастовая система наделила их божественным правом командовать своими ближними; к тому же эти генералы прожили недостаточно долго, чтобы овладеть искусством вести постепенно разрастающиеся вширь массовые сражения, ибо они уже с самого начала были таким же анахронизмом, как Ричард, Роланд или Дюгеклен²; в двадцать восемь и тридцать два года они уже носили плюмажи и плащи с алым подбоем и в кавалерийской атаке захватывали военные корабли, но не брали ни хлеба, ни мяса, ни снарядов; они могли за три дня разбить три армии, а потом ломали свои же изгороди, чтоб сварить мясо, украденное в своих же коптильнях; они могли в одну прекрасную ночь с горсточкой людей лихо поджечь и уничтожить вражеские склады с запасом провианта на миллион долларов, а на следующую ночь сосед находил их в постели со своей женой и убивал на месте, — двое, четверо, теперь снова двое, как думали Квентин и Шрив, и эти двое-четверо-двое все еще продолжали говорить, причем один все еще не знал, как он поступит, а второй — Генри — знал, как придется поступить ему, но еще

² Дюгеклен Бертран (1820—1880) — знаменитый французский полководец, коннетабль Франции и Кастилии.

не мог с этим смириться; возмнив себя авторитетом по вопросу кровосмешения, он все толковал о своем герцоге Джоне Лотарингском, словно надеялся воскресить этот преданный анафеме и отлученный от церкви призрак, чтобы тот самолично подтвердил ему, что это хорошо, — так люди и прежде и позднее пытались заставить Бога или дьявола оправдать поступки, на которые толкала их собственная плоть, — двое-четверо-двое смотрели друг на друга в этой холодной, как склеп, комнате: Шрив, канадец, дитя снежных вьюг и морозов, в пальто, напяленном поверх купального халата, пытался закрыть уши поднятым воротником; Квентин, южанин, угрюмый и хрупкий отпрыск дождей и удушливого зноя, в тонком костюме, который он привез из Миссисипи, не удосужился даже поднять с пола свое пальто (столь же тонкое и бесполезное здесь, как и его костюм):

(...шла зима шестьдесят четвертого, армия отступала через Алабаму в Джорджию; теперь прямо у них за спиной была Каролина, и Бон, офицер, размышлял: «Одно из двух — либо нас догонят и уничтожат, либо Старик Джо³ нас вызовет и мы соединимся с генералом Ли перед Ричмондом, и тогда, по крайней мере, у нас будет право сдаться»; а однажды его вдруг осенило, он вспомнил, что Джефферсонский полк, которым теперь командовал его отец, входит в состав корпуса Лонгстрита, и, возможно, с этой минуты ему показалось, что цель всего отступления состоит в том, чтобы приблизить его к отцу и дать отцу еще один шанс. И вот ему, наверно, показалось: наконец-то он понял, почему никак не мог решить, что он намерен предпринять. Возможно, у него даже на секунду мелькнула мысль: «Боже мой, я еще молод; даже после этих четырех лет я все еще молод», но только на секунду; даже не успев еще перевести дух, он сказал себе: «Ладно. Пускай я молод. Но я все еще верю, верю хотя бы в то, что война, страдания, эти четыре года, когда он старался сохранить своих солдат живыми и боеспособными, чтобы их кровью и жизнью заплатить за возможно большее количество земли, — все это изменило его настолько (хоть я и знаю, что это не так), что он скажет не: Прости меня, а: Ты — мой старший сын. Пожалей свою сестру, никогда больше не встречайся ни с кем из нас». Потом наступил шестьдесят пятый, и остатки Западной армии сохранили теперь лишь способность медленно, упрямо отходить назад под мушкетным и артиллерийским огнем; может, теперь они даже не замечали отсутствия сапог, шинелей и провианта, и потому он смог писать о трофейном лаке для печей так, как написал о нем в письме Джудит, когда наконец понял, что он намерен предпринять, и сообщил это Генри, и Генри сказал: «Слава Богу. Слава Богу» — разумеется, не потому, что он одобрял кровосмешение, а потому, что наконец они решили что-то сделать и он наконец мог стать чем-то, хотя бы это что-то влекло за собою окончательное и бесповоротное отречение от своего наследия, воспитания и традиций предков и означало, что он обрек себя на вечное проклятье. Возможно, он даже перестал толковать о своем герцоге Лотарингском, потому что теперь он мог сказать: «Мы все попадем в ад — не в твой, не в его ад и даже не в ад папы римского, а в ад моей матери, и ее матери и отца, и их матерей и отцов, и туда попадешь не только ты, а мы — все трое, нет, все четверо. И, по крайней мере, мы будем все вместе там, где нам и следует быть: ведь даже если бы туда попал только он один, нам все равно пришлось бы отправиться вслед за ним, потому что мы трое — всего лишь иллюзии, которые он породил, а иллюзии каждого человека — это часть его самого, все равно как кости, мясо или память. И мы все вместе будем терпеть адские муки, и потому нам не нужно будет вспоминать любовь и блуд, а, может быть, в муках человек даже не помнит, за что он попал в ад. А если мы не сможем все это вспоминать, то муки не могут быть очень уж страшны». Потом, в январе и феврале шестьдесят пятого, они были уже в Каролине, и то, что от них осталось, уже почти целый год отходило назад, и расстояние от них до Ричмонда было короче того, что они уже прошли, а расстояние от них до конца было еще короче. Но для Бона важно было не пространство, отделявшее их от поражения, а пространство, отделявшее его от другого полка, от того часа и той минуты: Ему даже не придется меня ни о чем просить; я просто возьму его за руку и сам ему скажу: «Можешь не беспокоиться, она больше никогда меня не увидит». Потом был март в Каролине, и они все еще медленно и упрямо отходили назад, прислушиваясь к звукам, доносившимся с севера — ведь со всех других сторон ничего не было слышно, потому

* Джонстон Джозеф Эглстон (1807—1891) — генерал армии конфедератов.

что теперь со всех других сторон все было кончено, а с севера до них могла дойти только весть о поражении. И вот однажды (будучи офицером, он, наверное, знал, слышал, что генерал Ли отрядил и послал им на подкрепление часть своих войск; возможно, еще до прибытия этих полков он узнал их названия и номера), однажды он увидел Сатпена. Возможно, в тот первый раз Сатпен и вправду его не видел, возможно, в тот первый раз он мог сказать себе: «Ах вот что — он меня не видел» — и потому он решил нарочно попасться на глаза Сатпену, чтобы дать ему возможность высказаться. И вот он во второй раз увидел это ничего не выражающее, каменное лицо, эти бледные пронизывающие глаза, в которых не промелькнуло никакой искорки, ничего; лицо, в котором он различил свои собственные черты, понял, что тот его узнал, и это было все. Это было все; дальше не могло уже быть ничего; возможно, он наконец вздохнул спокойно; на лице его появилось то выражение, которое с первого взгляда можно было назвать улыбкой, и он подумал: «Я мог бы его заставить; я мог бы пойти к нему и заставить его», хотя сам знал, что этого не сделает, потому что теперь все кончено, кончено раз и навсегда. И, возможно, в ту же ночь или через неделю, когда их остановили (ведь даже и Шерману иногда приходилось ночью останавливаться), когда горели костры, зажженные ради тепла — тепло по крайней мере дешево, и его нельзя израсходовать в один присест, — Бон сказал: «Генри, теперь уже недолго; скоро у нас не останется ничего, нам даже нечего будет делать, мы лишимся даже предлога медленно отходить назад ради чести или остатков гордости. Бога у нас тоже не будет; ведь все эти четыре года мы, по-видимому, обходились без него, просто он не позаботился нас об этом известить; у нас не будет не только одежды и обуви, но даже и нужды в них, не будет не только земли и возможности добыть себе пропитание, но и нужды в нем, потому что мы научились жить и без него; а коль скоро у тебя нет Бога и ты не нуждаешься ни в пропитании, ни в одежде, ни даже в крыше над головой, значит, у тебя не осталось ничего, на чем могли бы держаться, произрастать и процветать гордость и честь. А раз у тебя нет ни гордости, ни чести, ничто уже не имеет значения. Однако в тебе заложено нечто, чему нет дела до гордости и чести, что все равно живет и даже целый год отходит назад, лишь бы остаться в живых, а когда все это кончится и не останется даже и поражения, все равно не согласится спокойно сидеть на солнце и умирать, а пойдет в лес и, движимое инстинктом, который сильнее, чем просто воля к жизни, начнет искать и выкапывать из земли коренья и прочее. Это древняя как мир, живущая лишь чувствами, недреманная плоть, для которой нет разницы между отчаянием и победой, Генри». И тогда Генри скажет: «Слава Богу. Слава Богу», — он будет, задыхаясь, повторять: «Слава Богу. Не пытайся мне объяснять. Просто действуй», — а Бон спросит: «Значит, ты хочешь, чтоб я действовал? Ты, брат, мне это разрешаешь?» «Брат? Брат? Ты старший, почему ты меня спрашиваешь?» — возражает Генри, а Бон: «Нет. Он меня так и не признал. Он меня только предостерег. Ты брат и сын. Получил ли я твое разрешение, Генри?» «Напиши. Напиши. Напиши», — отвечает Генри. И тогда Бон написал это письмо спустя четыре года, и Генри его прочитал и отправил. Но тогда они еще не бросили все, не ушли, не отправились вслед за письмом. Они все еще отходили назад медленно и упрямо, надеясь услышать с севера весть о конце, — ведь надо обладать недюжинною силой, чтобы бросить все и уйти, когда терпишь поражение; они уже целый год медленно отходили назад, и все, что у них теперь оставалось, было не волей, а просто способностью, глубоко укоренившейся привычкой держаться. И вот однажды ночью они опять остановились, потому что Шерман опять остановился, и вестовой, обойдя весь бивак, в конце концов отыскал Генри и сказал ему: «Сатпен, полковник требует тебя к себе в палатку»).

— Итак, ты с этой старушечницей, тетушкой Розой, поехал туда в ту ночь, и старая негрityанка Клитти пыталась остановить тебя и остановить ее; она взяла тебя за руку и сказала: «Не пускайте ее наверх, молодой господин», но и ты тоже не смог ее остановить, потому что она была сильна своей ненавистью — ведь сорок пять лет жить ненавистью — все равно что сорок пять лет питаться сырым мясом, тогда как Клитти могла ей противопоставить всего лишь сорок пять — пятьдесят лет ожидания и отчаяния, а ты вообще не хотел туда ехать. И ты тоже не мог ее остановить, и вдруг ты понял, что Клитти обуял не гнев, не подозрительность, а просто страх, ужас. И она не сказала тебе об этом прямо, словами, потому что все еще хранила эту тайну ради человека, который был и ее отцом, ради семьи, которой

уже не существовало, чей и донныне несокрушимый отвратительный мавзолей она по-прежнему стерегла, — она сказала тебе об этом не больше чем о том, что делала в тот день, когда принесли тело Бона и Джудит вынула у него из кармана медальон со своим портретом, который она ему подарила; она не сказала тебе этого прямо, словами, это просто вырвалось от ужаса и страха, когда она отпустила тебя и схватила за руку и двинулась к лестнице, и тогда Клити опять бросилась к ней, и на этот раз тетушка Роза остановилась на второй ступеньке, повернулась, сбила Клити с ног кулаком не хуже мужчины, повернулась и пошла по лестнице вверх, а Клити осталась лежать на полу — восьмидесятилетняя старуха едва ли пяти футов ростом, она была похожа на связку чистых тряпок, и тут ты подошел, взял ее за руку, помог ей подняться; рука у нее была как тростинка, легкая, сухая и хрупкая, как тростинка; она посмотрела на тебя, и ты увидел на ее лице не ярость, а страх, но не такой страх, какой бывает у черномазых: ведь она боялась не за себя, а за нечто, что находилось наверху и что она уже почти четыре года там прятала; она не выразила этого в словах, потому что даже в страхе сохраняла тайну, и все же она тебе это сказала, или, во всяком случае, ты вдруг все понял...

Шрив снова замолчал. Впрочем, это не имело значения — ведь у него не было слушателя. Возможно, он это сам понял. Потом внезапно у него не стало и рассказчика, хотя этого он, возможно, и не понял. Ибо теперь никого из них там больше не было. Они оба были в Каролине, и было это сорок шесть лет назад, и теперь даже не вчетвером, теперь их стало даже больше — теперь они оба стали Генри Сатпеном и оба стали Чарльзом Боном, и в каждом слились эти двое, хотя ни один из них не был ни тем, ни другим; они даже слышали запах дыма, который сорок шесть лет назад поднимался, постепенно растворяясь в воздухе, дыма костров на биваке в сосновой роще; вокруг костров сидели и лежали изможденные, оборванные люди; они говорили не о войне, но, как ни странно (а может, это вовсе и не странно), все они сидели лицом к югу — туда, где поодаль стояли в темноте полевые караулы, караулы, которые, глядя на юг, видели сиянье и мерцание костров на биваке федеральных войск — мириады слабых огоньков, охвативших чуть ли не половину горизонта, десять костров на каждый костер конфедератов, и между ними (между караулами мятежников и кострами янки) были расставлены сторожевые отряды янки; они тоже вглядывались в темноту; линии тех и других караулов располагались так близко, что и те и другие слышали оклики офицеров противника, обходящих посты; когда офицеры удалялись и их голоса замирали вдали, кто-то невидимый осторожно, негромко, но очень внятно произносил:

— Эй, бунтовщики!

— Чего тебе?

— Вы куда идете?

— В Ричмонд.

— И мы туда. Может, вы нас обождете?

— А мы что делаем?

Люди, сидящие у костров, не слышат этой беседы, но вскоре до них явственно доносится голос вестового, который ходит от костра к костру в поисках Сатпена; ему указывают, куда идти, так что он наконец добирается до костра, до тлеющего бревна, продолжая одностонно твердить: «Где Сатпен? Я ищу Сатпена» — и Генри наконец встает и отзывается: «Здесь». Он изможден, оборван и небрит; из-за последних четырех лет и из-за того, что, когда эти четыре года начались, он еще не перестал расти, он теперь на два дюйма ниже, чем обещал быть, и на тридцать фунтов легче, чем, вероятно, будет через несколько лет после того, как он эти четыре года переживет, если, конечно, он их и впрямь переживет.

— Здесь, — говорит он. — В чем дело?

— Тебя полковник требует.

Вестовой его не сопровождает. Он идет один в темноте по дороге, изрытой и изрезанной ухабами и колеями, где днем проезжали пушки, и в конце концов добирается до палатки, до одной из немногих палаток; сквозь парусину слабо светится горящая внутри свеча; у входа маячит расплывчатый силуэт часового, который его тотчас окликает.

— Я Сатпен, — говорит Генри. — Меня полковник вызвал.

Часовой пропускает его в палатку. Входя, он нагибается, парусина падает на место, и в эту минуту кто-то, единственный находящийся в палатке человек, встает

с походного стула из-за стола, на котором горит свеча, и по парусиновой стене поднимается его огромная высокая тень. Он (Генри) подходит и отдает честь; он видит серый рукав с полковничьей нашивкой, обросшую бородою щеку, торчащий нос, свисающие со лба космы седеющих волос; он не узнает это лицо — не потому, что четыре года его не видел и не ожидал увидеть его здесь сейчас, а потому, что просто на него не смотрит. Он отдает честь нашивке на рукаве и стоит смирно, пока тот, другой, не произносит:

— Генри.

Однако даже и теперь Генри не трогается с места. Он стоит как стоял, они оба стоят и смотрят друг на друга. Первым идет вперед старший, они сходятся посередине палатки, обнимаются и целуются еще прежде, чем Генри осознает, что он тоже шагнул, собиравшись шагнуть вперед, движимый голосом крови, который мгновенно снимает и примиряет разногласия, хотя еще и не прощает (а может, никогда и не простит); потом он снова останавливается, а отец смотрит на него, обеими руками повернув к себе его лицо.

— Генри, — произносит Сатпен. — Сын мой.

Потом они сидят на стульях, предназначенных для офицеров, по обе стороны стола, на котором горит свеча (и лежит развернутая карта).

— Полковник Уиллоу сказал, что тебя ранило при Шайло, — говорит Сатпен.

— Так точно, — отвечает Генри.

Он хочет сказать, что Чарльз вынес его с поля боя, но не говорит этого, потому что уже знает, что сейчас произойдет. Он даже не думает: Вряд ли Джудит написала ему про это письмо, или: Наверно, это Клити каким-то образом дала ему знать, что Чарльз ей написал. Он не думает ни того, ни другого. Ему кажется вполне логичным и естественным, что отцу известно решение, которое они с Бонем приняли, их кровная связь — в одну и ту же минуту, через четыре года, вне всякого времени вообще — заставила Бона написать, его самого — на это согласиться, а их отца — про это узнать. И вот оно происходит, и почти так, как он предвидел.

— Я видел Чарльза Бона, Генри.

Генри ничего не говорит. Сейчас начнется. Он ничего не говорит, он только широко раскрытыми глазами смотрит на отца — оба в выцветших, как палый лист, мундирах; на столе горит одинокая свеча, грубая парусина палатки отделяет их от тьмы, где стоят друг против друга бессонные часовые, где под открытым небом спят изнуренные люди, ожидая рассвета, когда снова начнется обстрел и томительный марш назад; но не проходит и секунды, как палатка, свеча, и серые мундиры, и все остальное исчезает, и вот они уже снова в украшенной рождественским остролистом библиотеке в Сатпеновой Сотне четыре года назад, и стол уже не походный столик, на котором удобно развешивать карту, а массивный резной палисандровый стол у них дома; на столе фотография матери, сестры и его самого; за столом отец, за спиной отца окно, выходящее в сад, где Джудит и Бон прогуливались в том медленном темпе, когда сердце бьется в такт с шагами, а глаза одного смотрят лишь в глаза другому.

— Ты хочешь позволить ему жениться на Джудит, Генри.

Генри опять не отвечает. Все это уже говорилось прежде, а теперь у него за плечами четыре года жестокой борьбы, в которой он чего-то добился — будь то победа или поражение, — но он хотя бы этого добился, и теперь он обрел покой, даже если этот покой не что иное, как горькое отчаяние.

— Он не может на ней жениться, Генри.

На этот раз Генри отвечает:

— Ты уже говорил это раньше. Я тогда тебе ответил. А теперь, теперь ждать уже недолго, и тогда у нас не останется ничего: ни чести, ни гордости, ни Бога — ведь Бог нас покинул четыре года назад, просто он не счел нужным нас об этом известить; у нас не будет ни одежды, ни обуви, ни нужды в них; не будет не только земли, которая бы нас пропитала, но даже и нужды в пропитании, а когда у тебя нет ни Бога, ни гордости, ни чести, ничто не имеет значения, кроме древней, как мир, бессмысленной плоти, которой нет дела ни до поражения, ни до победы, которая даже не умрет, а пойдет в леса и на поля выкапывать там травы и корни. Да, я решил. Брат или не брат, я все равно решил. Я ему позволю. Я позволю.

— Ему нельзя на ней жениться, Генри.

— Нет можно. Я с самого начала сказал Да, но в то время я еще ничего не

решил. Я ему не позволил. Но потом у меня было четыре года, чтобы обдумать свое решение. Я ему позволю. Теперь я решил.

— Ему нельзя на ней жениться, Генри. Отец его матери сказал мне, что ее мать была испанкой. Я ему поверил, и только после его рождения я узнал, что в жилах его матери течет негритянская кровь.

Генри никогда не говорил, будто не помнит, как вышел из палатки. Он все это помнит. Он помнит, как, выходя, опять нагнулся и опять миновал часового; помнит, как, спотыкаясь на ухабах, шел обратно по изрытой колеям дороге, по обе стороны которой теперь догорали костры, так что он с трудом различал спавших на земле вокруг них солдат. Наверное, уже двенадцатый час, думает он. А завтра снова идти восемь миль. Если б только не эти проклятые пушки. Почему Старик Джо не отдаст их Шерману? Тогда мы бы проходили по двадцать миль в день. Тогда мы бы соединились с генералом Ли. Ли, по крайней мере, иногда останавливается и дерется. Он все это помнит. Он помнит, что не вернулся к своему костру, а вскоре остановился в уединенном месте, спокойно прислонился к сосне и откинул голову, чтобы удобно было смотреть на мохнатые разлапистые ветви, похожие на затейливую железную решетку, неподвижно стоящую на фоне холодных мерцающих звезд ранней весны, смотреть и думать: Надеюсь, он не забудет поблагодарить полковника Уиллоу за то, что он разрешил нам воспользоваться его палаткой; он думал не о том, как он поступит, а о том, как ему придется поступить. Ведь теперь он знал, как поступит; теперь это зависело от того, что сделает и что заставит его сделать Бон — ведь теперь он знал, что он это сделает. Значит, надо идти к нему, подумал он. Теперь уже третий час, скоро рассветет.

Потом рассвело или почти рассвело; было холодно; стужа проникала сквозь изношенную, залатанную тонкую одежду; усталость и голод теперь преодолевались уже не усилием воли, а просто пассивной способностью терпеть; откуда-то забрезжил свет, стало настолько светло, что он мог узнать Бона — завернувшись в одеяло и укрывшись плащом, Бон спал среди других; настолько светло, что он мог разбудить Бона и Бон мог узнать его (а быть может, что-то передалось ему через прикосновение руки Генри), потому что Бон ничего не говорит, ни о чем не спрашивает, он просто встает, накидывает на плечи плащ, подходит к тлеющему костру, разгребают ногою угли, они вспыхивают, и тут Генри говорит ему:

— Подожди.

Бон останавливается и смотрит на Генри; теперь он видит его лицо. Он говорит:

— Ты замерзнешь. Уже замерз. Ты не спал? Вот, возьми.

Он сбрасывает плащ и протягивает его Генри.

— Не надо, — говорит Генри.

— Нет надо. Бери. Я возьму одеяло.

Бон укутывает Генри плащом, идет за своим измятым одеялом, накидывает его себе на плечи; они отходят в сторону и садятся на бревно. Уже рассвело. Небо на востоке серое; скоро оно пожелтеет, потом покраснеет от артиллерийского огня, и вновь начнется томительный марш назад, отступление от полного разгрома, поиски спасенья в поражении, но это еще не сейчас. У них еще остается немного времени, и, освещенные разгорающейся зарею, они сидят бок о бок на бревне, один закутан в плащ, другой в одеяло, и голоса их звучат немногим громче молчания самой зари.

— Значит, тебе претит не кровосмешение, а смешение рас.

Генри не отвечает.

— И он ни слова не велел мне передать? Не попросил тебя послать меня к нему? Ни слова? Ни единого слова? Ведь ему надо было сделать только это — сейчас, сегодня, четыре года назад или в любое время за эти четыре года. Только и всего. Ему не надо было меня просить, не надо было ничего от меня требовать. Я бы сам ему это предложил. Не ожидая его просьбы, я бы сам сказал ему, что больше никогда с ней не увижусь. Ему не надо было этого делать, Генри. Если он хотел меня остановить, ему вовсе не надо было говорить тебе, что я черномазый. Он мог бы и так остановить меня, Генри.

— Нет! — восклицает Генри. — Нет! Нет! Я все равно... все равно...

Он вскакивает, лицо его дергается; в мягкой бороде, покрывающей его впалые щеки, Бон видит его зубы, видит, как сверкают белки его глаз, словно глазные

яблоки вот-вот выскочат из орбит; слышит, как его хрипкое дыхание вырывается из легких... но вот Генри уже перестал задыхаться, он дышит ровно, он опускает глаза и смотрит на Бона, который сидит на бревне, и голос его теперь звучит немногим громче подавленного вздоха:

— Ты сказал, что он мог тебя остановить. Что это значит?

Теперь Бон, в свою очередь, не отвечает; он сидит на бревне и смотрит на склонившееся к нему лицо. Говорит Генри, опять тем же голосом не громче вздоха:

— А теперь? Ты хочешь сказать, что ты...

— Да. Что еще мне теперь остается? Я дал ему возможность сделать выбор. Я четыре года давал ему возможность сделать выбор.

— Подумай о ней. Не обо мне, о ней.

— Я думал. Все четыре года. О тебе и о ней. Теперь я думаю о себе.

— Нет, — говорит Генри. — Нет. Нет.

— Думаешь, я не смогу?

— Ты не посмеешь.

— Кто остановит меня, Генри?

— Нет, — повторяет Генри. — Нет. Нет. Нет.

Теперь Бон, в свою очередь, следит за Генри; глядя на Генри с тем выражением, которое можно было бы назвать улыбкой, Бон снова видит белки его глаз. Рука его исчезает под одеялом и снова появляется с пистолетом — он держит его за ствол, протягивая рукоятку Генри.

— Тогда сделай это сейчас, — говорит он.

Генри смотрит на пистолет; теперь он не только задыхается, он дрожит; когда он начинает говорить, голос его звучит даже не как вздох, а как рыданье, как подавленный всхлип:

— Ты мой брат.

— Ничего подобного. Я черномазый, который намеревается спать с твоей сестрой. Если ты меня не остановишь, Генри.

Внезапно Генри выхватывает у Бона пистолет и стоит с пистолетом в руке; он опять начинает задыхаться, и Бон, сидя на бревне, опять видит белки его глаз; он наблюдает за Генри с тем еле заметным выражением в уголках глаз и рта, которое могло бы быть улыбкой.

— Сделай это сейчас, Генри, — говорит он.

Генри вихрем оборачивается, тем же движением отшвыривает в сторону пистолет, снова нагибается и, задыхаясь, хватается Бона за плечи.

— Ты не посмеешь! — кричит он. — Не посмеешь! Слышишь, что я тебе говорю?

Бон даже не делает попытки вырваться из сцепившихся в него рук; он сидит неподвижно, на лице его застыла слабая гримаса, а голос звучит мягче, чем первый порыв ветерка, который колыхает над ними ветки сосен:

— Тебе придется остановить меня, Генри.

— И ведь он не улизнул, — сказал Шрив. — Мог бы улизнуть, но даже ни разу не попытался. Господи, он, наверно, даже пошел к Генри и сказал: «Я еду, Генри» — и, может, они даже вместе ушли и, скрываясь от патрулей янки, проделали весь путь назад в Миссисипи, до тех самых ворот, все время бок о бок. и только там один из них наконец выехал вперед или отстал, и только там Генри, прищпорив лошадь, обогнал Бона, повернулся к нему лицом и выхватил пистолет; Джудит с Клиты услышали выстрел, и, может, Уош Джонс в это время как раз слонялся где-то на задворках, и потому он помог Клиты и Джудит внести его в дом и положить на кровать, а потом поехал в город известить тетушку Розу, и вот тетушка Роза мчится туда и находит Джудит — она без единой слезинки в глазах стоит перед запертой дверью, держа в руке медальон, который она ему подарила, в нем был тогда ее портрет, но теперь в нем лежит не ее портрет, а портрет окторонки с мальчиком. Твой отец не знал, зачем этот черный сукин сын вынул ее портрет и вложил портрет окторонки, и поэтому сам придумал причину. А я знаю. И ты тоже знаешь. Неужели не знаешь? Неужели не знаешь? — Вперив взор в Квентина, он наклонился над столом, в своих многочисленных одежках напоминая огромного всклокоченного медведя. — Неужели не знаешь? Он сделал это потому, что сказал себе: «Если Генри не сделает того, о чем он говорил, все будет в порядке и тогда я смогу его вынуть и уничтожить. Но если он так сделает, это единственный способ сказать ей *От меня*

все равно не было бы проку, не горюй обо мне». Разве я не прав? Неужели не прав? Клянусь Богом, что прав.

— Да, — сказал Квентин.

— Пошли, — сказал Шрив. — Уйдем из этого холодильника и ляжем спать.

IX

В темноте, в постели ему сначала сделалось холоднее, чем раньше, словно от единственной лампочки — до того, как Шрив ее выключил, — исходила какая-то слабая, крошечная частичка тепла, и теперь стало казаться, будто суровая непроглядная тьма слилась воедино с жесткой ледяною простыней на расслабленном, готовом ко сну теле в тонком ночном белье. Потом появилось ощущение, будто темнота дышит, отступает. Шрив открыл окно, на фоне излучаемого снегом слабого неземного сиянья вырисовался его четырехугольник, и тогда словно под давлением тьмы в жилах заструилась теплая, горячая кровь.

— Университет Миссисипи, — раздался в темноте справа от Квентина голос Шрива. — Нашему Баярду эти сорок миль (ведь именно сорок, правда?) вышли боком.

— Да, — сказал Квентин. — Их выпуск был бы десятым со дня основания университета.

— Я и не знал, что в штате Миссисипи вообще когда-либо могло набраться десять человек, которые одновременно учились бы в университете, — сказал Шрив. Квентин не ответил. Он лежал, глядел на четырехугольник окна и чувствовал, как кровь струится по жилам, согревая руки и ноги. И теперь, хотя ему было тепло и хотя, сидя в теплой комнате, он лишь слегка дрожал, теперь все его тело стало дергаться непроизвольно и судорожно и дергалось до тех пор, пока он не услышал, как заскрипела кровать, пока это не почувствовал даже и Шрив — опершись на локоть, он обернулся (на этот звук) и посмотрел на Квентина, хотя сам Квентин чувствовал себя превосходно. Он чувствовал себя как нельзя лучше, лежа в постели и спокойно, с любопытством ожидая следующего, ничем не предваренного судорожного рывка. — Господи, неужели тебе так холодно? — спросил его Шрив. — Хочешь, я накрою тебя двумя пальто?

— Нет, — отвечал Квентин. — Мне не холодно. Мне хорошо. Я отлично себя чувствую.

— Тогда почему ты так дергаешься?

— Не знаю. Я ничего не могу с собой поделать. Я отлично себя чувствую.

— Ладно. Но если захочешь накрыться пальто, скажи. Господи, если б я был с Юга, мне б и подумать было страшно провести девять месяцев в этом климате. Может, я вообще не поехал бы сюда с Юга, даже если бы и смог здесь жить. Подожди. Послушай. Я не собираюсь разыгрывать из себя остряка или умника. Я просто стараюсь понять и не знаю, как это получше выразить. Ведь у нас в семье ничего такого нет. А если что-то такое и было, то все это случилось давным-давно, за морем и теперь не осталось ничего, на что можно смотреть каждый день, чтоб оно нам про это напоминало. Мы не живем среди потерпевших поражение дедов, и освобожденных рабов (а может, я понял все как раз наоборот и освобождены были твои родители, а поражение потерпели черномазые?), и пуль, застрявших в обеденном столе, и разного тому подобного, что должно нам вечно напоминать о том, чего никогда нельзя позабыть. Что это такое? Нечто, чем вы живете и дышите, как воздухом? Некая пустота, наполненная призрачным неукротимым гневом, славой и гордостью, событиями, что начались и кончились полсотни лет назад? Нечто вроде святого долга никогда не прощать генералу Шерману, долга, переходящего по наследству от отца к сыну, от отца к сыну, так что во веки веков, пока дети твоих детей будут производить на свет детей, ты будешь всего только отпрыском бесконечной линии полководников, убитых во время атаки Пиккета при Манассасе?

— При Геттисберге, — сказал Квентин. — Тебе этого не понять. Для этого надо там родиться.

— А тогда я бы понял? (Квентин ничего не ответил.) А ты сам это понимаешь?

— Не знаю, — отозвался Квентин. — Да, конечно, понимаю. — Оба громко дышали в темноте. Через минуту Квентин сказал: — Не знаю.

— Да. Ты не знаешь. Ты даже ничего не знаешь про эту старушечку, тетюшку Розу.

— Мисс Розу, — сказал Квентин.

— Ладно. Ты даже и про нее ничего не знаешь. Не считая того, что она до конца отказывалась стать призраком. Что даже через полсотни лет она не могла заставить себя смириться и дать ему спокойно лежать в могиле. Что даже через полсотни лет она могла не только взять да и поехать туда заканчивать то, что считала не вполне законченным, но даже сумела найти кого-то, кто поехал туда вместе с нею и ворвался в этот запертый дом, ибо инстинкт или что-то другое говорило ей, что это еще не кончено. Так знаешь или нет?

— Нет, — спокойно ответил Квентин. Он ощущал на губах вкус пыли. Даже сейчас, когда лицо его оведал чистый, прохладный, снежный воздух Новой Англии, он чувствовал, ощущал вкус пыли того душного (или, вернее, пышущего жаром раскаленной печи) сентябрьского вечера в Миссисипи. Он даже ощущал запах старухи, сидевшей рядом с ним в повозке, запах затхлой, пропитанной камфарою шали и даже сложенного черного ситцевого зонта, в который (об этом он узнает, только когда они доберутся до дома) она запрятала фонарик и топор. Он ощущал запах лошади, слышал сухое скрипенье легких колес в невесомой всепроникающей пыли; ему казалось, будто эта сухая пыль медленно ползет по его потному телу; ему казалось также, будто он слышит единый глубокий вздох агонизирующей, выжженной солнцем земли, вздох, улетающий ввысь, к далеким равнодушным звездам. Теперь она заговорила в первый раз после того, как они выехали из Джефферсона, после того, как она забралась в повозку с какой-то суетливой неловкой поспешностью (которая, как он думал, объясняется страхом, тревогой; потом он понял, что глубоко ошибался) и, прежде чем он успел ей помочь, устроилась на самом краешке сиденья, маленькая, закутанная в затхлую шаль, она крепко сжала в руке зонтик и подалась вперед, словно это движение должно было помочь ей скорее очутиться там, очутиться там сразу же вслед за лошастью, и куда скорее его, Квентина.

«Ну вот, — сказала она. — Вот мы и в поместье. На земле, принадлежащей ему, ему и Эллен, и потомкам Эллен. Насколько я понимаю, ее у них впоследствии отобрали. Но она все равно принадлежит ему, Эллен и ее потомкам». Но Квентин уже и сам это увидел. Еще до того, как она заговорила, он сказал себе: «Вот. Вот» — и (как это было весь долгий жаркий день в душном полутемном домике) ему показалось, что если он остановит повозку и прислушается, то сможет даже услышать топот копыт, сможет даже в любую минуту увидеть, как всадник на вороном коне выскакивает впереди них на дорогу и галопом несется дальше — всадник, некогда владевший всем, что только видел с любой точки его глаз, всем, что там было: и все — люди, животные и растения, — все напоминало ему (если б он даже когда-нибудь про это позабыл), что из всего, что видят и они и он, он самый большой и самый важный; он пошел на войну, чтобы все это защищать, и проиграл войну, и вернулся домой, и увидел, что проиграл нечто большее, чем даже и войну, хотя и не все, и тогда он сказал *По крайней мере, у меня еще осталась жизнь*, но на самом деле у него осталась не жизнь, а всего только старость, и дыхание, и ужас, и презрение, и страх, и гнев, а из всех, кто прежде с неизменным почтением на него смотрел, осталась одна только девочка — когда он видел ее в последний раз, она была совсем еще ребенком, — она, наверно, наблюдала за ним из окна или из дверей, когда он, не замечая ее, проезжал мимо, смотрела так, как, вероятно, смотрела бы на самого Господа Бога, ибо все остальное, что она видела, тоже принадлежало ему. И, быть может, он даже останавливался возле хижины и просил напиток, и она шла с ведром к источнику — милю туда и милю обратно, — чтобы подать ему свежей холодной воды, так же не смея сказать ему, что ведро пусто, как не посмела бы сказать это Господу Богу, — но и это было еще не все, ибо, по крайней мере, он был жив и он дышал.

Теперь Квентин, некоторое время тихо пролежав в теплой постели, снова стал тяжело дышать, с трудом вдыхая пьянящую чистую снежную тьму. Она (мисс Колдфилд) не позволила ему въехать в ворота. «Остановитесь», — сказала она вдруг; он почувствовал, как ее ладонь затрепетала на его руке, и подумал: «Да ведь она боится». Теперь ему было слышно, как она дышит; голос ее звучал как робкий стон, полный, однако, железной решимости: «Не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать». («Зато я знаю, — подумал он. — Возвращайтесь в город и ложитесь спать».) Но он этого не сказал. В свете звезд он увидел два огромных гнилых воротных стол-

ба, на которых теперь не было ворот, и принялся гадать, с какой стороны подъехали в тот день Генри и Бон и что отбрасывало ту тень, которой Бону не суждено было переступить живым, — то ли какое-нибудь живое дерево, которое и теперь еще жило, покрывалось листьями и снова их сбрасывало; то ли другое дерево — его срубили, сожгли ради тепла и пищи много лет назад, а может, оно просто погибло; то ли один из этих двух столбов; ему очень хотелось, чтобы здесь сейчас оказался сам Генри, который остановил бы мисс Розу и велел им вернуться обратно; он говорил себе, что если б Генри сейчас оказался здесь, то никто не услышал бы выстрела. «Она непременно захочет меня остановить, — всхлипывая, лепетала мисс Роза. — Захочет, я знаю. Может, в такой дали от города, когда мы здесь одни, в полночь, она даже велит этому негру... А вы даже не взяли с собой пистолета. Или взяли?»

«Нет, мэм, — сказал Квентин. — Что она там прячет? Что это может быть? Впрочем, не все ли равно? Вернемся обратно в город, мисс Роза.»

Она ничего не ответила. Она только сказала: «Именно это я и должна узнать». Она сидела, наклонившись вперед и дрожа, всматривалась в аллею — кроны деревьев образовывали над нею арку, — в аллею, ведущую туда, где стояла гнилая оболочка дома. «И теперь я непременно все узнаю, — всхлипнула она с каким-то изумлением, с жалостью к самой себе. Потом внезапно зашевелилась. — Идем», — прошептала она, вылезая из повозки.

«Постойте, — сказал Квентин. — Давайте подведем к дому. Ведь до него еще полмили.»

«Нет, нет, — прошептала она; слова, словно свирепое шипенье, сорвались с ее уст с тою же странной, полной ужаса, но неумолимой решимостью, как будто идти и узнавать должна была вовсе не она, как будто она была всего лишь безвольным орудием кого-то другого, кому непременно нужно было это узнать. — Привяжите лошадей здесь. Скорее». Прежде чем он подоспел ей на помощь, она, крепко сжимая в руке зонтик, неловко спрыгнула с повозки. Ему казалось, будто он все еще слышит, как она задыхается и всхлипывает, стоя возле одного из столбов в ожидании, когда он ответит кобылу с дороги и привяжет ее за повод к молодому деревцу, поднимавшемуся из заросшей сорняками канавы. Она так тесно прижалась к столбу, что ее совсем не было видно, и когда он прошел в ворота, она просто отодвинулась от столба и, все так же всхлипывая и тяжело дыша, зашагала рядом с ним под аркой листьев по изрытой ухабами аллее. Тьма стояла крошечная; она споткнулась; он ее поддержал. Она взяла его под руку, вцепилась в него мертвой хваткой, словно ее пальцы, вся ее рука была маленьким мотком упругой проволоки. «Мне придется опереться на вашу руку, — всхлипывая, прошептала она. — А у вас нет даже пистолета... Подождите. — Она остановилась. Он обернулся; ее совсем не было видно, он слышал только торопливое дыхание и шелест ткани. Потом она сунула что-то ему в руку. — Вот, — прошептала она. — Возьмите». Это был топор, он понял это не зрением, а осознанием, топор с тяжелым истертым топорщиком и тяжелым зазубренным ржавым лезвием.

«Что что?» — спросил он.

«Берите! — прошипела она. — Вы не взяли с собой пистолета. Это все-таки лучше, чем ничего.»

«Постойте», — сказал он.

«Идем, — прошептала она. — Я так дрожу, что мне придется взять вас под руку. — Они снова двинулись вперед; в одну его руку вцепилась она, в другой он держал топор. — Он может понадобиться нам, чтобы войти в дом, — сказала она; спотыкаясь, она почти защила его за собой. — Она наверняка откуда-нибудь за нами следит, — всхлипывая, проговорила она. — Я это чувствую. Только бы нам удалось подойти к дому, пробраться в дом...» Аллея казалась бесконечной. Места эти были ему знакомы. Он не раз проходил от ворот до дома мальчиком, в детстве, когда расстояния кажутся действительно очень большими (так что для взрослого мужчины бесконечно долгая миля его детства становится совсем короткой — бросишь камень, он и то летит дальше), но теперь ему казалось, будто дом никогда не появится у него перед глазами, и вскоре он поймал себя на том, что повторяет ее слова: «Только бы нам удалось подойти к дому, пробраться в дом». Но тут же опомнился и сказал себе: «Я не боюсь. Я просто не хочу быть здесь. Просто не хочу знать, что она там прячет». Однако в конце концов они добрались до дома. Перед ними возникла высокая прямоугольная громада; на слегка просевшей крыше торчали полуразвалившиеся

зубчатые трубы, и в ту минуту, когда они чуть ли не бегом устремились к дому, Квентин сквозь его темную плоскость разглядел четкий зазубренный кусок неба, в котором жарко пылали две звезды, словно дом имел только одно измерение, был наклеван на дырявом парусиновом занавесе, и теперь мертвый, пышущий жаром раскаленной печи воздух, в котором они двигались, медленно вырываясь из этих дыр, казалось, издает запах запустения и тлена, словно дерево, из которого дом был построен, было живую гниющей плотью. Теперь она семенила с ним рядом; ее дрожащие пальцы железной хваткой сжимали его руку; она ничего не говорила, не произносила никаких слов, а только протяжно всхлипывала, почти стонала. Она теперь явно ничего не видела, так что ему пришлось подвести ее к тому месту, где, как он помнил, должны были находиться ступени, и там ее остановить, с шепотом, с шипеньем, бессознательно усвоив ее напряженную, почти бесчувственную поспешность: «Постойте. Сюда. Осторожно. Они гнилые». Он почти что поднял, пронес ее по ступеням, поддерживая сзади за оба локтя, как поднимают детей; он чувствовал, как через ее худые напряженные руки в его ладони и плечи переливается какая-то неукротимая неистовая сила, и теперь, лежа в постели в штате Массачусетс, он вспомнил, как тогда подумал, понял, неожиданно сказал себе: «А ведь она ничуть не боится. Там что-то есть. Но она не боится», чувствовал, как она вырывается у него из рук, слыша ее шаги на галерее, нагоняя ее перед невидимой парадною дверью, где она, тяжело дыша, наконец остановилась. «Ну а дальше что?» — прошептал он.

«Ломайте, — шепотом ответила она. — Дверь, наверное, заперта, заколочена. У вас топор. Ломайте».

«Но ведь...» — начал он.

«Ломайте! — зашипела она. — Этот дом принадлежит Эллен. Я ее сестра, ее единственная живая наследница. Ломайте. Скорее». Он толкнул дверь. Она не поддавалась. Мисс Роза тяжело дышала рядом. «Скорее, — сказала она. — Ломайте».

«Послушайте, мисс Роза, — сказал он. — Послушайте».

«Дайте мне топор».

«Постойте, — сказал он. — Вы и вправду хотите войти?»

«Хочу, — всхлипнула она. — Дайте мне топор».

«Постойте», — сказал он. Он пошел по галерее, держась рукою за стену; он шел очень осторожно, потому что знал, где половицы прогнили, а где их нет вовсе, и наконец нащупал окно. Ставни были закрыты и, наверное, заперты, но когда он просунул между ними лезвие топора, они сразу поддались, почти совсем бесшумно, словно это жалкое заграждение было наспех сооружено либо дряхлой старухой, либо каким-то безруким неумехой; не успел он вставить лезвие топора под раму, как тотчас убедился, что в ней нет стекла и ему остается только шагнуть в пустой оконный проем. Он на секунду остановился, убеждая себя войти, убеждая себя, что не боится, а просто не желает знать, что может скрываться там внутри. «Ну что? — раздался от дверей шепот мисс Розы. — Открыли?»

«Да, — сказал он. Он говорил не шепотом, но и не громко; в темной комнате, у окна которой он стоял, гулко отозвалось эхо, как это бывает в пустом помещении. — Подождите там. Я попробую открыть дверь». «Значит, теперь мне придется войти!» — подумал он, перелезая через подоконник. Он знал, что комната пуста, об этом сказало ему эхо, и все же он передвигался здесь так же медленно и осторожно, как на галерее; держась рукою за стену, он добрался до угла, повернул, пошел дальше вдоль второй стены, нащупал дверь и прошел сквозь нее. Теперь он, очевидно, находился в прихожей; он был почти уверен, что по ту сторону стены слышит дыхание мисс Колдфилд. В непроглядной тьме не видно было ни зги; он знал, что ничего не видит, но все равно чувствовал, как от напряжения у него болят веки и глазные мышцы, а на сетчатке то появляются, то исчезают расплывчатые красные пятна. Он пошел дальше; в конце концов он нащупал рукою дверь и теперь, стараясь отыскать замок, услышал за нею всхлипывающее дыхание мисс Колдфилд. Позади, словно взрыв, словно выстрел из пистолета, чиркнула спичка; слабый огонек еще не успел вспыхнуть, как у него от страха задрожало все внутри и он на секунду застыл на месте, хотя остатки здравого смысла беззвучно прогремели у него в черепе: «Ничего страшного! Иначе он не стал бы зажигать спичку!» Потом, вновь обретя способность двигаться, он обернулся и увидел перед собою крошечное существо, какого-то гнома в широкой юбке, с платком на голове; существо стояло, обратив к нему морщинистое, кофейного цвета лицо и подняв высоко над головой кофейного цвета кукольную руку со спич-

кой. Потом он стал смотреть уже не на нее, а на спичку, которая догорела до самых ее пальцев; он спокойно смотрел, как она наконец зашевелилась, зажгла вторую спичку о первую, отвернулась, и он увидел у стены прямоугольный обрубок, а на нем лампу, с которой она сняла стекло и поднесла спичку к фитилю. Он вспомнил все это, лежа здесь, в своей массачусетской постели, и снова начиная задыхаться, потому что мир и покой снова его покинули. Он вспомнил, что она не сказала ему ни слова, не спросила ни Кто вы, ни Что вам тут нужно, а просто подошла со связкой огромных старинных железных ключей, словно всегда знала, что этот час рано или поздно наступит и потому сопротивляться бесполезно, отперла дверь и немного отступила, пропуская мисс Колдфилд. Она (Клэти) и мисс Колдфилд не сказали друг другу ни слова, как будто Клэти, один-единственный раз взглянув на мисс Колдфилд, сразу поняла, что словами тут не поможешь, и, повернувшись к нему, Квентину, положила ему руку на плечо и сказала: «Не пускайте ее наверх, молодой господин». Взглянув на него, она, наверное, подумала, что и это тоже не поможет, ибо тотчас от него отвернулась, догнала мисс Колдфилд, схватила ее за руку и сказала: «Не ходите наверх, Роззи», а мисс Колдфилд оттолкнула ее руку и направилась к лестнице (и тогда он увидел у нее фонарик; он вспомнил, как тогда подумал: «Он, наверное, тоже лежал в зонтике вместе с топором»), а Клэти сказала «Роззи» и снова за ней побежала, и тут мисс Колдфилд повернулась на ступеньке и со всего размаху по-мужски сбила Клэти с ног, повернулась обратно и пошла вверх по лестнице. Она (Клэти) лежала на голом полу в пустой, облупившейся прихожей, словно маленький бесформенный узелок с чистыми линялыми тряпками. Подойдя поближе, он увидел, что она в полном сознании и что глаза у нее широко открыты и спокойны: он стоял над нею и думал: «Да. Вот она, хранительница ужаса». Она была совсем невесомой, и он поднял ее легко, словно связку палочек, завернутую в тряпку. Она не стояла на ногах; ему пришлось ее поддержать, и он ощутил в ее теле какое-то слабое движение, словно она хотела что-то сделать, и наконец понял: она хочет сесть на нижнюю ступеньку. Он опустил ее туда. «Кто вы?» — спросила она.

«Я Квентин Компсон», — отвечал он.

«А... Я помню вашего дедушку. Поднимитесь наверх и заставьте ее спуститься. Заставьте ее отсюда уйти. Что бы он ни сделал, я, и Джудит, и он за все сполна расплатились. Ступайте за ней. Уведите ее отсюда». Он пошел вверх по лестнице, по истертым, ничем не покрытым ступеням; с одной стороны возвышалась треснувшая, облупившаяся стена, с другой — перила, у которых не хватало балаясин. Он вспомнил, как обернулся и увидел, что она все еще сидит там, где он ее оставил, и что теперь (он не слышал, как тот вошел) внизу, в прихожей, стоит нескладный молодой светложкий негр в чистой выцветшей рубашке и в комбинезоне; руки болтаются у него вдоль тела, а на губастом, цвета седельной кожи лице идиота нет ни удивления, ни какого-либо иного чувства. Он вспомнил, как тогда подумал: «Потомок, прямой (хотя и не бесспорный) наследник»; как услышал шаги мисс Колдфилд, увидел, что по верхнему коридору движется свет фонаря и она прошла мимо, пошатнулась, но выпрямилась и посмотрела прямо на него, словно никогда раньше его не видела, широко раскрытыми, невидящими глазами лунатика; в лице, всегда бледном, — теперь совсем, до ужаса, ни кровинки, и он подумал: «Что это? Что с ней такое? Это не шок. Да и страха она никогда не испытывала. Не торжество ли это?» — а потом она прошла мимо него и двинулась дальше. Он услышал, как Клэти сказала негру: «Отведи ее к воротам, к повозке», — а он стоял и думал: «Мне надо бы пойти с нею. Но я должен посмотреть. Мне обязательно нужно посмотреть. Может, завтра я об этом пожалею, но я все равно должен посмотреть». Когда он спускался с лестницы (он вспомнил, как подумал тогда: «Может, у меня такое же выражение, какое было у нее, но только это никак не торжество»), в прихожей была одна Клэти, она сидела на нижней ступеньке, сидела в той же позе, что и прежде. Она даже не взглянула на него, когда он проходил мимо. Мисс Колдфилд и негра он не догнал. Было слишком темно, и он не мог идти быстро, но вскоре услышал впереди их шаги. Фонарик она на этот раз не зажгла, и он вспомнил, что подумал тогда: «Но ведь теперь ей не надо бояться, что кто-нибудь увидит свет». Однако она его не зажгла, и он стал гадать, держит ли она негра за руку, и думал об этом, пока не услышал голос негра — ровный, невыразительный, равнодушный: «Вам лучше идти тут», но никакого ответа не последовало, хотя он находился (или думал, что находится) достаточно близко, чтобы слышать ее всхлипывающее, тяжелое дыхание. Потом он услышал другой звук и понял, что она

споткнулась и упала; он, казалось, почти увидел, как нескладный губастый негр, остановившись точно вкопанный, смотрит в ту сторону, откуда раздался звук падения, и без всякого интереса и любопытства чего-то ждет, и побежал в ту сторону, откуда доносились голоса:

— Эй ты, черномазый. Как твое имя?

— Меня звать Джим Бонд.

— Помоги мне встать! Ты ведь не из Сатпенов! Ты не смеешь оставлять меня валяться в грязи!

Когда он остановил повозку у ее калитки, она не стала слезать сама. Она сидела, пока он не спрыгнул на землю; он обошел повозку, приблизился к ней, а она все сидела, крепко держа в одной руке зонтик, а в другой топор, сидела, пока он не позвал ее по имени. Тогда она зашевелилась; он поднял ее, помог ей сойти; она была почти такой же легкой, как Клити; она двигалась, как заводная кукла; поддерживая ее, он прошел с нею в калитку, по короткой дорожке, ввел в кукольный домик, зажег свет и посмотрел на ее неподвижное, как у лунатика, лицо, на широко раскрытые глаза, на руки, все еще сжимавшие топор и зонтик, на шаль и черное платье, забрызганные грязью при падении, на черную шляпку, сбившуюся набок от толчка. «Вам теперь лучше?» — спросил он.

«Да, — сказала она. — Да, мне лучше. Спокойной ночи».

«Не спасибо, просто спокойной ночи», — подумал он; выйдя из дома и возвращаясь к повозке, он быстро и глубоко дышал, чувствуя, что готов пуститься бегом, спокойно думая: «Господи. Господи. Господи», с трудом вдыхая темный, мертвый, пышущий жаром раскаленной печи ночной воздух, глядя в небо, в котором висели свирепые равнодушные звезды. В его доме было темно; заворачивая в переулок и подъезжая к конюшне, он все еще хлестал лошадь кнутом. Он выскочил из повозки, выдрюг кобылу, сорвал с нее сбрую; не останавливаясь, чтобы повесить сбрую на стену, швырнул ее в чулан и, обливаясь потом, тяжело дыша, повернул наконец к дому и только тогда пустился бежать. Он ничего не мог с собой поделать. Ему было всего двадцать лет; он не чувствовал страха — ведь то, что он там увидел, не могло ему повредить, но он все равно бежал; даже войдя в знакомый темный дом, он, держа в руках башмаки, все еще продолжал бежать; бегом поднялся по лестнице, ворвался в свою комнату и поспешно, обливаясь потом, тяжело дыша, начал раздеваться. «Хорошо бы принять ванну», — подумал он; потом, лежа нагишом на кровати, он вытирал рубашкой мокрое от пота тело; он все еще потел и задыхался, и потому, когда он до боли в глазных мышцах напрягал зрение в темноте и, все еще сжимая в руках почти совсем просохшую рубашку, произнес: «Я, кажется, уснул», — ничто не изменилось, все было как раньше: во сне как наяву он шел по этому верхнему коридору между облупившимися стенами, под треснувшим потолком, шел к слабому свету, который падал из последней двери, и, остановившись там, произнес: «Нет. Нет»; потом: «Но ведь я должен. Мне надо» — и вошел, вступил в пустую душную комнату, где ставни тоже были закрыты, где вторая лампа тускло горела на грубо сколоченном столе; во сне как наяву все было то же: кровать, желтые простыни и наволочка, на подушке исхудалое желтое лицо с закрытыми, почти прозрачными веками, исхудалые руки скрещены на груди, словно это уже труп; во сне как наяву все было то же и будет то же вечно, до тех пор, пока он жив:

Вы...?

Генри Сатпен.

Вы здесь уже...?

Четыре года.

Вы вернулись домой...?

Умирать. Да.

Умирать?

Да. Умирать.

Вы здесь уже...?

Четыре года.

Вы...?

Генри Сатпен.

В комнате теперь стало совсем холодно; с минуты на минуту пробьет час ночи; холод как бы сосредоточился, сгустился в ожидании мертвых предрассветных мгновений.

— И она ждала три месяца, прежде чем снова вернуться за ним, — сказал Шрив. — Почему она так поступила?

Квентин не ответил. Весь застывший, он тихо лежал на спине, лицо его обвевал холодный ночной воздух Новой Англии, кровь теплой струею бежала по застывшему телу; тяжело и редко дыша, он широко раскрытыми глазами смотрел на окно и думал: «Простись с покоем навсегда. Простись с покоем навсегда. Навсегда. Навсегда. Навсегда».

— Как по-твоему, может, она знала, что стоит ей об этом рассказать, принять какие-то меры — и все будет кончено, кончено раз и навсегда; что ненависть — это все равно что алкоголь или наркотики, что она питалась ею слишком долго и теперь не смела рисковать, боясь исчерпать свой запас, уничтожить источник, самые корни и семена опиийного мака? (Квентин и на это не ответил.) Но в конце концов она с этим примирилась ради него, чтобы его спасти, чтобы привезти его в город, где врачи смогут его спасти, и тогда она все рассказала, взяла санитарную карету и людей и поехала с ними туда. А старуха Клити, может, именно этого и ждала и все эти три месяца следила из окна верхнего этажа; и, может, даже твой отец был на этот раз прав, и когда она увидела, как санитарная карета въезжает в ворота, она подумала, что это, наверно, тот самый черный фургон, за которым черномазый парень по ее приказу следит уже три месяца, — он приехал, чтоб забрать Генри в город, где белые люди повесят его за то, что он застрелил Чарльза Бона. И, наверно, он-то все это время и держал в чулане под лестницей сухой мусор и щепки, как она ему велела, все три месяца держал там керосин и все остальное вплоть до того часа, когда он завоет... — Тут как раз пробило час ночи. Шрив умолк, словно ожидая, когда часы перестанут бить, а может даже слушая их бой. Квентин тоже лежал тихо, как будто и он тоже слушал, хотя на самом деле он просто не слышал их, вовсе не слышал, подобно тому как он слышал слова Шрива, не слушая и не отвечая; наконец бой прекратился, замер в ледяном воздухе, слабый, тонкий и мелодичный, словно звон от удара по стеклу. И он, Квентин, казалось, тоже видел все это, хотя его там и не было: санитарная карета, мисс Колдфилд между шофером и вторым мужчиной — возможно, это был помощник шерифа, — разумеется, в шали, а возможно, даже и с зонтиком, хотя на этот раз в нем, наверно, не было ни топора, ни фонарика; карета въезжает в ворота и осторожно пробирается по изрытой ухабами, промерзшей (а теперь кое-где оттаявшей) аллее; и, может, это был вой, а может, помощник шерифа, или шофер, или даже она сама первой крикнула: «Горит!» — хотя, пожалуй, она бы не стала кричать, а просто сказала бы: «Скорей. Скорей», подавшись всем телом вперед на сиденье — маленькая, угрюмая, неистовая, неукротимая женщина ростом немногим выше ребенка. Но быстро ехать по этой аллее карета не могла; Клити несомненно это знала, на это рассчитывала; пройдет добрых три минуты, прежде чем карета сможет добраться до дома, до этой чудовищной, сухой, как порох, прогнившей скорлупы, испускавшей клубы дыма сквозь щели в разошедшейся дощатой обшивке; казалось, дом сделан из проволочной сетки, внутри которой ревели пламя, а где-то позади скрывался кто-то живой, он выл, и это несомненно был человек, ибо в этом вое различались человеческие слова, хотя смысла в них никакого не было. Помощник шерифа и шофер выскочили из машины, мисс Колдфилд с трудом вылезла и устремилась вдогонку тоже бегом, тоже на галерею, где за ними стало гоняться это воющее существо — словно некий бесплотный дух, оно смотрело на них из дыма; помощник шерифа даже повернулся и побежал было за ним, но оно отступило, ринулось прочь, хотя вой не утихал и, казалось, даже не отдалялся. Они вбежали на галерею, в сочившийся отовсюду дым. «Окно! Окно!» — прохрипела мисс Колдфилд, обращаясь ко второму мужчине, который стоял у дверей. Но дверь была не заперта, она подалась внутрь, и их обдало волною жара. Вся лестница была в огне. Однако им пришлось держать мисс Колдфилд; Квентин все это ясно видел: маленькая, худенькая, свирепая, она теперь не издавала ни звука; она боролась молча, с отчаянной яростью, кусая и царапая обопх державших ее мужчин, которые тащили ее назад, вниз по ступенькам, и тут сквозняк от раскрытой двери, казалось, взорвался словно порох, и вся нижняя прихожая исчезла в языках пламени. Квентин все это ясно видел; он видел, как помощник шерифа держал ее, пока шофер осаживал машину назад, в безопасное место, а когда он вернулся, на всех трех лицах появилось выражение ужаса, потому что теперь они, наверно, ей поверили — все трое, широко открыв глаза, смотрели на обреченный дом; и тогда на одно-единственное мгновение Клити, быть может, появи-

лась в том окне, из которого она, наверное, все три месяца день и ночь непрерывно следила за воротами, — трагическое лицо гнома под чистым головным платком на багровом фоне пламени, лицо, на мгновение промелькнувшее между двумя клубами дыма; оно смотрело на них сверху, возможно, и сейчас еще не с торжеством, и даже отчаяние, которое всегда на нем было, теперь ничуть не усилилось; оно даже казалось им безмятежно спокойным, хотя под ним таяла в огне дощатая обшивка, и через секунду его снова закрыло клубами дыма — и он, Джим Бонд, потомок, последний в роду, теперь тоже его увидел и теперь завыл осмысленно, как человек, ибо теперь даже и он, наверное, понял, по ком он воет. Но изловить его им так и не удалось. Они слышали его вой, он, казалось, ни на шаг от них не удалялся, но подойти к нему ближе они не могли, и, возможно, вскоре они уже не могли больше различить, откуда доносится вой. Они — шофер и помощник шерифа — держали отчаянно вырывавшуюся из рук мисс Колдфилд; он (Квентин) ясно видел ее и их; его там не было, но он ясно видел, как она вырывается, борется, словно кукла в каком-то кошмаре, молча, с пеной в уголках губ; он видел, как лицо ее, словно в луче солнца, сверкнуло в последнем розовом отблеске в тот самый миг, когда дом с грохотом рухнул и остался один только вой слабоумного негра.

— Итак, в санитарной карете привезли в город тетушку Розу, — сказал Шрив. Квентин не ответил, он даже не сказал *Мисс Розу*. Он просто лежал, пристально, не мигая глядел на окно и вдыхал пьянящую, морозную, чистую, сверкающую снегом тьму. — И она легла спать, потому что теперь все было кончено, теперь не осталось ничего, теперь там не было ничего, кроме этого слабоумного парня, который будет прятаться в пепле среди четырех обгорелых труб и будет выть до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не прогонит его прочь. Поймать его было невозможно, и, кажется, никто никогда не мог отогнать его подальше от этого места — он просто на некоторое время переставал выть. А потом снова слышался вой. Итак, она умерла. — Квентин ничего не ответил; он пристально смотрел на окно; потом он не мог даже сказать, видел ли он действительно самое окно или всего лишь отражение бледного четырехугольника окна на своих веках, хотя через секунду оно начало появляться опять. Оно начало материализоваться и теперь вопреки закону всемирного тяготения приняло ту же странную позицию, словно, утратив свой вес, превратилось в сложенный пополам листок бумаги, который принес с собою летний день в Миссисипи, аромат глициний, запах сигары и беспорядочную суету светляков.

— Юг, — сказал Шрив. — Юг. О Господи. Не удивительно, что все вы переживаете самих себя на много-много лет.

Листок теперь был виден совершенно четко; скоро он сможет разобрать отдельные слова — скоро, через секунду, вот-вот, сейчас, сейчас.

— В двадцать лет я старше множества людей, которые уже умерли, — сказал Квентин.

— А умерло гораздо больше, чем дожило до двадцати одного, — сказал Шрив.

Теперь он (Квентин) мог его дочитать, кончить — это ироническое письмо, написанное косым затейливым почерком, письмо, пришедшее из штата Миссисипи в эти суровые снега:

...хотя и не исключено, что это возможно. Разумеется, никому не повредит уверенность в том, что она отнюдь не лишилась права быть оскорбленной, права изумляться и не прощать, а, напротив, сама достигла того места, предела, где объекты страдания и оскорблений уже не призраки, а настоящие живые люди, способные воспринимать и ненависть и сочувствие. Никому не повредит надежда — видишь, я написал надежда, а не мысль; поэтому пусть так и будет надежда — на то, что одному достанется порции безусловно заслуженное, а другим сочувствие, которого они, будем надеяться (пока мы еще надеемся), страстно желали, хотя бы только потому, что они вот-вот его получают, хотя бы они того или нет. Погода была прекрасная, но холодная, и землю для могилы пришлось долбить кирками; однако в одном из поднятых с глубины комков я заметил рыжего дождевого червя — он, без сомнения, был живой, хотя к вечеру снова замерз.

— Итак, чтобы избавиться от старика Тома, понадобились Чарльз Бон и его мать; чтобы избавиться от Джудит — Чарльз Бон и окторонка; чтобы избавиться от Генри — Чарльз Бон и Клитти; а чтоб избавиться от самого Чарльза Бона — его мать и бабушка. Итак, чтобы избавиться от одного Сатпена, нужны двое черномазых, верно? — Квентин не ответил, Шрив сейчас явно не ждал ответа; он почти без передышки

продолжал: — И это хорошо, великолепно; это окончательно подводит итог, и теперь ты можешь вырвать из гроссбуха все страницы и спокойно их сжечь, и остается только одно. Знаешь, что? — Возможно, на этот раз он надеялся получить ответ, а возможно, просто остановился для пушего эффекта, ибо ответа он не получил. — Остается один черномазый. Один черномазый Сатпен. Конечно, его нельзя поймать, его даже не всегда можно увидеть, и от него никогда не будет никакого проку. Но он все равно еще там. Иногда его еще слышно ночью. Ты его слышал?

— Да, — сказал Квентин.

— И знаешь, что я думаю? — Теперь он и в самом деле ждал ответа, и теперь он его получил.

— Нет, — сказал Квентин.

— Хочешь знать, что я думаю?

— Нет, — сказал Квентин.

— Ну так я тебе скажу. Я думаю, что со временем Джимы Бонды покорят все западное полушарие. Конечно, это будет не при нас, и, конечно, по мере того как они будут продвигаться к полюсам, они снова побелеют, как кролики и птицы, чтоб не так ярко выделяться на снегу. Но это все равно будет Джим Бонд, и потому через несколько тысяч лет окажется, что я — тот, кто смотрит на тебя сейчас, — тоже потомок африканских царей. А теперь, пожалуйста, ответь мне еще на один вопрос. Почему ты ненавидишь Юг?

— С чего ты взял, что я его ненавижу? — быстро, поспешно, мгновенно отозвался Квентин. — Это неправда, — сказал он. *Это неправда*, думал он, задыхаясь в холодном воздухе, в суровом мраке Новой Англии. *Неправда! Неправда! Это неправда, что я его ненавижу! Неправда! Неправда! Неправда!*

Перевела с английского М. БЕККЕР.



СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ КУРТ БАХМАН

Перед читателем журнала — запись разговора двух людей о Гитлере, о фашизме. Диалог ведут молодой западногерманский учитель Вильфрид Реккерт и ветеран-антифашист Курт Бахман.

Реккерт хорошо знает настроения молодежи ФРГ, ее сомнения, непосредственно ощущает массивное наступление на умы послевоенного поколения, ведущееся в ФРГ теми, кто хочет реабилитировать, оправдать фашизм прошлого, создать почву для фашизма настоящего и будущего.

Коммунист Бахман, прошедший суровую школу борьбы против фашизма, спокойно и убедительно размышляет о подлинных причинах взлета и позорной гибели Гитлера, о кровавых делах фашизма, которые еще долго будут приводить в содрогание человечество.

Бахман остро понимает, что фашизм не исчез бесследно. Он оставил горькое семя, которое и сейчас дает ростки.

В нашу эпоху, когда соотношение сил на мировой арене постоянно и неуклонно меняется в пользу социализма, империалистические силы идут на все, чтобы прервать или, по крайней мере, затормозить этот процесс. Фашизм как система власти, как наиболее реакционный, террористический метод осуществления политики монополистического капитала далеко не исключен из arsenалов современного капиталистического общества. А пока, памятуя, что народы не забыли ужасы гитлеровского фашизма, оно старается подготовить почву для того, чтобы этот метод, возможно в измененных формах, можно было вновь применить на практике. Старается завуалировать страшные дела германского и иного фашизма, скрыть правду о Гитлере и его подручных, правду о причинах появления фашизма как такового.

Федеративная Республика Германии унаследовала большую часть населения, территории, а вместе с ними вольных и невольных носителей идей фашистского рейха. В другой части Германии было навсегда покончено с мрачным наследием фашистского прошлого — ГДР прочно встала на путь мира и социализма. В ФРГ же сохранилась питательная среда для неофашизма как с точки зрения характера ее общества, так и той политической атмосферы, которую стремятся поддержать в стране силы империализма и реакции.

Глубокую тревогу вызывает тот факт, что сущность фашистского прошлого в ФРГ далеко не для всех вскрыта до конца. Тем, кто пытается сделать это, противостоят мощные силы, стремящиеся оправдать и даже приукрасить историю фашистской Германии. Это десятки и сотни книг, публикаций в ежедневной и периодической печати, телепередачи и кинокартины.

Крайне правые в ФРГ все настойчивее внушают, что Германия во времена фашизма переживала период величия, подъема национального духа и самосознания.

Бахман непримирим к подобным высказываниям. Он не просто опровергает их, а показывает, чего стоило подобное «величие и самосознание» соседним странам и народам, чего стоили они самим немцам, напоминает, как очнулись немцы от национал-социалистского угара, увидя послевоенные руины своей собственной страны.

В разговоре Бахмана с Реккертом упоминается документальный фильм «Адольф Гитлер — история одной карьеры». Он во многом типичен для той пропагандистской волны, которая призвана обелить фашизм и его фюрера.

Полностью книга выйдет в издательстве «Прогресс».

Мне довелось посмотреть эту четырехчасовую картину в одном из крупных кинотеатров Гамбурга. Ее авторы претендуют на объективность, настойчиво стараются убедить, что они, мол, показывают все стороны фашизма, деятельности фюрера, не избегают даже показа преступлений, свершенных нацистами. Я внимательно вглядывался в зрителей, когда в зале зажегся свет. Что восприняли они в этом фильме? Бесконечные парады и шествия, фанфары, знамена, факелы, огромные площади, заполненные людьми. И, конечно, сам фюрер, его речи и речи под восторженный рев десятков тысяч мужчин и женщин. Нетрудно догадаться, что не преступления фашизма, мельком прошедшие по экрану, а эта помпезность, замешанная на национализме и шовинизме, надолго западет в головы молодых людей, не знающих правды о фашизме. Вот, мол, какие мы были великие и могущественные, вот как перед нами трепетали все и вся.

Не так давно в крупном западногерманском городе Мангейме был проведен опрос об отношении к литературе и фильмам о фашизме и Гитлере, широкой волной захлестнувших Западную Германию. Результат оказался таков: каждый шестой из опрошенных находит такие фильмы и литературу хорошими, ибо узнает из них, что «Гитлер и третий рейх имели и свои положительные стороны».

Оценивая Гитлера, К. Бахман опирается на марксистско-ленинское учение о роли личности в историческом процессе. Он не сомневается в том, что на определенных этапах развития народов и государств подчас многое зависит от того, в чьих руках оказывается власть. Не отрицает он и определенных качеств Гитлера, которые выделяли его из среды других фашистских деятелей и обратили на себя внимание тех, кто пестовал фашизм и готовил его к захвату власти.

Но в первую очередь Бахман рассматривает конкретные исторические условия и объективные обстоятельства, породившие Гитлера и определившие характер его преступной деятельности. Германский монополистический капитал, потерпевший поражение в первой мировой войне и задохнувшийся от революционного натиска немецкого пролетариата, искал Гитлера и нашел его.

Конечно же, монополистический капитал отдал власть Гитлеру и его партии не для того, чтобы вместе с ними оказаться в пропасти. На определенном этапе некоторым германским промышленникам и финансистам стало ясно, что авантюризм гитлеровской верхушки добром не кончится. Они хотели кое в чем сдерживать зарвавшихся фашистов или даже соскочить с нацистского поезда, мчащегося к гибели. Но было уже поздно. Фашистский аппарат насилия сосредоточил в своих руках всю государственную власть. Он создал невиданную доселе систему слежки и немедленной расправы над всеми, кто проявлял хотя бы минимум сомнения и недовольства. Пропагандистскому ведомству Геббельса удалось вызвать в стране огромную волну шовинизма. Все это позволило фашизму на короткий временной период встать и ~~езд~~ теми, кто его породил.

Огромна вина Гитлера и его подручных. Умалять ее значит идти против объективности, значит оправдывать одно из самых худших явлений, которые знала история человечества. Граничащая с безумием жестокость Гитлера, его чудовищное вероломство, в том числе и по отношению к собственному народу, еще долго будут потрясать поколения людей. И тем не менее никто не имеет права прятать за личность Гитлера историческую вину сил, вызвавших к жизни фашизм и призвавших его к власти. Мы никогда не забудем, что Гитлер и фашизм — это детища германского империализма. Вместе с Гитлером к позорному столбу истории навсегда пригвождено и общество, которое его создало.

Вот почему так важно живое свидетельство о фашистских годах, исторически объективный анализ нацизма, который дает нам Курт Бахман. Это особенно необходимо в Западной Германии, где, к сожалению, еще так сильны неонацистские круги. Достаточно напомнить, что в ФРГ действуют около 150 фашистских организаций и групп, которые выпускают свыше сотни печатных изданий. Одна из таких организаций — «Общество взаимопомощи бывших солдат войск СС» — насчитывает около 300 тысяч членов и располагает филиалами даже за границей.

Рассказывая о фашизме прошлых лет, Бахман ни на минуту не упускает из виду сегодняшнюю опасность фашизма. Параллели с прошлым ярко высвечивают теперешний неонацизм, который иногда открыто показывает свастику, но ~~чаще~~ старается маскироваться, рядиться даже в более или менее демократические одежды,

Бахман призывает людей доброй воли разоблачать и решительно бороться с неонацизмом. Он знает, что фашизму нельзя давать разрастаться.

Книга Бахмана вызвала широкий резонанс в Федеративной Республике Германии. Многие демократические молодежные, студенческие и другие организации приглашали автора на свои собрания, чтобы вместе с ним провести дискуссии о фашизме. Нет сомнений, что после таких встреч с мужественным антифашистом многие по-другому взглянули и на пропагандистскую кампанию реакции по обелению фашистского прошлого Германии, и на деятельность современных западногерманских правых ультра.

Бахман — искренний друг Советского Союза. Он не может без волнения говорить о жертвах, которые принес советский народ для разгрома гитлеровского фашизма, для освобождения от его ига многих народов, включая и немецкий народ.

В 1979 году Бахману присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Немецкие коммунисты гордятся Куртом Бахманом — негибимым борцом против зла и насилия, за правду, прогресс и мир.

Издательство «Вельткрайз» (Дортмунд, 1978), выпустившее книгу К. Бахмана, предпослало ей предисловие, заключительный абзац которого я привожу здесь.

«Правда о Гитлере» — это не очередная книга в длинном ряду всяких книг о Гитлере, а первая книга, автор которой видит личность Гитлера глазами коммуниста. Это книга антифашиста Курта Бахмана, который (поскольку он коммунист) сам сидел в концлагере и едва не погиб от рук фашистских убийц. Распространяемой миллионными тиражами литературе крупных нацистских фигур и генералов вермахта мы противопоставляем эту книжку, которая разъясняет суть фашизма и личности Гитлера, раскрывает его общественную основу и дает возможность историческим документам говорить самим за себя. Это книга о германском фашизме, которая нужна каждому школьнику и учителю истории.

В. ЕЖОВ,

профессор, доктор исторических наук.

* * *

В. Реккерт. Взгляда на витрину любого вокзального киоска достаточно: там господствует Гитлер и другие нацистские главари, описание оружия, которое использовалось гитлеровским вермахтом, якобы героические дела нацистского вермахта и другие подобные темы. Гигантская суматоха была устроена вокруг фильма Феста «Гитлер — история одной карьеры». Миф о Гитлере, имя которого связано с величайшей в истории катастрофой нашего народа, переживает свое возрождение. При этом в центре внимания вовсе не стоит распространение знаний в области истории. «Карьера» Гитлера — является ли это, собственно говоря, правильным исходным пунктом для разоблачения фашистской идеологии, партии и диктатуры? Или это приглашение на ложный путь?

К. Бахман. Как говорит пословица, все дороги ведут в Рим. Изучение известной политической личности какого-либо общества, или государства, или партии может дать подходы к целому или существенному, если понимать, что подобные личности выражают объективные тенденции своего времени, будь это в прогрессивном или реакционном смысле.

В. Реккерт. Фильм Феста показывает, что, уделяя много внимания личности Гитлера, можно уйти от выяснения сущности фашизма по ложному следу.

К. Бахман. Это произойдет, если фюрера НСДАП¹ изображать как творца своего времени (а некоторые говорят даже о целой эпохе) и тем самым героизировать его. И в самом деле, мы в нашей стране являемся свидетелями еще одного возрождения интереса к личности Адольфа Гитлера, тогда как в 50-е годы на него взвалили всю вину. Ему приписывалось все, что произошло между 1933 и 1945 годами. Он и якобы только он один несет ответственность и — поскольку об этом еще вообще говорится — вину за все, что причинил под знаком свастики германский фашизм как немецкому народу, так и народам Европы.

«Гитлеровские волны», которые теперь регулярно прокатываются по нашей стране, несут, однако, преимущественно приукрашивание величайшего из преступников, каких только до сих пор знала история. При этом мы должны себе

¹ Национал-социалистская рабочая партия Германии (официальное название гитлеровской фашистской партии).

отчетливо представлять, что память народов бодрствует. Никто не забыт и ничто не забыто. В остальном буржуазные историографы, изображая Гитлера сверхчеловеком, продолжают ту линию, согласно которой истории следует рассматривать как действия личности и даты из ее жизни, а не как преимущественно классовую борьбу.

В. Реккерт. Фест так говорит о карьере Гитлера: в 1919 году — солдат рейхсвера, с 1920 года — член неизвестной партии местного значения, в 1923 году — участник путча против республики, в 1932 году — фюрер партии в германском рейхе, располагающей самым большим числом избирателей, рейхсканцлер, с 1934 года — глава государства, а затем и верховный главнокомандующий вооруженными силами, в 1939 году — победитель в Варшаве, в 1940 году — триумфатор в Париже.

К. Бахман. И вот результат его попытки «крестового похода против большевизма»: в 1945 году — обугленный труп, идентифицированный специалистами из Красной Армии среди развалин бывшей имперской столицы, и миллионы мертвых немцев, трупы и горы развалин в Европе. Где бы ни ступал сапог германского фашизма и милитаризма, он оставлял за собой бедствия и опустошение.

В. Реккерт. Оставим пока в стороне то, что было удивительным на этом жизненном пути, и присмотримся поближе к «карьере». Начнем с многократно упомянувшегося решения Гитлера стать политиком, как он заявляет в «Майи кампф».

К. Бахман. Это легенда. Гитлер охотно изображал сам себя как мессию, явившегося во спасение немецкого народа, как избавителя, пришедшего через мучения и страдания. Как и многое другое, это душщипательная история, построенная в расчете на святую простоту и адресованная святой простоте. По окончании войны в 1918 году Гитлер вновь был тем, кем он был перед началом войны, — прогоревшим неудачником. У него не было никакой профессии. Ему, как и миллионам других людей из стран капитала, участвовавших в войне, угрожала безработица и нужда. Поскольку ему не хотелось возвращаться к безнадежному прозябанию обитателя ночлежки для бездомных, он цеплялся за рейхсвер, который спас германский милитаризм вопреки положениям о разоружении из Версальского договора. Там у него были кров и пища, там же он получил свои первые политические задания. Не он решил стать политиком, а его начальники в мюнхенском гарнизоне решили использовать его в политических целях, поскольку они распознали в нем подходящего помощника. Он стал рейхсверовским шпиком, задачей которого было выискивание солдат, офицеров и унтер-офицеров, безоговорочно согласных, чтобы их использовали против революционных устремлений народа.

В. Реккерт. По своему крайне враждебному в отношении прогресса и революции националистическому умонастроению он был для этого вполне подходящим человеком.

«Нойер Форвернте»:

«Политический поворотный пункт 1918 года наступил в результате контрреволюционного развития, обусловленного войной и националистическим взвинчиванием народных масс. Социал-демократия как единственная сохранившаяся организационная сила взяла на себя без сопротивления руководство государством, разделив его с самого начала с буржуазными партиями, со старой бюрократией и даже с заново организованным военным аппаратом. То, что она почти без изменений переняла старый государственный аппарат, было тяжелой исторической ошибкой, допущенной немецким рабочим движением, введенным в заблуждение во время войны..»

Правление социал-демократической партии Германии, Прага, 28.I.1934 г.»

К. Бахман. Активное приобщение Гитлера к партийной политике началось в тот момент, когда в ноябрьской революции 1918 года, которая была революцией широких народных масс, немецкая буржуазия только что завидела пропасть своего собственного исторического заката. Она от него ускользнула, но с помощью не только своей силы.

Винювники развязывания первой империалистической мировой войны остались безнаказанными. Генеральный штаб не был распущен. Владельцев концернов, юнкеров и крупных помещиков никто и пальцем не тронул, поскольку руководство СДПГ и генеральный штаб вошли в тайный союз для защиты буржуазных порядков. Так были лишены власти Советы рабочих и солдат, которые могли бы стать органами власти. Созыв Веймарского национального собрания означал начало пути буржуаз-

ного парламентаризма. Мелких помещиков, крупных землевладельцев (а они всегда на стороне крайней реакции) никто, повторяю, и пальцем не тронул. Вот так и вышло, что даже решение задач буржуазной революции осталось незаконченным.

В. Рекерт. Классовое господство буржуазии было все еще нестабильным. Коммунистическая партия лишь начала создаваться. В независимой социал-демократической партии росло влияние революционных сил. И в рядах социал-демократии, в которой главенствовали реформисты, не прекращались требования коренных социальных и политических перемен.

К. Бахман. Влиятельнейшие силы немецкой буржуазии не намеревались долго довольствоваться шаткими условиями своего господства. Им был по душе любой и всякий, кто мог бы содействовать укреплению на долгие времена эксплуататорских порядков.

Сотни милитаристских и фашистских группировок соревновались в рейхе в стремлении внести в это дело свой вклад, и среди них группа «Оргеш», бригада Эрхарда, штурмовики Россбаха, свободный корпус под командованием Носке (СДПГ), отряды гражданской самообороны, восточные пограничники, черный рейхсвер, женские отряды смерти, народный союз защиты и борьбы, «великогерманская рабочая партия», «всегерманский союз», «немецкая народная партия свободы». Все они были полны злости против Октябрьской революции в России, настроены воинственно антикоммунистически, враждебны буржуазной республике. Они рвались к реваншу за проигранную войну.

В. Рекерт. С одной из таких групп в сентябре 1919 года Гитлер вступил в контакт именно как шпиик. В баварской столице он должен был разведывать — ведь он был рейхсверовским шпииком, — какие политические силы формируются в Мюнхене и какие программы и цели они преследуют. Так Гитлер в сентябре 1919 года не по своей воле, а случайно, в связи с заданием и установил контакт с одной не имевшей значения группой, называвшей себя немецкой рабочей партией, непосредственной предшественницей пресловутой НСДАП. Гитлер стал ее членом.

К. Бахман. При этом следует знать, что Мюнхен 1920 года был особенно благоприятным местом для политических авантюристов и контрреволюционеров. Здесь в мае 1919 года революционные силы, хотя и на историческое мгновение, захватили власть и создали республику Советов. Страх перед революцией владел широкими кругами буржуазии и мещанства. Уже в октябре 1922 года Гитлер назвал «уничтожение и искоренение марксистского мировоззрения» целью НСДАП. Тот, кто выдавал себя за спасителя от революции и республики, которую заведомо ложно называли социалистической, тот имел в Мюнхене больше шансов на успех, чем в каком-либо другом крупном немецком городе.

В. Рекерт. Однако перед нами возникает вопрос, как Гитлер и НСДАП сумели взять верх над многими конкурентами, которые были настроены не менее враждебно по отношению к революции и республике.

К. Бахман. Успехи пришли не столь быстро, как этого требовали задания. Путь в тайную комнату гостиницы, в которой заседала кучка членов немецкой рабочей партии, свидетельствует, что политическую реакцию, к которой принадлежали командиры Гитлера — рейхсверовские офицеры, особо интересовал один вопрос: как вновь подчинить своему прямому влиянию рабочие массы? Идеальным образцом властвования представлялось положение тех августовских дней 1914 года, когда пролетарии, запутанные в националистской паутине и подстрекаемые шовинистическим лозунгом Вильгельма II: «Я не ведаю больше никакой партии, я знаю только немецкую», были втянуты в империалистическую бойню. И наоборот: перед глазами иных стоял как устрашающая картина другой исторический момент — когда немецкие рабочие в ноябре 1918 года повернули наконец оружие по русскому примеру первой победоносной пролетарской революции под руководством большевиков.

В. Рекерт. В третьем рейхе вильгельмовский лозунг звучал иначе: «Одни рейх, один народ, один фюрер».

К. Бахман. Удержать рабочий класс под такими лозунгами от революционной борьбы и мобилизовать его в интересах буржуазии — вот что было в 1919—1920 годах коронной задачей, и она осталась во все последующие годы, причем в двойном плане: как условие стабильной внутривластной обстановки для господства и как предпосылка для реваншистской войны, в которой надо добиться окончательной победы и не допустить повторения 9 ноября 1918 года.

В. Реккерт. Но ведь это не так уж просто — мобилизовать рабочий класс против его самых искренних стремлений — к свободе и миру. Какими же методами действовала НСДАП?

К. Бахман. Да вот пример: ее фирменная вывеска. Эта партия не только выступила с претензией на право быть рабочей партией, она одновременно украсила себя и обозначением «социалистская», потому что популярность идей социализма среди рабочих была очевидной. Более того, она украла у рабочего движения красное знамя и вообще предпочитала для своих агитплакатов и других целей завлечения красный цвет.

В. Реккерт. Поначалу это ей не помогло, поскольку рабочие тогда быстро распознали мошенничество. И Гитлер, точно говоря, провалился на своем первом задании — стать национал-социалистским рабочим фюрером. Но он, однако, привлек к себе ту мелкую буржуазию, которой буржуазная пропаганда привила страх перед революцией. Гитлер увидел, что, используя это, можно делать политику.

К. Бахман. Он постиг, что разнузданный антикоммунизм, проклятия в адрес большевистской революции в советской России и ее выдающегося вождя Ленина, злобные антисемитские тирады, яростные нападки на империалистический Версальский диктат вполне подходят, чтобы вызвать аплодисменты и привлечь сторонников.

Когда крупный капитал нуждается в определенной политике, то всегда находится политик, который соответствует имеющимся представлениям.

Политические идеи Гитлер, разумеется, усвоил во время войны и до нее. По своему образу мышления он был великогерманским националистом, шовинистом и антисемитом. Он впитал в себя, в общем-то, почти все, что выработала идеология буржуазии в качестве духовного инструмента для развращения масс. Так, например, учение социал-дарвинизма, которое получило высшее проявление в приукрашивании и оправдании империалистической войны; геополитические тезисы, которые сводятся к тому же самому, а также расистские доктрины, особенно в их крайнем антиеврейском проявлении. Основываясь на учении Дарвина о мире животных и растений, некоторые социологи механически перенесли на человеческое общество биологические принципы, прежде всего борьбу за существование и естественный отбор. Гитлер был знаком с идеологическим репертуаром антисоциализма и антикоммунизма. Еще в своей австрийской школе он усвоил, что историю якобы делают великие личности. К этому он ничего своего нового не придумал, не говоря уж о том, что и не написал.

В. Реккерт. Будучи продуктом империалистического духовного оглуления и развращения, Гитлер потому столь много и привнес для духовного оглуления миллионов немцев.

К. Бахман. По отдельности Гитлер и его сообщники находили во всей истории германского империализма многочисленные враждебные народам, антигуманные идеи и образцы:

когда в 1862 году Бисмарк стал премьер-министром Пруссии, он заявил: крупные вопросы современности будут решаться не по постановлению большинства, а «кровью и железом»;

«всегерманское объединение», созданное в период зарождения германского империализма крупными промышленниками в качестве духовного путепрокладчика к осуществлению их экспансионистских целей, требовало «экономического господства великой Германии». На карте будущей Европы запланированная Германская империя простиралась от французского Кале до русского Петербурга. Оккупированная Польша объявлялась немецким феодальным государством. Идея, по которой «весь мир должен быть оздоровлен на немецкой основе», враждебность к провозглашенным в 1789 году буржуазным свободам, антигуманная теория о людях, призванных господствовать, и антисемитизм были типичными приметами молодого, укрепляющегося, но слишком поздно появившегося германского империализма, когда мир уже был поделен между другими империалистическими хищниками.

В. Реккерт. Гитлер примкнул не только к реакционным политическим идеям, но и к соответствующему философскому наследству.

К. Бахман. Еще в середине прошлого столетия философ Фридрих Ницше сформулировал идею о «воле к борьбе как воле к власти и подавляющему превосходству». «Сама жизнь является, по существу, захватом, оскорблением, победой над чужим и более слабым...», «Человек, стоящий выше, — не человек, он сверхчеловек». А в книге «Так говорил Заратустра» Ницше заявляет: «Хорошая война — это то,

что освящает все на свете». Там же можно прочитать, что «абсолютные приказы могут быть отданы только наводящими ужас мастерами принуждения».

Человеконенавистническая расовая теория тоже была подробно разработана уже в этот период. «Расовый вопрос доминировал над всеми проблемами истории», — заявлял Гобино. «Украшением белой расы (являются) арийцы», — полагает Гобино и заявляет, что «арийские немцы» якобы являются «самыми лучшими арийцами». Эту антигуманистическую теорию о «выведенной расе», равно как и об «освящении крови в более узком смысле», развил Хустон Стюарт Чемберлен. Егоopus вышел в свет в 1902 году в Вене. Возможно, что Гитлер ознакомился с ним.

При проведении одного конкурса фирмой Фридриха Круппа в Эссене в 1900 году теория «естественного отбора», или, иначе говоря, социал-дарвинизма, как условия для любого дальнейшего развития людей, была возведена в ранг мировоззрения.

В. Реккерт. Гитлер был не только носителем реакционной буржуазной идеологии, но одновременно и смертельным врагом веймарской демократии, буржуазно-парламентской формы господства монополистической буржуазии. И этим тоже он отвечал надеждам тех, кто уже в 1920 году пытался с помощью капповского путча свергнуть Веймарскую республику. Путч провалился, натолкнувшись на единство действительного рабочего класса.

К. Бахман. Гитлер перенял империалистическую преступную идеологию и антидемократическую политику. После первой мировой войны для него речь шла о том, чтобы, используя эти идеи, самому себе обеспечить быстрый политический рост, переработать и применить эти идеи. Несомненно, это было взаимосвязано у него с процессом его обучения.

В. Реккерт. Остается выяснить, почему из многих конкурировавших реакционных организаций и групп именно НСДАП приобрела в конце концов наибольшее влияние в Веймарской республике. Для этого Гитлер должен был, видимо, внести собственные, причем новые, идеи и практику.

К. Бахман. В действительности даже словосочетание «национал-социализм», то есть такое реакционное выражение, которое преднамеренно противопоставлено революционному интернациональному социализму, создано не Гитлером. Попытка оторвать рабочий класс от пролетарского интернационализма и подсунуть ему для пользования лживый образец некоего немецкого социализма — эта попытка старее, нежели нацистская партия.

Фашистская пропаганда пользовалась многими цветастыми лозунгами, причем именно антикапиталистическими, чтобы внедриться в ряды рабочего класса. Партийная программа НСДАП от 25 февраля 1920 года обещала многим многое:

пункт 11: «Ломка налоговой кабалы»;

пункт 13: «Национализация уже обобществленных (тресты) предприятий»;

пункт 14: «Участие в прибылях крупных предприятий»;

пункт 17: «Земельная реформа при безвозмездной конфискации»;

пункт 23: «Борьба против заведомой политической лжи и ее распространение через прессу».

Ни единого из этих социальных обещаний нацисты не выполнили. Они утверждали, что якобы стремятся создать национальный строй вне рамок капитализма. Этому строю они приклеивали названия вроде «национальный социализм», «национал-социалистское народное сообщество» и тому подобное.

В. Реккерт. Эта антикапиталистическая нацистская демагогия была, как обнаружилось самое позднее в 1933 году, чистым мошенничеством.

К. Бахман. Когда по заданию тяжелой индустрии фон Гинденбург передал власть фашистам, ничего не изменилось в отношениях собственности и производства. Крупп остался Круппом, а Тиссен Тиссеном. Экономическая и политическая власть монополий и крупных банков укрепилась в невиданной до сих пор мере. Уже 15 июня 1933 года был создан «генеральный совет немецкой экономики», в котором самые крупные концерны были объявлены прямо ответственными за организацию всей экономики. Экономика и политика, монополии и государство были так тесно связаны во времена нацизма, как никогда ранее.

В. Реккерт. Даже основной лозунг НСДАП, на который попались столь многие, был провозглашен не Гитлером. Хотя он «великодушно» присваивал себе заслуги других, он писал в своей книге «Майн кампф», что пришел к пониманию лозунга «ломки налоговой кабалы» как якобы решающего средства для подъема народного

благосостояния благодаря одному из старых членов партии. Его звали Готфрид Федер, и он считался долгое время до 1933 года ведущим идеологом НСДАП. Пустая, по сути, формула о «ломке налоговой кабалы» вошла в программу партии в 1920 году. Мы уже говорили перед этим, что на рабочих антикапиталистическая демагогия влияла только в небольшой степени. Для кого же был выдуман лозунг о «ломке налоговой кабалы»?

К. Бахман. Громкие слова против налоговой кабалы «банковских и биржевых князей» и многие другие доходили в первую очередь до мелкобуржуазной массы и одурманивали ее. Им угрожало разорение из-за последствий войны и инфляции. Увязшие в долгах, преследуемые сроками уплаты долговых взносов, кошмарным видением прихода судебного исполнителя и распродажи с молотка их имущества, мелкие торговцы, ремесленники, а также крестьяне из небогатых и середняков попадались на удочку обещаний освободить их от налоговой кабалы. Под этим они понимали возвращение социальной стабильности, спасение от перехода в пролетарии, в ряды тех, кто зависит от зарплаты, спасение от тяжелой нужды.

В. Реккерт. За всеми национал-социалистическими лозунгами и демагогией о приверженности к народу Гитлер скрывал глубокое презрение и враждебность в отношении немецкого народа.

К. Бахман. Гитлер, навлекший на наш народ столько бедствий, всегда использовал народные массы не иначе как политический инструмент, чтобы сделать их преданными и покорными хищническим интересам монополистической буржуазии. В ходе разбойничьей войны против народов Европы, особенно против Советского Союза, стали более утонченными лишь методы оболванивания, но тем безграничнее был террор в отношении всех, кто оказывал сопротивление преступной войне.

Фашистские политики рассматривали народные массы в духе Ницше — как тупое нечто, не творческое, как безвольный инструмент и исполнитель приказов. Народ был для них пластилином в руках великих людей, которые якобы делают историю. Рабочие и крестьяне имели предназначение надрываться на работе, сражаться и умирать на войне, производить и выращивать детей, которые в свой черед должны работать не разгибая спины, сражаться и умирать. По мнению Гитлера, каждое поколение немцев должно повоевать. Разделение политики и интересов масс — это позиция, целиком и полностью вытекающая из буржуазного образа мышления.

В. Реккерт. Этой позиции, в соответствии с которой собственному народу отводится лишь роль статиста в истории, отвечает то, что центральное место в пропаганде уделяется вдалбливанию предрассудков и лжи. Если народу не следует самому играть активную роль в защите своих интересов и он даже должен быть мобилизован против своих потребностей, как этого хотели нацисты, то ему не нужно просвещение, более того, надо любыми путями не давать доступа к просвещению. Поэтому используется жестокий террор против всех форм формулирования собственных мыслей, поэтому прибегают к зверским преследованиям прежде всего коммунистов, поэтому — травля марксизма как мировоззрения трудящихся масс.

Теперь мы должны перейти к, пожалуй, центральному вопросу в дискуссии о личности Гитлера в фашизме. Буржуазные биографы Гитлера видят в нем всемогущего деятеля, на которого только и следует взвалить все деяния и злодеяния во время нацизма. Фест утверждает, направляя это против нас, марксистов, что Гитлер «не только не был продажным, но и не состоял в союзе с крупным капиталом».

К. Бахман. Гитлер облекал в слова, во фразу, в политическую и военную политику то, что отечало разбойничьим замыслам и целям реакционных сил и группировок немецкого финансового и монополистического капитала.

Противники марксизма пытаются облегчить себе борьбу с ним во многих областях тем, что они извращают марксистские концепции. Они конструируют сами себе своих марксистских противников. А то, что сконструировано, соответственно слабо и его легко победить. «Славные» победы над марксизмом со времен Маркса и поныне празднуются таким вот образом. Гитлер же сам был экспертом по такой «полемике». Так был «опровергнут» марксистский анализ фашизма, которому приписывалось, будто в его свете Гитлер предстает только как марионетка крупного капитала. Отношение представителей капитала к Гитлеру и другим главам НСДАП не может быть объяснено изображением их как тех людей, которые заставляют кукол танцевать. Одно дело — политические отношения, другое — механический процесс. Марионетки — это безвольные инструменты, политики же имеют собственные планы, инте-

рессы, цели, собственные взгляды на стратегию и тактику, на различные социальные вопросы. То, что делает какого-либо политика буржуазным политиком, — это объективное соответствие его политических программ коренным интересам класса капиталистов.

Для немецкой буржуазии было важно, что думал Гитлер о прошедшей и предстоящей войне, какие у него взгляды насчет преодоления и уничтожения революционного, реформистского и профсоюзного рабочего движения, как он судит о методах и средствах обуздания масс и мобилизации масс в реакционных целях. Для нее представляло относительно малый интерес или было полностью безразлично, какова позиция Гитлера в отношении вегетарианства или безвкусицы в искусстве, любит он музыку или нет, почитает ли он Вагнера и так далее. Об этом тоже можно было побеседовать с господином Гитлером, но только после достижения договоренности о существенном.

Определяющим для отношения класса капиталистов к Гитлеру было и оставалось то, что его представители, сначала некоторые, потом значительное число, и, наконец, их влиятельнейшие круги убедились в том, что он и НСДАП были пригодны, так сказать, политически применимы.

В. Реккерт. Отношения между нацистами и крупным капиталом нельзя определить как отношения механической зависимости, а также как союз, в который могли вступать все новые партнеры.

К. Бахман. Понятие «союз», как показывает опыт, может вызвать неправильные представления об отношениях между фашистскими главарями и влиятельными деятелями класса капиталистов. Это происходит тогда, когда представляют себе их отношения как связь двух одинаково сильных или в равной мере самостоятельных и тем самым свободных в своих действиях партнеров.

Капитаны капитала всегда имели и имеют в запасе несколько политических средств, обладали и обладают различными возможностями, чтобы укреплять свое господство и обеспечить свои прибыли. У фашистских же главарей и Гитлера, которые на поле политики искали счастья, выдвижения, а также благополучия и богатства, не имелось никакой альтернативы. Или они были бы приняты сильными этого высшего социального слоя, или они провалились бы. Соответственно этому они домогались всеми средствами благорасположения богатых.

В. Реккерт. Историки говорят о том, что НСДАП якобы была позднее правящей партией, союзным партнером крупной буржуазии.

К. Бахман. В буржуазных партиях отражаются различные слои, течения и классы. Они являются представителями их интересов, но не самих этих классов. Они обладают историческим опытом, вырабатывают относительную самостоятельность и входят при этом между собой в коалиции, или по-немецки — в союзы, но никоим образом не с монополистическими группами напрямую. Они действуют не как союзные партнеры концернов. Они также не являются их техническими или торговыми представителями, а их политическими и уполномоченными. Это относится к НСДАП так же, как относится и к другим буржуазным партиям.

В. Реккерт. Итак, центральный вопрос отношений между нацистами и крупным капиталом состоит в том, насколько Гитлер и НСДАП могли политически выражать интересы буржуазии.

К. Бахман. В конце мирового экономического кризиса нацистская партия наилучшим образом отвечала пожеланиям самых реакционных сил немецкого финансового и монополистического капитала подавить с помощью террора революционное рабочее движение, равно как и стремлению к вооружению, экспансии, их «вечному драгуну нах Остен» (натиску на Восток), стремлению к господству в Европе. Все это они нашли в политике, которую предлагали Гитлер и его партия.

В. Реккерт. Тем не менее путч в Мюнхене — первая попытка разгромить республику и установить фашистскую диктатуру — провалился. В то время Гитлер, очевидно, не то что не был поддержан влиятельными силами капитала, а скорее был брошен на произвол судьбы, если я правильно это понимаю.

К. Бахман. Представления о верности инбелунгов непригодны для характеристики отношений между буржуазией и главарями фашистов.

8—9 ноября 1923 года фашистская партия провалилась вместе с другими реакционными силами Баварии, которые объединились в шаткий фронт. А Гитлер очутился не в Берлине в правительственном квартале, а снова в тюрьме. Его далеко идущие

планы сперва основательно рухнули. Произошло это вовсе не потому, что путч был организован в высшей степени дилетантски, а связано это с позицией немецкой буржуазии...

В. Реккерт. ...которая хотя и кокетничала с политическими целями Гитлера, но сознавала, что достичь эти цели в данный момент и методами путча нельзя.

К. Бахман. Большинство немецкой буржуазии к этому моменту было научено историческим опытом, до которого своим умом Гитлер и его сообщники по путчу еще не дошли и поэтому не воспользовались им как предупреждением об опасности. Капповский путч 1920 года доказал, что фронтальная атака против Веймарской республики сплачивала реформистское и революционное рабочее движение и угрожала тем самым тому основному условию политического существования капитализма в Германии, которое называлось расколом рабочего класса. Вот так внутри буржуазии все более и более брало верх мнение, что ликвидировать республику следует путем таких систематических действий, которые в данное время содействовали разрушению объединенного фронта рабочего класса.

Пауль Сильверберг, из речи на собрании членов имперского объединения немецкой промышленности 4 сентября 1926 года:

«Нельзя управлять без рабочих. И если это верно, то надо иметь мужество прийти к выводу: нельзя управлять без социал-демократии, в которой подавляющее большинство немецких рабочих видит своего политического представителя. Немецкая социал-демократия должна быть привлечена к ответственному сотрудничеству... Если социал-демократия поставит себя на почву фактов, будет отклонять радикальное доктринерство и всегда разрушающую, никогда не создающую политику улицы и насилия, то она вместе с предпринимателями и под их руководством поведет Германию и немецкую экономику к успехам и процветанию»².

Мюнхенский путч 1923 года погрешил против этого тактического принципа буржуазии. И в самом деле, путчисты в Мюнхене не имели политической поддержки большинства немецкой буржуазии, хотя у них и были прямые связи в других областях рейха и именно с кругами немецкой тяжелой промышленности. Она верила, что сможет разбить революционные силы немецкого рабочего движения с помощью средств подавления, которые предлагала Веймарская республика. И она могла полагаться на то, что социал-демократическое руководство попытается удержать рабочий класс от отхода в другую сторону. И это удалось с помощью полномочий рейхспрезидента, власть тогда была в руках социал-демократа Фридриха Эберта и рейхсверовского генералитета, опиравшихся на пакт между оппортунистами и милитаризмом, который уже в 1918—1919 годах сыграл столь пагубную роль.

В. Реккерт. В то время Гитлер еще не был нужен.

К. Бахман. По поводу этой проблемы нельзя сказать ни да, ни нет. В 1923 году фашистская партия не была нужна, чтобы использовать ее в качестве прямого орудия преодоления тогдашнего кризиса власти немецкого капитализма. Более того, она помешала своей мюнхенской акцией тактической линии власти имущих. Но тем не менее НСДАП считалась ценной силой, к которой в подходящее время можно было прибегнуть. Гитлер после неудавшегося путча был схвачен, в 1924 году он предстал перед судом и осужден к заключению в крепости. Суд обошелся с путчистами в высшей степени снисходительно. Гитлера осудили на пять лет заключения в крепости. Уже в конце 1924 года он был досрочно освобожден. А время заключения по условиям, в которых находились Гитлер и другие путчисты, можно назвать «кавалерским заключением».

В. Реккерт. Это проясняет, как он мог там писать книгу «Майн кампф». Она содержит в самой концентрированной форме националистическую, шовинистскую и расистскую идеологию, травлю против республики и демократии, против социалистов и коммунистов.

К. Бахман. Весь шум вокруг истории возникновения этого толстого главного фашистского произведения служил и до н, конечно, после установления фашистской диктатуры тому, чтобы представить Гитлера как особый духовный светоч «движения»

² В. Руге и В. Шуман (издатель). Документы немецкой истории 1924—1929 гг. Франк-фурт-на-Майне. 1977, стр. 69.

и рекомендовать его, таким образом, в качестве фюрера. Содержание книги, которое выявляет крайне антигуманный, варварский, террористический, равно как и контрреволюционный образ мышления, было несомненно знакомо фашистам.

Реакционное духовное содержание «Майн кампф» было широко распространено в речах Гитлера и других нацистских главарей, в печати НСДАП, по радио, в брошюрах и многими другими путями, а после 1933 года также и через школьные книги для чтения. Современники фашистской диктатуры могли наизусть произносить предложения или отрывки фраз, даже никогда не подержав книгу в руках. Она раздавалась в подарок фашистскими организациями при всех возможных поводах. После 1933 года ее вручали в загсах молодым людям, вступающим в брак.

В. Реккерт. Анализ событий тех лет, 1924-го — 1928-го, приводит к выводу, что не имеющего значения фашизма не бывает. Уже на очень ранней стадии были сформированы фашистские кадры и их натаскивали на террор против антифашистов.

К. Бахман. Наш исторический опыт учит (и он в наши дни вновь и вновь подтверждается): фашизму, как старому, так и новому, нельзя давать ни одного миллиметра пространства. Его необходимо своевременно подавлять в тесном единстве со всеми, кто готов защищать конституционные демократические права и свободы и выступать за их расширение. Нельзя допускать разрастания фашизма.

Весь прошлый опыт учит, что власть имущие всегда держат камень за пазухой. Вряд ли министр внутренних дел станет оспаривать неофашистский характер НДП — «Немецкого народного союза», — «Загран-НСДАП»³ и примерно 300 других подобных мелких фашистских группировок, находящихся более или менее в процессе формирования.

Вопреки духу статьи 139-й нашей конституции эти силы могут (зачастую под защитой полиции и с полного одобрения местных городских управлений) собираться на незаконные сборища.

Фильм Феста и его книга служат обелению Гитлера. Они являются пока кульминационным пунктом гитлеровской волны. Они, судя по всему, имеют назначение вновь изобразить фашизм как форму господства respectable и поправить лишь пару «ошибок» вроде преследования евреев. Подправленный таким манером образ Гитлера является моделью для преодоления кризисов в будущем. Так немецкий фашизм и держат за спиной как одну из политических возможностей.

В. Реккерт. Многократно утверждают, что мы ведь стали ныне поумней. А тогда, мол, фашистскую угрозу не смогли так ясно распознать.

К. Бахман. Коммунисты предупреждали о фашистской опасности. Это вовсе не имеет ничего общего с «коммунистическим пророчеством». Способность уметь правильно определить опасность опирается на точную оценку цикла кризиса капитализма, подъема и спада кризиса и конъюнктуры в капиталистическом мире, на научно обоснованное предсказание тогдашнего мирового экономического кризиса.

В. Реккерт. Мировой экономический кризис разразился в 1929 году. На огне кризиса нацисты хотели погреть руки. Они сочли, что их время настало.

К. Бахман. Изменившаяся обстановка в германском рейхе, характеризовавшаяся растущей безработицей, падением уровня заработной платы, распродажей с молотка крестьянских хозяйств, тающим оборотом и сокращением заказов у мелких торговцев и ремесленников, распространением болезней как следствием недоедания и плохих жилищных условий, растущим числом самоубийств, действовала на фашистскую партию как эликсир жизни. Картина, которую являла собой Германия, представляла не что иное, как обвинение против капиталистического общественного строя, который был неспособен обеспечить людям работу, жилье и пищу.

В. Реккерт. И нацистские ораторы живо утверждали, будто они представители этого обвинения, они фальсифицировали прежде всего причины этих массовых бедствий. Кризисы, охватывающие все страны капитала, они квалифицировали как насильно импортированный товар, made in England или in USA, и как следствие Версальского договора. Они заявляли, что Германия должна сбросить иностранное ярмо. Этим тезисом был также обезврежен и лозунг о «ломке налоговой кабалы». Нацистские лозунги сосредоточивались на националистской и шовинистской фразеологии и подстрекательстве против республики.

³ НДП — национал-демократическая партия, «Немецкий народный союз»; «Загран-НСДАП» — неофашистские организации в ФРГ.

Интересно, что Гитлер и НСДАП подвергали резким нападкам то или иное имперское правительство, но в каждом случае не как приказчиков капитализма, которыми они на самом деле и были, а как якобы доборников марксизма и как людей с социалистическими принципами.

К. Бахман. Я мог бы напомнить о подобной практике, которая имеет место в нашем государстве, но ограничимся одним историческим примером.

Когда разразился кризис, в германском рейхе правил кабинет, во главе которого стоял социал-демократический канцлер Герман Мюллер. Нацисты называли его само-го и его министров — с целью бросить на всех них тень — марксистами.

...Разрушение веймарской демократии началось так: все больше законов принималось правительством Брюнинга в чрезвычайном внепарламентском порядке, вместо того чтобы они были приняты в рейхстаге. Горделиво сообщает Брюнинг в своих мемуарах, что он «низвел полномочия парламента до уровня времен Бисмарка».

В. Реккерт. Это следовало бы учитывать, имея дело с подогреваемым тезисом о тоталитаризме, ажи о якобы имевшемся сотрудничестве правых и левых, нацистов и коммунистов.

Сужать парламентскую форму господства буржуазии в Веймарской республике начали ее собственные представители, причем заблаговременно.

К. Бахман. В это время нацисты усилили свой террор, нападали на членов КПП, СДПГ и профсоюзов, совершали заранее запланированные убийства, срывали собрания своих противников, гнали за противниками Гитлера до их квартир. Закрывать глаза на террор недопустимо, потому что он был признаком сущности фашистской политики, направленной своим острием против КПП, которая стояла во главе антифашистской борьбы.

В. Реккерт. Действительно ли ножки стульев, резиновые дубинки, ножи, кастеты и револьверы помогли НСДАП привлечь на свою сторону избирателей?

К. Бахман. В определенной мере комбинация террора и пустых обещаний и демагогии именно к этому и привела. Насилие во все времена имело свойство импони-ровать мелкобуржуазным слоям. Террор, если не брать во внимание его непосредственное воздействие, был составной частью пропагандирования «сильной личности» с сильной политикой.

Даже во время кризиса нацисты заполучали лишь немногих избирателей из числа рабочих, хотя в СА⁴ сначала и немного, но все же был ряд опустившихся рабочих.

История прогрессирующих неудач и гибели других буржуазных партий самым отчетливым образом показывает, откуда брала НСДАП своих избирателей. За исключением партии католического центра никакая из этих партий не сопротивлялась натиску фашистских агитаторов. Гитлер разбил не «марксизм», а нанес поражение буржуазным конкурентам. Обе крупные рабочие партии — КПП и СДПГ — сохранили число своих избирателей, причем в течение кризисных лет коммунисты усиливали свое влияние, в то время как правые вожди СДПГ его теряли.

В. Реккерт. Тем не менее нельзя с уверенностью сказать, что у всех рабочих был иммунитет против фашизма.

К. Бахман. Коммунисты не делают из рабочего класса фетиш, хотя их противники и утверждают снова и снова обратное. НСДАП к 1933 году добралась до тех пролетарских слоев, которые были охарактеризованы как окраинные слои. В сельской местности, где влияние революционных и реформистских организаций было порой умеренным, а политический авторитет помещиков и кулаков велик, НСДАП удалось перетянуть на свою сторону сельскохозяйственных рабочих, сельских пролетариев. В городах в НСДАП вступали прежде всего рабочие с мелких предприятий, собственники которых сами зачастую были членами нацистской партии и в которых царил почти патриархальные отношения. Фашисты предпринимали усилия, чтобы привлечь на свою сторону молодых людей, которые не получили ни места ученика, ни других возможностей заработка. Некоторые безработные молодые рабочие поддались на эту рекламу, к тому же их отталкивала социал-демократическая политика «меньшего зла», продолжавшейся капитуляции перед крупным капиталом, а антикоммунистическая пропаганда загораживала им, с другой стороны, путь к КПП.

⁴ СА — «штурмабтайлунген», штурмовые отряды, штурмовики, военизированная организация фашистов.

В. Реккерт. Здесь я усматриваю параллель к нынешней ситуации. Неофашисты предпринимают огромные усилия, чтобы поймать в свои сети тех молодых людей, которые стоят вне борьбы и не имеют надежд. При этом неонацисты вновь рядятся в националистское, антикапиталистическое пальтишко, выдавая себя за друзей молодежи.

К. Бахман. Нацисты основали НСПЯ (национал-социалистские производственные ячейки). Если мы присмотримся к предприятиям, где существуют такие ячейки, и к составу ячеек, то надо отметить следующее: такого рода опорные пункты НСДАП находились прежде всего в учреждениях, ведомствах и управлениях всех видов, например в широко разветвленных государственных почтовых учреждениях, на некоторых транспортных предприятиях, как, например, в Берлинском транспортном обществе, в финансовых органах и в 1932 году в аппарате полиции.

НСПЯ на промышленных предприятиях охватывали по большей части производственных чиновников, служащих, инженерно-технический персонал и ничтожную часть рабочих. В общем и целом: название «рабочая партия» НСДАП никогда не носила по праву, а о программе и речи нет. Чтобы скрыть это, конечно же руководствуясь общими демагогическими интересами обмана народа, фашисты использовали понятие «рабочий» в полностью выхолащенном смысле. Чтобы размыть классовую основу, они проповедовали «народное сообщество», говорили о «рабочих лба и кулака» (умственного и физического труда. — А. Г.) и пытались подогнать под это название всех, кто занимался какой-то деятельностью. Гитлер предпочитал называть себя «рабочим» или даже «простым рабочим», «человеком, вышедшим из простого народа». Если бы захотелось уточнить его социальное происхождение в довоенные годы, то следовало бы причислить его к люмпен-пролетариату.

В. Реккерт. Однако история о «простом» социальном происхождении Гитлера и его карьере имела свое воздействие? Как ты — антифашистский борец, ветеран — объясняешь вообще влияние Гитлера на массы людей? С позиций сегодняшнего дня мне тяжело дать какое-то объяснение.

К. Бахман. Фюрер НСДАП был мастером фашистской демагогии, кто это хотел бы оспорить! Вопрос в том, указывает этот факт на искусство Гитлера совращать с пути истинного или на склонность масс быть совращенными или факт этот следует приписать совсем другим источникам. По этому предмету уже напечатаны книги. До деталей описано, с какими тонкостями были подготовлены выступления Гитлера в залах или под открытым небом, как учитывались даже малейшие эффекты, что со временем каждая деталь вокруг публичных появлений Гитлера совершенствовалась мастером демагогии Йозефом Геббельсом.

В области инсценирования политических митингов у нацистов было явное преимущество перед их буржуазными конкурентами, хотя и они не недооценивали церемониал выступлений Альфреда Хугенберга или Генриха Брюнинга. Однако ответ не исчерпывается, конечно, ссылкой на внешние условия, в которых Гитлер выступал с речами:

В. Реккерт. Недостаток результатов многих анализов состоит, по моему, в том, что констатируется воздействие Гитлера на массы, а вопрос в том, на кого он действовал, остается без ответа. С сегодняшней точки зрения выступления Гитлера вызывают у меня смех.

К. Бахман. Такой же эффект вызывал Гитлер и у многих его современников. Многим он претил как оратор и был виден насквозь как демагог по своим средствам и методам.

В. Реккерт. Так как же разгадать загадку крысолова Гитлера?

К. Бахман. Во-первых, следует исходить из того, что фашистская демагогия была адресована обнищавшим и отчаявшимся массам мелкой буржуазии. Она, эта демагогия, обещала националистский выход из кризиса, из их нищенского положения. Фашисты говорили: если Гитлер завтра придет к власти, послезавтра все будет по-иному.

В. Реккерт. Стало быть, решающей является диалектика, переменное влияние между политическим ожиданием (слушателей) и политическим обещанием (демагога). Но почему же ожидание было связано прежде всего с Гитлером, с, так сказать, «звездой» фашистских ораторов?

К. Бахман. Тут нам надо обратиться ко второму условию его успешных выступлений. Среди всех ведущих фашистов, из числа которых Гитлер в силу своего поста в партии и без того был исключением, он был единственным, который причислялся под «чедо...

века из народа». Перед войной у него не было профессии, социальной опоры, и в годы первой мировой войны он не продвинулся дальше чина ефрейтора. Имея такую биографию, можно было рассчитывать на полное разделение мелкой буржуазией своих взглядов. К тому же биография Гитлера была разукрашена им самим и в официальном изложении НСДАП и сделана еще более приемлемой. Сюда относилась легенда о его личной скромности, неприязнительности, хотя Гитлер к тому времени жил в таких же условиях, как и крупная буржуазия, у него была просторная квартира в Мюнхене, дача в Берхтесгадене, анфилада комнат в берлинском отеле «Кайзерхоф» на время его пребывания в имперской столице.

С педантичной точностью Геббельс заботился о том, чтобы Гитлер изображался как бескорыстный политик, который отказался от всего, даже от семьи, чтобы целиком посвятить себя своей «миссии».

В. Реккерт. При подготовке войны особую роль играла пропаганда, направленная против Версальского договора.

К. Бахман. Версальский мирный договор стал последней вехой первой мировой войны, империалистической войны, которую обе стороны вели за передел мира. Война была завершена подписанием империалистического мирного договора, который взваливал полную и единичную вину за эту войну на побежденную Германскую империю, ответственную за развязывание войны. Она должна была нести весь груз ее последствий. В качестве репараций было затребовано 132 миллиарда золотых марок. Саарский угольный бассейн попадал в эксплуатацию Францией на пятнадцать лет. Восьмая часть территории рейха отпадала. На пятнадцать лет оккупировалась Рейнская область, а затем она должна была стать демилитаризованной. Хотя германский генеральный штаб и воинская повинность были запрещены, четко зафиксировано разрешение иметь стотысячную армию «для поддержания внутреннего порядка». Это означало, что германский милитаризм оставался в неприкосновенности. Благодаря этому он смог уже тогда создать кадровую армию как ядро будущего вермахта.

Ленин характеризовал Версальский договор как «неслыханно жестокий разбойничий мир». КПГ называла Версаль империалистическим диктатом, несшим в себе зародыш новой мировой войны, новым переделом мира в пользу Антанты, западных держав.

Нацисты полностью отрицали военную вину германского империализма. Вместо того чтобы содействовать укреплению дружбы народов и мира, они, борясь за ликвидацию Версальского договора, развязали насквозь пропитанный ненавистью к другим народам дикий шовинизм и национализм, чтобы подготовить народ к реваншу, к следующему военному походу.

В. Реккерт. Успехи Гитлера в обмане народных масс не представляют тайны...

К. Бахман. ...как это изображает буржуазная историография. Ее пристрастие к этой теме не случайно. Взлет Гитлера она желает объяснить только особенностями его личности. Построенная на этом цепь разглагольствований, извращений и дезинформации доходит от утверждения, будто притягательная сила Гитлера как оратора сама перетянула миллионы избирателей на сторону НСДАП, до тезиса, по которому это свойство Гитлера вызвало назначение его рейхсканцлером. Таким образом, вопрос о причинах возникновения и победы фашизма переадресовывается психологам. Те же, кто водворил Гитлера на Вильгельмштрассе в имперскую канцелярию, тем самым ловко оказались ни при чем.

НСДАП располагала в 1930 году более чем 6 миллионами голосов. В то время она была после социал-демократов наиболее сильной по числу избирателей буржуазной партией. В качестве кандидата на пост рейхспрезидента Гитлер получил в марте 1932 года 11,3 миллиона, а во втором туре 13,4 миллиона голосов. В июне 1932 года на выборах в рейхстаг число поданных за нацистов голосов возросло до 13,7 миллиона. НСДАП тогда впервые получила несколько больше голосов, чем обе рабочие партии, вместе взятые. Она получила 37,4 процента от общего числа голосов.

В. Реккерт. И все же Гитлер стал рейхсканцлером, когда его партия потеряла 2 миллиона голосов и получила всего лишь 11,7 миллиона голосов, а обе рабочие партии, вместе взятые, вновь завоевали больше голосов и больше мест в рейхстаге, чем нацисты. Всего СДПГ и КПГ получили 13,2 миллиона голосов.

Это доказывает, что кривая числа избирателей и кривая успеха, которая вела в берлинский правительственный квартал, во всяком случае, не совпадали. После своей наибольшей победы на выборах Гитлер не стал главой правительства, а после

первого поражения началось развитие событий, которое поставило его во главе кабинета министров. Это следует объяснить без утверждения, что Гитлер вошел бы в правительство и даже возглавил бы его и без этих 13 или 11 миллионов избирателей.

К. Бахман. Один вопрос — стал ли бы Гитлер главой правительства без миллионов своих сторонников, а другой — стал ли он таковым благодаря им.

Заявление «Политико-экономического объединения г. Франкфурта-на-Майне от 27 июля 1931 года рейхспрезиденту Паулю фон Гинденбургу:

«Присоединяясь к призыву НННП (немецкой национальной народной партии. — *А. Г.*) в Штеттине в адрес Вашего Превосходительства, нижеподписавшееся объединение, к которому принадлежат многочисленные известные руководители экономики Нассауской и Рейнской областей, позволяет себе самым срочным образом представить на рассмотрение Вашего Превосходительства нижеследующее:

...вопреки конституции у ныне самой сильной партии — НСДАП, — равно как и у примыкающей к ней НННП и «Союза фронтовиков — стальной шлем», отнимают всякое влияние. Вместо этого германское правительство украдкой поглядывает на Францию и марксизм.

Ваше Превосходительство! Национальная оппозиция — это последний резерв Германии...

И мы, руководители немецкой экономики, видящие ее в политическом свете, выступаем за этой оппозицией. Мы видим, как рушится дело нашей жизни...

Ваше Превосходительство! Мы возлагаем надежды не на государственный заговор и не на насилие, а на существование высшего принципа демократии, состоящего в том, что правительству нужно доверие народа, иными словами — правительство должно быть составлено из представителей сильнейшей национальной партии» (*В. Руге и В. Шуман (издатель), «Документы немецкой истории 1929—1933 гг. Франкфурт-на-Майне. 1977, стр. 40—41).*

Что интересовало монополистическую буржуазию в Гитлере, так это антикоммунистическая, империалистическая программа и миллионы избирателей, стоявших за НСДАП. К тому же в течение 1932 года выяснилось еще отчетливее, что стабилизация капиталистического строя без привлечения НСДАП невозможна. Руководство НСДАП было, однако, не готово взять на себя уготованную ему роль, не получив решающего влияния в кабинете министров. Поэтому 13 августа 1932 года Гитлер отверг предложение стать вице-канцлером или выдвинуть на этот пост одного из руководящих деятелей своей партии. Об этом дне, 13 августа, говорили как о черном дне для НСДАП.

Да, внутри рядов НСДАП имелись противоречия, а именно в рядах СА, тем более что руководство твердо обещало: Гитлер не вернется из президентского дворца, пока не будет уполномочен сформировать правительство. Гитлеру на первый раз было предложено рейхспрезидентом Гинденбургом второе место в кабинете рейхсканцлера Франца фон Папена.

Гитлер хотел «все или ничего» и требовал пост рейхсканцлера в качестве условия участия НСДАП в правительстве. Как видно из статей в буржуазной прессе тех времен, это вызвало возмущение у части буржуазии.

Другие капиталисты хвалили его за несговорчивость и — я вспоминаю Ялмара Шахта⁵ — поддерживали в нем уверенность, что в конце концов ему должны будут передать высший пост в правительстве.

В. Реккерт. Вероятно, решение Гитлера было связано и с тем, что еще не была преодолена вершина мирового экономического кризиса.

К. Бахман. Примерно каждый четвертый рабочий или служащий был безработным, жил в нужде, свирепствовал голод. Сотни тысяч представителей среднего

⁵ Шахт Ялмар — крупный промышленник, примкнувший к НСДАП, впоследствии один из руководителей экономики фашистской Германии. был в числе главных военных преступников на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

соеловия и крестьян жили не лучше. Путем сокращения зарплаты и налогового бремени вся тяжесть кризиса была взвалена на народ.

В этой ситуации у части буржуазии возникла неумная идея использовать НСДАП — ее руководство и массы — в качестве опоры правительства Папена, кабинета, который был сборищем реакционных баронов и полностью изолировался от общественности и парламента. При условии участия НСДАП в этом кабинете сторонники Гитлера разбежались бы от него быстрее, чем их объединили. Это видел и сам фюрер НСДАП, не говоря прежде всего уже о его личной амбиции. Да и в самом деле Папен полностью изжил себя.

В. Реккерт. Его преемником на посту канцлера был генерал Курт фон Шляйхер. С назначением Гитлера рейхсканцлером Шляйхер был смещен. И тут мы подошли к решающему вопросу: кто вознес Гитлера к власти?

К. Бахман. Взаимосвязи выявляются, если спросить себя, кто же держал нити в своих руках и где это происходило. В решающих беседах в январе 1933 года участвовали банкир барон Курт фон Шредер, только что свергнутый Франц фон Папен — сам крупный помещик и владелец акций, руководитель правоэкстремистской немецкой национальной партии, король прессы Альфред Гугенберг — владелец широко разветвленного концерна прессы и кинопроизводства, крупных заводов в Рурской области, и, само собой разумеется, Гитлер с несколькими людьми из своего личного партийно-политического окружения. Кулисами этих событий служили буржуазные виллы и клубы.

Заявление под присягой банкира барона Курта фон Шредера на Нюрнбергском процессе по делу концерна «ИГ-Фарбен» 1947 года:

«4 января 1933 года Гитлер, фон Папен, Гесс, Гиммлер и Кепплер встретились в моем доме в Кёльне [...]».

Встреча между Гитлером и фон Папеном была организована мною 4 января 1933 года в моем доме в Кёльне, после того как фон Папен попросил меня об этом примерно 10 декабря 1932 года. Прежде чем я предпринял этот шаг, я переговорил с некоторым количеством видных лиц из экономической области и в принципе проинформировался, как относятся руководители экономики к сотрудничеству обоих. Общие устремления господ из области экономики сводились к тому, чтобы увидеть приход крепкого фюрера к власти в Германии, который образовал бы правительство, могущее оставаться у власти длительное время.

Когда 6 ноября 1932 года НСДАП потерпела свое первое поражение и тем самым переступила свой зенит, поддержка со стороны немецких экономических кругов стала особенно насущной. Общий для этих кругов интерес заключался в страхе перед большевизмом и надежде, что национал-социалисты — в случае их прихода к власти — создадут устойчивую политическую и экономическую базу в Германии. Другим общим интересом было желание осуществить экономическую программу Гитлера, причем существенный пункт состоял в том, что экономические силы должны были сами направлять дело к решению проблем, поставленных политическим руководством... Затем ожидалось, что возникнет экономическая конъюнктура благодаря размещению крупных государственных заказов»⁶.

В. Реккерт. Какой интерес представляла для буржуазии эта связь? Почему была организована встреча Гитлера и фон Папена в кёльнском доме банкира фон Шредера?

К. Бахман. Все же интересно, что все меры по организации встречи, сама встреча и место, где они совещались, должны были содержаться в секрете, но это намерение осуществить не удалось. С того момента и поныне нет недостатка в политиках, журналистах и историках, которые не преуменьшали бы значение встречи на вилле Шредера и не хотели бы снизить именно его личную роль. Гитлер сам стоит в начале их ряда. Он поручил опубликовать в «Фелькише Beobachter», центральном органе НСДАП, сообщение, чтобы ввести в заблуждение собственных членов партии относительно значения тайных переговоров в январе 1933 года.

⁶ В. Руге и В. Шуман (издатель). *Документы немецкой истории 1929—1933 гг.* Франкфурт-на-Майне. 1977, стр. 89—90.

То, что было скрыто от членов НСДАП и общественности Германии, стало известно только после 1945 года благодаря обнаруженным документам. Это факты о том, что в канцелярию рейхспрезидента в ноябре 1932 года поступили заявления от промышленников, банкиров и крупных помещиков как результат согласованной акции, и все требовали, чтобы Гитлер стал рейхсканцлером. Для них система, в которой Шляйхер был канцлером, представлялась недостаточно стабильной, поскольку он не мог опереться на массы сторонников. Поэтому они заседали на рейхспрезидента Гинденбурга, чтобы он назначил Гитлера рейхсканцлером. Без его подписи Гитлер не смог бы стать канцлером, разве что его избрал бы рейхстаг. Но там не было необходимого большинства.

Заявление крупных промышленников и крупных землевладельцев рейхспрезиденту Паулю фон Гинденбургу от 19 ноября 1932 года:

«Мы заявляем о своей непринадлежности к какой-либо узкой партийно-политической ориентации. Мы признаем в национальном движении, пронизывающем наш народ, многообещающее начало времени, которое только и создаст благодаря преодолению классовых противоречий необходимую базу для нового подъема немецкой экономики. Мы знаем, что этот подъем потребует еще много жертв. Мы верим, что эти жертвы могут быть с готовностью принесены только тогда, если крупнейшая группа этого национального движения (имеется в виду НСДАП. — К. Б., В. Р.) будет участвовать в правительстве как руководящая сила. В веренне ответственного руководства президентским кабинетом, который состоит из лучших в деловом и личном отношении кадров, фюреру крупнейшей национальной группы устраним недостатки и ошибки, присущие в силу обстоятельств любому массовому движению, и увлечет за собой миллионы людей, ныне стоящих в стороне, сделает их утвердительно силой.

В полном доверии к Вашему Превосходительству мудрости и Вашего Превосходительства тесной связи с народом мы приветствуем Ваше Превосходительство с величайшим почтением.

Д-р Ялмар Шахт, Берлин; Курт барон фон Шредер, Кёльн; Фритц Тиссен, Мюльхайм; Эберхард граф фон Калькройт, Берлин; Фридрих Райнхарт, Берлин; Курт Вёрман, Гамбург; Фритц Байндорф, Гамбург; Курт фон Айххорн, Бреслау; Эмиль Хельферих, Гамбург; Эвальд Хеккер, Ганновер; Карл Винцент Крогман; д-р Эрвин Любберт, Берлин; Эрвин Мерк, Гамбург; Йоаким фон Оппен-Данненвальде; Рудольф Вентцки, Эсслинген (Вюртемберг); Франц Генрих Витхефт, Гамбург; Аугуст Росстерг, Берлин; Роберт граф фон Кайзерлинг-Каммерау; фон Рор-Манце; Энгельберт Бекман, Хенгстайл».

В. Реккерт. Так что встреча в Кёльне была завершением процесса сосредоточения, в ходе которого объединялось все больше капиталистов и крупных землевладельцев вокруг «политического проекта назначения Гитлера канцлером», то есть фашистской диктатуры.

К. Бахман. Кёльнская встреча была в то же время исходным пунктом нового этапа. Новый этап был коротким и определялся задачей осуществления этого проекта, то есть достижения соглашения коалиции партий, во главе которой в правительство должна была войти НСДАП, дележа министерских кресел, достижения договоренности о первых шагах к установлению фашистской диктатуры.

В. Реккерт. Если я возвращусь к сравнению кривой числа избирателей и кривой успеха...

К. Бахман. ...то кривая успеха НСДАП и ее фюрера отразит процесс объединения капиталистов вокруг той империалистической программы, которую представлял и обещал осуществить фашизм. Обманутые НСДАП массы могли бы водворить Гитлера в имперскую канцелярию путем путча, чего не хотели ни он сам, ни восподствующие силы, поскольку они помнили опыт 1920 и 1923 годов. Однако самые влиятельные монополисты располагали возможностью позволить Гитлеру с грамотой о назначении за подписью главы государства и во фраке добраться до правительственного центра с парадной лестницы. Таким путем все получило видимость законности. Начало установления фашистской диктатуры выглядело почти как яростная

смена правительства. Так изображают это и наши современные буржуазные историографы — как законное получение власти Гитлером и его партией.

Проект телеграммы Густава Круппа фон Болена унд Гальбаха Адольфу Гитлеру от 28 июня 1933 года:

«От имени имперского сословия немецких промышленников направляю Вам, господин рейхсканцлер, с выражением преданности просьбу в случае принятия господином рейхспрезидентом прошения об отставке господина имперского министра доктора Гугенберга взять на себя руководство экономической сферой и соизволить назначить государственными секретарями в оба имперских министерства экономики происходящих из движения, опытных в вопросах экономики членов НСДАП. Решающее значение для моей просьбы имеет то соображение, что с помощью окончательного прояснения политической обстановки будет открыт (путь) для экономического обновления и все силы нации могут быть поставлены на службу трудоустройства. Это большая стоящая перед нами задача начнет осуществляться при доверии всего народа, если она будет поставлена под Вашим личным руководством»⁷.

В. Реккерт. В 1920 году рабочий класс, действуя сообща против капповского путча, преградил путь к установлению военной диктатуры. Почему же в период перед 1933 годом не получилось единства действий против нацистов?

К. Бахман. Вновь и вновь КПП предлагала создать фронт единства для борьбы против кризисов и фашизма. Когда возглавлявшееся социал-демократами правительство Пруссии было свергнуто в результате государственного переворота под руководством фон Папена — 20 июля 1932 года, — партия Эрнста Тельмана предложила СДПГ и АДГБ⁸ ответить на это всеобщей забастовкой.

Все последующие предложения о единых действиях правое руководство СДПГ отклоняло. Оно ориентировалось на политику сотрудничества с крупным капиталом, отклоняло внепарламентскую борьбу масс, чтобы не запугать буржуазию. Оно проводило в парламенте политику «меньшего зла», вместо того чтобы выработать альтернативы против политики кризисов и фашистской опасности. Единству действий особенно препятствовало то, что сами социал-демократические руководители отдавали приказ о применении террора со стороны государственной власти, как это имело место 1 мая 1929 года в Берлине и в Альтонское⁹ кровавое воскресенье в июле 1932 года.

В. Реккерт. Это тогда находившаяся под командованием социал-демократов волиция стреляла в мирные демонстрации рабочих...

К. Бахман. Все это очень мешало найти отправные точки для единства действий. Этим объясняются также и такие ошибки КПП, как неправильный тезис о «социал-фашизме». Но это не мешало ей распознать опасность фашизма для нашего народа, а также для мира в Европе и призывать к антифашистскому единству действий в момент, когда фашизм стоял на пороге.

28 января 1933 года рейхспрезидент П. фон Гинденбург вынудил правительство Шляйхера уйти в отставку и поручил Гитлеру сформировать правительство. Когда 30 января 1933 года КПП призвала провести всеобщую забастовку, руководство СДПГ потребовало соблюдать спокойствие и дисциплину. Всеобщая забастовка, которой так боялись нацисты и те, кто стоял за ними, не состоялась. И только когда уже было слишком поздно, вожди СДПГ, как, например, Рудольф Бретшайд, призвали необходимость единства действий, слишком поздно, часто только уже в концентрационных лагерях перед лицом террора СС. Для последующего хода нашей истории было роковым то обстоятельство, что не было достигнуто единства действий рабочего класса. Поэтому рабочий класс не смог воспрепятствовать ни приходу фашизма, ни войне.

В. Реккерт. Немецкий рейх был не один в мире. Не следовало ли опасаться неблагоприятной реакции за рубежом в связи с назначением Гитлера канцлером?

⁷ «Анатомия войны. Новые документы о роли немецкого монополистического капитала при подготовке и ведении второй мировой войны». Берлин, 1969, стр. 115.

⁸ АДГБ — «Альгемайне дойче Геверкшафтсбунд», «Всеобщий союз профсоюзов Германии», профсоюзное объединение, разгромленное Гитлером в 1933 году.

⁹ Альтон — рабочий район Гамбурга.

К. Бахман. Не в то же мгновение и необязательно. Ведь буржуазные правительства были антикоммунистическими и антисоветскими. Как показало утверждение фашизма в Италии, террор против коммунистов, социалистов и демократов вовсе не обязательно влек за собой ухудшение отношений с буржуазно-парламентскими правительствами. Внешняя политика Италии при Муссолини имела много общего с английской и французской. Почему же в данном случае — с Германией — должно было произойти иначе при условии, что фашистские руководители внешней политики вели себя не сразу так, как впоследствии. Германские империалисты перешли к воинственной внешней политике позднее, когда было обретено военное могущество.

Из заявления Гарольда С. Ротермера, британского лорда, по поводу выборов в рейхстаг 14 сентября 1930 года:

«Если бы молодая Германия национал-социалистов не работала столь энергично, то возникла бы большая вероятность того, что дело коммунизма добилося бы больших успехов и эта партия даже стала бы самой сильной партией... По благоразумным суждениям следовало бы поэтому в Англии и Франции отказать должное национал-социалистам в знак признания за услуги, которые они оказали Западной Европе... Самое лучшее для блага западной цивилизации было бы, если в Германии к рулю пришло бы такое правительство, проникнутое такими же здравыми принципами, с помощью которых Муссолини обновил Италию в последние восемь лет»¹⁰.

Неимоверное упорство, с которым Гитлер проводил политику антикоммунизма, высказываемая им прямо-таки с одержимостью идея крестового похода против Советского Союза вызывали сначала по меньшей мере затаенную симпатию у тех империалистических сил в западных державах, которые не менее враждебно относились к стране Великой Октябрьской социалистической революции.

В. Реккерт. Мы хотя и говорили о связях Гитлера с крупным капиталом, но опустили вопрос о финансировании партии.

К. Бахман. То, что буржуазные партии находятся на содержании класса капиталистов через его представителей, или, говоря языком экономическим, то, что на их счета направляется часть прибылей и особых доходов, полученных путем эксплуатации рабочего класса и всех монополистических сил, — это дело теперь уже известное. В Веймарской республике такую практику держали в полной тайне.

В. Реккерт. Сегодня это выглядит не иначе.

К. Бахман. Что касается финансирования НСДАП, то как у многочисленных капиталистов, так и у нацистских главарей была насущная заинтересованность скрывать свои связи. Капиталисты ни в коем случае не хотели выдавать тайну, что они поддерживали крайне правую, враждебную Веймарскому государству фашистскую партию. Со своей стороны, нацистские главари нуждались в видимости, представлении, будто они независимые политики, ничем не связанные борцы, «революционеры», которые хотели свергнуть «систему».

По этим причинам не так просто добраться до достоверных источников. Документы имперского казначея партии Шварца, который был на этом посту до 1945 года, в большинстве своем исчезли бесследно. И второй источник — архивы концернов в Федеративной Республике — все еще совершенно недоступен. Однако исследование архивов национализированных в ГДР концернов и банков, а также документов, фигурировавших в качестве доказательств на Международном военном трибунале над главными военными преступниками в Нюрнберге, дало изобилие дотоле не доказанных фактов.

В. Реккерт. Какую картину можно себе представить на основе этих фактов?

К. Бахман. Ясно, что НСДАП без пособий со стороны промышленников была бы неспособна финансировать свою деятельность и рост влияния. Партийный аппарат поглощал огромную сумму, особенно в период избирательных кампаний, а это было в 1932 году почти обычным состоянием. Председатель концерна «Тиссен АГ» финансировал Гитлера уже с 1923 года, о чем можно прочитать в его книге «I paid Hitler» («Я платил Гитлеру»).

¹⁰ В. Руге и В. Шуман (издатель) Док.менты немецкой истории 1929—1932 гг., стр. 24.

В. Реккерт. Мы уже говорили, что отношения между НСДАП и капиталом были в первую очередь отношениями политическими. Финансовые дела — лишь одна сторона этих отношений.

К. Бахман. Но мы, коммунисты, ни на одно мгновение не забываем, что фашизм не только идеологически и политически обманул массы, но и насколько можно вытощил их и в финансовом плане. Готовностью многих простых людей принести жертвы фашисты бессовестным образом злоупотребили под предлогом того, что их деньги пойдут на благо великого и святого дела. Кроме того, нацистские главари раздували специальные кампании пожертвований, например сбор суммы на приобретение так называемого Коричневого дома на Бринерштрассе в Берлине. Этот бывший дворец был куплен и перестроен за большие деньги под партийный центр. А на самом деле это был подарок одного капиталиста, который способствовал покупке здания.

Боссам, которые решились поддержать главарей НСДАП, классу капиталистов мы делаем исторический упрек. Буржуазные историки аргументируют так: за КПП тогда стояло 6 миллионов избирателей. С годами, несмотря на беспримерно высокий уровень безработицы, росло количество забастовок. Правые вожди СДПГ теряли все больше голосов избирателей. Капиталисты бросались к армии фашистов как к спасителям. Большой возможности выбора у них в конце 1932 года с учетом затасканности и обветшания буржуазных партий и политиков не было.

Эти историки тем самым превращаются в адвокатов капитала. При этом они берут на вооружение те трюки и средства обмана, которые были хитроумно выдуманы и испробованы промышленниками для своей защиты на процессах над военными преступниками. Это относится к тезису, будто капиталисты забились под крыло фашистского орла только из-за страха перед революцией. Во-первых, уже на процессе о поджоге рейхстага в 1933 году Георгий Димитров опроверг как ложь утверждение, будто КПП подготовила вооруженное восстание в Германии. Тем не менее промышленники вновь и вновь ложно выставляли как аргумент для своего оправдания после 1945 года якобы имевшую опасность вооруженного восстания.

В. Реккерт. Кроме того, ничего не меняется в ответственности за фашистские злодеяния, если есть «хорошие причины» поставить фашизм у власти, тем более не меняется, если мотив называется удержанием собственного господства.

К. Бахман. В самом деле, и это второй пункт. Даже если принять за истину, будто революция постучала в двери Германской империи и, чтобы ее избежать, буржуазия додумалась до того, что сделала Гитлера канцлером, то и тогда что изменилось бы в принципиальном существе возведения его политической преступности с помощью Гитлера и его партии на высший уровень государственного управления? Что выигрывает капитализм в глазах людей, которые выступают с позиций гуманизма и борются за него, если в принципе выясняется, что он, капитализм, не остановился ни перед каким преступлением, чтобы удержать свою власть? Именно это утверждали и доказывали коммунисты насчет данного общественного строя и его представителей со времен Маркса, а новейшая история дала тому множество доказательств. Но, как говорится, революционной ситуации в конце 1932 года не было.

В. Реккерт. В дискуссиях часто утверждают, что нельзя говорить о воротилах финансового и монополистического капитала, будто они знали планы фашистов, могли предвидеть все последующее, хотели именно того, что потом наступило. Они якобы были поражены, захвачены врасплох некоторыми событиями, свершениями и мерами фашистского правительства.

К. Бахман. Тут целый пакет вопросов. Если мы ныне рассмотрим уже более чем пятидесятилетнюю полемику насчет отношений фашизма и капитализма, мы вскоре заметим метод, с помощью которого может быть брошена тень на трезвое научное исследование.

Защитники капитализма хотели после 1945 года заставить поверить, будто профашистская буржуазия знала о НСДАП и Гитлере не более того, что они выступали против коммунистов и профсоюзов. Этого им было достаточно, большего, нежели подавление их политических классовых противников, они вообще не желали. И если теперь марксисты говорят, что опытные в политическом отношении боссы не были такими уж наивными, то эту реплику выдают за явное преувеличение: дескать, марксисты полагают, будто капиталисты должны быть провидцами.

В. Реккерт. Но ведь представители буржуазии могли все знать, что написал Гитлер в «Майн кампф», говорил в речах, например о «разгроме марксизма», о

враждебности в отношении Советского Союза. Удар по рабочему движению, установление диктатуры, вооружение, цель взять реванш за проигранную первую мировую войну — все это и до того можно было прочитать у Гитлера. Правда, в программе НСДАП слово «война» не упоминается.

К. Бахман. Можно ли назвать программу сколько-нибудь заметной империалистической партии, в которой открыто говорится, что с помощью войны надо надавать чертей другим народам, захватить страны, присвоить сырье, ограбить края? Я говорю: открыто! Между строчками программы 1920 года на 25 пунктов было, если коротко сформулировать, написано, что все будет восстановлено из того, чем пришлось поступиться в 1919 году после проигранной войны. Мыслимо ли это было без войны?

Сначала Гитлер осуществил без войны некоторые территориальные требования немецкого империализма: ...Саарская область, Судетская область, Австрия и Мемельский край...¹¹. В Великобритании — влиятельные силы, которые ценой дальнейших уступок немецким захватчикам хотели повернуть агрессивные устремления нацистов в сторону Советского Союза. Они были готовы сами вернуть часть бывших немецких заморских колоний. В соглашении о флоте британское правительство дало Гитлеру свободу действий по созданию своего флота размером до трети от британского военно-морского флота.

Фашистские главы к концу 30-х годов не исчерпали еще всех возможностей дипломатического шантажа и расширения своих территорий невоенным путем. Что это доказывает? Очевидно, прежде всего то, что у них на уме было куда больше, чем корректировка результатов Версаля. Об этом фашисты говорили еще до 1933 года. В книге «Майн кампф» без прикрас указано в качестве цели фашистской политики обеспечение германскому рейху гегемонии, абсолютного господства в Европе. Франция должна была стать второ- или третьестепенной, в общем, зависящей от Германии державой. Европейский восток, прежде всего территории Польши и Советского Союза, считался у немецких фашистов основным направлением экспансии. Никто не мог всерьез поверить, что Великобритания стала бы безучастно смотреть на такое развитие, когда бы ей угрожающе противостояла немецкая континентальная империя. Программа Гитлера отражала особенную и всеобъемлющую агрессивность германского империализма. Это означало войну: на востоке — против СССР, а на западе — против капиталистических великих держав Франции и Англии.

В. Рекерт. После войны многие крупные капиталисты уверяли, что они ничего не знали о намерениях Гитлера, поскольку они-де не читали «Майн кампф». Господа в цилиндрах и фраках утверждали с отвращением на лице, что если им такое халтурное произведение вообще и попало бы в руки, то они его очень скоро с безразличностью отложили бы в сторону.

К. Бахман. Это бессмысленный спор. Реакционные силы буржуазии финансировали и поддерживали Гитлера и его партию в политическом плане. Ведь он обещал разгромить организованное рабочее движение, равно как ликвидировать парламентские формы господства и расширить подвластные области.

В. Рекерт. Причем не только можно сказать, что крупный капитал знал и одобрял планы Гитлера, но и должно сказать, что планы Гитлера были планами крупного капитала. Они были, например, в общих чертах сформулированы самым могущественным капиталистом своего времени Гуго Стиннесом уже в 1922—1923 годах.

Перевел с немецкого А. ГРИЩЕНКО.

¹¹ Мемельский край — Мемель (Клайпеда) и прилегающий район Литвы были оккупированы 22 марта 1939 года гитлеровцами по договоренности с фашистским правительством Литвы.



ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕЛИКС НОВИКОВ



ЧЕТЫРЕ ЭТЮДА О ЗОДЧЕСТВЕ

Казалось бы, не так давно произошел тот знаменательный поворот в направленности архитектурного творчества, который мы связываем с широкой индустриализацией, с распространением стандарта, с массовым строительством. А тем временем прошло ни много ни мало четверть века. Кончились 50-е, завершились 60-е, истекли 70-е годы. Четверть века — это ведь более того отрезка времени, что поместился между октябрём семнадцатого и июнем сорок первого, того времени, что содержит в себе и новации 20-х годов, и поиски многих туров конкурса на проект Дворца Советов, и определившееся потом направление «освоения классического наследия». Четверть века — это многим больше, чем те десять лет после дня победы, которые ознаменованы работой по восстановлению разрушенных городов, созданием монументальных композиций и помпезных ансамблей со всеми аксессуарами украшения и излишеств. Это больше того исторического отрезка, что остается до границы веков — временной черты, которую не перешли даже герои фантастических романов, популярных в пору детства моего поколения, той черты, до которой простираются теперь наши долгосрочные планы. Прошедшие четверть века — это самый плодотворный период истории советской архитектуры, идущей в ногу с научно-технической революцией, вместе с поступательным ростом экономического потенциала страны, создавший значительную часть нашего национального богатства, называемого материально-технической базой коммунизма. И если мы попытаемся себе представить, что вся наша градостроительная реальность сегодняшнего дня — новые города, микрорайоны и общественные комплексы — увиделись бы нам оттуда, из того прошедшего времени, то положила руку на сердце можно с полным основанием утверждать, что все созданное за эти годы представляет собой достойное воплощение мечты о городе будущего. Разве не согласились бы мы с этим, увидев из прошлого кварталы Ясенева и Тропарева, Олимпийскую деревню, ансамбли ташкентского центра или застройку Навои?

Итоги этого двадцатипятилетия поистине колоссальны. Все мы живем сегодня в мире новых пространств, новых расстояний, новых масштабов, в мире новых архитектурных форм. У нас теперь иные, чем прежде, представления о качестве жилища, о комфорте на производстве, иные требования к уровню сферы обслуживания, иные эстетические представления.

Одно дело мечта о будущем, другое — оценка ее воплощения из настоящего времени. Такая оценка всегда опирается на новые идеалы, извлеченные из конкретного опыта, противопоставляет настоящему новую мечту о будущем, содержит в своем позитивном и критическом содержании импульс дальнейшего развития. И потому вполне закономерно, что в этой новой окружающей нас среде одно доставляет удовлетворение, другое оставляет к себе равнодушным, третье повседневно вызывает отрицательные эмоции. Новая среда своей массой уже сегодня преобладает над сохранившимся историческим материалом городской застройки, оставленной нам всем предшествующим трудом человека на нашей земле. Но созидательный процесс продолжается. Еще не решена жилищная проблема, повсюду отстает строительство объектов обслуживания, планы экономического и социального развития страны побуждают к созданию новых гигантских промышленных комплексов, множества новых

городов, и, значит, физические объемы новой застройки будут и впредь накапливаться с еще большими темпами.

Все мы видим прогресс нашей архитектуры. Он зримо выступает и в массовом строительстве и в уникальных зданиях. Мы знаем имена городов и адреса построек, составляющих предмет гордости советской архитектуры. Однако то, что может послужить достойным творческим примером для будущего, лишь малая толика сделанного. Далеко не всякий город может похвастаться удачной застройкой района, улицы или хотя бы одним достопримечательным сооружением. Гораздо больше упущенных возможностей, в особенности бросающихся в глаза в тех городах, которые обладают богатством естественных условий или ценным наследием прошлого.

В свободное время мы охотно покидаем наши новые районы, стремясь общением с природой, паломничеством в исторические места дать себе компенсацию за отсутствие эстетического содержания в созданной нами современной среде. Машинный, технический дух строительства наших дней во многом способствовал всеобщему влечению к градостроительной культуре прошлого. Даже наследие модерна конца XIX — начала XX века, преподносимое нам в архитектурной школе как плод творческого безвременья, и то привлекающее своей рукотворностью, стало сегодня предметом государственной охраны. Разумеется, это хорошо. Однако тщательно охраняемое, научно реставрируемое и даже вновь возводимое прошлое никогда не заменит собой несозданных эстетических ценностей наших дней. И потому, задумываясь над будущей судьбой наших городов, над образом городов, еще не заложенных нами, следует вновь поразмыслить о том, что препятствует достижению лучших результатов в градостроительстве. Предлагаемые читателю критические этюды касаются некоторых аспектов этой проблемы.

О ПОВТОРЯЕМОМ И НЕПОВТОРИМОМ

Если верить легенде о трагической судьбе творцов храма Василия Блаженного, лишенных зрения, дабы не посмели они впредь сотворить что-либо подсобное, то вместе с мыслью о беспощадной неблагодарной жестокости возникает и другая: какие же чудовищные формы обрело стремление к тому, чтобы не дай бог не повторилось уникальное явление в зодчестве. Наше современное общество несравненно милостивее к архитектору. Любой из нас, повторяющий свое собственное или чужое произведение, может быть спокоен. Ему ничто не угрожает. Напротив. Не исключено, что именно эта его деятельность послужит поводом для преподнесенного в той или иной форме общественного поощрения. Это условное ироническое противопоставление имеет некое отношение к истине. Ведь действительно, в течение сотен и тысяч лет человечество отбирало и накапливало уникальные рукотворные ценности каждого города, а мы в исторически ничтожный срок, открыв шлюзы половодью стандарта, утопили в нем несхожие лица городов. Почему это произошло? И как избежать этого в будущем? Если мы хотим преодолеть кризисное положение в противостоянии прошлого и настоящего, добиться гармонического их совмещения, сделать эстетически содержательной современную среду городов, нам следует найти ответы на эти вопросы.

Я убежден, что главный источник противоречия определяется пониманием и практическим разрешением проблемы взаимодействия повторяемого и неповторимого, уникального и стандартного. Однако взаимодействие это вечно, свойственно самой природе архитектуры и возникло в тот самый момент, когда возникло и само зодчество. Не нужно обладать особой наблюдательностью, чтобы обнаружить в любом архитектурном произведении повторяющиеся детали, элементы, формы. В сложных, пространственно развитых композициях мы заметим и целые фрагменты, повторяющиеся в определенной системе. Повторение крупных объемов и целых зданий нередко встречается в градостроительных ансамблях прошлого. Все это не ново. Более того, в этом профессиональном приеме — создании ритма одинаковых форм — состоит одно из самых мощных средств архитектурной выразительности. И тем не менее наследие прошлого мы не называем однообразным, серым, унылым, невыразительным. К нему неприложимы эпитеты, наиболее точно характеризующие современные сооружения и городскую застройку. Дело, по всей вероятности, в том, что повторяемые в современных архитектурных композициях детали, фрагменты, здания стандартны, — в прошлом же все это было уникальным, повторялось неповторимое.

Есть множество различных причин необычайного многообразия архитектурного наследия. Более того, можно утверждать, что в прошлом каждый фактор, определяющий архитектурную форму способствовал ее неповторимости. Высший из них — фактор времени, фактор стиля, обуславливающий характерные формальные черты, присущие всему создаваемому в данный исторический период. Стилиевой характер объединяет города с разными природными обстоятельствами, постройки любого назначения, зодчих с несхожими личными взглядами. Единство стиля подразумевает определенный уровень общности форм. И мы безошибочно различаем архитектурные стили — античное не спутаешь с готическим или ампириным. Но посмотрите, какое огромное богатство форм заключено в самом стиле. Сколь многообразны в каждом из них возможности неповторения — для различных мест расположения городов, для построек разного назначения, для зодчих с различными вкусами. Стиль — источник разнообразия времени. Место города — климат, ландшафт, характер сложившейся среды, подножные материалы — все это источник неповторимости. И мы нередко видим различные, и даже контрастные, черты в архитектурном облике поблизости расположенных поселений. Разве не разны Владимир и Суздаль? Разве похожи Мюнхен и Нюрнберг? Разве не контрастны Венеция и Виченца? Даже в соседствующих городах различен характер форм и деталей. Мощным источником разнообразия являлись в прошлом национальные и культурные факторы — традиции, сложившийся жизненный уклад, религиозные представления. Города разны еще и потому, что заняты они разной работой, и это тоже непременно отражается в их облике. Надобно иметь в виду еще и то, что по-разному складывается история каждого города, не совпадают обстоятельства их развития, способствующие расцвету или упадку градостроительства. Все это тоже предпосылка разнообразия места.

Различие архитектурных форм обуславливалось и различием назначения зданий. Ведь каждому из них — дворцу, храму, жилищу, крепости — свойственны свои детали, свой пластический язык, свои ритмы. Так проявляется разнообразие функций.

Любой архитектурный замысел воплощается в природе свойственными времени и месту техническими средствами. И хотя в прошлом люди не располагали возможностями современной техники, многообразие архитектурных форм обеспечивалось тем, что способны были человеческие руки. Мощным источником разноликости форм был и сам творец — архитектор. Каждому мастеру присущи свои вкусы, свои излюбленные приемы, свой почерк. Все это безошибочно различается в работах Казакова, Баженова, Кваренги, Росси, Стасова — каждого талантливого зодчего. Так проявлялось творческое разнообразие. А тут еще вмешивался заказчик. И у него были свои вкусы, свои представления о престижной архитектуре. Он меценатствовал, покровительствовал, поощрял. И все во имя неповторимости, уникальности создаваемого по его воле и для его прихоти. А нет — так и глаз вон!

И вот в результате сложного смешения всех этих импульсирующих неповторимость обстоятельств — стиля, места, функции, техники, творческого начала, воли заказчика — складывалось уникальное, неповторимое лицо зданий и городов, доставшихся нам в наследство.

Итак, с прошлым кое-что прояснилось. Что же повторяется в наши дни? Как проявляются в нашей архитектурной практике рассмотренные выше источники многообразия?

Начнем с того же фактора времени, фактора стиля, ставшего сегодня явлением тотальным, всеобъемлющим, всепоглощающим. Должен заметить, что в рассуждении об архитектурном стиле нашего времени мы как-то робко подходим к определению свойственных ему черт, не спешим с тем, чтобы найти ему подобающее имя. Но, быть может, необязательно перекладывать заботу об этом на плечи потомков? Разумеется, наша архитектурная практика последнего двадцатипятилетия — явление многосложное и не лишенное противоречий. Несомненно, что в течение этой четверти века мы наблюдали в зодчестве различные творческие устремления, которых еще коснемся ниже. Наконец, очевидно и течение процесса развития, в котором происходит эволюция формальных стилиевых черт. И тем не менее есть общее отражение содержания времени в нашей архитектуре. Есть превалирующая тенденция, проступающая достаточно явно. Имя ей техницизм. Это и есть стиль наших дней. Не думаю, что ему может быть найдено более точное определение. Техницизм отражает в себе взаимодействие архитектуры и техники. В наше время научно-технической революции именно это обстоятельство стало фактором, определяющим архитектурные черты

времени, отодвигающим на второй план эмоциональное художественное начало в творчестве, игнорирующим региональные, национальные, а подчас и социальные аспекты формообразования. Техницизм проявляется путем непосредственного выражения в архитектуре технической сущности сооружения. Современные здания в своем подавляющем большинстве — это лишённые деталей, схематизированные формы, в которых механически, дословно, пунктуально выражена работа конструкций. Без творческих усилий, направленных на пластическое ее выражение, на поиски соответствующей конструкции художественной формы. Содержание техницизма именно в этом. Техницизм по своей природе антипод неповторимости и многообразия. Напротив, он постоянный источник однообразия и повторения. И потому нужны немалые творческие усилия, чтобы преодолеть свойственную техницизму инерцию, найти художественные формы, соответствующие техническим возможностям нашего времени. Только таким путем может быть создано новое стилевое направление, которое окажется способным к большему многообразию архитектурных форм. А пока что стиль, устоявшийся за прошедшие четверть века, продолжает тиражировать идентичные архитектурные формы.

Разнообразие, обусловливаемое прежде обстоятельствами места, сегодня сплошь и рядом игнорируется. Казалось бы, природная среда, в которой развиваются исторические города, не утратила своей неповторимости. И мы знаем, насколько различны ситуации в городах, создаваемых вновь. И тем не менее мы не извлекаем из этих факторов различные композиционные построения и формы. И хотя неповторимость места остается, мы способствуем ее нейтрализации, повторяя едва ли не в каждом городе стандартную композицию, в которой вдоль магистрали на одинаковом расстоянии друг от друга встают, как правило, четыре высоких точечных дома (чем больше город, тем выше), а между ними, соответственно, три протяженных невысоких дома (чем меньше город, тем ниже). Исключение представляют те случаи, когда та же система обращена к реке, площади или парку. Словом, распространяется однообразие градостроительных приемов, не столько связанных с местом действия, сколько с действующими инструкциями и нормативами, тех, что без усилий принимаются утверждающими инстанциями. Обстоятельства места не находят своего выражения и в облике самих зданий. В повторяемых композициях присутствуют еще и повторяемые элементы. Такова единообразная продукция домостроительных комбинатов. Однако это лишь одна сторона дела. Другая состоит в том, что мы ведем повсеместное стандартное домостроение не только в сфере жилища. Повторяемы и общественные сооружения.

Надо сказать, что мы, архитекторы, с полным основанием считаем одним из важнейших, первичных факторов формообразования характер среды, в которую входит объект. Достаточно много досадных ошибок возникло в наших городах в последние годы именно вследствие бестактного отношения к среде: к пространству, к трассам движения, к ландшафту, к окружающим строениям, представляющим подчас архитектурные и исторические ценности. Каждый из этих внешних факторов должен быть учтен в композиции, способен активно повлиять на ориентацию формы, на ее внутреннюю организацию. Однако все это не может быть учтено в типовом проекте. Он абстрагирован от среды. Заведомо. Автор этого многократно повторяемого сооружения начисто лишен информации о среде. Проект сопровождается абстрактными генеральными планами. На этой основе создаются общественные здания. Те самые, которые всегда были поводом к уникальным решениям и нередко составляли собой достопримечательность города. Таким образом, неповторимости места противостоит сегодня повсеместное повторение. В свою очередь, нивелируется и многообразие функций. Одни и те же приемы и формы присущи сегодня самым различным по содержанию объектам. Объем, нависающий над рядом коротких опор, в равной мере соответствует образу музея, театра, торгового центра, административного здания. Повторяются и детали. И если в прошлом в неповторимом сооружении вы встречали неповторимую дверь, неповторимое окно, неповторимую люстру, неповторимую мебель, то теперь все это охвачено стандартизацией. И только произведения монументального искусства, охотно привлекаемые сегодня в архитектуру, только они одни остаются пока рукотворными. В такой всеохватывающей форме проявляет себя индустриализация. Она ставит интересы производства выше интересов цели создания. Временный характер процесса строительства оказывается важнее постоянного его результата. И это при бесконечном многообразии возможностей современных

технических средств. Подобное положение представляется искусственным. Оно вовсе не вытекает из природы индустриализации. Напротив, индустрия может и должна удовлетворить все многообразие общественных потребностей. И в том числе те, которые определяются эстетическим вкусом общества, его требованиями к современному градостроительству, вызывающему сегодня общественный протест однообразием, повторяемостью, стандартом.

А как обстоит дело с творческими устремлениями? Возможно ли в наши дни различить работы разных мастеров? В тех случаях, когда это оказывается возможным, мы имеем дело с исключениями из правил. Нормы, циркуляры, эксперты, комиссии — весь мощный аппарат контроля направлен в большей мере на истребление неповторимого, нежели на разномыслие повторяемого. И редко какой заказчик подержит смелый творческий замысел архитектора и будет вместе с ним вести сложную, утомительную борьбу за его реализацию. В таких обстоятельствах мы и впредь будем продолжать накапливать стандартный градостроительный материал, усугублять конфронтацию старого и нового, будем по-прежнему обезличивать города.

Наверное, мне возразят. Скажут, что я слишком сгустил краски. Что в нашей архитектурной практике есть новые отрадные явления, есть примеры ярких индивидуальных уникальных решений — и не только отдельных зданий, но и районов и городов. Я с этим соглашусь. Мне все они известны. Адреса построек и имена авторов. Однако их пока еще очень мало. Они пока еще исключения. 20 новых городов закладываем мы ежегодно, но лишь раз в пять—десять лет узнаем о творческой удаче. Стало быть, они составляют один процент или того меньше. Мы говорим о подлинных творческих удачах.

Исключение, когда композиция создана точно по месту, когда технические средства подчиняются цели созидания, исключение, когда автор оказывается в обстоятельствах, способствующих проявлению его творческой индивидуальности. А ведь все должно быть наоборот. Исключение должно стать правилом. И это со временем непременно произойдет. Течение процесса развития нашей архитектуры медленно, но последовательно устремлено в этом направлении. И там, где это стремление осознано, там ощутимей и результаты.

Когда-то, лет двадцать назад, редко кому и ценой огромных усилий удавалось получить разрешение на индивидуальный проект. Тогда малейшая переделка типового проекта считалась делом преступным и наказуемым. Сегодня индивидуальный проект уже не редкость, а выполнять варианты фасадов при привязке типовых проектов уже не возбраняется. Раньше и в центре Москвы привязывались типовые проекты. Сегодня это уже было бы кощунством. Тогда же, лет двадцать назад, написал я статью под вызывающим по тем временам названием «О границах типизации». Увидев этот заголовок, один из моих коллег возмущенно заметил мне: «Типизация не имеет границ!» Однако весь наш немалый отрицательный опыт свидетельствует об обратном. Он убедительно демонстрирует, что нарушение разумных границ типизации, объективных законов градостроительства, имеющих предел допустимого сочетания стандартного и уникального, неизбежно влечет за собой то, с чем мы сталкиваемся в нашей практике, — однообразие, серость, безличие городов.

Но, быть может, все отрицательные явления в градостроительстве — неизбежное следствие нашего настойчивого стремления решить главную социальную проблему — жилищную? Бить может, все это оправдано объективной необходимостью? Я убежден, соглашаться с таким утверждением не следует. Есть комплексная социальная задача, подразумевающая необходимость создания комфортабельной жилой среды, включающей в себя не только обитель человека — квартиру, комнату, жилплощадь, — но и все элементы обслуживания и эстетическое содержание этой среды. Мы призваны решать эту задачу в каждом городе — старом и новом, сибирском и дальневосточном. Там, где мы забываем об этом, там, где игнорируется разнообразие потребностей людей, там социальные проблемы остаются нерешенными, и это в конечном счете находит свое выражение в других отрицательных социальных явлениях. Но искомая комплексность и высокие художественные достоинства городской среды достижимы за те же средства и при той же индустриализации. Иначе откуда бы взяли у нас примеры, достойные подражания? Это ведь факт, что созданный в Вильнюсе Лаздинай — продукт индустриального строительства. Это ведь факт, что сегодня в Эстонии даже сельские центры проектируются только индивидуально.

Цель всегда достижима, если ей соответствуют должные творческие, организационные и созидательные усилия.

Конечно, примитивизм градостроительных решений конца 50-х — начала 60-х годов можно оправдать необходимостью скорейшего утоления жилищного голода. Но сегодня другие времена. Высокая требовательность общества к советской архитектуре нашла свое четкое выражение в известных словах Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева: «Наши зодчие могут и должны покончить с однообразием застройки, невыразительностью архитектурных решений».

Серость и одноликость городов можно преодолеть сознательным направлением индустрии на индивидуализацию, ограничением распространения типового и стандартного предела конкретной композиции — здания, комплекса, района. Когда на смену типовым проектам общественных зданий придут образцовые проекты, рекомендуемые в качестве пособий проектирования, когда на смену стандартному типовому жилому дому придут стандартные узлы и элементы, когда уникальные здания получат уникальные детали и изделия, мы покончим с однообразием.

Я думаю, что органичное сочетание старого и нового, богатство эстетического содержания создаваемой нами среды, разнообразие облика городов возникнет тогда, когда на смену технизму придет другой стиль, олицетворяющий собой художественное осмысление современной строительной техники, когда архитектура выступит в единстве с временем, местом, функцией и будет направляться личными творческими идеалами зодчего.

Конечно, это произойдет не сразу. Но происходит уже и теперь. И я назову ниже примеры ярких, интересных решений — предшественников грядущего нового стиля в советской архитектуре. Когда-то, оправдывая принятый уровень стандарта, мы говорили о необходимости централизации проектного дела, об отсутствии кадров на местах. Сегодня как раз там, вдали от столицы, мы имеем свидетельства высокого творческого потенциала архитектурных сил. Процесс индивидуализации архитектурного творчества уже начался. И потому свойственный моей натуре оптимизм согревает во мне надежду на то, что наступит такое время, когда исчезнет из нашего лексикона слово «привязка» и заказчику придется потратить значительные усилия, чтобы убедить руководящие архитектурные органы в необходимости повторного приращения какого-либо проекта.

О ФОРМЕ, ФОРМОТВОРЧЕСТВЕ И ФОРМАЛИЗМЕ

Архитектурная форма — искомое творческого процесса, формотворчество — его содержание, формализм — частное проявление его результата. При этом первое положение кажется бесспорным, второе может представиться сомнительным, третье же прочно укоренилось в нашем сознании в качестве отрицательной характеристики произведения архитектуры. Такое представление правомерно. Оно многократно протутировано на множестве примеров, относящихся к разным периодам развития нашего зодчества, представляющих собой различные творческие тенденции. Однако с течением времени прошлое переосмысливалось. Многие произведения, бывшие предметом критики, заняли достойное место в золотом фонде мировой и советской архитектуры. Имена их авторов сегодня в почетном списке выдающихся мастеров XX века.

Над этим стоит задуматься. Ведь действительно, названное формализмом творчество Мельникова, Леонидова стало сегодня вехой в истории нашего зодчества. А выплеснутое вместе с водой содержание формальных поисков послевоенного десятилетия? И оно ведь сегодня переосмысливается. По-видимому, поспешные и категорические оценки творческих тенденций прошедшего времени, данные в самом этом времени, не охватывали всей сложности явлений, толкали нас из крайности в крайность. Теперь, пожалуй, очевидно, что течение, сменившее украшательство первой половины 50-х годов, и само было крайностью, отход от которой оказался куда как длительным процессом (четверть века), не завершившимся и до сей поры. Что же такое формализм в архитектуре и каковы его различные проявления?

В словаре Павленкова, изданном в 1913 году, формализм определяется как «приверженность к форме в ущерб сущности дела». В справочных изданиях, появившихся на свет спустя полвека, определение формализма более пространно, и в частности формализм называется художественным методом, для которого характерен

«культ формы как таковой». Но что же это такое культ архитектурной формы и всегда ли это плохо? Разве не являются выражением культа формы почитаемые ныне шедевры отечественного и мирового зодчества? А уж если говорить о сегодняшних негативных явлениях в архитектуре, то они главным образом и состоят в отрицании формальных профессиональных задач, в пренебрежении к форме, в отсутствии, с позволения сказать, культа формы. Надо бы выяснить, в чем заключается значение оговорки «как таковой» и в каких пределах допустим культ формы. Ведь он не подразумевает обязательный ущерб сущности дела. Высокохудожественное произведение может быть создано при гармоническом решении всех аспектов творческой проблемы и при эффективных экономических показателях.

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, полезно обратиться к историческому наследию, тому, что устоялось во времени, не вызывает сомнений в истинной своей ценности, привлекает к себе миллионы восхищенных людей. Там, в этом более отдаленном прошлом, мы видим многообразный мир удивительных форм — гармоничных, эмоциональных, выразительных, запоминающихся, созданных, казалось бы, только для красоты. Но если действительно для красоты, то почему бы не окрестить все это беспринципным формотворчеством, культом формы как таковой, не назвать все тем же пресловутым формализмом? Мы этого не делаем, потому что в таком случае рискуем поставить знак отрицания перед бесспорными шедеврами зодчества. Более того, мы понимаем: все, что воспринимается на поверхности как сделанное для красоты, в каждом случае наполнено определенным историческим смыслом, получившим свое совершенное художественное выражение. Собственно, именно в этом поиске художественной формы и есть главное в архитектурном творчестве. Там, где присутствует только содержание, там, где оно художественно не осмыслено, — там, собственно, и нет архитектуры. Есть постройка, есть сооружение, способное выполнить свою функцию, служить жилищем, театром, заводом, стадионом, чем угодно еще, но не быть архитектурой. Такое может быть создано и без архитектора — на все есть нормы, стандарты, инструкции. Проект, соответствующий этим параметрам, может выполнить любой грамотный инженер. Но архитектура, архитектурная композиция, архитектурное творчество — это всегда формотворчество, всегда в каком-то смысле культ формы, и в том числе в положительном содержании этого понятия. Культ формы непременно обнаруживается в прошлом, настоящем и будущем того, что мы называем архитектурой. Однако в своих крайних выражениях он непременно обращается формализмом.

Функция, среда, техника, экономические обстоятельства — факторы объективные. Они существуют вне зависимости от воли автора. Однако все они проявляются в архитектурной форме через посредство автора, выступающего в качестве творческого фактора формообразования. Конкретная архитектурная композиция, конкретное формальное решение множества творческих проблем возникает в связи с выражением авторского их понимания, вследствие проявления интуиции, художественного вкуса, подхода к задаче, метода ее решения, в конечном счете — творческой воли.

Во множестве произведений архитектуры мы можем заметить преобладающее значение в композиции какого-либо основополагающего фактора. Там, где во главу угла поставлена функция — «функция определяет форму», — там можно обнаружить функциональный формализм. Там, где архитектурная форма подчиняется внешним обстоятельствам местоположения объекта, возможно проявление градостроительного формализма. Однако формализм такого рода нередко обнаруживает себя протиположным образом, когда предвзятая композиция, вытекающая из академических творческих представлений, механически привносится в чуждую ей среду. Мы знаем немало таких ансамблей, где господствует жесткая симметрия, где по всем осям «безошибочно» расставлены акценты, и вместе с тем ансамбли эти бездушны и некрасивы. В нашей современной практике наибольшее распространение встречает технический формализм (упомянутый уже техницизм). А разве не являются многие постройки недавнего прошлого проявлением экономического формализма в самом прямом смысле этого слова? Здесь нередко формальная экономия первоначальных затрат вызывает в дальнейшем куда большие дополнительные капиталовложения.

И тем не менее сам по себе примат одного из формообразующих факторов вовсе не обязательно влечет за собой отрицательные творческие явления. Вполне закономерно, что в разных задачах факторы формообразования взаимодействуют по-разному. Выход на первый план обстоятельств среды, функции или технических

средств воплощения замысла вовсе не подразумевает отсутствие комплексного подхода к проблеме. В каждом конкретном случае определяется главное и подчиненное. В конечной архитектурной форме обнаруживается определенная зависимость формообразующих предпосылок.

Что же касается формализма, то он выступает на поверхность лишь тогда, когда происходит взаимопоглощение исходных факторов архитектурного творчества. Так, интересы функции могут заслонить собой информацию, содержащуюся в среде, техника способна нанести ущерб функции, а экономика подчас оказывается в состоянии подавить собой не только эстетические, но и социальные аспекты архитектуры.

Самые различные виды формализма встречаются в архитектуре. Они побуждаются, с одной стороны, объективными тенденциями, которые могут дать пищу для него, но с другой — главным образом субъективизмом автора, способного в процессе творчества увлечься формальной идеей, вступающей в противоречие с конкретным содержанием задачи. Банальным примером символического формализма может явиться здание Центрального театра Советской Армии, где творческая воля автора вкомпоновала сложную театральную функцию в план пятиконечного звездообразного очертания. И однажды на творческом диспуте в Союзе архитекторов я стал свидетелем того, как технолог этого проекта сообщил аудитории о том, что, по его мнению, еще не родился режиссер, способный преодолеть противоречия в планировке этой сцены.

Множество примеров проявления эстетического формализма связано с предвзятостью архитектурной формы, вступающей в противоречие с функцией. Подобный вид формализма в изобилии демонстрирует послевоенное десятилетие. Это монументальные скульптуры перед окнами жилых комнат, это функциональная пустота многоярусных башен, это ложные членения фасадов и громоздкие бутафорские карнизы — мертвые слепки с лица давно ушедших эпох. Впрочем, эта тенденция вновь напоминает о себе в ряде новых, современных построек. Здесь действительно форма ради формы, «красота» только для красоты, скорее даже мещанской красоты, без какой-либо логической посылки. Упомянутый уже экономический формализм нашел, в частности, свое яркое выражение в бестактном вторжении стандартного домостроения в центр Москвы, где мы можем обнаружить типовые дома из панелей, блоков, силикатного кирпича. Здесь начисто игнорируется историческая среда. К числу отрицательных проявлений формализма можно отнести многие примеры, свидетельствующие о настойчивом стремлении архитектора к традиционным национальным мотивам. Нарочитый «национальный» формализм в архитектурном творчестве очевиден в распространенном механическом привлечении в современное здание орнаментальных сюжетов, не подготовленных композиционно или вступающих в противоречие с современной техникой. Данное явление представляет собой отрицательное выражение культурного фактора формообразования.

Определенная разновидность формализма вызывает к жизни эпигонство, некритическим заимствованием архитектурных форм, созданных в других условиях, по другому поводу, другими техническими средствами. Частным выражением такого явления служит так называемая стекломания — распространенное увлечение стеклом, применяемым без должных оснований. Еще один вид формализма обнаруживает себя в том случае, когда архитектор желает непременно выглядеть новатором и создает в этих целях нарочитые, претенциозные формы, лишенные логической основы и технического смысла. И этим далеко не исчерпываются всевозможные проявления формализма. Их множество. Однако все разнообразие видов поддается исследованию и число видов возможно определить. В известном смысле теория формализма может быть уподоблена Периодической системе элементов. В свою очередь, в пределах каждого вида конкретные формалистические проявления также выступают во множестве вариантов. Неведомое их количество еще обнаружит себя в будущем. И в каждом случае это будет следствием культа формы в ущерб сущности дела. И тем не менее культ формы является необходимой предпосылкой создания высокохудожественного произведения зодчества. Как это понять? Это значит, что примат любого фактора формообразования, выступающий в единстве с другими обстоятельствами, при комплексном подходе к задаче дает положительный результат. Такое решение мы будем считать реалистическим. Здесь формотворчество зиждется на логической основе, и каждая форма, быть может даже не осознанная автором, оправданна, естественна, закономерна. И то, что на первый взгляд может показаться следствием

авторского произвола, сделанным будто бы только во имя культа формы, только для красоты, при ближайшем рассмотрении оказывается ясным и убедительным следствием логики функции, среды, техники, самой композиции.

Однако логика композиции, архитектурного творчества вообще явление сложное. Она проявляет себя в двух различных аспектах. Первый из них мы назовем логикой разума, которая строит связи и зависимости по ясным и воспринимаемым принципам. Но есть еще и второй аспект — логика наития, вдохновения, интуиция. Здесь все зиждется на сложных, скрытых на первый взгляд и тем не менее вполне доступных пониманию и объяснению закономерностях. Так сочетается в творчестве зодчего разум и чувство, объективное и субъективное, рациональное и иррациональное. Отсутствие логической основы как в первом, так и во втором случае создает предпосылки формалистических решений, вступающих в противоречие со здравым смыслом или вызванных невоспринимаемой, нарочитой, внутренне алогичной эмоцией.

В нашей современной архитектурной практике мы сталкиваемся по преимуществу с произведениями, созданными по законам логики разума. Только такая логика свойственна техницизму. И в относительно небольшом числе работ находим мы подлинное творческое начало, второй пласт логики, сложные композиционные закономерности, вызывающие у зрителя эмоциональный уровень восприятия архитектурной формы. В отличие от сооружений, охватываемых сразу и до конца с первого взгляда, есть и такие, в которых постепенно воспринимаешь их содержание, видишь и чувствуешь взаимодействие форм, находишь все новые неожиданные ракурсы, вбираешь в себя впечатление, накапливаешь его во времени по мере движения в пространстве. Такой способностью постепенного раскрытия своего композиционного содержания обладают выдающиеся творения русского зодчества, в которых мы при каждой встрече находим все новые и новые привлекательные черты. И всегда обнаруживаешь композиционное оправдание каждой, казалось бы неожиданной и случайной на первый взгляд, архитектурной форме.

Наши предки были не богаче нас, о чем бы ни шла речь — о средствах, материалах, технике или о трудовых ресурсах. Процесс строительства был для них не менее сложным и хлопотным делом. И все же они находили в себе достаточно сил, чтобы воплотить в натуре дерзновенные замыслы своих зодчих.

Задумываясь над творческим опытом последнего двадцатипятилетия приходишь к выводу, что к нашей огромной градостроительной работе мы подходим, пожалуй, слишком прагматически. Архитектурное творчество за малым исключением перестало быть сферой проявления фантазии, романтического образа мысли, поэтического начала. Быть может, оттого так мало построек, способных вызвать интерес, удивление, наконец восхищение зрителя. Прагматизм руководит планированием, он направляет работу строителей, более того — он овладел умами самих зодчих.

Образно говоря, процесс архитектурного творчества проходит последовательно как бы в двух уровнях. Первый уровень — назовем его надводным — изначально служит для получения необходимой информации, осмысливания проблемы. Второй уровень — подводный, в котором, как и у подводного корабля в состоянии погружения, утрачиваются все связи с внешним миром. В этом положении происходит акт творчества. За ним следует всплытие, восстановление связей, художник предлагает обществу продукт своей деятельности. Можно смело утверждать — подавляющее большинство современных сооружений строится по проектам, созданным в надводном положении. Речь идет о явлении, порожденном умственным, а не художническим отношением к проблеме. Непроизвольный творческий акт в данном случае отсутствует. Само собой разумеется, что при таком положении вещей не возникает интересной, содержательной архитектурной формы.

Архитектура и формотворчество — эти понятия нераздельны. Лишить зодчество возможностей формальных проявлений значит лишить его языка, убить архитектуру — искусство, абстрагированное от форм природы, не подражающее им, а создающее свои формы, свои ритмы, свои структуры, взаимодействующие с природой и служащие тому, чтобы быть средой для жизнедеятельности людей. Этой среде от века надлежало содержать в себе не только материальное, но и духовное начало. Создание этой духовности составляет смысл и цель архитектурного творчества, и достигается она только через форму, только посредством формы. Другими возможностями зодчество не располагает. И потому формотворчество всегда составляет

профессиональную задачу архитектора. И остается одно — стремиться к реалистическим его проявлениям, не утрачивая в увлекательном процессе творчества связи архитектурной формы с истоками ее происхождения.

О ВКУСЕ, ШТАМПЕ, ПЛАГИАТЕ И БЕЗВКУСИЦЕ

Разумеется, о вкусах не спорят. Если речь идет о личном вкусе. Другое дело — вкусы общественные. О них заботятся, их воспитывают — литературные, музыкальные, архитектурные.

Однако такое воспитание, формирование высокого общественного вкуса происходит через посредство личных вкусов художников, в какой бы сфере искусства они ни проявлялись. И хотя мы знаем — вкусы изменчивы и каждое время демонстрирует свои вкусы, высшим достижениям независимо от времени создания свойственны некие общие черты. Конечно, оглядываясь на творения прошлого, опираясь на всеми признанные шедевры, можно установить вкусовые проявления, свойственные античному зодчеству, готике, ренессансу или классицизму, проследив тончайшие различия во вкусах мастеров-современников. Можно, наконец, определить и то общее, что объединяет выдающиеся творения всех времен и характеризует понятия «единство» и «гармония». Эту гармонию чувствует и неподготовленный зритель, глядя на церковь Покрова на Нерли или на Храм Вознесения в Коломенском. Она неотразима в многоцветной симфонии шатров Василия Блаженного, в изящных постройках Чарльза Камерона и в торжественных формах Адмиралтейства Адриана Захарова. История русского и мирового зодчества располагает множеством великолепных образцов, свидетельствующих об изысканном вкусе зодчих, нашедших в архитектурной форме точное выражение художественных идеалов своего времени.

Высоким вкусом отличаются творения советских зодчих, построенные в первые послереволюционные годы. И здесь ведущее место по праву принадлежит Мавзолею В. И. Ленина, созданному академиком Шусевым. В числе высокохудожественных произведений нашего зодчества работы братьев Весниных, Гинзбурга, Мельникова. Мне довелось в первую навигацию увидеть монументальную работу творческого коллектива, возглавляемого Леонидом Поляковым, — комплекс сооружений Волго-Донского канала. Задуманный как памятник победы в Великой Отечественной войне, он на всем своем многокилометровом протяжении во всех элементах и деталях решен единым духом, с нераздельной стилиевой цельностью, свойственной и другим работам мастера.

Примером высокого вкуса может служить небольшое по размеру, законченное незадолго до войны здание Центрального дома архитектора в Москве, в котором в ином камерном жанре высокий вкус проявлен в театрализованных формах фасада (Андрей Буров), в изящных интерьерах фойе и зрительного зала (Александр Власов) и своеобразной трактовке ресторана (Мирон Мержанов). И хотя каждое текущее время способно избирать для себя различные идеалы в наследии прошлого, временное отдаление всегда облегчает этот выбор. Гораздо труднее определить вкусы своего времени, установить те черты архитектурного произведения, которые должны отвечать идеалам твоих современников. Сегодня это нельзя сделать с той точностью, с которой все прояснится исследователями истории зодчества с горизонта будущего века. И тем не менее представляется, что в самом общем определении высокий вкус в современном произведении выражается в правдивости сооружения, в композиционной цельности, в органичности форм, в единстве стиля, в гармонии художественных средств. И, напротив, высокому вкусу противопоставлена ложная монументальность, бестактное отношение к среде, нарочитость форм, вступающих в противоречие с конструкцией, эпигонство и стилизация. Однако это все слова. И чтобы недвусмысленно раскрыть их содержание, необходимо проиллюстрировать и вкус и безвкусицу наглядными примерами.

Советская архитектура, выступая сегодня на мировой профессиональной арене, представляет себя в творческих смотрах и на выставках широким кругом произведений, демонстрирующих не только размах созидательной работы в стране, но и уровень градостроительной и архитектурной культуры наших зодчих. Этот уровень выражается прежде всего советской градостроительной практикой, нашими новыми городами — Тольятти, Навои, Шевченко, Зеленоградом. Его убедительно показывает опыт реконструкции Москвы, Ленинграда, столиц наших союзных рес-

публик. Примеры, демонстрирующие вкусы советских зодчих, это новые жилые комплексы Вильнюса, Минска, Кишинева. Эстетический вкус советских архитекторов достойно представляют уникальные общественные здания, составляющие достопримечательность наших городов. В Москве это Дворец съездов в Кремле, онкологический центр, здание ТАСС, Детский музыкальный театр и автоцентр на Варшавском шоссе, в Киеве это новый мост через Днепр, в Тбилиси — главный почтамт, в Ереване — Дворец молодежи, в Ашхабаде — здание Библиотеки имени Карла Маркса, в Алма-Ате — Дворец имени Ленина и комплекс Медео, в Ташкенте — ансамбли его центра, в Эстонии — сельские общественные комплексы. Наконец, яркой демонстрацией художественного уровня нашей архитектуры явились только что завершённые олимпийские объекты Москвы и Таллина. Это интересное творческое явление еще предстоит осмыслить и оценить.

Круг произведений, демонстрирующих профессиональные вкусы наших зодчих, мог бы быть расширен. К слову сказать, не все названное мне по вкусу. Да это и не важно. Как мы были бы бедны, если бы кто-либо один из нас располагал правом повсеместно насаждать свой вкус. Я полагаю, что в каждом случае главным достоинством каждого из названных произведений является творческий поиск, находки, индивидуальный характер объекта. И самое ценное, что есть в этих работах, это их несхожесть и разноликость — в композиции, в деталях, иначе говоря, в художественном образе. Тем они и достопримечательны. За то и отдаем мы должное их создателям.

Однако яркие и запоминающиеся образы уникальных построек зодчества неизбежно вызывают подражания, девальвирующие однажды созданную ценность. Речь идет о заметном в нашей творческой практике распространении штампов. Наблюдательный зритель без особого труда замечает, как однажды возникший интересный прием начинает распространяться по многим зданиям. То тут, то там встречаешь уже знакомые фрагменты и детали; здесь, между прочим, вступают в действие законы этики. Точнее говоря, они должны были бы действовать. Здесь должна бы возникнуть проблема пресечения плагиата в архитектурном творчестве. Ан нет, не возникает. Это ведь не секрет, что плагиат в нашем деле никак не осуждается, более того — скорее даже поддерживается и поощряется. Принято считать, что копирование хорошего образца прямо-таки отвечает государственным интересам. И поэтому заказчики «наводят» авторов на объекты подражания. Не секрет, что архитекторы и сами бывают склонны к заимствованию. Дело ведь доходит до того, что при повторной привязке индивидуального проекта появляется одна дополнительная ступенька при входе и вместе с ней... имя нового автора.

Архитектурному плагиату, помимо отрицательных этических факторов, присущи еще и отрицательные эстетические последствия. Я понимаю, что сама по себе постановка этого вопроса может показаться сомнительной. А как же будет продолжаться развитие, если оно не опирается на уже сделанное? Разумеется, речь идет не об этом. В конце концов, допустим такие обстоятельства, когда повторение уникального приема по тем или иным мотивам оправдано. В этом случае достаточно поставить кавычки, указать первоисточник (что при публикации делать просто необходимо) — и тогда, само собой, не может быть и речи о плагиате. Так или иначе, разобраться в этой проблеме было бы весьма полезно. Очень может быть, что решительное запрещение копирования уникальных образцов и композиционных приемов послужило бы побудителем к самостоятельному творчеству для многих архитекторов и, как знать, быть может, дало нам новые, незнакомые еще уникальные явления. Ведь уникальное — значит, единственное. Андрей Буров был прав, заметив, что «тридцать совершенно одинаковых Книдских Афродит, сделанных из мрамора на копировальной машине, будут даже не взводом Афродит, а «30 герлс 30», как пишут на афишах мюзик-холлов». Плагиат, повторение уникального образа, есть одна из форм проявления безвкусицы. Однако безвкусица удивительно многолика и множество ее разновидностей окружает нас повседневно. Я не берусь здесь классифицировать все формы безвкусицы в архитектурном творчестве. Назову лишь некоторые очевидные, на мой взгляд, ее проявления.

Я долгое время наблюдал, как медленно, постепенно возводилось теперь уже внешне оформившееся общественное здание на Трубной площади в Москве. Сначала на моих глазах возник и рос железобетонный каркас, несущий междуэтажные перекрытия. Потом вслед за ним и перед ним стала подниматься кирпичная стена,

служащая лишь целям теплоизоляции, хотя и она сама могла вынести все нагрузки сооружения. И наконец, перед этой стеной взгромоздились мощные пилоны, возведенные из железобетонных блоков и служащие только лишь целям представительства, созданию внешнего облика здания, монументализации образа, — пилоны, которые и сами могли бы нести сооружение, и создают иллюзию того, что так оно есть на самом деле. А в действительности из трех последовательно расположенных конструктивных систем работает только одна. Это безвкусица. Техническая, конструктивная безвкусица. Сравните это с новым олимпийским велотреком, где конструктивное решение — ясное и смелое — органически проявляет себя в острой и оригинальной архитектурной форме. Зданию на Трубной присуща еще одна форма безвкусицы — отрицание среды. Неубедительны его ориентация, этажность, положение торца относительно пространства, а главное, оно загромоздило собой великолепный Сретенский холм. Это градостроительная безвкусица.

Я много слышал о монументальном панно Олега Филатчева в Московском институте имени Губкина. Но вот, оказавшись в здании, я увидел, что выполнена эта интересная работа в одном из типовых холлов, увешанных на остальных этажах приказами по институту и стенными газетами. Уникальное произведение внесено в стандартное, неподготовленное пространство — и это тоже безвкусица применительно к решению проблемы синтеза искусств. А сравните это с монументальным панно Леонида Полищука и Светланы Щербининой на здании второго МОЛМИ в Москве, где монументальному произведению отведено достойное место в композиции и где оно выступает в качестве главной композиционной темы. Здесь другие условия и в итоге другой результат. Я нахожу безвкусицей появившиеся в последнее время примеры московского «ретро», которые я поставил бы в двойные кавычки. В центре города появляются постройки, пытающиеся приспособиться к среде посредством механической стилизации. Так, появляются карнизы при плоских крышах с внутренними водостоками, другие внешние атрибуты старой архитектуры. Все это никак не органические формы, а приспособленчество, подделка, стилизация, ложь и потому безвкусица. Но есть и другие предложения. Я видел проекты панельных домов для центра Москвы (к чести моих руководящих коллег, отклоненные), предлагавшие оформление этих панелей бутафорскими архитектурными деталями, имевшими широкое распространение во времена излишеств. Это тоже безвкусица. Другое дело, когда современные панельные дома обретают свои формы, органичные для индустриального производства и убедительно выступающие в многоэтажных жилых комплексах московских районов Теплый Стан, Ясенево, Тропарево.

А вот еще пример сомнительного вкуса. Возникает предложение в целях расширения московского Павелецкого вокзала построить сегодня, спустя сто лет, еще одно здание вокзала по образу и подобию существующего. Я искренне посочувствую строителям, если они окажутся перед необходимостью выполнения столь странной задачи.

Безвкусица — это солнцезащита на северной стороне, которой никогда не касается солнце. Безвкусица — это и монументальные панно на стандартных торцах. Я никогда не забуду «сногшибательное» впечатление, которое произвел на меня внутренний дворик гостиницы «Россия», где два нижних этажа облицованы керамической плиткой ярко-красного цвета, начисто убивающего монументальные композиции в этом дворике.

Я не могу понять, зачем авторам нового корпуса гостиницы «Москва» понадобилось в интерьере ресторана, где Ириной Лавровой и Игорем Пчельниковым выполнена интересная многоцветная пластическая композиция на городские темы, повесить еще и многоцветные занавеси, красивые сами по себе, но уж явно лишние в этом интерьере. Безвкусица — это неуместное применение мрамора, гранита, ценных пород дерева там, где ими пытаются прикрыть отсутствие архитектуры. Форм проявления безвкусицы удивительное множество. Здесь свои законы развития, свои ступени «прогресса», свои критерии «новаторства». Безвкусица очень дорого стоит, много дороже того, чего мы лишаем себя в целях экономии.

Безвкусица, так же как и вкус, распространяется архитекторами, является выражением личного дурного вкуса автора, навязываемого обществу, и потому об этом вкусе стоит поспорить. Это просто социально необходимо. И здесь должна бы вступить в действие другая, противостоящая безвкусице сила — архитектурная

критика, мощное средство воспитания общественного архитектурного вкуса. Должна бы вступить. Однако на критическом фронте архитектуры тишина и спокойствие. Изредка какой-либо журнал ударит холостым зарядом по какому-либо уже построенному зданию. Оно, разумеется, не рухнет. А вся проектная деятельность в стране проходит без публичной критики. Правда, иногда за тамбурами авторитетных кабинетов раздается критическая канонада, остающаяся недоступной общественному слуху. Мы действительно отвыкли от умной и объективной архитектурной критики.

А между тем, у архитектуры есть одно отличительное свойство. К построенному люди постепенно привыкают. Даже в том случае, если проект вызывает протесты, если стройка окружена общественным неприятием и возмущением. Все равно привыкают. И, устоявшись, безвкусное сооружение начинает влиять на общественный вкус, воспитывать его, хотим мы того или нет. Тем более необходима архитектурная критика.

Речь идет о глубоком и всестороннем анализе каждого крупного явления в нашей практике, поддерживающем все передовое и прогрессивное и аргументированно отвергающем ложные тенденции в развитии зодчества. Подобной критики у нас давно уже нет. И не только потому, что мы шадим друг друга, понимая трудности нашей творческой работы. Дело еще и в том, что в каждом сооружении аккумулируется труд строителей, материальные ресурсы, а иногда и внимание ответственных руководителей. Бывает, что крупное здание имеет особое предназначение или ему присваивается высокое имя. И все это как будто бы освящает проект и постройку, и тогда самый факт критики становится как бы непатриотичным делом. Случается, что проекты выполняются для уважаемого заказчика и уже тем самым оказываются вне обсуждения. Я убежден, что в интересах развития нашего зодчества эти, казалось бы, и понятные соображения должны отойти на второй план. Архитектурная критика — дело решительно необходимое и для профессионалов и для широкой общественности. Однако критика эта может быть двоякого рода. В первом случае это критика единомышленника. Тогда она, естественно, носит дружеский, доброжелательный характер. Такая критика прежде всего подчеркивает положительные стороны работы и настойчиво, но тактично, заинтересованно и профессионально аргументированно показывает ее отрицательные черты. Во втором случае мы имеем дело с критикой с других творческих позиций. Здесь закономерно может проявиться резкость и полемический запал, все внешние признаки творческого инакомыслия, проявление полярных позиций. Я думаю, что и такая критика нам тоже необходима, потому что в открытой борьбе творческих направлений мы придем к истине скорее, нежели в тайном противоборстве противоположных тенденций.

Однако есть еще критика непрофессиональная. Она, как правило, заслуживает самого пристального внимания и уважения. В ней мы, специалисты, должны стараться найти рациональное зерно, которое непременно содержится даже в самых туманных и путаных на первый взгляд формулировках. Но бывает еще и другая разновидность непрофессиональной критики. Она никогда не затрудняет себя анализом явлений или аргументацией своих оценок. Такая критика предпочитает опираться на те или иные ярлыки, на ходу приклеиваемые к проектам и сооружениям. Наши работы называют коробками, ящиками, самоварами, тюрмами, крематориями и т. д. и т. п. И тогда походка может быть зачеркнут многолетний труд талантливого мастера, дискредитируется новое, возможно перспективное, направление в творчестве и т. д. и т. п. Самое огорчительное, что подобная критика оказывает психологическое давление даже на умных и талантливых людей, исполняющих руководящие функции в нашем творческом цехе. И тем самым она оказывает влияние и на их собственные решения.

Такая, с позволения сказать, критика, сама нуждается в беспощадной критической оценке, потому что она некомпетентна и невежественна, потому что она неуважительна к творческому труду зодчего. Архитектурная критика, если мы ждем от нее пользы для нашего общего дела, должна стать предметом углубленных занятий серьезных, доброжелательных и заинтересованных людей, способных разобраться во всех сложностях и противоречиях. Итак, критика необходима для воспитания профессионального и общественного архитектурного вкуса. Однако в не меньшей мере этот вкус должен воспитываться еще и другим — пропагандой достижений нашего зодчества. К сожалению, и здесь пока делается многим меньше, чем следует.

ЭТЮД О ДОВЕРИИ

Читал я где-то притчу о царе и архитекторе, которому повелитель приказал за месяц построить великолепный дворец. Взялся мастер за дело и тут же столкнулся с тем, что ни шагу ступить не может без царской на то грамоты. Ни людей нанять, ни лес повалить, ни материалы закупить. И всякий раз останавливали его царские визирь — то главный визирь, то визирь-лесничий — и вновь к повелителю за грамотой отправляли. А царь либо на охоте пропадает, либо свадебным пиром занят. И так полсрока в ожидании грамот пропало. Наконец, когда дворец был уже под крышей, пожелал зодчий у заморских купцов ковры приобрести. И тут вновь остановил его визирь по заморской торговле. Бросился мастер опять в ноги к царю. «Что тебе еще нужно?» — недовольно воскликнул царь. «Я и сам не знаю», — ответил архитектор. Повелитель рассвирепел: «Тогда чего же ты хочешь?» «Дай мне такую грамоту, чтобы заранее все было позволено. Все, что потребуется». «Уж не хочешь ли ты быть царем?!» — грозно спросил повелитель. До срока оставалось всего два дня, и архитектору уже нечего было терять. Он ответил бесстрашно: «Я хочу быть царем в своем деле».

И вправду ведь это очень важно, когда специалисту доверяют. Тогда хорошо работает. Ответственно. Надо сказать, что в нынешних условиях архитектурного творчества сплошь и рядом сталкиваешься с обратным положением вещей. Есть объективный признак, свидетельствующий о доверии к специалисту, — число согласований, которому подлежит его решение. Помнится, лет двадцать пять назад, еще молодым и неопытным архитектором, я был несравненно ближе к царственному положению в своем деле — круг согласующих инстанций был весьма узок и работа с ними не составляла сколько-нибудь утомительного труда. Теперь иное дело. Число их ныне несметно. Ни опыт, ни знания, ни звания не избавят вас от утомительной многоступенчатой процедуры получения виз и штампов. Каждая служба, интересы которой затрагивает проект, расслоилась и размножилась, и сейчас путь от проекта к стройке удлинился на многие месяцы, а порой и годы. Впрочем, все это не новость. Об этом много сказано и написано. Но вот возникло новое явление. Строительные организации создают в своей системе собственные экспертные бюро. И более того, их замечания становятся для проектантов важнейшими документами, по которым переработку проекта следует производить незамедлительно, во внеочередном порядке. Это уж, как нынче говорят, полный конец света. Это же точно по Корнею Чуковскому — «мышь кошку изловили, в мышеловку посадили». Я думаю, что в несравненно более терпимых обстоятельствах Вс. Иванов записал в своем дневнике: «Когда я думаю о смерти, то самое приятное — думать, что уже никакие редакторы не будут тебе досаждать, не потребуются переделки и не нужно будет записывать ~~какую-то~~ чепуху, которую они тебе говорят».

И еще задумываешься над тем, откуда берутся в таком числе квалифицированные эксперты. Ведь это дело требует немалых знаний. Не иначе как их приходится извлекать из сферы проектной работы и строительного производства. Но ведь теперь, как и прежде, имеются экспертные бюро и управления, к примеру сказать, в том же московском Главпу, где специалисты первой руки требовательно рассматривают каждый проект. И раньше этого было достаточно. Сегодня недоверие проявляется не только по отношению к специалисту-автору, но и к специалисту-эксперту, и к эксперту эксперта, и т. д. и т. п. Судя по тому, какими темпами бюрократизируется наше архитектурное дело, мы уже недалеко от того, чтобы полностью остановить процесс проектирования. А между тем в Болгарии, например, рассматривается вопрос о предоставлении мастерам архитектуры — народным и заслуженным архитекторам, лауреатам Дмитровской премии — права авторского штемпеля. Чтобы обладатель его сам окончательно утверждал свой проект с точки зрения архитектуры. Не правда ли, любопытно, что проекты всех курортных комплексов Болгарии вообще не утверждались? Их подписывал руководитель проекта, авторы, дирекция института — и все! Проекты шли на стройку. В ответ на вопрос советского корреспондента, как могло такое произойти, заведующий отделом строительства ЦК БКП архитектор Георгий Стоилов ответил: «Рассуждали так: Главпроект — это национальный капитал болгарской архитектуры. Если Главпроект делает — значит, так и надо делать. Лучше автора никто не знает, как надо делать».

И курорты удалась. Доверие себя оправдало. Я убежден в том, что недоверие,

направленное главным образом на экономию, очень дорого стоит — несравненно дороже, чем стоили бы издержки доверия.

Так, однажды было решено, что зайцы на городском общественном транспорте будут стоять дешевле, чем сотни тысяч кондукторов, и мы давно обходимся без последних. На том же принципе доверия зиждется самообслуживание в торговле. И выигрыш здесь несравненно превышает потери. К примеру, сегодня в Москве проектируется универсам, в котором проводится принцип коллективной материальной ответственности персонала. В этом случае и персонал сокращен вдвое и складские площади в не меньшей мере. Вместо десятков мелких кладовых с висячими замками — единый централизованный склад. Доверие вообще дело экономически выгодное. И есть у него еще одна важнейшая сторона — экономия трудовых ресурсов. Какое количество экспертов и лиц, занятых согласованиями, можно приобрести к производительному труду, только лишь проявив доверие к автору и к единственной комплексной экспертной организации!

И наконец, еще одно.

Наверное, надо понимать, что за известными пределами недоверие попросту оскорбляет профессиональное достоинство. Стремление быть царем в своем деле — законное право квалифицированного специалиста.

* * *

Если попытаться одним словом выразить характер нашего времени, определить его очевидную, ежедневно проявляющуюся во всех формах жизни черту, то эта черта — динамизм. Точно так же можно одним словом обозначить то явление, которое постоянно препятствует естественному течению жизни, сдерживает в нем проявление нового, тормозит развитие, препятствует прогрессу. Это явление — инерция. Диву иногда даешься, до чего бываю живучи однажды устоявшиеся представления, однажды усвоенные указания, пришедшие в наши дни из давно пройденных времен. Любопытно, например, что четверть века назад в момент завершения первого здания проектных организаций на московской площади Маяковского авторитетное и влиятельное лицо рекомендовало отказаться от перегородок, разместить проектантов в просторных залах. Так и сделали. Позднее убедились, что это неудобно. Шум и движение препятствуют сосредоточенности. Куда лучше, когда творческие бригады размещены изолированно друг от друга. Прошли годы. То влиятельное лицо давно уже отошло от дел, а позже и вовсе в иной мир, но все же в новом, только отстроенном корпусе Моспроекта-2 все те же большие залы. Инерция. Зато ГипроНИИ (другое ведомство, свободное от упомянутых указаний) построил себе новое здание, в котором созданы отличные условия для творческой работы. Это, конечно, мелочь. Но в повседневной жизни свидетельства инерции встречаются не только в малом, но подчас и в значительном.

Я потому завел об этом речь, что сегодня, спустя четверть века после решительного поворота в здчестве, оценивая весь опыт, приобретенный за эти годы, оглядываясь в более отдаленное время, должны мы отказаться от того, что не оправдало себя, и вернуться к тому, от чего неосмотрительно отказались.

К чему же вернуться? К тому, что способно обеспечить высокое качество строительства, быстрее внедрение в жизнь новых, прогрессивных решений, динамизм в развитии градостроительства и архитектуры. Речь идет о приоритете зодчего в архитектурно-строительном процессе. Исполнение не следовало ставить выше замысла, выше идеи. Это было ошибкой. Ее последствия повседневно все эти годы влекут за собой реальный ущерб. Но никак не решимся мы вновь поставить все по своим местам. Инерция.

От чего же отказаться? От той степени типизации, которая многие годы ограничивала наши творческие возможности. Речь идет о более мобильном уровне типизации, в котором не дом как целое является повторяемым элементом, а его ячейка, фрагмент, деталь. Подобное уже делается. Это блок-секционный метод, получивший широкое распространение в Ленинграде; это принцип открытой типизации, о котором много говорят и над которым работают в Москве. Практика подтверждает, что там, где пробивает себе дорогу гибкая система, там и достигнуты успехи в массовом строительстве, не случайно они очевидны в Литве, Белоруссии, Молдавии. Но там, где действует инерция, там неизбежно отставание.

Надо бы еще отказаться от достигнутого уровня бюрократизации проектного дела, от той степени централизации руководства, которая определилась в последние годы. Отсюда возникает творческое единообразие и единообразные города. В творческом доверии заложена реальная предпосылка многообразия градостроительных и архитектурных решений.

Сегодня как никогда прежде сильно наше зодчество своей опорой на развитую архитектурную науку. Во всех сферах деятельности мы располагаем теперь научными кадрами, ведем широкие, разносторонние исследования. Правда, подчас наблюдаешь, как научная мысль прилагает свои усилия там, где в них вовсе и нет потребности. Ведь наука должна действовать только тогда, когда исчерпаны возможности элементарного здравого смысла. И потому нет никакой нужды научно оправдывать то, что попросту неразумно. И еще одно важное обстоятельство следует иметь в виду. Как бы ни были широки научные исследования, сколько бы открытий и теоретических положений ни дала нам наука, она останется основой, пищей для архитектурного творчества, но не заменит его собой никогда и ни в чем.

Мы, архитекторы, часто говорим об идейном содержании архитектурного произведения, об идеологическом влиянии архитектуры. И это великолепно демонстрирует история зодчества. В прошлом образными носителями идеологических установок были выдающиеся уникальные постройки — культовые здания, дворцы императоров, вельмож и сановников являли собой монументальное утверждение материальной и духовной власти. И сегодня в буржуазном мире, в архитектуре капиталистического Запада символом, утверждающим идеологию, выступают современные дворцы бизнеса — банки, конторы, магазины, — вся рекламная продукция западного зодчества. Однако я вовсе не намерен принижать достоинства западных мастеров. Напротив, мы видим, как зарубежные зодчие, выполняя социальный заказ общества, которому служат, создают подчас первоклассные произведения. Я хочу этим сказать, что сама архитектура, уровень архитектурной мысли, результаты градостроительной работы активно участвуют в идеологической борьбе. Более того, в наше время сфера соприкосновения архитектуры с идеологией существенно расширилась. Сегодня идейное начало несет в себе каждый советский город, завод, микрорайон, каждый дом, который социалистическое общество создает для человека. И здесь опять-таки важны не только уровень комфорта, не только класс благоустройства, не только качество исполнения, но и высокий эстетический уровень всей жизненной среды. К этому и должны мы стремиться, опираясь на приобретенный опыт и сознавая масштабы и сложности творческих задач, которые призваны решить в завершающие десятилетия XX века.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕВ ДАВЫДОВ



К ПОРТРЕТУ ГЕРОЯ

Написано много книг, есть роман, и повести, и фильмы, посвященные героической жизни и не менее героической гибели Дмитрия Михайловича Карбышева. Есть немало воспоминаний участников Сопротивления, бывших узников концентрационных лагерей — прослежен долгий и мучительный путь генерала-героя по десяти кругам фашистского ада в течение почти четырех лет.

А все ли мы знаем о нем? Нет, далеко не все. И даже теперь, через сто лет после его рождения, многое, убежден, пока не открыто и не рассказано широкому кругу читателей.

— Совещание отменяется, — объявил редактор газеты «Машиностроение» Цезарь Львович Куников сотрудникам, собравшимся в его просторном кабинете. — Доклад дежурного критика и замечания по вышедшим за прошлую неделю номерам, — продолжал он, обводя пытливym взглядом присутствующих, — сдайте, пожалуйста, в письменном виде ответственному секретарю или Джульетте.

— А заявки на текущую неделю? — раздалось сразу несколько голосов.

— Их тоже отдайте. Разберем в рабочем порядке. А сейчас, — Цезарь Львович обратился к сидевшему поодаль военному, на которого раньше никто не обратил внимания, — сейчас, — повторил он, — попросим нашего нежданного, но желанного гостя, автора статьи, опубликованной в нашей газете, поделиться своими соображениями о войне, полыхающей в Европе.

Редактор встал с кресла и, чуть посторонившись, любезно предложил гостю занять его.

— Дмитрий Михайлович, — сказал при этом Куников, и в его больших черных глазах, как в озерах, освещенных солнечным лучом, заиграли веселые огоньки, а ямочка на крутом подбородке еще больше углубилась, — во вчерашней газете вы по праву в центре полосы. Сегодня вам честь и место в центре взлетно-посадочной полосы, как местные острословы называют эти столы.

— Ясно, — усмехнулся гость. — Отсюда материалы летят в газету.

— Если не терпят аварии, — уточнил редактор.

Действительно, несколько обыкновенных канцелярских столов вместе с широким редакторским образовывали большую букву Т, напоминая знак, выкладываемый у взлетно-посадочной полосы аэродрома. Усиливала сходство сверкавшая на столе редактора металлическая модель самолета «АНТ-37», известного всему миру под названием «Родина». На нем наши героини летчицы установили мировой рекорд. Модель, казалось, вот-вот готова разбежаться и взлететь. Этот подарок авиазавода газете своей филигранной отделкой и точностью воспроизведения оригинала очень нравился Куникову. В отличие от других подарков Цезарь Львович держал его «при себе», а не на полках специального шкафа.

Между тем гость энергичным жестом решительно уклонился от «честь и места». Взял со стола стальную метранпажную линейку и мигом очутился у висевшей во всю стену политической карты мира.

— Вот где мое настоящее место, — промолвил он скороговоркой, глуховатым, без эффектных нажимов голосом. И показал концом линейки, послужившей ему указкой, не на границу Германии с Францией, как все того ожидали (ибо его вчерашняя статья

была посвящена описанию «линии Мажино» и «линии Зигфрида»), а на нашу западную границу:— Обратите внимание, товарищи...

Только теперь участники несостоявшегося совещания хорошенько рассмотрели Дмитрия Михайловича Карбышева.

Известный в стране и за рубежом советский военный инженер-фортификатор оказался человеком роста ниже среднего и совсем не богатырского сложения. На вид ему было лет шестьдесят. Седоватые редкие волосы, расчесанные посреди головы на пробор, обрамляли широкий и высокий лоб. На узком и продолговатом лице с едва заметными оспинками сияли добротой ярко-черные, широко раскрытые глаза. Своей ладной фигурой, необычайной живостью, отточенными жестами и манерой держаться, свойственной человеку строгой дисциплины и высокой культуры поведения, он напоминал Суворова, каким его изображали современники в мемуарах.

Дмитрий Михайлович был одет в форму Академии Генерального штаба — тщательно выутюженный китель с черным бархатным воротником и белой окантовкой. На брюках малиновые лампасы и такая же, как на кителе, светлая полоска. В петлицах воротника скрещенные топоры — эмблема инженерных войск — и два ромба. По подписи в газете мы уже знали: Д. М. Карбышев — комдив.

Встреча состоялась в понедельник, 13 ноября 1939 года в 10 часов утра, на следующий день после опубликования карбышевской статьи. В отличие от частых планерок, где узкий круг заведующих отделами уточнял с секретариатом содержание и макет текущего номера, по понедельникам редактор созывал широкое и особенно важное совещание, где утверждался план на предстоящую неделю. Здесь же «перемывали косточки» напечатанного в предыдущую неделю. Молодые газетчики с надеждой, волнением, тревогой дожидались до понедельника. Не мудрено, что мне запомнилась даже погода в тот день. С ночи занула метелица. К утру Москва побелела, но светлее не стало. Небо прямо повисло на верхушках деревьев и крышах домов: не пробиться солнечному лучу. Тротуары, бульжные мостовые, трамвайные рельсы засыпало, замело пушистыми хлопьями и буграми. По малому бульварному кольцу трамвай «А» едва передвигался следом за неистово грохочущим и звенящим снегоочистителем. У Трубной площади наш вагон надолго застрял, пока его громоздкий поводырь, вихри снежные крутя, взбирался по крутому подъему к Сретенке. Она-то мне и нужна была. Там предстояло добежать до улицы Мархлевского, к внушительному по тем временам дому, занимавшему целый квартал, нырнуть в один из многочисленных подъездов, вскочить в лифт и подняться на последний, шестой, этаж в редакцию.

Громыхал и вопил снегоочиститель. Звенели освещенные электрическим светом трамваи. Сигналили на разные голоса грузовые и легковые автомобили, не выключая зажженных фар. Но я уже ничего не замечал. Послышался звон стальных часов в редакторском кабинете. Звон, доносившийся до любого уголка на этаже. Стоило им начать счет до десяти — и на десятом гулком ударе дверь в кабинет, до того раскрытая, наглухо закрывалась со стороны приемной. Закрывала Джульетта Ромеовна Батистини, личный секретарь редактора, молодая девушка, комсомолка, коренная москвичка, дочь машинистки с Трехгорки и итальянского инженера-эмигранта. Романтическое имя нисколько не мешало ей быть неколебимым стражем однажды введенного порядка. Войти в кабинет, пока шло совещание, мог только брандмайор пожарной команды, если оттуда явно запахнет горелым.

Мне повезло. Сбросив на ходу пальто и шапку, я проскочил в кабинет до последнего рокового боя часов. Через несколько секунд Куников объявил:

— Совещание отменяется!

Однако никто об этом не пожалел.

— Обратите внимание, товарищи, прежде всего на то, как развиваются события...

С этого Карбышев начал. Перед нами ожила географическая карта. Стали зримыми зыбкие границы европейских государств, уже втянутых во вторую мировую войну. Прояснился ход военных действий на разных фронтах. Показав нашу новую границу, Дмитрий Михайлович предложил сперва «посмотреть на нее из Москвы».

Всем и без того было ясно: воссоединены земли, народы Украины и Белоруссии. Граница передвинута на запад.

Тут последовало второе предложение: не попытается ли кто-нибудь взглянуть на ту же границу с противоположной стороны, то есть с запада на восток.

Опять яснее ясного. Виден Советский Союз. Шестая часть мира и тогда единственная на всех континентах земного шара социалистическая держава.

Комдив похвалил наше знание географин, но посоветовал присмотреться зорче. Не находим ли мы, что война вплотную приблизилась к нашей родине? Соседом стала развоевавшаяся гитлеровская Германия.

Реплику о том, что с Германией заключен договор о дружбе и ненападении, Карбышев парировал:

— На договоры надейся, а сам не плошай!

Беседа затянулась. Не могу передать ее во всех подробностях. Можно средь бела дня, заглянув в колодец, увидеть звезды. А как заглянуть в бездну времени? Вернуться памятью, увидеть то, от чего удалился на сорок с лишком лет? Пытаюсь достичь уцелевшее.

Мы заметили, что Дмитрий Михайлович любит пословицы, поговорки. Сыплет ими как из рога изобилия, часто переиначивая на свой лад, но всегда уместно и очень удачно. Вообще в разговоре он был гораздо интереснее, занимательней, еще яснее излагал свои мысли, чем в статье. Всем, кто внимательно прочитал ее, хотелось не упустить счастливого случая получить из первых рук разъяснение недосказанного, полностью не раскрытого.

Доверительный тон беседы, взятый Карбышевым с первых слов, подстегивал наше любопытство. Гостя прямо атаковали вопросами. Он не уклонялся от них — отвечал обстоятельно. Много предвидел верно, кое в чем заблуждался. Например, считал, что несомненно на ход военных действий «линия Мажино» и «линия Зигфрида» окажут огромное влияние. Сейчас все знают: не оказали. Так это сейчас... А в ноябре тридцать девятого не было среди нас оракула, который мог предсказать чудовищное вероломство Гитлера, фашистов. Не знал и Карбышев, что они, поправ нейтралитет Бельгии, оккупируют ее и ворвутся во Францию, обойдя «линию Мажино». Наверное, даже не предполагал, что фашисты без объявления войны совершат набег дикой ордой на СССР. До этого оставалось еще около двух лет. Но ощущение тревоги и насущной необходимости действовать без промедления, оснащать Красную Армию современной и совершенной техникой, готовиться к любым неожиданностям и встретить их во всеоружии — это он нам определенно внушил.

Гость попросил у хозяев позволения покритиковать их. Он был убежден, что газета должна уделять гораздо больше внимания оборонным темам. Ведь она орган семи наркоматов. Следовательно, способна влиять на оборонную промышленность, подстегивать ее, ободрять, вдохновлять в гораздо большей степени, чем любая другая газета. Цезарь Львович не сдержался, вставил:

— Влияем, уважаемый Дмитрий Михайлович. Пожалуйста, пишите чаще в нашу газету, но и чаще заглядывайте в нее.

— Заглядываешь к приятелям, которых давно не видел. А «Машиностроение» внимательно читаю. — И Карбышев в подтверждение предложил ряд насущных тем, упущенных или освещенных вскользь.

Мы поняли — перед нами не только всемирно уважаемый автор, но и наш ревностный читатель.

Мне почему-то померещилась обида в голосе редактора. Дескать, попросили рассказать о войне, а обернулось критикой, подсказкой упущенного. Напрочь ошибся. Куников горячо поблагодарил Карбышева за все, попросил как коммунист коммуниста не терять с газетой тесной связи и при нем обратился к сотрудникам:

— Считайте данные Дмитрием Михайловичем темы редакционным заданием на ближайший период.

Каждый из нас уходя старался пожать руку комдиву, который еще некоторое время оставался в кабинете редактора, беседуя с ним за чашкой чая, принесенного заботливой Джульеттой...

Совсем недавно в Государственный исторический музей школьники-следопыты принесли найденную ими синюю тетрадь — памятку с длинным, на много страниц, списком фамилий. Возле некоторых из них и адреса, но больше телефонных номеров. Все они записаны рукою Дмитрия Михайловича. Здесь и номера телефонов редакции «Машиностроения». Значит, Карбышев вел с Куниковым телефонные разговоры. Предполагаю, скорее всего о животрепещущих проблемах, для армии и военной промышленности. О статьях, которые газета ждет от маститого ученого. А может быть, и о том, что Цезарь Львович преждевременно назвал его коммунистом. С нами в редак-

ции беседовал кандидат в члены партии, чей уставный годичный срок кандидатского испытания едва начался...

Мои приятели-художники, с которыми я поделился тем, что узнал о Карбышеве, со своей стороны, что называется, подлили масла в огонь:

— Дмитрий Михайлович консультировал Митрофана Борисовича Грекова и его знаменитую группу баталистов при зарождении замысла грандиозной диорамы «Штурм Перекопа».

Мне это показалось розыгрышем. Пушусь в поиски — надо мной посмеются...

Через много лет раздался телефонный звонок из Центрального музея Советской Армии:

— Нашли вам любопытный документ.

Вот его текст:

«Общество Союза Советских Художников. Секция живописи. Москва, Б. Садовая, 10.

Общество Союза Советских Художников просит Вас, Дмитрий Михайлович, принять на себя военно-техническую консультацию по диораме «Штурм Перекопа».

Диорама эта выполняется под ответственным руководством членов нашего Общества — художников Савицкого Г. К., Грекова М. Б., Христенко Н. П. и Горелова Г. Н., с которыми Общество просит Вас войти в ближайший контакт по всем вопросам, связанным с написанием указанной диорамы.

О Вашем согласии не откажите уведомить нас...

Председатель Общества ССХ Ф. Савицкий.

Секретарь городской комиссии Роменский».

На этом письме Дмитрий Михайлович записал карандашом домашний адрес Георгия Константиновича Савицкого — Лаврушинский переулок, 3. И его номер телефона. Потом дописал номера телефонов Грекова и Христенко — домашние, мастерской. Значит, Карбышев общался с художниками, консультировал их, причастен к прекрасной севастопольской диораме «Штурм Перекопа» — началом ее послужила созданная там же до Великой Отечественной войны диорама, под тем же названием.

Ветераны Студии имени М. Б. Грекова, ныне широко известные баталисты Федор Павлович Усыпенко и Марат Иванович Самсонов, не забыли ту необычайную заинтересованность, которую проявлял Карбышев к их работе. Советы Дмитрия Михайловича, рассказывали они, изобиловали множеством важных деталей. Глубокое знание исторических событий гражданской войны в Крыму сочеталось в нем с художническим, образным видением всего, что там происходило. Далеко не каждый полководец, участвуя в боях, решая их судьбу, умеет ярко и зримо воссоздать картину давно отзвучавших батальей. Карбышев умел.

А тогда же, в сороковом, зная о моем интересе к Дмитрию Михайловичу, мне еще позвонил коллега из «Красной звезды» Петр Корзинкин:

— Обнаружил в своих папках академическую многотиражку «Фрунзенец». Заходи, отдам. В ней любопытная статья. Из нее узнаешь, что Карбышев среди зачинателей наших военных учебных фильмов...

Опять-таки должен сознаться: не зашел, не взял, не придумал значения. И только теперь, просматривая уцелевшие в Ленинской библиотеке подшивки «Фрунзенца», прочел в номере за 27 июня 1931 года карбышевскую статью-обращение «Внимание учебной кинофильме». Удостоверился — Дмитрий Михайлович не в состоянии был что-либо делать вполсилы, вполнакала. В каждой строке ощущается его увлеченность, стремление лучше и быстрее осуществить начатое. Карбышев призывает содействовать рождению фильма «Боевое применение заграждений», «чтоб он попал к манаврам в войска». Желая приохотить других, он раскрывает широту замысла: «Фильма предназначается для начсостава — среднего, старшего и отчасти высшего. Не исключено ее использование для обучения младшего начсостава и рядовых красноармейцев... На фоне общей операционной обстановки, иллюстрированной на реальном плане мультипликацией, показывается работа штаба стрелковой дивизии. Комдив решает задачу...» Дальше идет описание того, как решается она на местности. Карбышев сообщает, что уже выработана специальная форма войскам «противной» стороны. Определен район боевых действий. Произведена предварительная разведка...

«Но это только начало. Впереди большая работа: разработать задачу во всех деталях, дать на ее фоне сценарии по отдельным частям, составить коллектив добровольцев для розыгрыша отдельных сцен, организовать и подготовить их, выбрать пункты съемок и прочее. Как видно, задача выходит далеко за пределы чистой техники. Ясно, что Союзкино самостоятельно, своими силами не справится. Она сильна лишь крупному, вполне грамотному в вопросах тактики коллективу, каким является академия. Это и заставило меня обратиться к командованию академии, слушателям и преподавателям с просьбой принять участие в создании фильма... с просьбой о всемерной помощи».

Генерал-лейтенант инженерных войск Е. В. Леошня, бывший в начале 30-х годов слушателем, а затем преподавателем Академии имени М. В. Фрунзе, вспоминает ныне:

— Мы охотно пошли навстречу просьбе Дмитрия Михайловича. Благодаря его инициативе и энтузиазму первенец учебных военных фильмов был создан. С легкой карбышевской руки, по его подсказке, настоянию, с его энергичной помощью и мне довелось быть редактором и консультантом четырех таких картин...

Из беседы с кандидатом искусствоведческих наук Виталием Николаевичем Жданом, автором монографии по истории советских военных фильмов:

— Наша военно-учебная кинематография родилась незадолго до Великой Отечественной войны. Содружество молодых режиссеров с Дмитрием Михайловичем Карбышевым многому их научило. А обращение к нему вполне естественно. Ведь он, перефразируя известное высказывание художника Верещагина, не глядел на сражение в бинокль из прекрасного далека, а сам все прочувствовал и проделал...

Известно, что перу Карбышева принадлежит свыше 100 статей, рецензий, справочников, учебных и методических пособий, фундаментальных исследований, научных трудов. Они изданы не только на русском, но и на иностранных языках. Ученый с мировым именем. Основоположник теории инженерного обеспечения боя и операции. Правофланговый той передовой шеренги военных специалистов, которые органически связали инженерное обеспечение обороны и наступления с общевойсковой стратегией и тактикой.

Белое знакомство не со всеми, а лишь с некоторыми его книгами и брошюрами открывает необъятные горизонты научных интересов автора: полевая и долговременная фортификация, заграждения и разрушения, маскировка, подземно-минная борьба, форсирование рек, подрывное дело, постройка и восстановление мостов и дорог, электротехнические и гидравлические устройства, организация и механизация инженерных войск...

Карбышеву всего этого мало. Он много и обстоятельно пишет на военно-исторические темы: о крепостях Гельгоlanda, Порт-Артура, Вердена, о герое Крымской войны Тотлебене, сделавшем севастопольские бастионы непреступными для иноземных флотов. О линиях укреплений Мажино и Маннергейма, «линии Зигфрида». О взятии русскими войсками в первую мировую войну австрийской крепости Перемышль. О фортах Брест-Литовска, Язловецком и Каховском плацдармах и о сокрушении бело-гвардейских укреплений Перекопа и Чонгара. Его статьи — в научных и партийных журналах, в энциклопедиях, в центральных и областных газетах.

Но ему и этого мало. Он находит время, успевает отредактировать и снабдить предисловием переведенную с французского книгу полковника Леближуа «Долговременная фортификация». Редактирует переведенную с польского солидную «Инструкцию по выполнению полевых военно-инженерных работ» и другие книги.

А вот что совершенно неожиданно оказывает существенную помощь переводчице с немецкого на русский язык двухтомного романа Арнольда Цвейга «Воспитание под Верденом», изданного в Москве в 1934—1937 годы. Поведала об этом дарственная надпись на книге, сохранившейся в домашней библиотеке Д. М. Карбышева: «С искренней благодарностью за многократную консультацию при моей работе над книгой и глубоким уважением. Переводчица А. А. Ариан».

На редкость интенсивна и плодотворна творческая деятельность военного инженера, ученого, педагога. А что было написано о нем, о его титанической деятельности вплоть до Великой Отечественной войны? Одна-единственная статья, как раз приуроченная к шестидесятилетию Карбышева в специальном военном журнале «Техника и вооружение» (1940, № 11), да подверстанное к ней короткое поздравление учеников,

ставших сослуживцами. В той статье журналиста Ю. Босиса зацепила мое внимание строка о встрече Карбышева с Фрунзе: «Великий пролетарский полководец сразу оценил способности выдающегося инженера. Их связала личная дружба». Личный друг близкого соратника Ильича...

Искренне порадовался телефонному звонку моего товарища Петра Корзинкина. Он вел в «Красной звезде» раздел награжденных и часто делился со мной тем, как происходило в Кремле торжественное вручение орденов и медалей. Тогда ведь вообще было редкостью увидеть орденоснца, попасть в Кремль.

28 октября 1940 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Д. М. Карбышева. Первый преподаватель АГШ и, кажется, вообще первый преподаватель в стране, которого наградили орденом Боевого Красного Знамени по случаю шестидесятилетия. Правительство сочло всю его деятельность подвигом.

Петр Корзинкин, оперативный газетчик, встречался и прежде с Карбышевым на маневрах, в академии. Но здесь, в Кремле, в Свердловском зале, впервые видел его таким вдохновенным, взволнованным, с сияющими глазами. Он несколько не скрывал переполнявшей его радости и гордости.

Михаил Иванович Калинин вручал Дмитрию Михайловичу награду уже второй раз. Первым был орден «Красная Звезда». Очевидно, всесоюзный староста хорошо запомнил Карбышева, а может быть, познакомился с ним еще раньше, когда с агитпоездом имени Октябрьской революции приезжал на Южный фронт как раз перед штурмом Перекопа и Чонгара, чтобы передать бойцам ленинское напутствие на решительный штурм последней белогвардейской твердыни в Крыму.

После церемонии награждения Михаил Иванович подошел к Карбышеву, взял его за руку повыше локтя и, подведя к рядам стульев, где награжденным предстояло фотографироваться, усадил рядом с собой. Эту фотографию можно сейчас увидеть в Москве, в Музее М. И. Калинина. Ее почему-то в свое время не поместили в периодической печати. Корзинкин раздобыл снимок и показывал его мне как драгоценную реликвию, которую он намерен свято беречь. Объясняя, кто и за что награжден, особенно тепло и даже с восхищением говорил он о Карбышеве. Начал с того, что Дмитрия Михайловича, заместителя начальника инженеров Украинского военного округа, в марте 1923 года отозвали в Москву и сразу назначили на должность председателя Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Красной Армии.

— Кто же его рекомендовал на такой высокий и ответственный пост? — удивился я.

— К тому же еще беспартийного, — присовокупил Петр и объяснил: — Сделал это помимо своей воли Фрунзе... Михаил Васильевич прислал из Харькова центральному начальству характеристику на Карбышева — военный инженер широкого кругозора, умелый организатор, революционно мыслит, пропагандирует новаторские идеи осаперивания всех родов войск, прекрасно показал себя на фронтах гражданской войны. Прошу утвердить начальником инженерных войск Украины. Ему Москва ответила: такой нам самим нужен, ищем днем с огнем! Пришлось Михаилу Васильевичу откомандировать в центральный аппарат своего ратного друга и верного помощника. Прощаясь, сказал Карбышеву: «До скорого свидания».

И вскоре они опять сослуживцы. Фрунзе — нарком обороны и по совместительству начальник Военной академии РККА. Он назначает Дмитрия Михайловича председателем Военно-технического комитета Главного военно-технического управления Красной Армии. Тут же привлекает его к чтению лекций в академии и к активному участию в проведении реформы военно-учебных заведений.

Вот уже Фрунзе к основной и педагогической работе Карбышева добавляет ему третью очень важную обязанность — главного руководителя военных академий по военно-инженерному делу. И четвертую — назначает помощником инспектора инженеров Красной Армии.

Однако призвание дороже всех должностей. С 1926 года Дмитрий Михайлович целиком и полностью отдается педагогической и научной деятельности. Десять лет в Академии имени Фрунзе. Пятый год в Академии Генерального штаба.

— А ты хоть раз бывал на его лекциях? — спросил я Корзинкина.

— Много раз. И тебе не возбраняется.

— Быть на лекциях в военной академии?

— Зачем обязательно в академии? — возразил Корзинкин. — Можно в Коммунистической аудитории Московского университета. Или в Политехническом музее. Или в ЦДКА. Или на заводах... Его слушают не переводя дыхания. Любой зал переполнен до отказа. А в чем секрет его обаяния? В глубоком знании предмета. Самые сложные проблемы излагает просто, ясно, образно, и в равной мере всем интересно. Одарен талантом лектора, педагога, популяризатора. Пятнадцать лет в главных военных академиях! Сам сосчитай, сколько выпустил командиров. Назови любого нашего полководца, командарма — наверняка его ученики...

Тогда же, в сороковом, я говорил о Карбышеве с сотрудником журнала «Техника—молодежи» Львом Жигаревым. На страницах журнала часто встречались статьи Карбышева. Но еще чаще редакция привлекала Дмитрия Михайловича в качестве консультанта по самым различным военным вопросам. Комдив живо откликался на просьбы. Понимал, насколько важно готовить молодежь к защите отчизны.

— А знаешь, — припомнил Жигарев, — когда в Наркомате обороны происходила чистка партии, председатель комиссии Елена Дмитриевна Стасова многим задавала вопрос: «А кто ваши друзья?» И чаще всего в ответах произносилась фамилия Карбышева.

...Елена Дмитриевна Стасова, высокая, стройная, с лицом, на котором едва заметны морщинки, не вошла, а ворвалась, как снаряд, заряженный энергией, в свой кабинет.

— Ради бога, извините, немного задержала вас, — сказала она. — Сегодня с утренней почтой завозилась... Сорок восемь писем! Диктовала секретарю ответы... Остались на очереди мои иностранные корреспонденты...

— Если заняты, отложите нашу беседу.

— Что вы надумали, товарищ! Сама назначила день и час! — воскликнула она. Голос ее низкого тембра звучал суховато, даже сурово. — Материалы для книги «Партия шагает в революцию» мне секретарь прочел, успела ему продиктовать и предисловие. Можете взять и то и другое...

Стасова вот уже несколько лет сама не читала и не писала — даже в очках плохо видела, — но и настигнувшая ее слепота не расслабила воли к целеустремленной и деятельной жизни. Она охотно вызвалась помочь большому коллективу писателей в создании пятитомника о друзьях, соратниках и современниках В. И. Ленина. И вот уже успела 80 рукописей — два объемистых тома — тщательно проконсультровать, предпослала им предисловия.

Я начал благодарить ее, искренне восхищаясь столь необычайной работоспособностью. Но она отмахнулась от моих похвал, оборвала их на полуслове. Легонько хлопнув себя по лбу, досадливо произнесла:

— Чуть было не упустила обратить ваше внимание на очерк «Полководец». О Фрунзе. Не кажется ли вам название тесным, обуженным, как костюм, сшитый не по фигуре?.. Разве Михаил Васильевич был только полководцем? Только нашим красным Кутузовым?.. Нетушки! В нем полководческий гений удачно сочетался с удивительной способностью пропагандиста, страстного проводника и глашатая ленинских идей...

Должно быть, память Стасовой развило и укрепило долгое пребывание в революционном подполье. Постоянно держи в голове, не теряй, то есть ни в коем случае не забудь пароль, адреса конспиративных квартир, явок, шифры для тайной переписки... Все равно достойно было восхищения то, с какой скрупулезной обстоятельностью она воспроизводила свои беседы с Лениным о Фрунзе. По ее глубокому убеждению, они любили друг друга и были в чем-то похожи. Не внешне, конечно, а характером, деяниями. Елена Дмитриевна так и сказала — деяниями.

— Михаил Васильевич был и поэтом. На мой вкус отнюдь не плохим, — сказала она. И предложила: — Вот послушайте несколько строк. Написаны не на солнечной лужайке, а в последнюю ночь каторги:

Снова мой челн по волнам полетит,
Станет он реять гордо и смело,
Птицей носится по бурным волнам,
Быть может, погибнет, какое мне дело,
Смерти ль бояться отважным пловцам!

С несвойственной ей восторженностью Елена Дмитриевна заговорила об умении Фрунзе влиять на людей.

— Влиять — не то слово, — уточнила она. — Михаил Васильевич очаровывал. Притягивал на свою сторону. Внушал свою веру другим. Вовлекал в борьбу до победы! — Стасова, чуть поразмыслив, сделав маленькую паузу, привела в доказательство своей правоты целую галерею ярких подпольщиков, полководцев, воинов революции, оказавшихся в «силовом поле» Фрунзе. Среди них промелькнула фамилия Карбышева.

— Вы имеете в виду генерал-лейтенанта, героя? — переспросил я.

— Да-да! — подтвердила Стасова. — Влияние Фрунзе на Дмитрия Михайловича просматривается с достаточной рельефностью.

Мой давний интерес к личности Карбышева вспыхнул вновь. Невольно стал спрашивать о нем Елену Дмитриевну. А она не отмахнулась от моих расспросов. Не сказала, как иногда бывало: «Это к делу не относится, товарищ». Я почувствовал ее заинтересованность в разговоре о Дмитрии Михайловиче.

— Знали ли вы, Елена Дмитриевна, его старшего брата?

— Владимира Михайловича Карбышева?! — воскликнула она. — Вот к нему-то в детстве и отчуждение было связан наш легендарный герой не меньше, чем в семье Ульяновых Володя к Александру. Не сомневаюсь в том, что Митя Карбышев, когда его спрашивали, как он поступит в том или ином случае, отвечал без заминки: как Владимир.

Продолжая неожиданную для меня параллель, Елена Дмитриевна сказала:

— Конечно, достигнув духовной зрелости, прокаленный войнами, Дмитрий Карбышев, что называется, опередил своего брата. Оказался мудрее в понимании исторического развития судеб нашей страны. Но привел в смятение его детскую душу, заннил в нее искру свободолюбия старший брат...

Ей опять захотелось существенно усилить свой вывод. Так усиливают железным каркасом бетон в плотине. Она посоветовала:

— Загляните в архивы Казанского университета и жандармского управления. Поищите в документах, связанных с делом Александра Ульянова и его сообщников. Там вы найдете причастного к этому делу Владимира Карбышева и его близкого друга еще с юношеской поры Константина Сараханова. Они были студентами старших курсов, когда в стенах университета появился Владимир Ульянов. Интерес к нему всеобщий. Брат казенного совсем недавно, всего несколько месяцев до начала учебного года, участника покушения на императора Александра Третьего... А познакомиться с молодым студентом юридического факультета труда не составляло. Варились в одном котле, вращались в одной среде... Вскоре оказались и в одной тюрьме... — Елена Дмитриевна спохватилась. — Да что мне вам рассказывать? Сами поищите. Доберетесь и до восьмидесятника Дмитрия Карбышева.

— Почему восьмидесятника?

— Какой недогадливый, — кольнула Стасова. И вместо ответа: — А почему меня товарищи кличут семидесятницей? — Видя мое недоумение, разъяснила: — Моя мать Поликсена Степановна любила говорить: мы — шестидесятники. Этим она подчеркивала демократические взгляды нашей семьи. А меня кличут семидесятницей не по каким-то там политическим мотивам. И литература тут ни при чем. По возрасту. Родилась в семьдесят третьем — вот и семидесятница. Дмитрий Михайлович — в восьмидесятом: восьмидесятник. Кстати, события, на которые обращаю ваше внимание, происходили поближе к концу того же десятилетия — в восемьдесят седьмом — восемьдесят восьмом учебном году... Они рикошетом ударили и роковым образом повлияли на дальнейшую судьбу дошкольника Мити Карбышева.

— Начался наш разговор, — напомнил я, — с влияния, оказанного на него Михаилом Васильевичем Фрунзе...

— Об этом мне известно не из архивов. Я была секретарем Центрального Комитета партии. Ко мне стекались вести с фронтов гражданской войны. Не раз виделась, беседовала в ту пору и с Фрунзе и с его комиссарами Сергеем Ивановичем Гусевым, Валерианом Владимировичем Куйбышевым, Бела Куном... Да мне об этом говорил и Дзержинский... — Видимо, не желая вдаваться в подробности, она остановилась на самом существенном: — Несколько раз хотели забрать Карбышева в аппарат наркома по военным и морским делам в Москву. Фрунзе не давал. А когда самого Михаила Васильевича перевели с Восточного на Южный фронт, он добился разрешения

Москвы вызвать Карбышева из Симбирска к себе в Харьков... Вскоре мы встретились с Фрунзе в ЦК. Беседовали о разном. Между прочим, я спросила его: «Неужели, Михаил Васильевич, вам так уж необходим Карбышев?» Он обратил свой ответ в шутку: «Понимаете, Елена Дмитриевна, наверное, мог бы и обойтись, хотя мы сдружились. Но тут возникло непреодолимое и деликатное обстоятельство. Дал я Карбышеву изучать первый том Марксова «Капитала». Он ведь в царской Военно-инженерной академии в такие книги ни при какой погоде не заглядывал. Мне и захотелось по-настоящему приобщить его к марксизму. Пообещал консультировать и проверять, как им усваивается каждая глава... Дал слово — держи. А мы вдруг — на разных фронтах. Вот и пришлось вызвать к себе. Мне-то к нему вернуться сложнее, на Украину назначен с ведома Владимира Ильича...»

Шутка шуткой, а Стасовой доводы Михаила Васильевича показались достаточно серьезными.

Наш разговор с Еленой Дмитриевной происходил в начале 60-х годов, когда ей уже было под девяносто. Через пятнадцать лет после этой беседы в Центральном музее Советской Армии работники его архива показали мне документ, подтверждающий встречу Карбышева с Дзержинским.

Феликс Эдмундович по предложению Ленина был назначен наркомом путей сообщения с оставлением на посту руководителя ВЧК и НКВД. Он оставался и председателем комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей. Одновременно ему поручается Владимиром Ильичем серьезно заняться восстановлением угольной и металлургической промышленности Донбасса. Вот почему вряд начальника инженеров всех вооруженных сил Украины и Крыма вместе с военкомом того же управления П. Комаровским прибыли 24 января 1923 года из Харькова в Москву как раз по делам, связанным с Донецким угольным бассейном. Прямо с поезда на Лубянку, в приемную Дзержинского. Дел у них невпроворот. А тут очередь посетителей и у Феликса Эдмундовича срочное заседание. Карбышев просит секретаря передать наркому записку: «Наркомпу»

Тов. Дзержинскому!

По приказанию командующего войсками Украины тов. Фрунзе прибыл для доклада об арендовании военведом каменноугольных шахт в Донбассе.

Прошу указать, когда вы можете принять доклад.

Начинж УВО Карбышев.
Военком П. Комаровский».

Феликс Эдмундович на том же листке: «У меня сейчас заканчивается заседание. Обождите, пожалуйста. Ф. Дзержинский».

Сразу же после заседания посланцы Фрунзе были приняты. Нарком убедился, что у Михаила Васильевича деловой и энергичный помощник.

Нашлось подтверждение и тому, что Фрунзе старался помочь своему другу — военному инженеру в изучении марксизма. Об этом мне рассказал генерал Веревкин-Рахальский, сослуживец и товарищ Карбышева, и... конспекты самого Дмитрия Михайловича, хранящиеся сейчас в московском музее Маркса—Энгельса.

Всюду, где жил, работая, воевал герой — в Омске, Харькове, Бресте, Гродно, Киеве, Москве и Ленинграде — установлены мемориальные доски и памятники. Воздвигнут монумент и там, где Дмитрий Михайлович погиб, — в Маутхаузене. У пьедестала этого монумента одним из первых возложил венок и поклонился памяти отважного солдата-коммуниста Юрий Гагарин. Сюда и поныне не прекращается людской поток. Приходят, приезжают, прилетают тысячи и тысячи людей со всех концов земного шара. А высоко над ним, по околосолярной орбите, между Марсом и Юпитером мчится, излучая звездный свет, малая планета Карбышев...

Тридцатипятилетие славной победы. Бульвар Генерала Карбышева в Москве. На открытии памятного знака герою в огромной и плотной людской толпе рядом со мной оказался генерал-майор инженерных войск в отставке Николай Степанович Виногорский.

— Получил приглашение на очередной Всесоюзный слет карбышевских пионерских дружин в Гродно, — поделился он. — Сердце пошаливает, да нельзя не ехать. Ведь эти слеты — прекрасные уроки человечности... — И после паузы досказал: — Имел счастье получить урок человечности от самого Дмитрия Михайловича...

Виногорский не был слушателем академий, где преподавал Карбышев. И все же осмелился прийти к генералу, попросил его прочитать довольно объемистую рукопись и дать на нее рецензию. Генерал приветливо принял тогда еще никому не известного молодого автора, прочитал рукопись, тщательно отрецензировал и после этого приглашал к себе домой, подолгу беседовал.

— Так я стал его учеником, — заключил Николай Степанович.

Он вправе был сказать, что стал и поэтом. Тяжкая и горестная весть о трагической смерти его учителя вызвала в нем душевную необходимость выразить свои чувства стихами. Он написал поэму, напечатанную в одном из сборников, посвященных Д. М. Карбышеву.

Здесь же встретился с автором памятного знака Владимиром Цигалем.

— Не первый раз, — поделился скульптор, — я обращаюсь к героическому образу Дмитрия Михайловича. Вместе с архитектором Половниковым мы жаждали выразить значение дела, которому служил Карбышев. Хотели показать, что нашу отчизну в долгой и упорной войне с фашизмом защитили и боевая броня и стальное мужество наших солдат. Мужество и патриотизм всегда были и будут надежным оборонительным щитом родины...

Известный скульптор был сам солдатом. Фронтовой художник и боец, участник сражений на Малой земле, он знает цену саперной работе — самой мирной, по его убеждению, из всех военных профессий.

— Еду в Новороссийск. Пройду снова по земле, где ни пяди не оставалось без свинцового осколка. Воскрешу в памяти дни и ночи, проведенные с малоземельцами. С Цезарем Куниковым, с его легендарным десантом... Вижу, ощущаю слитность, внутреннее единство, идейную близость этих двух богатырей — Карбышева и Куникова... Они знали друг друга. До войны, как мне рассказывали, Куников руководил техническим управлением Наркомтяжмаша, объединявшего почти всю оборонную промышленность страны, включая танковую, военно-инженерную, артиллерийскую... Цезарь Львович часто посещал испытательные полигоны — там на решающем экзамене новой боевой техники виделся с Дмитрием Михайловичем, убежденным и страстным поборником всего нового, новаторского. Ведь Карбышев и сам изобретал и энергично помогал другим изобретателям. Сходны характеры у советских богатырей...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КАРАГАНОВ



ДЕЙСТВЕННОСТЬ ИСКУССТВА

Заметки о художественном познании

Известно, что воздействующая сила искусства зависит от способности открывать действительность, углубляться в нее и делать ее изображение художественно впечатляющим. В искусстве, так же как и в других видах познавательной и практически преобразующей деятельности человека, постижение истины, сущностей жизни достигается на пересечении развивающейся действительности и развивающегося сознания: явления и процессы реальности по-разному обнаруживают себя на разных ступенях своего развития и по-разному воспринимаются, практически и духовно осваиваются человеком.

Анализируя сравнительную развитость буржуазного общества по отношению к предшествующим формациям, К. Маркс обращал особое внимание на то, что «категории, выражающие его отношения, понимание его организации, дают вместе с тем возможность проникновения в организацию и производственные отношения всех отживших общественных форм, из обломков и элементов которых оно строится, частью продолжая влечь за собой еще непреодоленные остатки, частью развивая до полного значения то, что прежде имело лишь в виде намека»¹.

Методологически близок этим обобщениям и содержащийся в «Анти-Дюринге» Ф. Энгельса анализ генезиса и особенностей утопического социализма: «Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях, прихо-

дилось выдумывать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки; их устранение было задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более совершенную систему общественного устройства и навязать ее существующему обществу извне посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов. Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы остаться утопиями, и чем больше разрабатывались они в подробностях, тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии»².

Специфика художественного освоения мира такова, что для искусства затруднительно, если вообще возможно, расчленять изображаемую действительность, выделять для «лабораторного исследования» (что часто делает наука) только те ее элементы, которые развились до полного значения. Оценка жизненных явлений по степени их развитости и прогрессивности не только возможна, но и естественна. Вычленение лишь тех, что обладают отчетливостью сложившихся качеств, неизбежно нарушило бы полноту и цельность художественного образа. В создаваемую художником картину жизни почти неизбежно попадают непреодоленные остатки отживших форм, зачатки новых, только еще нарождающихся и, конечно же, те, что уже сложились: явления и элементы, находящиеся на разных ступенях развития, а стало быть и «самораскрываемости», входят в художественный образ в реальных взаимосвязях и живой нераздельности.

В предметной цельности и полноте ху-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 12, стр. 731.

² Там же, т. 20, стр. 269.

дожественного образа воплощаются как сущности жизни, так и ее видимости, кажимости: их разделение также противоречило бы реальному ходу и закономерностям художественного освоения мира. Их соединением усиливается внешняя пластика образа и его внутренняя содержательность, его реалистичность, тем более что не только сущность, но и кажимость объективна. Пена на быстро текущей речке тоже часть этой речки. Кажимость, подчеркивал В. И. Ленин, есть сущность в одном из ее определений. И потом, художественный образ почти всегда предметен, конкретен. Если в него и попадают «обнаженные сущности», будь это философские размышления героя или публицистика автора, они остаются как бы на периферии художественной ткани произведения, которая должна быть ощутимой, видимой, чувственно воспринимаемой во всей ее жизненной и эстетической целостности. Да и философские размышления героя, к слову сказать, только тогда сохраняют свою «обнаженность», когда герой выступает простым рупором авторских идей. Обычно же они тоже краски образа, характеристика личности вполне определенного человека.

Искусство — такова его природа — не может рассматривать кажимость только как оболочку, сквозь которую надо прорваться. Оно включает кажимости в создаваемую им картину жизни: бурлящую речку показывает вместе с пеной. Кажимости выступают носителями сущностей, пропитаны ими, сущности становятся внутренним светом видимых реальностей.

Самой природой художественного освоения мира предопределены парадоксальные случаи, когда произведение искусства бывает в известном смысле выше автора: вместе с осознанными художником элементами действительности в произведение могут войти и такие, которые еще только предстоит истолковать.

Не с этими ли особенностями художественного творчества связан феномен различения произведений искусства? Мы все хорошо знаем, как часто возникает споры при выходе в свет новых значительных романов, поэм, фильмов, спектаклей. Иногда споры касаются языка, стиля, формы. Чаще — авторских идей и выводов. Особенно часто — предметного содержания произведения, характеров действующих в нем людей. Споры продолжают и после того, как произведение перестает быть новым, — иногда десятилетиями, даже веками. При этом бывает и так, что созданные художником образы и картины жизни с

течением времени начинают восприниматься не так, как замыслил их художник; в них обнаруживаются такие истины и глубины, которые самим авторам были неведомы или осознавались только частично.

Добролюбов полнее Островского раскрыл темноту «темного царства», социальное содержание и нравственное значение бунта Катерины, острее Гончарова охарактеризовал обломовщину, глубже Тургенева понял Инсарова и Елену. Такое случилось не потому, что он был умнее Островского, Гончарова и Тургенева, хотя и мощь его ума тут играла свою роль. Добролюбовские статьи «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?» являют собой ступень социального самосознания русского общества, его восхождение на уровень революционно-демократической мысли. С этой высоты и рассматривает Добролюбов картины и типы жизни, воплотившиеся в произведениях Островского, Гончарова и Тургенева.

Многовековой опыт искусства свидетельствует о том, что уровень художественного творчества не находится в прямой зависимости от философского развития художников на путях овладения научными представлениями о природе и обществе. Художническое наблюдение и воображение не синхронизировано с теоретическим познанием. Не только ясность философского понимания жизни рождает энергию художественного исследования ее реальностей. Неясность тоже. История знает и такие случаи, когда как раз неразгаданность жизненных явлений, запутанность жизненных проблем, не поддающихся — на данном уровне развития политической и философской мысли — рациональному объяснению становятся импульсами творческого поиска, а противоречия взглядов и личности художника — отражением реальных противоречий действительности. Более того. Противоречивость идей и образов произведения может оказаться ближе к жизни, к ее реальным сложностям, нежели «ясность» схематичного и односортного истолкования изображаемых жизненных явлений. Знаки вопроса по поводу увиденных, почувствованных, показанных в произведении, но не до конца понятых сложностей жизни бывают «реалистичнее» знаков восклицания, основанных на самоуверенности поверхностного знания. Вдумчивые и серьезные вопросы всегда лучше легкомысленно-торопливых ответов: такие вопросы возбуждают энергию поиска истины, торопливые ответы успокаивают

мысль своей бросающейся в глаза, но зачастую обманчивой ясностью.

Произведение неизбежно становится беднее замысла, когда философское познание, теоретическое объяснение изображаемых явлений действительности, казалось бы облегчающее художнику путь к разгадыванию заключенных в ней загадок, оборачивается иллюстративностью: художник ограничивает свою роль переводом добытых другими истины на язык художественных образов; искусство теряет свойственную его природе универсальность в охвате жизненных явлений, в том числе и за пределами логически прочерченной схемы замысла, оно утрачивает качества синтетического и синтезирующего познания.

Особенно часто такого рода слабости случаются при неблагоприятных для искусства соотношениях ума и таланта. Когда у художника, не наделенного в достаточной степени силой воображения и чувства, умением наблюдать и видеть, рациональное начало превалирует, такой художник въезжает в искусство на хорошей идее как на удобном автомобиле новейшей марки. Это вместо того, чтобы неторопливо идти пешком, глядяваясь во все, что встречается — впереди, по сторонам и под ногами. Идти с остановками, может, даже с возвратами назад: что-то не рассмотрел как следует, что-то пропустил... Идти не только по асфальту, но и по тропинкам. Попадется чаща лесная — и через нее. Попадется нетронутая целина — и по ней.

Развитый ум, не ориентирющийся на живость художественных ощущений, интенсивность переживаний, мобилизует себе на помощь память. Проверяет увиденное аналогиями. Использует массовые заготовки из эстетического арсенала, создает мыслительные конструкции, не обогащенные наблюдением: бесстрастная величеприятность логики нарушает естественность ощущений, выпрямляет переживания, мешая непосредственности творчества.

Человечество в своей познавательной деятельности прогрессирует, это аксиоматично. Но в разные эпохи, в разных исторических обстоятельствах искусство и философия несут разные нагрузки, играют разную роль в этой деятельности. И движение их далеко не всегда бывает синхронным, эффективность — пропорциональной.

Как мы помним, в своем известном письме Маргарет Гаркнесс по поводу ее рассказа «Городская девушка» Фридрих Энгельс называет «Человеческую комедию» Бальзака в качестве примера реализма, который «может проявиться даже независи-

мо от взглядов автора»³. Бальзак в «Человеческой комедии» дает нам самую замечательную реалистическую историю французского общества, из которой, пишет Энгельс, он «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов-историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых»⁴.

Помимо всего прочего, это превосходство Бальзака было основано на том, что тогдашняя экономическая, историческая и социальная мысль оставалась — в объяснении общественных отношений — на почве идеализма. Создавая целостную, предметную, чувственно воспринимаемую картину жизни французского общества, Бальзак проникал в человеческие отношения так глубоко, как не проникали общественные науки, показывая жизненные явления, факты, процессы с такой полнотой, какая этим наукам была недоступна. На пути создания такой истории общества Бальзак «вынужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков». В этом Энгельс видел «одну из величайших побед реализма»⁵.

История литературы знает и обратные примеры — когда ложные идеи, политические предрассудки теснят правду жизни и художественные произведения многое теряют в своем реализме, в своей эстетической силе, даже если они написаны великими писателями. В свое время Белинский сокрушался по поводу финала «Обыкновенной истории» Гончарова: как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Не овладел своим предметом? Ничуть не бывало, отвечает Белинский и продолжает: автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве сознательной мысли — и перестал быть поэтом.

Не нужно думать, что сознательное следование идее может стать помехой художественному воплощению правды жизни только тогда, когда идея ложна. Верная идея тоже не всегда служит сиде искусства. Тут многое решается тем, как она используется в художественном творчестве, как входит в произведение, на каких правах, в каких формах воплощается. В своем письме Фердинанду Лассало по поводу «Франца фон Зикингена» Фридрих Энгельс, ссылаясь на мнение молодого немецкого поэта Карла Зибеля, писал о том, что пьеса Лассала при всех своих литератур-

³ «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М. «Искусство». 1957, т. 1, стр. 7.

⁴ Там же.

⁵ Там же, стр. 8.

ных качествах совершенно непригодна для постановки из-за длинных монологов. Энгельс считал, что при обработке пьесы для сцены следовало бы сделать диалог быстрым и живым. «Идейное содержание, — продолжает свою мысль Энгельс, — конечно, должно при этом пострадать, но это неизбежно. Полное слияние большой идейной глубины, осознанного исторического содержания... с шекспировской живостью и богатством действия будет достигнуто, вероятно, только в будущем, и возможно, что и не немцами. Во всяком случае, именно в этом слиянии я вижу будущее драмы»⁶.

В контексте этих размышлений неизбежен вопрос: когда и при каких условиях идейная глубина, осознанный исторический смысл сливаются с шекспировской живостью и действительностью в драме (или с аналогичными свойствами и качествами в других искусствах)? Когда и при каких условиях научное понимание общественного развития обогащает искусство, углубляя и усиливая его реализм? Ответ кажется очевидным. Между тем он не так прост.

«Многие из наших писателей, — как-то заметила Анна Зегерс, отвечая на вопросы Кристи Вольф, — исходя из неправильно понятой партийности пытаются непременно осознать каждую частицу действительности. Создается впечатление, что ничто уже никогда не сможет действовать на них свежо и непосредственно. А это необходимо для того, чтобы правильное познание стало, по словам Толстого, их второй натурой. Их произведения создают впечатление, что когда они пишут, то мучительно пытаются осмыслить каждую деталь во всех ее социальных связях».

По логике этого замечания, а она основана на прекрасном знании природы литературы и реальностей литературной жизни, художник только тогда выступает в своем истинном качестве, когда его творчество органически соединяет — до прочности сплава — наблюдение и размышление, живое ощущение, эмоциональное восприятие фактов и их анализ. Именно такое соединение создает предпосылки для превращения культуры авторской мысли в культуру произведения. При этом и в творчестве социалистически мыслящего, теоретически оснащенного художника может случиться, что какие-то факты, явления, детали войдут в создаваемую им картину жизни не до конца осмысленными или да-

же вовсе непонятыми. Такие отступления от полной ясности, стопроцентной осознанности изображаемого обычно возникают под напором самой действительности: наблюдая ее, художник сталкивается с явлениями и фактами, совершенно новыми для него, неизвестными и пока что не поддающимися истолкованию в привычных понятиях; изображая ее, он встречается с такими неожиданными комбинациями, взаимодействиями ранее известных ему фактов, которые озадачивают... Ясно, что художник не обойдет их, хоть они и усложнят процесс ясности, — на него повлияет стремление к полноте и целостности рисуемой картины жизни, ее законченности и выразительности. Повлияет и сила впечатления, какую вызвали непонятые или не до конца понятые факты, их влекущая сложность, неразгаданность... Муки творчества — это не только «борьба с материалом» в поисках форм и приемов его художественной обработки, это еще и муки познания.

Преимущества, которые даются художнику научным пониманием жизни, исторического смысла изображаемых явлений, по-настоящему реализуются только при условии, если художник не освобождает себя от исследовательских, открывательских функций. Идя от идеи к образу, художник проходит весь путь исследования изображаемого явления — не минуя и те его грани, которые не совпадают с исходной идеей, а в каких-то случаях и противоречат ей: их тоже надо заметить, показать, осмыслить. Идя от явления и факта к идее, к сути, не торопится к результату, понимая, что творчество — это поиск истины, правды жизни и ее художественного выражения, а не только подбор красок или слов для обозначения до тебя открытых истин, до тебя понятых явлений.

Известно, что художественное развитие общества взаимодействует с его экономическим, политическим, правовым, философским и культурным развитием. И уже по этой причине каждый данный объект изображения не обладает властью строгих команд, рассчитанных на автоматическое исполнение художником. Определяющее влияние действительности на искусство реализуется в многообразии проявлений. Тут многое решается тем, каков жизненный и духовный опыт художника, предопределивший выбор данного объекта, какова интенсивность и глубина его реакций на импульсы и токи жизни, заключенные в изображаемом объекте, каким традициям искусства следует художник, каким эстетическим арсеналом пользуется.

⁶ Там же, т. 1, стр. 23.

Естественно, что художник особенно активно присматривается, даже «приспосабливается» к явлениям и фактам, когда они в русле его размышлений и переживаний, идейно-творческих устремлений и целей, сформированных его биографией и опытом, общественными отношениями, в которые он вовлечен. И он может не заметить, а заметив, недооценить или просто обойти те явления и факты, которые противоречат его ранее сложившимся представлениям. Однако и они, незамеченные, обойденные, не оставят его в покое.

Человек — это стиль. Так говорят. Для художника стиль не только почерк, хотя и почерк тоже. Это и стиль наблюдения, размышления, анализа, индивидуальный способ ориентации в мире, постижения жизни и воздействия на нее, в котором почерк — лишь одно из слагаемых. Ведь для того, чтобы заметить нужный для искусства факт, выделив его из вороха других, поставить на подходящее место и найти оптимальное освещение, уже нужен художнический талант. Человек, который все видит и все понимает с ходу, въедливых наблюдений и мучительно трудных исследований факта не признает, такой человек художником быть не может.

Истинный художник отражает действительность своими наблюдениями, своими убеждениями и взглядами. Художественные произведения всегда в той или иной мере автобиографичны. Но не следует упрощать само это понятие — автобиографичность. Создавая художественный мир произведения, художник выступает в самых разных качествах и гранях своей по неизбежности сложной (на то он и художник!) личности. Недаром Гёте признавал чертами своего характера не только мрачные, неудовлетворимые стремления Фауста, но и едкую иронию, издевательства Мефистофеля. Недаром Горький в своей сравнительной характеристике работы художника и ученого так решительно акцентировал возможную и необходимую многоликость художника: «Работа литератора, вероятно, труднее работы ученого-специалиста, например зоолога. Работник науки, изучая барана, не имеет надобности вообразить себя самого бараном, но литератор, будучи щедрым, обязан вообразить себя скучным, будучи бескорыстным — почувствовать себя корыстолюбивым стяжателем, будучи слабозволенным — убедительно изобразить человека сильной воли».

Значительность, ценность художественного произведения измеряется не внешним, поддающимся количественному учету соот-

вошением исповеднических и проповеднических элементов — тут должны действовать проверяемые практикой социальные и эстетические критерии. На произведении неизбежно отражаются масштаб личности автора, характер его наблюдений, переживаний и размышлений, его гражданская активность и уровень его профессиональных умений. При этом личностный характер художественного произведения, субъективное начало искусства проявляются не только в тех случаях, когда автор замечен в произведении, открыто заявляет себя и о себе. Творчески активным может быть и такой художник, который прячется за действующими лицами, растворяется в объективном живописании событий — внешне не виден: его социальная и эстетическая целеустремленность проявляется в глубине познания действительности, умении следовать ее законам, раскрытию того, что заключено в самом предмете изображения. Поставив перед собой задачу познания, художник подчиняется логике этой задачи и логике изображаемой жизни. Он знает, что может добиться своего в реализации намеченных целей и не появляясь на авансцене произведения, не выдавая своего присутствия какими-то заметными приемами и ходами. А «подмигивание» читателю или зрителю с приглашением того в сообщники считает для себя просто недостойным.

Социальная целеустремленность, творческая активность художника всегда и неизбежно влияет на соотношение образа и прообраза. Художественная практика знает случаи, когда граница и различия между ними как бы размываются: выбранные, выделенные художником явления и характеры настолько типичны, настолько концентрированно выражают правду и суть изображаемой жизни, что на первый план в творчестве выходят моменты списывания, повторения, фотографирования. Но и в таких случаях субъективный момент непременно даст о себе знать — в неравномерном освещении разных граней и качеств изображаемого, в способах изображения. В обычной же своей практике искусство считает не грехом, а доблестью отход от фотографического копирования природы. При этом оно смело включает в создаваемые им образы и такие факты, черты, грани действительности, которые непроверяемы непосредственным наблюдением изображаемого объекта. Эти «прибавления» не конструируются с помощью «чистого воображения», тоже берутся из жизни, но из жизни, рассматриваемой более широко. Не подтверждаемые непосредственным наблю-

дением, они убеждают читателя или зрителя как некая возможность, осуществленная искусством.

Если фотография обязательно фиксирует все видимые детали и подробности отражаемой жизни, искусство может как-то из них пренебречь. Фотография дает их в том порядке и в тех пропорциях, в каких они существуют в натуре. Искусство может их перетасовать, одну увеличить, другую уменьшить, третью осветить, четвертую затенить. Возникает почти неизбежный вопрос — его часто задают люди с неразвитым эстетическим сознанием и потому наивные в эстетическом смысле: зачем деформировать, если можно фотографировать? Зачем же увеличительные стекла и причудливые линзы, коли существуют зеркала? Искусство отвечает на эти и подобные вопросы своей многовековой практикой: погоня за простыми сходствами далеко не всегда ведет к художественной правде. Бывают и такие случаи, когда удаление от предмета помогает яснее видеть его суть, проникать в его глубины, освещаемые окружением, контекстом и невидимые при наблюдении в упор. Да и в показе, не только в познании, художник может извлечь пользу из применения увеличительных стекол. Без всего того, что в привычном обиходе искусствоведения зовется типизацией, заострением, преувеличением, не было бы ни Дон Кихота, ни Фауста. Не было бы солнца, которое пришло в гости к поэту Маяковскому, и монолога убитого под Ржевом солдата в знаменитом стихотворении Твардовского. Не было бы брезента, которым накрыл Эйзенштейн расстреливаемых матросов в «Броненосце «Потемкине», хоровода берез в минуту смерти Бориса, героя фильма Калатозова «Летят журавли».

Надо ли специально оговаривать, что логика художественных укрупнений действует и в произведениях, свободных от такого рода условностей? Вспомним сценарии и пьесы А. Гельмана на производственную тему. Они очень близки документальному очерку в фиксировании реальностей каждодневной жизни производственных коллективов, выводят на экран узнаваемых людей с их животрепещущими проблемами. Но сюжетообразующим началом и в «Премии» и в «Обратной связи» становятся ситуации, в чем-то необычные, даже экстремальные. Писатель подбирает (а скорее всего сочиняет, хоть и на основе совершенно конкретных жизненных наблюдений) такие коллизии, которые становятся сильными провозителями характеров. Сохраняя вер-

ность стилю повседневной бытовой и производственной речи, писатель и в речевых характеристиках действующих лиц отходит от стенограммы или протокола (хоть пьеса по сюжету «Премии» и называется «Протокол одного заседания») — тут тоже действует закон отбора и заострений.

По пьесам и сценариям прошлых десятилетий мы хорошо помним успешные статьи стереотипами характеры новаторов и консерваторов вчерашнего образца, канонические конфликты между ними. И пусть эти образы и конфликты не писательской фантазией порождены (в них тоже отражалась реальная жизнь, но превращенная в драматургические клише с помощью бесконечного повторения однотипных ситуаций и персонажей), Гельман решительно отказывается от их варьирования и тем более от простого повторения. И делает он это не только для того, чтобы освободить драматическое действие от привычного, примелькавшегося, — ради свежести восприятия. Он ищет и находит такие жизненные ситуации и коллизии, которые позволили бы полнее охватить, острее показать, глубже проанализировать современное движение жизни, человеческие отношения и жизненные конфликты в сфере современного производства, новые черты в характерах борцов за технический прогресс и тех, кто мешает этому прогрессу (при всем том, что в их поведении сказываются пережитки старого, многое идет от «традиционного» консерватизма, канонического бюрократизма, они тоже по-своему современны).

Среди оппонентов бригадира Потапова есть лица, которые выступают с постоянной оглядкой на начальство, хитрят, лукавят, ведут двойную бухгалтерию по принципу — два пишем, три в уме. Но есть и такие, которые действуют вполне прямодушно — настолько привыкли к догмам и канонам бюрократического мышления, что не считают их бюрократическими. Они фетишизируют всяческие «так положено», возводя их в непререкаемую форму. Экономическую целесообразность трактуют сугубо ведомственно. Не только против двуличия прожженных бюрократов и нечестных делег воюет Гельман своим сценарием и пьесой, но и против опасностей, какие таит в себе вполне «искренний» догматизм, вполне «честная» приверженность дурной привычке думать и работать по старинке.

Многообразие психологий и мотивов действия оппонентов Потапова осложняет его положение и борьбу. Но и помогает полнее показать, глубже раскрыть социальные и нравственные проблемы таких людей, как

Потапов. Споры на парткоме выявляют вполне реальные качества передового советского рабочего, хорошо понимающего, что научно-техническая революция в обществе развитого социализма не одних только инженеров и директоров касается. Мысль о рабочем человеке, чувствующем себя хозяином страны, характер такого рабочего является с рельефностью, какой нельзя было достигнуть с помощью одного только удачного выбора жизненного материала и верной оценки его художником. Нужно было еще и найти точные пути развертывания сюжета, выразительные средства обрисовки Потапова и его оппонентов. Практика экранной и сценической реализации гельмановских произведений показала, что посыл в данном случае оказался плодотворным.

Отражая практическую деятельность человека по преобразованию жизни, истинное искусство не может не проверять свое развитие ее закономерностями, интересами и ходом. Причем помимо общей для всего человеческого общества практики существует и практика цеховая, практика «деланья вещи». Ее критериями художник тоже проверяет изображаемую действительность — насколько она истинна, в смысле не случайна, насколько выражает себя, свое существенное содержание. Художник проверяет свою верность выбранному им предмету изображения, образности данного предмета в данном искусстве. Проверяет применяемые им старые или находимые новые приемы и средства изображения. Самопроверка практикой часто сопровождается сознательной или непроизвольной прикидкой: дойдет — не дойдет; еще до того как произведение встретится с публикой в библиотеке, театре или кинозале, оно встретится с нею в голове художника. Особенности создаваемого им произведения во многом зависят от его представления о читателе, зрителе, слушателе, которому произведение адресуется. Адресат художнического послания возникает в воображении художника одновременно с темой произведения. Адресат этот входит в творческий процесс с очень большими правами. Входит даже в тех случаях, когда художник не старается заранее высчитать все его требования и вкусы, уровень эстетического сознания и способность переживания.

Проверки произведения практикой жизни и практикой самого искусства осуществляются на разных уровнях — расчета, анализа, интуиции, даже инстинкта, — но осуществляются всегда, они входят в комплекс профессиональных качеств художни-

ка, в слагаемые художественного творчества. Точно так же как в труде, создающем материальные ценности, человек подчиняется законам природы, чтобы властвовать над нею, художник подчиняется жизненному материалу и законам искусства, чтобы его произведение убеждало и воздействовало.

Самопроверка по строгому и требовательному критерию (получается — не получается, убеждает — не убеждает) — это и проклятье и награда художника, муки поиска и радость найденного решения. При анализе творческого процесса на материале черновых рукописей писателя, записей репетиций режиссера и т. д. легко убедиться, что не о грамотности разведения фигур в мизансцене печется режиссер, когда он снова и снова ее перестраивает, но более всего о том, чтобы все ее компоненты — от расстановки действующих лиц до прорисовки фона, от ритма разговора и пауз до сочетаний света и тени — помогали открыть глубины происходящего, вывести наружу подтексты и вторые планы, полнее подчинить прием сверхзадаче. И не о формальной складности слога заботится писатель, когда настойчиво перетасовывает слова, а о выразительности, содержательности, наполненности создаваемой им картины жизни, о том, чтобы каждое слово работало на полную мощь.

Искусство развивается в диалектических взаимодействиях нового и старого. В поисках их оптимальных соотношений художник должен знать привычки публики, чтобы использовать их. С другой стороны, он не может ограничиться обслуживанием привычек, чтобы не потерять живую энергию движения искусства и возможности его воздействия не только на сегодняшнюю, но и на завтрашнюю аудиторию. Не из любви к золотой середине компромисса, а из-за верности своей природе и предназначению искусство постоянно ищет синтеза нового и старого, ожидаемого и неожиданного. Практически каждое значительное произведение искусства соединяет в себе традиции и опыт прошлого с обновляющими искусством открытиями. Открытия эти нередко возникают лишь как элементы новшеств, которые выйдут на первый план и станут уже не только элементами лишь на следующей стадии развития того или иного вида искусства.

Историки искусства, критики, художники не раз называли в таком контексте серовский портрет М. Н. Ермоловой. Содержательность и выразительность этого знаменитого портрета в значительной степени

связаны с необычными по тогдашним понятиям художественными средствами, какие использует В. Серов, увеличивая возможности раскрытия характера великой актрисы и воздействия ее личности на наше сознание и чувство. Заключенный в композиции и живописном решении портрета принцип рассмотрения и изображения человека с нескольких точек зрения является одним из моментов творческого поиска художника. В значительной мере благодаря зеркалу, которое как бы «режет» фигуру позирующей актрисы, Серов добивается неожиданного эффекта, когда Ермолова одновременно рассматривается снизу (ее лицо), сверху (раскинувшееся на полу длинное платье) и в лоб (общее восприятие фигуры). В последующем этот принцип создания портрета, будь это портрет человека или события, получит широкое развитие, в каких-то произведениях станет преобладающим.

Рассмотрение жизненных явлений и человеческих характеров с нескольких точек зрения нередко встречается и в современной литературе, в современном искусстве. Вспомним, как часто меняет К. Симонов в «Живых и мертвых» ракурс рассмотрения событий войны путем замены лирического героя, от имени которого ведется рассказ. В одном случае мы видим войну глазами Синцова, в другом сквозь призму размышлений Серпилина, в третьем сам автор выходит на авансцену со своими «они и не знали тогда...». Встречаются разные психологии и уровни мышления, сталкиваются разные точки зрения в наблюдении — освещение событий приобретает многомерность, их восприятие и комментирование открывает новые грани характеров действующих лиц романа. И одновременно воссоздается движение жизни общества: в романе читается и время его действия и время его написания.

В романе Д. Гранина «Картина» то и дело возникают внутренние монологи и открытые споры действующих лиц — об эстетической ценности картины Астахова, о значении ее для города Лыкова, о необходимости сохранить сам пейзаж, который когда-то стал для художника натурой и сильным источником вдохновения, позволил одухотворенно выразить любовь к жизни, к родному краю и любовь к женщине. И опять же: смена точек зрения, их многообразие позволяет не только отчетливее увидеть, полнее понять картину, но и углубляет для нас значение таких категорий, как природа искусства, свобода творчества, культура эстетического восприятия

художественных произведений. Более того история с картиной, ее судьба, отношение к ней, споры вокруг нее проявляют различия в понимании разными людьми смысла жизни и призвания человека.

В процессе постоянных самообновлений разные искусства постоянно взаимодействуют; однако при всей интенсивности взаимных влияний, позволяющих говорить о системе сообщающихся сосудов, существуют различия в развитии искусств, диктуемые традициями, опытом и даже техникой каждого из них. К примеру, на рубеже 20-х и 30-х годов кинематограф должен был пройти полосу крутых перестроек, во многом отличных от других искусств. На экран пришел звук. Характерный для фильмов 20-х годов монтаж коротких кусков трудно было синхронизировать с диалогами и мимикой действующих лиц, потребовавшими иных протяженностей кадра, сцены, эпизода. Странники монтажного кино попробовали перепрыгнуть через эти трудности с помощью разработанного ими принципа асинхронности изображения и звука, чтобы избежать натуралистического использования звука и опасностей театрализации фильма. Не вышло. С течением времени асинхронность стала одним из возможных способов организации сцены или эпизода — универсальным средством стать не могла. Звуковому кино невозможно было обойтись без так называемых долгих планов. И они пришли на экран как неотъемлемость киноискусства, утверждаемая его современной практикой и теорией. На первых порах многие фильмы действительно становились похожими на театральные спектакли. Кинематограф как самостоятельное искусство нес ощутимые потери — ослаблялась его кинематографичность, что особенно расстраивало сторонников и поклонников монтажного метода. Но были и приобретения: становясь драматургическим и актерским, кинематограф получает новые возможности в создании крупных, ярких образов популярных героев, таких, как Чапаев, Максим, Щорс, депутат Балтики Полежаев, член правительства Соколова, великий гражданин Шахов... Постепенно опасности чрезмерной театрализации экранного зрелища преодолеваются — остается использование опыта театра.

По мере эстетического освоения «долгих планов» обнаруживается, что они открывают новые возможности кинематографического исследования человеческой психологии. Новейший кинематограф эффективно использует содержательность звучащего слова, усиленную актерским исполнением.

Музыкальные паузы и просто паузы. Игру светом и цветом. Смену ракурсов съемки и ритмов экранного действия. Движение камеры. Выведение действующих лиц на крупные планы в решающие моменты размышления или спора. Выделение деталей среды как бы глазами персонажей. И т. д. и т. п.

Кинематограф как искусство фотографическое долгое время довольствовался изображением событий и человеческих действий, предметности реального мира. Однако уже на ранних этапах своего развития он делает попытки визуально передать сны, мечты, игру воображения. В 60-е годы от этих попыток он поднимается к созданию кинематографических зрелищ, «экранизирующих» движение человеческой мысли, включая ее самые неожиданные и парадоксальные зигзаги, даже капризы, к созданию образов, как бы опредмечивающих мыслимое, представляемое, воображаемое. Открываются новые возможности кинематографического углубления во внутренний мир человека. Федерико Феллини в своем знаменитом фильме «Восемь с половиной» использует их (разнообразия и обогащая по ходу дела) для того, чтобы широко и сложно показать духовную драму художника, мечущегося в тщетных поисках истины: смятение мысли, ее истерические круговороты, сложные переходы от надежды к отчаянию опредмечиваются в экранном изображении жизни кинорежиссера Гвидо Ансельмо и людей, с которыми он встречается не только в реальном быту подготовки к съемкам новой картины, но и во сне или воображении.

Фильм «Ленин в Польше» С. Юткевича и Е. Габриловича построен как внутренний монолог Ленина, раскрывающий силу и целенаправленность революционной мысли вождя, «биографию» идеи о превращении войны империалистической в войну гражданскую. «Экранизация» мысли позволяет проникнуть в ее сложное движение и глубоко показать события истории, освещенные ленинской мыслью. Тем самым открываются новые возможности «разгадки поэзии» характера Ленина.

В самое последнее время редко появляются, если вообще являются, фильмы, построенные целиком на принципе «экранизации» мысли (очевидно, сказались трудности в их взаимоотношениях с массовым зрителем). Но и этот опыт кинематографа не забыт. Сцены, «экранизирующие» мысль, нередко становятся одним из компонентов фильма, расширяющим его эстетический арсенал и палитру, — вспомним «Белое соли-

це пустыни», «Доверие», «А зори здесь тихие...», «Странных людей», «Зеркало», «Мольбу», «Романс о влюбленных»...

Кинематограф и на других стилевых направлениях многому научился в использовании техники экрана для раскрытия диалектики души, движения характеров. Комплексно используя соединенную выразительность изображения и слова, музыку, свет, цвет, сложные монтажные построения, кинематограф достигает таких высот и тонкостей анализа внутренней жизни человека, которые ранее считались доступными только роману.

Хочется назвать в этой связи недавний семисерийный телевизионный фильм Льва Кулиджанова «Карл Маркс». Это, по сути дела, первое состоявшееся произведение об основоположнике научного социализма, нашем великом учителе (фильмы о Карле Марксе выходили и раньше, но они практически ничем не обогатили искусство). Рассказывая о молодых годах Маркса, прослеживая его путь от студенческой юности, очень веселой, так и хочется сказать — беззаботной, к «Коммунистическому манифесту», создатели фильма сталкивают своего героя с драмами повседневного быта и противоречиями бытия. Живые наблюдения проверяются теоретическими истинами, добываемыми в неустанных занятиях молодого ученого. В раскрытии движущегося характера плодотворно используется метод накопления впечатлений. В историю характера нередко включаются и такие детали, которые, будучи взятыми отдельно, могут показаться лишними: осветившие результат процесса и освещенные результатом процесса, они обретают не замеченную при первой встрече с ними содержательность, многозначность.

Создатели фильма отдают себе отчет в том, что любой поворот характера и судьбы, показанный как результат процесса, может быть и не понят и не оценен: подготовленный накоплением подробностей, он обретает дополнительную достоверность и убеждающую силу. В каждый данный момент жизни Маркса они показывают его таким, каким он тогда был, не торопятся перетягивать завтрашнее в сегодня. Но и в сегодняшнем неизменно замечают такие движения мысли и чувства, такие черты незаурядного характера, которые завтра усилятся, дадут новые ростки, станут определяющими. Воссоздавая постепенный рост гения, его научные искания и его любовь, полемику с противниками и встречи, дружеские связи с единомышленниками,

создатели фильма внимательно, умно и тонко прослеживают переходы из одного состояния в другое — то в плавности естественных эволюций, то в крутых поворотах, сопряженных с озарениями ума и взрывами страсти.

Завоеывая такого рода высоты, кинематограф не просто совершенствуется в изображении реальности, и ранее ему доступных, — он расширяет поле наблюдения и освоения, «киногеничным» становится и такой жизненный материал, который раньше не поддавался экранному изображению.

Очевидно, будет вполне уместно вспомнить в этом контексте, что наивысшие взлеты киноленинаны в 30-е и в послевоенные годы связаны с изображением Ленина-вождя. Менее успешными были попытки воссоздать сам процесс формирования гения революционной мысли и революционного действия. Может, тут сказывались ощутимые различия между жизненным материалом, который осваивался: революционная деятельность и движение мысли Ленина разносторонне отражаются в его выступлениях, книгах, статьях, исторических документах; при воссоздании истории характера на этапе становления личности вождя многое приходится угадывать — без достаточной опоры на документы. Может, проявлялись трудности актерского воплощения (ведь нужно, чтобы актер возрастом был близок своему герою и в то же время обладал необходимым опытом, достаточным для решения столь сложной художественной задачи). Так или иначе факт остается фактом: до «Карла Маркса» в нашем кино не было таких же успешных проникновений в глубины этого процесса. Думается, что новый фильм о Марксе поможет не только дальнейшей работе над образом основоположника научного социализма, но и существенно обогатит поэтику и эстетический арсенал Ленинианы.

Говоря о постоянных для художественного процесса поисках синтеза нового и старого, следует подчеркнуть, что поиски эти сложны необыкновенно. Художнику (не каждому и не всегда, но часто) бывает нелегко преодолеть психологический барьер, создаваемый успехом привычного. Мы знаем, как греет душу привычная мелодия популярной песни. Точно так же и в восприятии других искусств: встреча с полюбившимся, знакомым приносит душевную радость многим. В то же время нововведения, даже тематические и тем более стиливые, нередко наталкиваются на непонимание и неприятие аудитории, по крайней

мере какой-то ее части, подчас весьма значительной. На основании таких очевидностей некоторые художники увлекаются самоповторами, бесконечно тиражируют полюбившиеся образы и образцы, варьируют проверенные сюжеты, снова и снова повторяют оказавшиеся успешными художественные формы. Они не учитывают при этом, что эксплуатация привычек аудитории опасна для искусства: легко может случиться, что читатель или зритель, рукоплескавший вчера знакомым и привычным образам, завтра отвернется от них.

Несколько лет назад на нашем экране вошли в моду приключенческие сюжеты из жизни милиционеров, работников уголовного розыска и разведчиков. Как правило, они собирали массовые аудитории. Их популярность подогревалась колдовским успехом «Семнадцати мгновений весны». Кажется, кинематограф напал на золотую жилу и нет ей конца. Однако конец оказался не столь уж далеким. Постепенно приключенческий фильм, даже искусно сконструированный, сравнялся в сборах с лентами и жанрами, которые считались недостаточно зрительскими.

Нерассуждающие поклонники приключенческого фильма продолжали свое. Даже в тематику гражданской войны стали усиленно внедрять его жанровые черты. И — начали терпеть поражения.

Приключенческий фильм нужен в репертуаре, в том числе и о гражданской войне (недавний успех фильма «Поговорим, брат» Ю. Чулюкина весьма показательен в этом смысле). Но и в этом жанре опасны канонизация полюбившегося, клиширование привычного. И в этом жанре без обновлений не обойтись. Кстати, привлекательность «Семнадцати мгновений весны» связана помимо всего прочего и с тем, что некоторыми своими компонентами фильм Т. Лиозновой вышел далеко за рамки канонического детектива. Романтическая история Штирлица, почти сказка, не имела в жизни своего прямого «прообраза», но была вставлена в умело документированную среду, окружена реалиями военных лет. И она глубоко лирична, психологична, эта история, одухотворенная исполнением роли Штирлица-Исаева В. Тихоновым, который тонко передает мужество своего героя, аналитическую силу его мысли, его тоску по родине, делающую переживание одиночества в стане врагов тоже моментом героического поведения. Необычность фильма, нарушающая канон жанра, не была по-настоящему проанализирована и понята нерассуждающими постановщиками при-

ключенческих лент, продолжавшими повторять полюбившиеся стереотипы. Уж если в детективе, который особенно легко поддается жанровой кодификации, без обновлений не обойтись, то в других жанрах требование обновлений, постоянного обогащения тематических и стилевых характеристик приобретает повышенную остроту.

В связи с упомянутыми примерами борьбы кинематографа за массового зрителя почти неизбежен вопрос: всякая ли популярность, доступность, массовость становится знаком качества и неперменной приметой народности произведения?

Уместно в этой связи процитировать в высшей степени примечательные суждения Энгельса о поэзии. «Вообще говоря, — пишет Энгельс Г. Шлютеру, — поэзия прошлых революций (конечно, за исключением «Марсельезы») редко звучит по-революционному в позднейшие времена, так как, для того чтобы воздействовать на массы, она должна отражать и предрассудки масс того времени. Отсюда — религиозная чепуха даже у чартистов»⁷.

Религиозная чепуха, помогавшая поэтам-чартистам воздействовать на массы, давно уже потеряла свою былую силу. Но и сейчас нередко произведения искусства, которые завоевывают популярность ценой подыгрывания предрассудкам масс. Разве не на этом был в свое время основан феноменальный успех фильмов о Джеймсе Бонде в капиталистических странах? Или теперешние «триумфы» таких лент о катастрофах, кошмарах и ужасах, как «Экзорцист», «Землетрясение», «Челюсти», «Ад в поднебесье», «Кинг-Конг», «Рой», «Звездная война», «Близкие контакты в третьем измерении»?

В советском искусстве идеологические и экономические основы и стимулы кинопроизводства другие. Одурманивание масс с помощью рыночных кинозрелищ исключено. Однако и у нас иногда возникают ленты, рассчитанные на предрассудки массового зрителя, не религиозные, разумеется, а эстетические, связанные с неразвитостью вкуса. Таковы, например, «Певица» и «Женщина, которая поет», успех фильмов был основан на популярности Татьяны Дорониной и Аллы Пугачевой. Любовные сюжеты этих фильмов скомпонованы на уровне поверхностной беллетристики. Сочиненные ситуации — вне их соотносительности с реальной жизнью — разработаны более чем элементарно. Все подчинено показу героинь —

не воплощению образов, а именно показу: внешность, платье, голос высвечены режиссерами и операторами, но в атмосферу и ход действия по-настоящему не включены. Чувства играют, а не переживаются. Что касается исполнения вокальных номеров по ходу экранного действия, то в нем слишком дают о себе знать привычки и каноны эстрады. Но эстрада имеет свою поэтику, ей присущи свои принципы организации мизансцены, рассчитанной на восприятие «издалека» — из зала. Перенесенные на крупные и средние планы экрана эстрадные мизансцены плохо смотрятся — выпирают наигрыши, манерность, форсирование музыки и голоса, подчеркнутая выразительность позы. Вспомним прелестные вокальные партии Аллы Пугачевой, украсившие фильм «Ирония судьбы». В фильме «Женщина, которая поет» воплощаемый ею образ, обаяние таланта певицы ослабляются той дурной эстрадностью, которая не проверяется строгим вкусом — превращает красоту в красивость, даже красявость. Между тем популярность актрисы, ее песни мешают многим зрителям отделить красоту от безвкусицы, манеру от манерничания, стиль от стилизации. Помимо популярности певицы свою роль сыграла тут и тоска зрителя по мелодраме и музыкальному фильму. Так или иначе фильм привлек десятки миллионов зрителей, нанеся немалый ущерб их эстетическому восприятию.

Коль скоро мы заговорили о реальном, объективном содержании популярности художественного произведения, стоит еще раз подчеркнуть, что массовое далеко не всегда народно. Народно только то, что выражает разум, а не предрассудки масс. Движение человеческих чувств, а не статику клишированных эмоций. В теоретическом плане эти истины давно и настойчиво утверждают нашей эстетикой. В критической практике они встречаются реже, хотя поводов предостаточно.

Если «Певица» и «Женщина, которая поет» обслуживают неразвитость эстетического вкуса, то фильмы, подобные «Десанту на Оригуну» или «Семье Ивановых», культивируют душевную лень, рассчитаны на зрителей, которые беспокойств не хотят, правде, могущей не только порадовать, но и огорчить, не только утешить, но и побеспокоить, предпочитают сны золотые. В такого рода фильмах все выведено наружу, ничто не оставлено в подтексте, вторых планов нет, все разжевано и представлено с наглядностью иллюстрации из школьного букваря, все слегка приукрашено — чтобы умиляло, а не беспокоило. Режим гаранти-

⁷ «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, стр. 509—510.

рованного благополучия главных героев обеспечивается тем, что они всегда победоносны, а победы даются легко потому, что их противники, коли они есть, их оппоненты старательно играют в поддавки.

Сила искусства, писал и говорил С. М. Эйзенштейн, выражая глубинную суть своего творчества, заключается в чувственном воздействии, приводящем к идейному выводу. Понятно, что такого воздействия невозможно добиться с помощью приемов чисто формального происхождения, не одухотворенных социальными идеями и страстями. Но понятно и другое: любые, даже самые высокие идеи остаются в искусстве «вещью в себе», когда они не воплотились. И Эйзенштейн уже в самом начале жизни в искусстве направляет главные поисковые усилия на создание такой системы художественной выразительности произведения, которая была бы способна производить «переустановку понятий», «перепрошивать психику в заданной классовой установке».

В свое время эйзенштейновский «монтаж аттракционов» был раскритикован, записан по разряду формализма. Критика велась, по сути дела, с метафизических позиций: кинематограф рассматривался как сложившаяся эстетическая система; проблемы его противоречивого развития фактически игнорировались, предполагалось, что новые поиски и открытия могут быть эффективными только в одной области — в совершенствовании фотографичности кадра, бытовой достоверности монтажных переходов от кадра к кадру, от сцены к сцене. При этом не принимались в расчет реальные и возможные различия в применении «монтажа аттракционов». Между тем различия эти существенны, можно сказать — принципиальны. Ведь одно дело, когда художник коленопреклоненно служит полюбившемуся приему, увлекается «аттракционами», нанизывает их один на другой, уподобляя фильм дурно организованному концерту, где в определенном порядке чередуются шлягеры, выигрышные номера. И совсем другое дело — использование «монтажа аттракционов» в качестве кинематографического усилителя истины, существующего рядом и во взаимодействии с другими усилителями.

Анализируя режиссерское решение фильма «Александр Невский», Эйзенштейн не раз вспоминал о том, как искал он ритм сцены наступления «свиньи» — выстроенной грозной, рассекающей клином колонны немецких псов-рыцарей. В процессе поиска он вполне современно, «сегодняшне»

переживал события седой старины и одновременно искал такие «агрессивные моменты», которые со всей возможной силой воздействовали бы на зрителя. Не эффекты формальных приемов занимали при этом Эйзенштейна. В своих поисках он исходил из того, что событие, показанное на экране по «графику» развития той или иной страсти, по этому же «графику» возбуждает эмоции зрителя: режиссер синхронизировал ритмы боя с волнениями, вызванными его ходом, переживания становились внутренней пружиной организации экранного действия, определяли его пластику и динамику.

В таком широком, истинно реалистическом своем значении эйзенштейновский «монтаж аттракционов» возвращается к нам снова и снова. Рискуя даже сказать, что сейчас, в пору обострения проблемы «искусство и его аудитория», он приобретает новое значение, а возможности, в нем заключенные, еще долго будут разрабатываться нашим искусством.

Когда я смотрел в Московском театре имени Ленинского комсомола спектакль М. Захарова по пьесе М. Шатрова «Красные кони на синей траве» («Революционный этюд»), взволновавший своей новизной и яркостью весь зрительный зал, я, как и другие зрители, о приемах режиссера и драматурга не думал. Но возвратившись по прошествии времени к переживаниям, вызванным спектаклем, я вспомнил о «монтаже аттракционов». Конечно же, «монтаж аттракционов» имеет не только прошлое, но и будущее. Цель его остается прежней — чувственное воздействие, приводящее к идейному выводу. Формы разнообразятся, открывая все новые возможности познания, суждения и воздействия.

В «Революционном этюде» очень по-сегодняшнему, по-современному используется опыт, накопленный театром в жанре документальной драмы (в котором давно и плодотворно работает М. Шатров). С максимальным приближением к факту восстанавливаются фрагменты речи В. И. Ленина на III съезде комсомола не в момент ее произнесения, а в процессе подготовки. Для того чтобы полнее представить историю мысли, драматург и режиссер выхватывают из пестрого, часто причудливого революционного быта молодежи ранних 20-х годов «ударные моменты», то трагические, то комические, то драматические. Созданные силой воображения, они вбирают в себя многие реалии тех времен, зафиксированные в документах, воспоминаниях, фотографиях, кинохронике. Мы как бы при-

существом при самом рождении ленинской речи: этюдные зарисовки молодежного быта с его героинкой, динамикой бурных перемен, горячими спорами и нетерпеливыми поисками окончательных решений любого вопроса показывают жизненные истоки ленинской мысли, ленинская мысль новым, так и хочется сказать — завтрашним, светом освещает пестроту тогдашнего быта, перспективы молодежи и всего советского общества.

Читатель романа или зритель кинофильма, спектакля проходит примерно такой же путь при восприятии произведения, какой прошел художник при его создании. Этот эффект фактически планируется: художник так отбирает предметы изображения, так их освещает, кадрирует и монтирует, чтобы заставить читателя, зрителя пойти за ним, художником, получить примерно такие же впечатления от изображаемого события, явления, человека, какие получил он, художник, повторить его художнические переживания и размышления.

Разумеется, такое повторение не может быть буквальным. Читатель или зритель входит в создаваемый художником мир образов как в мир вполне реальный, имея предысторию данной встречи с искусством — накопленный ранее опыт наблюдений, переживаний, размышлений, опыт жизненной практики. Этот опыт индивидуален, он отражает и воплощает в себе своеобразие личности, биографию своего обладателя. Соответственно, сугубо индивидуальным становится и восприятие образов, созданных художником: читатель или зритель не только объект эстетического воздействия, но и субъект эстетического переживания. Узнавая, духовно и эмоционально осваивая содержание произведения, он добавляет к нему что-то свое — от своего характера и опыта, своей биографии, читает в произведении не только его автора-художника, но и себя — свою способность увидеть и почувствовать, пережить и понять многослойность произведения.

При этом читатель не ограничивается тем, что сверяет образы художественных произведений со своими ощущениями и наблюдениями: похоже на знакомое — значит, правдиво и хорошо, не похоже — значит, сочинительство и выдумка. В восприятии произведения участвует весь духовный и эмоциональный опыт человека, включая все его предыдущие знакомства с искусством.

Конечно же, фадеевский «Разгром» и шолоховский «Тихий Дон» самым своим появлением внесли новые элементы в читатель-

ское восприятие произведений о гражданской войне. Фильм «Радуга» М. Донского раздвинул границы воспринимаемого в изображении жестокостей и трагедий войны. После выхода на экран фильма «Председатель» А. Салтыкова и Ю. Нагибина померкли в глазах зрителей многие другие фильмы и спектакли о послевоенной деревне.

Художественное произведение дает человеку не только материал для узнавания, но и новые импульсы воспоминаний о ранее виденном и пережитом, новые стимулы анализа жизни. Наряду с воспоминаниями начинают действовать, активизируясь от встречи с искусством, воображение, ассоциации. Надо ли оговариваться, что все эти закономерности восприятия литературы и искусства действуют в полную силу, когда художественное произведение отмечено глубиной и эстетической выразительностью. Правда, история литературы и искусства знает и такие случаи, когда произведение завоевывает успех и не обладая высокими художественными качествами: срabатывает актуальность идеи и темы, прямое вторжение произведения в какую-то полемику, в обсуждение и решение актуальных проблем. Но такого рода успех устойчивым быть не может. И широким тоже. Произведение, лишь поверхностно обозначающее жгучую проблему, обычно теряет силу за пределами отражаемого момента и не имеет силы за пределами той аудитории, которая вовлечена в обсуждение этой проблемы, жизненно заинтересована в ее решении.

Впрочем, точно так же мало шансов на устойчивый успех имеет произведение, автор которого в «разговоре с вечностью» легкомысленно отмахивается от живых конкретностей бытия, от реальных жизненных проблем, волнующих современников. Обретая натужную универсальность, такое произведение становится настолько абстрактным, что в живой диалог с современниками не вступает и мало шансов имеет на диалог с потомками. Неизвестно кому адресованное, оно остается монологом, произносимым в пустоте.

При обсуждении механизмов воздействия литературы и искусства на аудиторию нередко высказываются резонные соображения против преувеличенных упований на эффект подражания положительному герою. При этом подчеркивается, что художественный образ, создаваемый как пример для подражания, на разных людей действует по-разному. Подражание естественно для юных читателей и зрителей, ко-

да книга, фильм, спектакль увлекают их своими яркими героями. И оно не может стать абсолютной формулой и формой восприятия художественного образа людьми зрелыми, зрелыми, в особенности теми из них, которые высоко ценят как раз самостоятельность мысли и действия. Тут почти неизбежно внутреннее сопротивление всякому подражанию. И даже в тех случаях, когда такое сопротивление не возникает, положительный образ, по-настоящему увлекающий читателя, зрителя, обычно становится лишь материалом, жизненным и эстетическим материалом для осмысления, переработки и творчески самостоятельного использования.

Понимая, что автоматика подражания может обеднить процесс восприятия, современные художники стремятся сталкивать своих героев с такими жизненными явлениями и проблемами, которые становились бы катализаторами читательских и зрительских размышлений, переживаний: проблемность произведения признается ныне как высоко ценимое достоинство и как неперемный знак его истинной современности.

Важное место в эстетическом восприятии искусства и его влияний занимает феномен самоидентификации читателя, зрителя, слушателя с героями произведения. Процесс этот тоже сложен, многопланов: обратившийся к искусству человек не только за любимшего героя волнуется, переживает. Если он чуток к правде искусства и эта правда покоряет его, он воспринимает всю систему образов художественного произведения. Ставит себя на место разных героев, в том числе и оказавшихся в беде: чужого горя не бывает. Он может, что называется, влезть в шкуру и слабого человека, совершающего по слабости дурные поступки: ему надо и чужую слабость пережить, чтобы лучше понять свои слабости, бороться с ними. Бывает, что в увлеченности произведением захочется даже преступника понять — не для того, чтобы простить, а для того, чтобы и эта судьба стала уроком, обогащающим жизненный опыт и нравственный мир. Читатель книги, зритель фильма или спектакля ставит себя на место

многих, живет жизнью многих — на его социальные и нравственные воззрения, духовный и эмоциональный мир действует вся полифония примеров и уроков произведения, вся многоголосица воплощаемых в нем образов и проблем, переживаний и размышлений.

Роль литературы и искусства в духовной жизни общества всегда связана с состоянием аудитории — не только с распространением художественных произведений, но и с качеством их восприятия. Действенность литературы и искусства неизбежно возрастает по мере роста образованности и роста культуры населения: обогащается, усложняется восприятие художественных произведений.

При этом знакомство читателя с литературой обогащает восприятие других искусств, а кинематограф, театр, живопись, музыка многое дают восприятию литературы: разные искусства взаимодействуют в своем влиянии на человека.

Жизнь показала, что научно-техническая революция в условиях социализма не сужает, а расширяет сферу воздействий художественной культуры. В свою очередь, литература и искусство способствуют научно-технической революции. Прежде всего тем, что заключенной в них силой правды, силой мысли и чувства помогают воспитывать идейность, коммунистическую убежденность советских людей, повышают уровень духовной культуры. Но не только. Многие ученые, инженеры, конструкторы свидетельствуют, что искусство нередко участвует даже в решении сугубо специальных задач науки и техники, активизируя воображение, обостряя чувство соразмерности частей, красоты целого, концентрируя в себе такие проявления «жизни человеческого духа», которые могут послужить исходной точкой научно-технических поисков и моделью решений. А главное, конечно же, состоит в том, что литература и искусство действительно участвуют в развитии духовно богатой личности человека социализма и через личность строителя оказывают влияние на все процессы жизнестроительства.



ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ



В ТЕНИ ПАРУСОВ

Перечитывая Александра Грина

Странен и драматичен путь Александра Грина — нелегкая человеческая судьба, своеобразная и трудная судьба литературная.

Он умер в отдалении от литературных столиц России, от каравелл и бригантин, которые воспевал, на глухой улочке южного городка, в домике, который станет через несколько десятилетий местом падомничества...

Известный небольшому кругу профессионалов, он, уйдя из жизни, словно бы утонул в мертвом море, навсегда стал *pluquatre-feuilles*, символом прошедшего времени — зыбкая тень, книжка без начала и конца в районной библиотеке непонятного происхождения, возможно, переводная, с нерусскими да и не иностранными — может быть, марсианскими? — именами героев.

Я представляю себе далекого периферийного читателя 20-х годов, слабо следящего за периодикой, занятого другими книгами, другими проблемами, спрашивавшего недоменно: кто этот Грин — бельгиец, швед, немец?

И надо было вернуться к нему, вспомнить о нем в гуле, грохоте революционного преобразования страны, надо было Фадееву, Олеше, Шагиняну, Катаеву поставить вопрос об издании книги, всерьез представляющей его творчество, надо было, наконец, эту книгу составить и выпустить, понять, что он наш соотечественник, да и современный, не столь уж далекий, если вчитаться, от вопросов и проблем века, что все его города, порты с такими странными названиями — Зурбаган, Лисс, Гель Гью — тоже не так уж далеки от нас и стоят вовсе не на иноземных морях...

Но о городах позже...

Это был первый виток его послежизненной литературной судьбы. В 30-х годах — начале 40-х о нем вспоминали редко, печатали мало; он вновь как бы ушел на дно своих диковинных и незнакомых морей.

В середине 50-х годов уже мое поколение открыло его для себя, открыло само, без помощи критики, так же как позднее мы открыли других крупнейших писателей, в том числе Булгакова и Платонова. Но те, другие, открытые заново, зажили после смерти той литературной жизнью, что и должна была соответствовать их дару.

А Александр Степанович Гриневский?

Он наконец-то вышел из «оскорбительного забвения»; это выражение Марка Щеглова, написавшего о нем в 1956 году превосходную статью. В этой статье Щеглов отмечал, что книги Грина неизвестны широкому читателю, а «идеологическая репутация этого давно умершего художника до сих пор колеблется где-то на опасной грани».

Время, общественное мнение да и критика многое поставили на свое место, много, но не все.

Грин стал известен широкому читателю; пришедшая к нему с запозданием слава была громкой, несколько поверхностно-массовой (об этом еще надо будет сказать); книги его вышли миллионными тиражами, но все же в сегодняшнем литературном процессе он заметен менее, чем кто-нибудь из Мастеров его масштаба, в сегодняшней критике, отражающей движение литературного процесса, связывающей вчерашнее с сегодняшним, имя его упоминается вскользь. Он вроде бы и классик советской литературы, а вместе с тем и не совсем: он в одиночестве, вне обоймы, вне ряда, вне литературной преемственности.

Да и написано о нем за последнее десятилетие весьма и весьма немного: кроме хорошей книги Ц. Михайловой, ничего серьезно не припоминается.

Зато есть фильмы, спектакли, вы встретите молодежные кафе под названием «Алые паруса», многое из того, что он открыл, превратилось в расхожий штамп, и в русле отечественной словесности он видится вроде бы обиженным сиротой. Талантливый и блистательный, но все же как бы картонажный, на легковесном фанерном пьедестале перед бронзовой и гранитной крепостью других, более основательных достижений.

Маленькое личное отступление. Я вернулся в Москву из эвакуации, из Сибири, в 1944 году и тогда же пошел в школу.

Несколько навсегда запомнившихся ощущений. Полузабытая Москва. Она другая, чем та, которую я помню, та, что оставила в младенческом сознании теплый звериный запах зоопарка, мирную рябь Чистых прудов, нагретый за день асфальт, отдающий бензином, возвращение отца с работы, Дом политкаторжан в Машковом переулке... Пропасть пролегла между той и этой Москвой. Школа, в которую я пошел учиться, еще вчера была лазаретом, отцы да и матери возвращаются не с работы, а с фронта, раненные, контуженные, — какое счастье! Другие мои ровесники уже получают бесплатные завтраки, бесплатные пальто, потому что они дети погибших.

Дом рядом с моим был латвийским постпредством. Нарядный, с огромными венецианскими стеклами дом, с ковровым зеленым газоном. Дети там в нарядных костюмчиках, какие-то даже с виду нездешние, они гуляют в сопровождении няни, щебечут, бегут куда-то, называют друг друга птичьими именами, все это, могло показаться, из Грина пришло. Только Грина я тогда не читал.

И я вижу этот дом другим. Впрочем, какой дом? Никакого дома нет. Отвратительное ржавое месиво, обгоревший кирпич, торчащие железные балки, газон выжжен, зеленое, живое превратилось в коричневое, черное... Прямое попадание.

Я уже видел смерть. Но я впервые увидел цвет смерти... Позднее, много позднее я прочитаю «Крысолова» и почувствую дух смерти, а точнее, отчуждения от жизни, и сравню его с детским впечатлением.

Так Грин откроется мне неожиданно трагическим, а не ласкающим взор ледяными яхт и синевой заливов.

Я жил в доме, имевшем родословную: здесь Ленин слушал «Аппассионату», которую играл Добровейн, здесь жили Чаплыгин, Гамалея, Пешкова, — дом прошлого века с маршами мраморных лестниц, с ощущением некоторой тайны, со странным горбуном Петром Федоровичем, бесшумным вахтером, знающим, кто здесь жил, кто живет, может быть даже догадываемся, кто здесь будет жить через десятилетия. И голый дostoевский двор с жестокой и одновременно благородной щпаной, с оборванными книгами без начала и конца, передававшимися друг другу как величайшая ценность.

Возвращение целого поколения к жизни... Открытие ее.

Мы были дети дотелевизионной эпохи, вполне познавшие, что «книги — источник знания». Вкус к классике был крепко отшиблен школой... О, в те годы она была свирепа: «первая черта Евгения Онегина», «вторая черта Татьяны Лариной», «общий вывод из поэмы «Мороз Красный Нос». Поэтому с особой жадностью и волнением мы читали все необходимое или не совсем обязательное, а также то, что отражало время, то, что было пережито родителями нашими и нами. Вот почему так волновала героическая романтика «Молодой гвардии», наизусть и с удовольствием заучивали отрывок «Руки матери». Сейчас перечитываешь с удивлением, видишь явную декламационность, открытую сентиментальность, многословие. У того же Фадеева были гораздо более мощные куски, но читали на школьных вечерах именно это. И еще читали «Алитет уходит в горы», «Кавалера Золотой Звезды» — все это было небезынтересно, но расхолаживало заданность и назидательность.

Хотелось другого, чего — мы еще сами не знаем, еще не можем определить, сформулировать; позднее, может, определим, поймем: искренности, правды чувств, высокой романтики.

И на эту почву падает Есенин, школой почти обойденный, крохотный абзац в учебнике, где что-то о старой деревне и об индивидуализме, о том, что поэт «не понял», «не принял», да еще цитата из Горького, что он скорее не поэт, а орган, созданный для того, чтобы рождать звуки. Не знаем, не разбираемся. Но чувствуем, но переписываем из маленького томика, изданного до войны.

«Несказанное, синее, нежное».

Так рождалась причастность к слову. Вот этого «несказанного, синего, нежного» и ждала и искала душа.

Вот тогда впервые у Константина Паустовского в повести «Черное море» я прочитал о писателе Гарте.

Я еще не знал, кто этот чудак, романтик с головы до ног, живший изумительной, хотя и несколько нищенской жизнью, которой можно было только позавидовать. Он ходил «в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у священника», без конца играл с детьми, жил в мире чудиков, далеких от насущных житейских забот, слушал шум моря и был из сказки, не горькой, выстраданной по-щедрински, не андерсеновской, с правдой абсолютной нереальности, а из какой-то другой сказки, отдаленно похожей на жизнь. Точнее, из жизни, похожей на сказку. Впрочем, как пишет Гончаров в «Обломове» об Илье Ильиче, да, видно, не только о нем, а обо всех нас, русских: «Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка».

В этом самом Гарте все время подчеркивались печаль и неустройство, но его печаль и неустройство были невсамделишными и поэтически завораживающими.

Он размышлял о жизни, сидя в кожаном кресле времен Севастопольской обороны и перелистывая морские справочники.

Конечно, мне нравился этот странный человек, красивый отзвук печали, не той горькой, скрытой, вызванной подлинными потерями и бедами, которые я уже успел узнать на своем коротком веку, а легкой, как дымка. Пьянящей не жестоким хмелем самогона или водки, которыми угощали инвалиды у пивных, а нездешним вкусом вина, которое я никогда не пил, но призрачный вкус которого чувствовал на губах.

«Веселое асти спуманте, иль папского замка вино»...

Я очень любил тогда Паустовского. Он был одним из самых любимых писателей моего поколения; в казенном и скучном книжном море он был островом с цветущей травой. На этом островке творилось чудо человеческих отношений, разлук, встреч... На этом островке люди просыпались из-за тишины, у женщин были узкие, слабо пахнущие духами руки, спустя десятилетия герой узнавал девушку, которую однажды в жизни видел... Уже позднее я понял некоторую облегченность этих отношений, а кое-где явную литературность жестов и слов. Но это пришло потом, позднее. А тогда мир Паустовского покорял поэзией и необычностью. Он был своего рода инъекцией прекрасного, романтиче-

ского. Мир вокруг был труден. Неокрепшая душа, видимо, нуждалась в приводяности, в том, что Атаров позднее назвал «ветром с цветущих берегов».

Кстати говоря, при всей своей тяге к необычному именно Паустовский заставил нас ощутить сдержанную поэзию Мещерской стороны, туман среднерусских луговин, все то, что стало предместием прозы, которую поднимали Яшин, Овечкин, Дорош, социально ее расширив, углубив, проложив мостки к современной деревенской прозе.

Когда-то все мы были читателями Паустовского. Он открывал нам не только города, реки, ветры, точный и строгий язык лодий, но и обращал наш душевный скромный опыт, обделенный многими эстетическими радостями, к тому, что было скрыто, далеко; через него пришли мы не только к Грину, но и к Блоку, Олеше, Бабелю. Должен сознаться, что, испытав очарование Паустовским, я вскоре с жестокостью молодости стал подмечать и подчеркивать для себя некоторую вторичность, реминисцентность, книжность его письма. Позднее, уже после смерти Паустовского, я вновь перечитал его и понял, что он истинный художник. Кроме всего прочего, у него был уникальный дар популяризатора литературы. Толкователя ее. Человека, умеющего передать вкус и цвет чужого слова.

В сегодняшней литературной среде, особенно среди молодежи, часто встречается чуть снисходительное, как бы свысока, отношение к Паустовскому. Им кажется, что он исчерпан, что он художественно несамостоятелен и потому век его ограничен. С этим трудно согласиться. Полагаю, что Паустовский продолжил одну из линий гриновского творчества, возможно не главную у Грина, но наиболее заметную и все равно важную, без которой Грина не понять. Именно то, что можно назвать открыто романтическим, возвышенно-романтическим восприятием жизни. Кроме того, говоря о Паустовском, нельзя не вспомнить и то, что он был «хранителем древностей».

Это было особенно важно в ту пору, когда мы сильно забыли о своих истоках и о своих памятниках, когда защита и сохранение их были делом непростым, требовали мужества, к этому делу не примешивались ни мода, ни что другое. Только чувство ответственности за прошлое нашей национальной культуры. Этому делу Паустовский служил с молодых своих лет и до конца жизни.

Итак, «старая романтика, черное перо». Поговорим об этой наиболее бросающейся в глаза стороне творчества Грина.

Перечитав через ряд лет «Черное море» Паустовского, увидев как бы с отдаления образ чудака-писателя Гарта, я ощутил то, что когда-то волновало меня, а теперь вовсе перестало волновать: аксессуары романтики, как говорят в театре, «приспособления», ее фасад, ее несколько слишком распаханную таинственность. Романтика такого лада присуща, безусловно, и Грину и Паустовскому, но она все же далека от бутафорской романтики, дежурной, используемой как самое дешевое горючее, на котором можно летать...

Юные души, как сухая, знойная земля, ждущая влаги, нуждаются в непохожем, необычно высоком слове.

Недавно на одной московской улице я встретил двух парней, рослых, высоченных, лет семнадцати. Они стояли, склонив головы над какой-то мятой бумажкой, и ломающимися басами пели песню, странную смесь современности и Вертинского, удивительный гибрид цыганщины и туристской песни. Так что же, осуждать их? Они ли виноваты, что принимают за поэзию набор штампов, эклектическую поделку?

И еще одно соображение: именно романтическое, первоначально несущее на себе печать уникальности, единственности, художнического прозрения, чаще всего заигрывается на тысячу ладов; так чистая дождевая капля превращается в миллион пластмассовых бусинок. Романтическое легче всего поддается эксплуатации.

«Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?!» (А. Грин, «Сердце пустыни»).

Это прелестный набор. Кажется, тут есть все, и еще один шажок, еще одно сгущение красок — и картина превратится в роскошный рыночный гобелен с тропическими цветами. Но еле заметная ирония «что вам еще?!» спасает этот кусок, удерживает на той грани, откуда начинается чистая литература, а дочитав страницу, находишь замечательную, именно гриновскую блестящую — фразу о жизни в незнакомой семье — и тут же прощаешь автора.

Впрочем, что значит прощаешь? Пусть он простит нас за непонимание, за ле-

ность нашего чтения, за то, что увидели в нем лишь внешнее, что с первой строки откровенно бросалось в глаза. А ведь был и есть в нем тот потаенный мир, та подлинность мировосприятия, редкостные свойства зрения, что помогли ему увидеть землю, море, людей не такими, какими видим мы. Но это второй слой Грина. Это тот слой, где не найдете вы ни красивых девушек с револьверами, ни куперовских охотников. Здесь другое волшебство, часто вовсе не расцвеченное. Оно озаряет светом художественных прозрений тусклые, нищенские улицы, булыжные мостовые, тьму предреволлюционной России.

Не знаю, как отнесся бы Грин, узнав, что тысячи кафе названы «Алые паруса». Как отнесся бы он к красивеньким Ассольям и кино-Греям с загадочными улыбками.

Грин полупрочитанный, пересказанный в кино, чрезвычайно популярен. Даже что-то шлягерное есть в этой популярности. Вместе с тем как долго не могли создать музей писателя в Старом Крыму. Имелся в виду не академический музей, а просто домик, где проходила и гасла его жизнь.

Вспоминаю разговор с его вдовой — уже на излете ее жизни. Она говорила, и я хорошо запомнил это: «Да не мне этот домик нужен (именно домик, так она сказала), и не Грину он нужен... Вот он кому нужен». Она показала рукой на девчонку, бежавшую босиком по пыльной дороге. Девчонка и не смотрела в сторону домика. Он был ей привычен, а Грина она еще не читала.

И, может быть, оттого, что поленились, не сумели взглянуть внутрь его души, его судьбы, создали другой, старательный и добросовестный музей, даже чуть-чуть помпезный, в Феодосии. Но всё же он не подлинник, а копия.

Судьба давно связала меня с Севастополем. В этом городе прошли, может быть, лучшие месяцы моей юности, здесь я стажировался на флоте, здесь я в полной мере почувствовал атмосферу Грина.

Паустовский очень точно заметил как-то, что Грин умел блистательно и точно воссоздать атмосферу несуществующих городов. Но так же точно умел он передать образ реального города. И в Зурбагане, Лиссе и других экзотических городах вижу я улицы Корабельной стороны Севастополя, самые обыкновенные дворники, акации, берега Балаклавы, вечерний теплый асфальт Подгорного тупика. Это все родное,

исхоженное вдоль и поперек, — только увидено необыкновенными глазами.

Грин — городской писатель, если применить терминологию современной критики. А точнее сказать, он сплав городского писателя с маринистом... Написал эту фразу и остро почувствовал вновь условность таких подразделений. И не городской, и не маринист, и не волшебник, как любят его называть, а просто художник, подлинный художник, написавший *Свою землю и Свое море*.

Вульгарным представляется мне укореившееся в определенные годы мнение об оторванности Грина от родной почвы, о надуманности его мира. Другое дело, что этот его мир, отражавший реальный облик родных для художника городов, был нарисован им в определенном ключе; Грина привлекала странность, загадочность, непохожесть этого мира, его связь с портами иных стран, быстрота меняющейся реальности, возможность проплыть мировой океан, чтобы вернуться в Лисс, а точнее сказать, в родной Севастополь или Феодосию.

Большая часть жизни Грина прошла до революции. Его тяжкая болезнь, его депрессии, желание отойти от литературной жизни, убежать на узенькие припортовые улочки были следствием усталости, отращения к пошлости житейского уклада.

Белинский спрашивал, размышляя о Теодоре Амадее Гофмане: «Что же загнало его в туманную область фантазерства, в это царство саламандр, духов, карликов и чудищ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словом, скука и пошлость общественной жизни, в которой он задыхался и из которой готов был бежать хоть в дом сумасшедших?»

Старая как мир история: разлад между бытом и бытием, между состоявшимся и несбывшимся, трагический неизлечимый разлад. Не отсюда ли «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», тот Грин, что творил легенду несколько более красивую, чем подлинная жизнь? И наряду с яркими, но несколько окостеневшими в своих романтических формах сочинениями вижу я то, что очень давно, еще в молодости, поразило меня в Грине: органический сплав реального и нереального, где ничто нельзя разять и поменять местами. Это как соединение света и тени. А кроме того, что-то потаенное, одновременно больное и высокое — страх перед жизнью и необыкновенная страсть в утверждении ее красоты.

Недавно я видел книгу Грина, изданную «Прогрессом» для иностранцев. Из лучших его рассказов там только «Гнев

отца». Конечно, канонический Грин «Алых парусов» привычнее и легче, с ним как будто все ясно...

В книжке, изданной в 1928 году, «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков», под редакцией недавно умершего Лидина, можно найти очень интересные документы, ведь в этих автобиографиях не только перечень книг и факты жизни, но и характеры самих писателей, их откровенная самооценка. У одних — подробнейшие трактаты с высказываниями, афоризмами, у других — сдержанные, скупые данные, у третьих — лапидарные заметки. Грин короче и скромнее всех:

«Я родился в г. Вятке в 1880 году, 11 августа; образование получил домашнее; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку попал из Сибири, куда был в 63-м году сослан за восстание в Польше. Моя мать — русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне было 11 лет.

16 лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил матросом в Р.О.П. и Торг. в Добровольном Флоте. Я проплавал так три года, затем вернулся домой и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в «Биржевых Ведомостях» под названием «В Италию».

Всего мной написано и напечатано (считая еще не вошедшие в книги) около 350 вещей».

Вот и весь текст. И портрет: Грин в партикулярном костюме, в так не идущей к пиджаку капитанской фуражке, глаза чуть опущены и кажутся воспаленными, болезненными, взгляд их выражает суровость, а на самом деле он очень печален, сосредоточенно печален... Еще шесть лет ему жить на земле, но в лице — как бы тень небытия, предощущение недуга, который сведет его в могилу. И все-таки глаза смотрят грустно, но далеко, куда-то мимо вас.

Как просто было бы сказать, что в синеве моря он видит и парящие алые паруса и пленительный образ **Ассоль**.

Однако **воздержимся**.

Перечитываю первую книгу Грина «Шпак-невидимка». Говоря языком учебников, она передает черты времени, обличает реакцию, наступившую после поражения революции 1905 года. В этих рассказах есть приметы времени, но нет его духа. Это много слабее самых слабых рассказов **Куприна**. Да только **ан** Куприна? Даже странно, что **написано это в зору расцвета**

Горького, Бунина, Л. Андреева, когда другие, даже средние писатели показывали достаточно высокий класс профессионализма. В прозе есть движение сюжета и определенная достоверность обстоятельств, есть антураж...

Есть все, кроме одного. Правды о душе человека. Время как бы протекает сквозь пальцы, оно не остается в нас, возможно, потому, что страдания и радости людей лишены «длительности» (это выражение Томаса Манна) — они сиюминутны, преходящи и отражают конкретный момент.

Подлинная же правда, сказанная о человеке и человечестве, — это момент истины.

Толстой писал однажды: «Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом».

Поразительно, что Толстой, столь чуждый афористичности, с гениальной простотой сформулировал самое главное. Впрочем, не то слово «сформулировал». Какая уж тут формула...

Замечательна здесь эта толстовская оговорка: «...если есть искусство и есть у него цель...»

Перечитываю следующую работу Грина, фантастический рассказ «Остров Рено». Его не включают теперь ни в один сборник. И, наверно, это правильно. Включить его можно было бы только для того, чтобы читатель лучше понял, как непросто так называемый творческий путь.

Рассказ фантастический, но в фантастике этой нет влияния Гоголя или, скажем, Гофмана, скорее вспоминаются здесь популярные и расхожие авторы: Луи Жаколио, Райдер Хаггард, Луи Буссенар. И все время ощущаешь, что русский пишет про иностранцев. Пожалуй, это единственная вещь Грина, читающаяся как перевод с некоего неизвестного иностранного языка.

Более поздние вещи Александра Грина при интернациональной экзотичности фона безусловно связаны с отечеством, с Россией. И ощущение чужого мира, рождающееся при чтении его рассказов, особенно ранних, ассоциация с «бананово-лимонным Сингапуром» исчезает, как только вчитываешься в его письмо.

Теперь следует сказать не только о том, что он видел, не только о материале, но и о том, как видел, о способе изображения.

«Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов

как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца» за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши, наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко».

В стилистике, в образном строе этого куска есть нечто экспрессионистское. Мне вспоминались при чтении кадры из фильма «Голем», который я видел когда-то во ВГИКе, вспоминалась стилистика художника Гросса, работы замечательного художника О. Кокошки, пластика раннего Пудовкина.

Я говорю здесь не о явно оформленном течении, а о способе видения. О сгущенности реализма, о драматизме, о неожиданной трагической отстраненности взгляда на жизнь. Не так ли, хотя совсем в ином стилевом, художественном ключе, решена «Герника» Пикассо, не так ли читаются некоторые строки из «Облака в штанах» Маяковского?

Сложны пересечения путей культуры. В архитектурных ансамблях трагической Хиросимы видел я поразительную экспрессию. Или вспомните руку в Волгоградском мемориале. Нравится ли такое изобразительное решение или кажется чрезмерно натуралистичным, но эта огромная белая рука навсегда останется в твоей памяти.

В рассказе Грина «Позорный столб» изображены обитатели Кантервильской колонии, осужденные за кражи, подлоги, убийства и строящие свой городок. В этом городке повешены вывески с надписями. Первая надпись — «Школа», вторая — «Гостиница», третья — «Тюрьма».

В этой экспрессионистской декорации, в душном, спертом воздухе, в городке, населенном людьми, не знающими, что такое цена жизни, Грин неожиданно, словно соловей на ржавом кладбище машин, начинает высокую и нежную тему торжества любви, добра, преодолевающего жестокость. Рассказ неожиданно кончается, как притча. Наивно и просто: «Они жили долго и умерли в один день». Примечательно, что такой же фразой кончается рассказ «Сто верст по реке».

Он пишет о людях, ненавидящих любовь, и не идет по накатанному пути, не ударяется в сентенции о том, что любовь всепобедна, сильнее смерти, гибели, он просто

показывает, как высока она, как органична для человека и как неорганичен мир злодейства, жестокости, отчуждения.

Я читал этот рассказ, и передо мной вставала иная жизнь, местность, населенная другими людьми, другой художник, которого я бесконечно люблю, — Андрей Платонов. Я вспоминал возвращение Никиты Фирсова после гражданской войны (рассказ «Река Потудань»), когда обострившимся зрением он видит странный мир, где «бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались полевою землей, светлым небесным пространством — город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные».

Вопрос, высказанный Любой, а может быть, и автором, — вопрос о трагически абсурдной бессмысленности жизни: «Голод и нужда слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?»

Экспрессионистская пластика может быть использована и самым подлинным реализмом, если он стремится понять, обострить увиденную правду жизни до символа.

Экспрессионизм — это не только фильм «Кабинет доктора Каллигари», это и революционные видения немецкого художника Гросса, кинематограф раннего Пудовкина и поиски ряда русских писателей (Леонид Андреев, Гаршин, стчасти Горький). И не следует рассматривать экспрессионистскую пластику как нечто оторванное от реализма. Можно видеть в ней элемент, в реализм входящий, обостряющий остроту восприятия.

И Платонов и такой не похожий на него Грин создавали свои миры и свой стиль, они были реалистами своей собственной, единственной и общечеловеческой правды.

Рассказ «Позорный столб» датирован 1911 годом. А в июне 1910 года Толстой записал в дневнике: «Да, благодарю Того, То, что дало, дает мне жизнь и все ей благо, разумеется, духовное, которым я все еще не умею пользоваться, но даже и за телесное, за всю эту красоту, и за любовь, за ласку, за радость общения. Только вспомнишь, что тебе дано ничем не заслуженное благо быть человеком, и сейчас все хорошо и радостно».

Жизнь Грина не надо читать как жизнь романтического страдальца «в английском

сюртуке, с сигарою во рту», которого изобразил молодой Паустовский. Она была полна самых будничных неудобств, а может, и страданий. К тому же он не умел выжать из нее хотя бы минимум удобств.

В рассказе «Крысолов» герой обмолвился: «В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопота о комнате, я нравственно не умел». Ни тени жеста здесь, ни тени кокетства. В этой фразе высказано огромное преимущество безытности, дающей свободу возвышения над бытом.

Безытность не только драма Грина, не только рок его обделенной многими простыми радостями судьбы, но и духовная опора его свободы. И этим он родствен Платонову. Оба прожили одинаково недолгую жизнь — пятьдесят два года. Оба познали душевное и бытовое неустройство, оба нравственно не умели хлопотать о комнате. В их таких разных судьбах есть что-то трагически сходное.

«Ночью душа вырастала в мальчике... Чистые, голубые, радостные сны видел он и ни одного не мог вспомнить утром».

Радость и страдание юной созревающей души.

Рассказ Грина «Гнев отца» удивительным образом перекликается с рассказом Платонова «Семен». «Перед тем, как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их лучше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные занемевшие ноги на ее теплые и засыпал».

Оба писателя остро, почти болезненно ощущают одиночество детской души.

Именно обида ребенка особенно горестна и несправедливость к ребенку особенно несправедлива. Она и воспринята мучительно, как собственная боль, художниками, чуткими к несправедливости вообще. В этом и Платонов и Грин родственны.

Отец Беринга в гриновском рассказе «Гнев отца» просит у сына прощения. За что? За жестокость взрослых, за их непонимание, за их недоверие. Он просит прощения не только за частную несправедливость, но и за весь «гнев» взрослого мира, за весь механизм, может быть, даже и не осознанный взрослой жестокости.

Есть дежурное выражение, оно порядком надоело: гуманистический пафос. Прямо

так и напрашивается. Но воздержимся... Скажем проще. И Платонов и Грин обладали даром сострадания.

«Видений пестрых вереница влечет, усталый теща взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят...»

Конечно, не из этих фетовских строк вырос «Крысолов», но они странным образом перекликаются с пепельным, чуть-чуть мистическим вторым планом этого рассказа, во всяком случае я всегда ощущал не то чтобы переключку, это было бы слишком прямо и просто сказано, но совпадение ладов, как в музыке.

Рассказ «Крысолов» — один из самых блистательных в нашей новеллистике, может быть, самый сильный у Грина. Его светопись черно-белая и в переходе, а затем и в столкновении этих двух цветов, становящихся символами таких вечных понятий, как добро и зло. Грин подмечает множество переходов, «видений пестрых вереницу». Но о самом рассказе чуть позже.

Черной-белый цвет — это цвет начала моего поколения, его детства, ранней юности: теплушки на снегу и медленно, словно нехотя викирующий самолет, сбрасывающий что-то черное на почерневшую землю. И я помню это ощущение расколотой земли, грохочущей, с кусками горячего железа, оставляющего рваные темные дыры в снегу, и человека, который только что был с нами и утешал нас, а теперь вот лежит черный на белой земле, и так ужасающе проста эта перемена.

Черное, черное — шрифты газет, штемпеля на конвертах, черные раструбы репродукторов на площадях. Это больше чем метафора. Это подлинное ощущение, световое ощущение времени.

А белое — это кусок сахара, это картошка, это лист бумаги, на котором пишу письмо отцу, это день без воздушных тревог, это белое, голубое, очистившееся небо.

Дети дотелевизорной эпохи, зрители черно-белого кино, мы были благодарны даже за немного. Лишенные книг во время войны, оторванные от капитанов, мушкетеров, рыцарей — спутников детства, мы были прилежными слушателями радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». Мы жили в малом, плохо устроенном быте. И быт нас не занимал. Вот почему зачитывали до дыр «Гиперболоид инженера Гарина», смотрели по нескольку раз «Город мастеров» (прекрасная сказка Габбе, прекрасный спектакль, сейчас он, кажется, вывал из тюзовских репертуаров).

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды.
Не проходит тишина.

Эту песню пел мой дед, старый русский революционер, переписывавшийся с Лениным и много лет работавший в Сибири и на Дальнем Востоке. И прежде чем в мою судьбу, да и, пожалуй, всего поколения, вошли студотряды, отправлявшиеся в Сибирь и Среднюю Азию, целина, новостройки, — прежде этого появились, возникли такие яркие, необычные, как первые цветные фильмы после черно-белой эпохи, удивительные гриновские города. Они и казались именно той блаженной страной.

Позднее я ощутил некоторую избыточность, напряженную подчеркнутость нездешнего, надбытового, изумительно отрешенного от повседневных реалий мира. Увиделись в нем вдруг папье-маше, декорация, которую убирают — и остается пустой задник сцены. Его фантастическая подлинность распалась, становилась иллюзорной.

В человеческой психологии есть одна особенность: чем яростнее мы очаровываемся — тем острее наше разочарование. Вот так произошло и с Грином.

Необычайная сгущенность романтического, предельная его интенсивность породили обратный эффект, нечто подобное потере цвета.

И не в цветной Гринландии все же при всем ее несомненном обаянии и прелести открылся для меня Александр Грин, а в черно-белом Петрограде, в обстановке суровой, мрачной, соответствующей времени, хранящей, отражающей его точные приметы и черты.

Это не значит, что поздний Грин изменил способ своего видения, просто глубже, со всей полнотой убедительности возникла, родилась не придуманность придуманного. Если в том, раннем, было много фантазии, прозрений (и все-таки ощущался кое-где Эдгар По), угадывались не только родные города Севастополь, Керчь, но и Сидней, Лондон, Амстердам, те, которых он почти не знал, то в «Крысолове» перед нами предстал другой город, «знакомый до слез, до прожилков, до детских припухлых желез...»

Петроград 20-х годов, смутный, с его дворами, огромностью нежилых квартир, черно-белый, город, отринувший старую жизнь, начинающий создавать новую. Не только необычное для Грина место действия, но и неожиданные характеры. Не только рассказчик нов для Грина, но и девуш-

ка, совсем не такая восхитительная, как те, прежние его героини. В ней — неожиданная сила при внешней хрупкости, выстраданная доброта, чем-то близкая доброте героинь Достоевского.

В «Крысолове» есть открытия, которые мы, не осмыслив как следует Грина, считаем чужими, — мотив «чумы XX века», например. Но роман Камю «Чума» еще не был написан. Грин раньше и по-своему ощутил чуму — мотив опасности всечеловеческой гибели, — но у Грина прозвучала еще одна нота, он показал, что из безвыходного на первый взгляд лабиринта судьбы можно выбраться, что выбор возможен, если не потеряешь человеческое в себе, если не перестанешь видеть человеческое в других. Та неотвратимость, которую зловеще напишет Камю, у Грина видится иной, мотив безысходности и трагической заданности судьбы тоже звучит в этом рассказе, но в нем есть и мотив перелома, есть мотив веры... Те вопросы, которые ставили перед своими героями Камю и в целом, психологическом, социальном, ключе — Кафка, звучат в этом рассказе Грина с огромной силой и беспощадностью. Грин окунул своего героя в мир видений, призраков, бреда, в пограничную зону между упадком душевного здоровья и безумием. Мы слышим мотив страха перед городом, людьми, обществом — все это есть у Грина, об этом он сказал примерно в одно время с Кафкой, раньше Камю, возможно, с равной им силой, но с большей верой в человеческие возможности.

Впрочем, не будем устанавливать, кто раньше — Попов или Маркони, реки впадают в моря и общемировому процессу культуры присущ закон взаимопроникновения.

Недавно посмотрев фильм Тарковского «Сталкер», я подумал и о пути героя «Крысолова» по его подземелью. И как удивительны два пласта в этом рассказе, полном причудливости, зловещей фантастики, пласт крысиного мира, кафкианских призраков и другой, такой человечески достоверный и горестный, выраженный в двух людях, в двух образах.

Мне не хочется сказать, что они противопоставлены чумному, крысиному псевдомиру; так было бы слишком просто, почти по учебнику.

Нет, не противопоставлены и не побеждают, может быть, а отстаивают право на существование, право на человеческое в крысином мире, верят в свои возможности и, что самое главное, не потеряли одной, такой возвышающей их над хитроумными

и извортливыми крысосоуществами способности — любить.

«Вы простудитесь, — сказала она, машинально зашипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. — Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Пойдите-ка сюда, гражданин».

Все здесь просто, человечно, нежность вот-вот, кажется, готова переступить барьер sentimentalности. И даже слово «добренькая», такое неожиданное у Грина, жалостное, не только не режет слух, но и кажется единственно уместным.

Такой вроде бы пустяк — случайная встреча, чего там, потеря друг друга в человеческом море, нормальная потеря, каких у нас ежедневно сотни, и вдруг удивительное обобщение: «Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери» (как точно — припомните-ка свою малую или кажущуюся малой потерю). Читаем дальше: «Еще не утоленный голод заслонял впечатление».

Это скупое, словно случайно оброненное примечание и объясняет притупленность чувств героя и его растерянность.

Бессонница, галлюцинации, болезнь, ощущение близкой смерти и все остальное — то, о чем он с иронией говорит, что оно описано не им одним, а до него «разорвавшими свежинку перьями на мелкие части», все это, и даже любовь, так неожиданно и некстати случившаяся в развороченном бурей быте, — это только пролог к другому. Это другое написано с пронзительной достоверностью недостоверного, с реальнейшими, подробнейшими деталями видений, галлюцинаций, с погружением в атмосферу призрачного — «тревоги, отнимающей всякую возможность противодействия, предчувствия встречи с какими-то ужасающими силами», причудливая цепь неформулированных впечатлений, неоформившихся ползучих страхов.

Социальность Грина как бы затенена, она не выявлена так определенно, как у писателей, оперирующих в реальном времени и на реальной земле. Но он передает драму человека, ищущего себя в мире, в обществе, передает если не прямые приметы времени (хотя и такие есть у него в «Крысолове»), но ощущение времени, задумывается над вопросами, которые при всей своей кажущейся абстрактности очень социальные.

В прозе Грина есть спор со злом, поиск света, умение обнаружить сговор темных сил, что так легко спланиваются, что так

едины в своем наступательном порыве. Этот мир темного по-разному персонифицирован. Иногда в Дьяволиаде, иногда в образах обитателей колоний: жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, оживленное многословие «нервно озирающейся души».

От кого же бежит эта страдающая, «нервно озирающаяся душа»? От монстров, иногда напоминающих булгаковских; только Булгаков все время как бы придерживает своей иронией их безудержное, всепобеждающее, наглое движение, Грину же ирония не очень свойственна. Его герой тонет, почти тонет в вязкой тине, в сыпнотифозном бреде, в столпотворении жутких типов, пока вдруг не слышит звук...

Это не мелодия флейты, о которой со светлой печалью в своем старом стихотворении рассказал Леонид Мартынов. Не только символ другой жизни, света, добра, но и некий обобщенный и любимый Гринем образ могущества музыки, разрывающей тишину, крысиный шорох, трусливое и пугающее шуршание. Выход из темных подземелий, из удушья — внятный звук человеческого говора, оркестр голосов, музыка жизни.

Этот же мотив есть в феерии «Алые паруса» — торжествующий хор при встрече Ассолы с возлюбленным. Но в феерии торжество добра чуть назидательно. Все ставится на свои места. Это счастливая концовка сказки, полная аллегорий, метафор.

В «Крысолове» же поэтическая оркестровка сложнее. И слышится здесь не хор фей, не мелодии волшебных скрипок, а всего лишь, говоря словами современного поэта, «надежды маленький оркестрик под управлением любви».

Этот образ надежды очень подходит к гриновскому рассказу. Только надежда выведет из лабиринта, из подземелий, где притворившиеся людьми крысы установили свой закон, страшный, нелюдской. Если принять его, приспособиться к нему, то начнется цепная, всеобщая, всемирная реакция. А может быть, эпидемия насилия, безнаказанного подавления человеческой личности.

И вот что знаменательно. Такой «несоциальный», феерический Грин в этой своей далекой от бригантин прозе дал поистине ужасающий образ того еще не оформленного, но уже все более поднимающего голос зла, что навсегда останется в памяти человечества под именем ф а ш и з м. Совершенно не претендуя на то, чтобы изобразить его социальную сущность, он уловил его под-

земельный, одновременно мистический и уголовно-вульгарный дух.

Это прозрение было, может быть, равным прозрению Томаса Манна в старом его рассказе «Марно и волшебники». Только у Манна в фактуре рассказа присутствовали реалии его страны, реалии уже новой социальной действительности, у Грина же — лишь догадки, лишь эмоциональное прозрение, отдаленный, но очень точный по-своему образ...

Грин показал, как страшны перевертыши, существа, способные перерождаться, менять свою оболочку, свою суть, приспособляться к любой среде и, приспособившись, уничтожать живое, доброе, человеческое и по-человечески незащищенное. «Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это».

Что же спасает?

Любовь?.. Да, конечно, она, об этом уже говорилось. Но главным образом спасает близость людей. Простая, цельная петроградская девушка, дочь ученого, да и сам ее отец, интеллигент, мягкий, вежливый, но готовый пойти на голгофу, лишь бы не дать прорваться и затопить мир крысо-человекам...

Они, эти люди, и есть залог того, что добро, целесообразность, человеческий дух выстоят, победят. Нет такой силы, чтобы сокрушила человеческий дух.

В рассказе «Крысолов» Грин поднялся до подлинно трагического, приоткрыл нечто высокое, может быть, суть человеческой любви, здесь слышен чистый звук, прорывающийся сквозь загаженный шорохами, помехами, крысиными звуками эфир.

И сыпнотифозная ночь, которую мы прожили с героем, ночь противоборства и испытаний, порождает надежду, веру в естественное, в «нравственную непригодность» человека к «свинцовым мерзостям жизни».

Я люблю этот сумрак восторга,
эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы,
вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное
появление
Первых дальних громов — первых слов
на родном языке.

Это сказал Заболоцкий.

Повторим его концовку — «первых слов на родном языке».

Некоторые оппоненты Грина намекали на то, что, дескать, Александр Грин не был

писателем подлинного родного языка. На чем это основано? Вероятней всего, на некоторой внеконкретности его городов. Но подлинность родной почвы ясна всякому, кто внимательно читал Грина и кто знает южные портовые города нашей страны с их неповторимым колоритом. Безусловно, ж этому колориту иногда добавлялся и литературный колорит: отблеск дальних неизведанных городов, что казались Грину воплощением экзотической и будничной портовой жизни.

Могут смутить и имена его героев. Не в том дело, что они экзотичны, таково право художника, но, говоря строго, здесь можно встретить и эклектику, и красоты: так, рядом с напевным именем Ассоль, с романтическим Греем соседствуют имена, чем-то напоминающие собачьи клички, — Фукс, Дери; рядом с бациллообразным именем Энниок соседствует оперная Кармен... Порой это вызывает легкое раздражение своей манерностью. Но писателя судят по его вершинам.

Перечитывая Грина, с холодком трезвости отмечаешь про себя, что некоторые вещи не выдержали испытания временем, что некоторые из его романтических потрясений и катастроф волнуют сегодня меньше не только нас, переживших когда-то первую любовь к Грину, но и новых юных читателей. Признавая все это, чувствуешь все же мощь морской волны, силу удара о гранит набережной, морскую соль и свежесть его прозы.

Да, есть в нем и некий муляжный слой, но есть и подлинный, кровоточащий, сплетенный не из выдуманных заморских стеблей, а из живых сосудов, сообщающих телу жизнь.

Безусловно, лучшее из экзотического осталось, кое-что потускнело, кажется банальным сегодня. Но вот читаешь рассказ «Канат» и поражаешься прозорливости Грина. Как он увидел эту опасную тягу людей насладиться поражением канатоходца, неудавшимся аттракционом.

Обыватель хочет необыкновенного. Необыкновенное для него — это радость поражения того, кто мужественнее, чем он сам.

«Почему ты не падаешь?.. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай!»

Здесь себялюбие оборачивается человеконенавистничеством.

Вот как неожиданно, в свечении софитов, сквозь наступающую тьму чужого, незнакомого города увидел он, такой добрый, даже склонный к идеализации художник, «сказочник», страшную черту толпы — черни. Зависть к необычному, неприятие индивидуальности, человеческой непохожести.

Это старый обывательский мещанский инстинкт. Иногда он ограничивается брюзжанием, улюлюканьем, дегтем на стенах; его укрощает общественная нравственность, этика.

Но если этот инстинкт вырвался и не встретил сопротивления, а, наоборот, если ему подыгрывают, если этика заменяется антиэтикой, возведенной в закон, как это было в гитлеровской Германии, если появляются типы, подобные манновскому фокуснику, если «исправительная колония» Кафки становится не пугающим, далеким от жизни домом художника, а прообразом реального Освенцима или Майданека, то те, кто шептал канатоходцу «падай, падай», те, кто внушал ему смерть и ждал ее как самого редкого завораживающего зрелища, те устанавливают в мире свои законы.

По этим законам многое можно. Устраивать всенародные казни на площадях при стечении многотысячной толпы, под одобрительные крики (это уже не Грин, а реальность, вспомните недавние события «культурной революции» в Китае), по этому закону можно уничтожить больницы и госпитали, как в Кампучии, изымать лекарства как нечто вредное для народа, чуждое его национальным традициям, по этим законам можно ранним августовским утром бросить на спящий город атомную бомбу... Да мало ли что еще и под каким предлогом можно совершить по этим законам.

Оказывается, Александр Степанович Гриневский, чудной романтик Гарт, видевший мир «закутанным в цветной туман», сквозь этот самый туман увидел что-то другое, не радужное, не цветное, но черное, угрожавшее человеку, миру на земле.

Есть судьба художника при жизни, есть его судьба после смерти... Вернее, судьба-то одна, а отзвук ее разный. Время придает силу этому отзвуку или ослабляет его...

Грин воспринимался нами как маринист, певец неведомого, странный романтик, сказочник. Именно такой Грин влек нас на определенном этапе жизни, от такого мно-

где уходили к другим писателям, другим ценностям.

Увлекаясь, впадали в крайность, канонизировали писателя, а тем самым упрощали его.

Было легче видеть его привычным певцом несбывшегося. Несбывшееся сбывалось, становилось тривиальным.

Так песня, которая когда-то поразила тебя новизной, слышанная сто раз подряд, становится привычной и перестает трогать.

Не станем сокрушаться по поводу кафе «Алые паруса», забудем о том обманчиво-романтическом флере, который может приниматься впрямую, всерьез из-за вечной потребности юности видеть мир удивительным и необычайным.

Художник в этом не виноват.

В рассказе «Комендант порта» Грин говорит о старике Тильсе, шутливо про-

званном Комендантом: «Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор, как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов».

Этот человек, физически не приспособленный к морскому делу, слабогрудый, блуждавший по порту как бы без цели, оказывается, был нужен грубоватым морякам. Почему?

Он умел выразить словом то, что ими было пережито, то, о чем сам он мог лишь догадываться... Он бесконечно рассказывал о кораблях, капитанах, парусах, дальних городах.

Но знал больше: о человеческой душе, о преодолении одиночества, о вечном поиске понимания и добра.

В этом он был схож с Грином.



ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Смоляницкий. Дорогой поколения.— Л. Юрьева. Новая встреча с Анной Зегерс.—
Мargarита Алигер. Будь всегда самим собой.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Д. Биленкин. По следам споров.— С. Лянин. Политика, ведущая в никуда.— А. Грувт.
Люди из легенды.

Литература и искусство

ДОРОГОЙ ПОКОЛЕНИЯ

Виктор Тельпугов. *Польнь на снегу. Повести и рассказы.* М. «Советский писатель». 1980.
623 стр.

Однажды в Минске Виктор Тельпугов познакомил меня с высоким светловолосым человеком лет сорока, в железнодорожной форме, отрекомендовавшимся Поборцевым. А когда мы уезжали, Поборцев вместе с женой пришел проводить Тельпугова на вокзал. Стоя чуть в стороне, они втроем оживленно разговаривали до самого отхода поезда — не то что дружеское расположение, а сердечность их общения бросалась в глаза. Фамилия железнодорожника мне показалась знакомой. «Да, да, сын того самого Поборцева, моего командира роты», — ответил Тельпугов.

Случилось так, что, читая повесть В. Тельпугова «Парашютисты», Поборцев, ныне живущий и работающий в Минске, в одном из героев повести узнал отца, а точнее, сердце подсказало: отец.

Он написал автору — и не ошибся: все сошлось и бесстрашный командир десантной роты, погибший в первых боях, старший лейтенант Поборцев, действующий в повести, оказался его отцом.

Писатель открыл сыну отца, ибо рассказал о нем то, о чем мог знать лишь сражавшийся рядом с командиром солдат. Таким солдатом и был Виктор Тельпугов. Он ничего не забыл. Верность памяти, дружбе — главная его человеческая и писательская черта. А память художника, ощущающего личную связь со своим временем, его взлетами и потрясениями, обогащенная душевным опытом пережитого, — это его книги.

«Польнь на снегу», изданную «Советским писателем», можно считать томом избранной прозы, туда безусловно вошло лучшее из написанного В. Тельпуговым. Когда читаешь подряд повести, составившие трилогию («Парашютисты», «Все по местам!», «Польнь на снегу»), и маленькие рассказы, при всем тематическом разнообразии материала отчетливо вырисовывается единая внутренняя тема, которая привлекает пристальное внимание автора, вызывает постоянный писательский интерес.

Я говорю об образе современника, его характере, его исторической судьбе. Обрисованные скупыми выразительными штрихами, перед нами проходят солдаты Отечественной войны, студенты, рабочие, колхозники, скульпторы — удивительно богат и разнообразен мир героев писателя, охвативший широкий круг явлений нашей жизни. А по времени это и первые послевоенные годы, и 60-е, и 70-е с их характерными приметами и проблемами. Читая рассказы В. Тельпугова один за другим, проникаешься мыслями и чувствами его героев, вслед за писателем замечаешь существенные приметы и черты их духовного облика.

Короткий, порой в одну-две странички, рассказ — жанр особый и, надо признаться, не очень-то распространенный в современной литературе, может быть, в силу тех специфических трудностей, которые он таит в себе. Содержание рассказа-миниатюры по уровню художественного общения должно подниматься до высот притчи, при всем

немногословии они **должны** вместить большой жизненный материал. А это требует и особого видения жизни, особой зоркости писательского взгляда, умения в малом, неприметном **ощутить** большое, и тонкого мастерства, способности находить и создавать емкие, запоминающиеся образы, эмоционально насыщенную интонацию. В миниатюре на малом, до предела сжатом пространстве и цена фразы и цена каждому слову особая...

Вот рассказ «Бессмертник». Поначалу это обыкновенная история о том, как работали в Волгограде молодые скульпторы над одним из памятников в честь победы. Но к концу повествование обретает неожиданную глубину. Сюжет прост: в ту пору, когда стал вырисовываться памятник — фигура русской женщины-матери, в глубокой скорби склонившейся над погибшим воином, — в ее каменной руке появился цветок бессмертника. Во время работы цветок запорошило серой крошкой, потом и вовсе сдуло, но на следующее утро бессмертник появился опять. И так каждый день. «Вечером уходят скульпторы домой — нет цветка. Утром, хоть и торопятся, обогнать его не могут. Придут в семь часов — он уже красуется. В шесть явятся — он на посту».

Попытается ли автор разгадать эту тайну — и нам неожиданно откроется новый характер, новое действующее лицо? Или, может быть, это выяснится само собой, когда памятник будет построен? Так или иначе, а скульпторы решают разузнать, кто же приносит цветок. Подозрение падает на самого молодого из них — Васю Мовчана. Это он исчезает ночью — по видимому, ищет цветок. Но, оказывается, он ходил за рыбой на Волгу. А цветок... «Вон ту бабушку видите? Во-о-он к пристани шагает», — показывает Вася. Но выясняется — нет, не она... И не другая... Кто же тогда, кто же?

Мы так и не узнаем, каким образом появлялся бессмертник в руке женщины-матери. Может быть, все-таки Вася Мовчан? Не исключено. Но теперь, когда рассказ подошел к концу, мы понимаем: разгадать эту тайну невозможно. Ведь бессмертник, каждое утро как бы вновь расцветающий на камне памятника, — это символ народной любви к героям, народной памяти, символ бессмертия подвига воинов, защищавших свою родину.

Обыкновенный факт, вероятно, наблюдаемый писателем (кто-то положил бессмертник на каменную ладонь), обобщается до многозначного символа. Автор уходит

от правдоподобия во имя того, чтобы раскрыть самую суть жизненного явления. Отказываясь от правдоподобия, писатель достигает неизмеримо большего — художественной правды.

Читая книгу, видишь, как постепенно обогащается художественная палитра писателя новыми красками, новыми оттенками. Рядом с рассказами, которые отличаются яркие, звучные, вырастающие до символа образы, такими, как «Тополь», «Конь», «Тридцатьчетверка», «Солдатская ложка», возникают другие, написанные в ином ключе, как бы в приглушенных, пастельных тонах, — «Тропинка», овеванный тихой печалью «Почетный караул». Герой рассказа «Азбука Морзе» — пионер, потом солдат Отечественной войны, его романтическая мечта быть услышанным капитанами морских кораблей оборачивается суровой правдой фронтовой действительности: военные корабли слышат его, несущего службу на маяке... Детство стало как бы прелюдией к важной работе в трудный для родины час... А рассказ, если вдуматься, о том, как звенящая героическая нота в детской душе отдается в жизни серьезными делами...

Особое место в творчестве В. Тельпугова занимает ленинская тема. «От старых людей, — говорит писатель, — я слышал много былей и преданий о В. И. Ленине. Некоторые из них уже стали основой моих рассказов...» В двух этих фразах сказано немало: В. Тельпугов собирал и записывал именно изустные рассказы о Ленине. Ему было важно услышать человека, который знал Ленина. Подробности, живые черты, неожиданно всплывающие в таком разговоре, для художника значат чрезвычайно много, их ничем не заменишь. Не менее интересны и важны рассказы людей, слышавших их, в свою очередь, от других, — так можно проследить, как конкретный факт становится преданием. Разумеется, все это было лишь основой, тем зерном, из которого вырастал рассказ, вбиравший в себя и другой — исторический, политический, бытовой материал...

В ряде рассказов в центре — житейский факт, за которым просматривается характерная черта живого облика Ленина, как, например, в миниатюрах «Рыжий Лентя», «Варежки», «Субботник». Однако во всех рассказах о Ленине есть и второй слой — как бы сама собой возникающая мысль о том, какой глубокий, непреходящий след в народном сознании оставляет каждый поступок, слово, мысль Ленина. Колокол, подаренный Лениным крестьянам села Березки,

через много-много лет созывал крестьян встать на защиту родины, когда началась Великая Отечественная война... И читая рассказы и повести В. Тельпугова, посвященные Отечественной войне, словно слышишь голос этого колокола.

Есть закономерность в том, что Виктор Тельпугов, много писавший в послевоенные десятилетия о своих современниках, снова возвратился к той военной грозовой поре, когда начиналась юность его поколения.

Тот, кто прочтет «Парашютистов», эту маленькую повесть о том, как встретили Отечественную войну и свой первый бой солдаты десантной роты, как, израненные, измученные, голодные, они пробирались по территории, занятой немцами, к своим, поймет, что эту вещь автор не мог не написать. Таково эмоциональное воздействие психологической достоверности, возникающей в повести. Вероятно, это происходит, когда произведение рождается в итоге большой внутренней работы художника, всего пережитого, выношенного, передуманного.

Стремясь с наибольшей полнотой показать движение характеров, нравственные приобретения, с которыми герои «Парашютистов» приходят к концу повести, автор начинает издалека, с предвоенной поры. Он рисует будни десантников. Различного рода прыжки с парашютом, ночные тревоги, броски и марши с полной выкладкой — все это требует бесстрашия, решительности, выносливости. Но писатель сумел показать, что солдаты учатся быть не только солдатами, мастерами своего дела — они учатся быть и людьми долга, гражданами, патриотами.

В. Тельпугов правдиво воспроизводит атмосферу в армии той поры, взаимоотношения молодых солдат, их интересы. Он находит живые подробности и характерные черточки солдатского быта, помогающие понять этих ребят, проникнуть в их внутренний мир. Ночные разговоры с другом, поручения товарищу, едущему в отпуск, письма к любимой девушке — как своеобразный внутренний самоотчет. Все это теперь, спустя много лет, проснулось в писателе, подсказанное памятью сердца.

На фоне зримо выписанной картины повседневной солдатской жизни с ее трудностями и преодолениями, радостями и огорчениями раскрываются характеры главных героев повести: солдата Слободкина с его романтической любовью, сумевшего преодолеть и страх и неуверенность в себе; бывшего сверхсрочника, «служаки» старшины Браги, оказавшегося в бою му-

жественным солдатом и заботливым другом; самого справедливого человека в роте, мастера на все руки Кузи; командира роты старшего лейтенанта Поборцева, человека легендарной биографии, удивительного бесстрашия и душевной цельности, того самого Поборцева, с сыном которого подружился писатель. Все они вместе как бы и создают своеобразный коллективный портрет поколения. Они разные — люди активного, не медленного действия и тугодумы, мечтательные и практичные, бесстрашные и робкие в душе, с характером, как кремень, и те, что должны были преодолевать свои слабости, но и они выдерживали тяжелейшие испытания, ибо защищали свою родину, защищали свободу, честь и достоинство человека.

Писатель достоверно показывает всю тяжесть первых дней и недель войны, всю горечь от сознания многократного превосходства противника в технике, от разобщенности наших боевых частей. Но столь же психологически правдиво изображает он мужество и несокрушимую веру в победу своих героев, солдат и офицеров, оказавшихся в бою уже в первый день войны, их поведение в тяжелейших обстоятельствах внезапного удара превосходящих сил противника. И мы понимаем — этих людей победить нельзя.

То, что пережили молодые солдаты, было не только первым боевым крещением, первыми поражениями и первыми победами — это было и познание противника, той чудовищной жестокости и зверств, которые нес с собой фашизм. Иными, более опытными герои повести будут продолжать войну, и Слободкину доведется увидеть победу, а пока они в батальоне выздоравливающих, пока они готовятся к новым боям...

На этом кончается повесть, но автор не смог расстаться со своими главными героями. В повести «Все по местам!», продолжающей «Парашютистов», писатель показывает самоотверженность людей тыла. С нечеловеческим напряжением трудятся на оборонном заводе старые рабочие, женщины, подростки. Фронтовики после ранений с приговором медкомиссии «негоден к строевой». Бомбежки, холод, острая нехватка продовольствия и топлива, а завод работает на полную мощность. Сюда после ранения и попадает бывалый солдат Сергей Слободкин. Он так же самоотверженно трудится, как и все, но снова рвется в бой и в конце концов добивается своего: с комсомольцами уходит на особое задание в тыл врага...

Фронт, тыл, снова фронт. Автор хочет, чтобы его герой прошел все испытания, все пережил, — и мы уже воспринимаем его как некий нарицательный образ солдата. В его скитаниях, в его жизни раскрывается судьба солдата Отечественной войны, а

его характер вбирает в себя черты поколения.

Писатель сказал то, что хотел. И сказал правдиво и ярко. Свидетельство тому — книга «Польна на снегу».

С. СМОЛЯНИЦКИЙ.



НОВАЯ ВСТРЕЧА С АННОЙ ЗЕГЕРС

Анна Зегерс. И снова встреча. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. М. «Прогресс», 1980. 283 стр.

Имя Анны Зегерс хорошо знакомо советскому читателю. Начиная с повести «Восстание рыбаков» (1928), принесшей писательнице литературную известность (на русском языке она появилась в 1930 году), каждая ее новая книга встречается у нас с неизменным вниманием и интересом. Антифашистская тема — главная в творчестве А. Зегерс. Она ощутила уже в раннем романе «Спутники», герои которого — коммунисты разных стран.

После фашистского переворота А. Зегерс была вынуждена покинуть Германию, эмигрировать во Францию, затем в Мексику. Романы о Германии, созданные ею в эмиграции, — «Оцененная голова», «Спасение», «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми» — связаны общностью идейной и нравственно-психологической проблематики. В них запечатлены драматические и противоречивые периоды истории немецкого народа XX века. С бескомпромиссной прямотой писательница сказала горькую правду о жизни страны во время фашистского господства, проанализировала причины, приведшие Германию к катастрофе.

Синтезом многих идейно-художественных исканий А. Зегерс стал роман «Седьмой крест», в котором широта отражения действительности, большая историческая правда, драматическая напряженность, динамизм действия и тонкий психологизм объединились в нерасторжимый, качественно новый сплав.

В монументальном многоплановом романе «Мертвые остаются молодыми» прослежены судьбы Германии на протяжении четверти века, с 1919 года вплоть до последних месяцев второй мировой войны, создана объемная картина жизни разных социальных слоев.

Своеобразную дилогию образуют романы А. Зегерс «Решение» и «Доверие», повествующие о победах и трудностях первых лет становления Германской Демократической Республики.

Перу А. Зегерс принадлежат повести и рассказы, которые в ряде случаев являют-

ся как бы лабораторией, подготавливающей романное полотно, и вместе с тем они неизменно представляют собой самостоятельное, завершенное идейно-художественное целое. В творчестве писательницы можно выделить общие магистральные устойчивые проблемные линии, во многом определяющие собой внутреннее единство созданного ею художественного мира.

В книге «И снова встреча», выпущенной издательством к восьмидесятилетию Анны Зегерс, собраны повести и рассказы разных лет. Некоторые из них впервые появились на русском языке. Составитель и автор предисловия Т. Л. Мотылева, известный советский литературовед и крупнейший в нашей стране знаток, исследователь и популяризатор творчества А. Зегерс, характеризует каждое из вошедших в книгу произведений, раскрывая их проблемное и жанрово-художественное многообразие, связь с большим эпическим миром романов, анализируя эволюцию новеллистики А. Зегерс во времени.

Книга открывается рассказом «Крестьяне из Грушова», взятом из раннего сборника писательницы. Это овеянный духом легенды рассказ о закарпатских крестьянах, в упорной борьбе с правительственными войсками отстаивающих свои права. Весть о совершившейся в России Октябрьской революции дошла до глухой деревушки. Как о сказочном богатыре говорят крестьяне о Ленине. Один из них, Войчук, всем сердцем стремится в далекую Россию. Он одалживает двадцать крон и покупает серп. «Ранней осенью он двинулся в путь и, нанимаясь батраком, с серпом в руках переходил от поля к полю. Оставляя позади себя голую бурую землю, идя навстречу урожаю, он серпом прокладывая себе путь в Россию, куда и пришел».

В своем творчестве А. Зегерс создала целую галерею женщин — стойких, нравственно требовательных, справедливых, способных на самопожертвование. Маленькая, всего на полторы странички, зарисовка «Мария идет на собрание» предвосхищает

разработку темы пролетарской женщины в романах писательницы.

Лаконичен и емок по содержанию рассказ «Квадрат», написанный вскоре после прихода фашистов к власти. Переживания девочки, у которой нацисты убили отца, глубокая преданность его памяти, намерения продолжать его дело — все это передано с большой психологической проницательностью. В «Квадрате» возникает магистральная для А. Зегерс тема эстафеты поколений, преемственности революционной борьбы.

А. Зегерс свойственно и философское раздумье, стремление в краткой форме раскрыть большую нравственную идею. Таков ее триптих «Три дерева». «Три дерева» были написаны в 1940 году, вскоре после завершения «Седьмого креста». Внимательный читатель заметит переключку философско-этической проблематики знаменитого романа и миниатюрных притч.

Писательница уделяла много внимания исследованию социальных и психологических корней фашизма, ее глубоко волновал вопрос, как и почему фашистская проказа смогла войти в души людей. В ряде ее романов дается строгий и трезвый анализ исторических причин, обусловивших приход Гитлера к власти. Но в то же время художника интересует вопрос, каким путем тот или иной конкретный человек шел к своему моральному падению, делался убийцей. В этом смысле характерен рассказ 1943 года «Человек становится нацистом». Рисуя жизненный путь некоего немца, Анна Зегерс говорит не только о нем, но и о многих тысячах ему подобных. Как человек пришел к нацизму? Этап за этапом, начиная со школьного детства, проследживает писательница путь морально-психологической деградации своего персонажа. «Фриц Мюллер разучился отличать доброе от злого, а ведь понимание этого и сделало первого из людей человеком», — пишет Анна Зегерс. За конкретной биографией раскрывается общий смысл, на который указывает само заглавие. Через ряд лет А. Зегерс напишет повесть «Человек и его имя», где расскажет трудную, сложную историю перевоспитания бывшего нациста под влиянием новых общественных отношений и передовых людей ГДР.

Из цикла рассказов «Сила слабых» (1965) в книгу вошла «Агата Швейгерт». Слабые — в данном случае для писательницы синоним понятия рядовые, обыкновенные. Это сказано полемически в противовес понятию «сильные мира сего». Речь идет о людях, ничем, казалось бы, не выделяю-

щихся из общей массы, но именно этих людей писательница делает героями своих произведений на протяжении всего творческого пути. Попадая в жизненные ситуации, требующие серьезного, ответственного решения, ее герои совершают мужественные поступки, проявляют недюжинную силу духа, способность к героизму и самопожертвованию. Концепция социалистического гуманизма А. Зегерс зиждется на этой ее глубокой вере в то, что жизнь, история стимулируют возможности, пробуждают силы каждого рядового человека, заложенные в глубинах его существа и до поры до времени не осознаваемые им самим. В более широком контексте это может быть истолковано как убежденность в том, что жизнедеятельность обычных людей из народа и есть в конечном счете историческое творчество.

Агата Швейгерт — скромная женщина, владелица галантерейной лавки на окраине города. Ее сын Эрнст связывает свою жизнь с антифашистской борьбой, эмигрирует во Францию, затем едет в Испанию, где становится бойцом интернациональной бригады. Агата Швейгерт, всю жизнь просидевшая на одном месте, чьи путешествия ограничились лишь тремя школьными экскурсиями, бросает все, едет вслед за сыном, которого ей так и не суждено было увидеть, ибо он погиб в боях за Испанскую республику. Вырванная из привычной жизненной обстановки, Агата Швейгерт находит в себе силы, чтобы остаться верной делу сына, и мужественно разделяет с гонимыми республиканцами все тяготы и испытания, выпавшие на их долю. Агата Швейгерт — типичный для А. Зегерс женский образ. Своим внутренним нравственным обликом она похожа и на Марию из романа «Мертвые остаются молодыми», и на многих других героинь внешне скромных, неприметных, но сильных духом, стойких в несчастье и до конца верных своим привязанностям и убеждениям.

Творчество А. Зегерс является одним из примеров многообразия и многогранности литературы социалистического реализма. У Зегерс преобладают произведения жизнеподобные, в которых автор вживается во внутренний мир своих персонажей и как бы их глазами смотрит на окружающее. И вместе с тем в позднем творчестве писательница создает повести и рассказы на другой художественной основе: условно-метафорические, фантастические, притчеобразные, в которых оригинально использует иноказание, символику, фантастику, художественное допущение. Повести и рассказы

А. Зегерс 70-х годов — это зачастую поиски условно-лаконичных средств обобщения, они отличаются концентрированностью мысли, необычностью форм ее выражения и предполагают активизацию читательского мышления, заставляя читателя докапываться до той общей идеи, которая лежит в основе произведения. Эти особенности позднего творчества А. Зегерс в той или иной мере характерны для литературного процесса 70-х годов.

В рецензируемую книгу включен цикл рассказов А. Зегерс «Странные встречи» (1973). В цикле три рассказа («Явка», «Встреча в пути», «Предания о неземных пришельцах»), написанных в фантастическом жанре. Повествуя о том, как в разное время инопланетяне посещали Землю и пытались постичь особенности жизни на ней, писательница находит своеобразный художественный ракурс. Каждый раз прилетая на Землю, инопланетяне наблюдали войны, пожары, разрушения. «Кровь, огонь, война» — так они определяют самое характерное, что видели на Земле. Однако Земля поражает их не только этим. Здесь они впервые сталкиваются с искусством, неизвестным их родной планете, хотя ее жители умеют строить машины, мосты, плотины, изобрели средство межпланетного сообщения. Инопланетян поражает упорство, с каким люди продолжают создавать прекрасное, создавать даже перед лицом смерти и разрушения. А замечательному резчику по дереву Маттиасу, творцу подлинных шедевров, убогой кажется далекая звезда, ибо там не знают искусства, там разум и руки используются только на то, что утилитарно полезно.

Психологический рассказ «Явка» сюжетно примыкает к романам Зегерс, в частности к «Седьмому кресту». Зыбая пелена недосказанного, невыявленного окутывает героя «Явки» Эрвина. Он принимал участие в антифашистской борьбе, но в какой-то момент трусил, не выполнил задание, уклонился от встречи с Клаусом, твердым и мужественным человеком, неколебимо преданным делу. Страх, одиночество, угрызения совести гнетут Эрвина, он как бы потерял себя. Остается неясно, произошла ли встреча бывших друзей после войны или картина желанной встречи на заранее условленном месте так живо вставала только в воображении Эрвина. Однако муки совести и чувство вины, испытываемые Эрвином, свидетельствуют о том, что он еще не потерял для общего дела. Нарочитая недоговоренность в данном случае побуждает самого читателя задуматься над теми

морально-психологическими коллизиями, которые изобразила автор.

Рассказ «Встреча в пути», охарактеризованный как «шутка со временем», А. Зегерс строит на художественном допущении. Сдвигая временные пласты, она рисует встречу Гофмана, Гоголя и Кафки в одном из кафе Праги. Зегерс сводит этих трех писателей, ибо ей представляется, что в их художественном мире есть нечто общее — переход реальности в фантастику и фантастики в реальность. В дружеской беседе писатели обсуждают проблемы своей профессии, читают отрывки из произведений, высказывают тонкие суждения о творчестве друг друга, размышляют о явном и воображаемом в искусстве, о силе языка, о единстве слова и смысла. Собеседники затрагивают проблему правды в искусстве. Является ли правдой только то, что можно увидеть своими глазами и потрогать руками? Три знаменитых встретившихся в пражском кафе писателя да и сама А. Зегерс безусловно значительно шире понимают правду в искусстве.

Элементы притчи, иносказания содержит повесть «Каменный век». В ней изображен американский летчик Гэри, воевавший во Вьетнаме под командованием генерала, который утверждал, что бомбардировками американцы отшвырнут Вьетнам назад, в каменный век. Привыкший к насилию и убийству, Гэри совершает в США тяжкое уголовное преступление и мечется в страхе преследования. Историю Гэри А. Зегерс подает как историю человека с нечистой совестью, которому некуда деться, ибо он не может уйти от самого себя, от своих страхов и подозрений. Писательница подводит читателя к невольной мысли: «каменный век» — это в метафорическом значении картина внутреннего мира Гэри с его грубостью и примитивизмом. Гибель Гэри, сорвавшегося в пропасть в горах, куда загнала его мания преследования, воспринимается как вполне заслуженная.

Последняя повесть «И снова встреча» (1977), давшая заглавие сборнику, посвящена мужественным людям с красивой и чистой душой. Рисуя историю республиканца Альфонсо Варела и его жены Селии, которые принимали участие в национально-революционной войне в Испании и продолжили борьбу против франкизма после гибели республики, А. Зегерс прославляет две великие и сильные вечные человеческие страсти — борьбу за свободу и любовь. В образе Альфонсо А. Зегерс романизировала борца-подпольщика, вынужденного скрываться, жить на родине под чужим

именем, строжайше соблюдать все правила конспирации, быть готовым на любые жертвы и лишения. Повесть «И снова встреча» продолжает и развивает дальше не раз встававшую в произведениях А. Зегерс интернациональную проблематику.

В приветствии Центрального Комитета СЕПГ к семидесятипятилетию писательницы говорилось о том, что в ГДР Анну Зегерс чтут как выдающуюся писательницу-коммунистку, которая последовательно и неустанно отдает все силы и способности строительству социализма, укреплению мира, борьбе против фашизма и империализма. «Твои искусные литературные произве-

дения снискали тебе искреннюю любовь и уважение нашего народа и высокое признание во всем мире... Партийность и народность являются основными свойствами твоей художественной деятельности, в которой глубоко запечатлены идеи социалистического гуманизма и пролетарского интернационализма. Большие жизненные вопросы нашего времени и опыт нашего народа находят в ней волнующее и убедительное воплощение». Эти слова с прежней силой и убедительностью звучат и накануне восьмидесятилетия Анны Зегерс.

Л. ЮРЬЕВА.



БУДЬ ВСЕГДА САМИМ СОБОЙ

Бетти Альвер. Дети ветра. Стихотворения и поэмы. Перевод с эстонского. М. «Художественная литература». 1979. 238 стр.

Бетти Альвер — новое имя для читателя русской поэзии. Новое имя, новый голос — эти смыслы неизменно сопрягаются в нашем сознании с приходом в поэзию нового человека, и, разумеется же, молодого. Однако почему же книжка Бетти Альвер, изящная, небольшая по формату, но притом достаточно объемистая, выпущена издательством «Художественная литература»? Что-то не припомнить, чтобы это строгое, почти академическое издательство выпускало первые книжки молодых поэтов. В чем же дело? Может, в том, что на титуле книги стоят еще два слова: перевод с эстонского? Однако же и эстонскую поэзию, лучшее в ней, мы знаем уже на протяжении почти сорока лет. Знаем, читаем, переводим. Кто же все-таки такая Бетти Альвер?

На все наши недоумения серьезно и обстоятельно отвечает предваряющее стихи предисловие, написанное Светланом Семеновым, одним из двух переводчиков, сделавших стихи Бетти Альвер достоянием русской поэзии. С первых же строк предисловия мы узнаем, что Бетти Альвер, заслуженный писатель Эстонской ССР, пришла в литературу почти полвека назад. Многие необычно и непривычно для нас в этой судьбе. Начиная она, оказывается, как прозаик в конце 20-х, в начале 30-х годов опубликовала два романа и повесть, сразу же замеченные читателем и критикой, а уж затем последовал самобытный и яркий сборник стихов. Мы привыкли к обратному пути, к тому, что, начав со стихов, иные писатели становятся интерес-

ными прозаиками. Мы привыкли и к той горькой неизбежности, что поэт, смолodu щедро и охотно публикующийся, с годами, словно бы устав, выступает все реже, а там, бывает, и совсем сходит на нет, и это, в сущности, вполне естественно. А Бетти Альвер на склоне лет вернулась в эстонскую поэзию и стала снова активно действующим поэтом где-то в середине 60-х. Нам неведомо, сквозь какие перипетии и испытания прошла ее живая и сильная душа, но с той поры новые стихи поэтессы появляются все чаще и чаще — в публикациях, в радиопередачах, на литературных вечерах. И эстонские любители поэзии радостно встретили ее возвращение. А для нас это не возвращение, а приход, и тем интереснее эта небольшая, но объемистая книжка.

Истинный поэт иногда совершенно бес- сознательно предвидит и предчувствует свое будущее, и я бы нимало не удивилась, если бы стихотворение «Развязка» было отмечено 70-ми годами:

Тревоге отданный на милость,
Я в шторм взобрался на скалу...
Мне сердце стиснул темный страх:
Что неизменным сохранилось?
Служил добру я или злу?
Что создал я? Что я сберег?

Это стихотворение хочется цитировать целиком, настолько оно созвучно раздумьям, вызванным в нас судьбой поэта. А оно датировано 1936 годом. Вот ведь какое предвидение! И все-таки не удержусь, чтобы не процитировать концовку этого стихотворения:

Но куст, ограбленный ветрами,
Воскликнул: «Смерть не так страшна!
Ведь жизнь богата родняками
И милосердия полна.
Пора, пора с листвою прощаться!
И корни скрыть в ладонях тьмы,
Чтобы к весне опять начаться
И продолжаться до зимы».

И в те же 30-е годы написано стихотворение «Огонь» — кстати, один из любимых образов поэта, — и вот его концовка:

И если где-то рвутся жизни нити —
как он дрожит, смиряя боль и гнев,
как бьется в пламени свечи усталой!
Чтоб мириадами светил в ночном зените
вновь разгореться, смерть преодолев,
и снова слать Земле свои сигналы.

Нет нужды, пожалуй, обращать внимание читателя на то, что перед нами поэзия, серьезно и строго думающая, поэзия глубокой философской мысли, устремленная в сущность явлений. Очевидно, возможно сделать вывод, что в поэзии Бетти Альвер первое место отдано разуму, разуму. Но стоит ли торопиться со столь непреложными выводами? Следует ли вообще ими пользоваться, когда ведешь речь о явлениях, полном противоречий и неуловимостей, непредвиденностей и непредсказуемости, — о поэзии? Сам поэт быстро опровергает наш столь опрометчивый вывод. Я приведу полностью удивительное стихотворение:

В чаще частой ночью грачей
запутал солдат незрячий,
сбоку меч, в кольчуге грудь.
Чует, нету больше моча,
в кровь лицо, одежда в клочья,
худо, плеч не разогнуть.
Тут его дитя нагое,
мальчик, тронувши рукою,
к свету вывел не спеша.
На дороге с ним расстался.
— Разум я, — слепец назвался.
Тот ответил: — Я — душа.

Вот мне и кажется, что когда поэт столь определенной философской углубленности, столь ярко и отчетливо мыслящий отдает, однако, первенство нагому ребенку, способному вывести разум наш из любой непроходимой чащи, — душе человеческой, в этом драгоценном сочетании и скрыта, на мой взгляд, непобедимая сила истинной поэзии, поэзии мыслящей и тем помогающей жить, тем необходимой людям. Такова поэзия Бетти Альвер.

Она отнюдь не однотонна и весьма богата оттенками, интонациями, разными ракурсами. В ней присутствуют и юмор и элементы фольклора. Мне думается, поэту Бетти Альвер весьма припадает в работе ее опыт прозаика. Она умеет написать ярко выраженный характер, точный психологический портрет, целую галерею человеческих портретов: стихотворения «Антс Аблас», «Счастливычк», «Горемыка», «Флей-

тистка», «Ювелир». Ей доступны и ирония и улыбка народной мудрости; ее волнует все, чем волнуемы люди, — разве же не тревожной думой о том, что происходит в мире природы, продиктовано странное и горькое стихотворение: «С диким криком, точно из ада, в платье рваном, по горло в росе полоумная баба-дриада выскочила на шоссе...»

Глубоко народны и национальны по сути своей да и по форме своеобразные и, очевидно, весьма многозначные, чтобы не сказать — глубоко зашифрованные, поэмы Бетти Альвер. Поэмы полны внутренней экспрессии, в них есть пульсирующий мускул стиха, точность и живописность языка. Все тут приходит на помощь поэту: и скомошьи прибауточные интонации и гневная трагедийность большой и поистине драматической поэзии; и сочетание этих столь различных элементов глубоко органично и естественно. Я умышленно не касаюсь сути поэм, их предмета, они трудно пересказываемы да и не люблю я пересказывать поэзию прозой, и сама поэзия этого терпеть не может, уж поверьте мне. Поэзию следует читать и поэзию Бетти Альвер стоит почитать — она приоткрывает еще один мир души, своеобразный и неповторимый, и за его выразительность и полнозвучие следует не забыть (мы часто забываем сделать это) от души поблагодарить переводчиков ее на русский язык. Одна из них — Юнна Мориц, уже достаточно хорошо известна нам и как поэт и как мастер поэтического перевода, а второй — Светлана Семеновна — показал себя в этой своей работе удивительно искусным переводчиком.

Не приходится говорить о высоком поэтическом мастерстве старого эстонского поэта. Не случайно, наверно, что именно Бетти Альвер удалось перевести на родной язык Пушкина, и не только лирику, но и «Медного всадника» и даже «Евгения Онегина».

При всей многозначности поэзии Бетти Альвер для меня дороже всего ее философская лирика, стихи удивительной наполненности мыслью и чувством («Звездный час», «Был сон...», «Рождение искусства» и им подобные). Одним из таких стихотворений я и разрешу себе закончить этот разговор:

Подводила я счесть с жизнью,
неделимое я делила,
наконец кой как догадалась:
не узнаешь ты, не измеришь
жребий свой, пока не помножишь
на летучие вспышки молний
поцелуй всей своей жизни,
мириады чудных мгновений,
тьму-тьмушую смертных болей,
что когда-то пронзили сердце.

Стихотворение датировано 1970 годом, а как оно созвучно вышедшим стихам 30-х годов. Обычно когда в работе поэта случаются длительные паузы, его возвраты приветствуются радостными восклицаниями о том, что перед нами новый поэт, обогащенный годами раздумий, годами одиноче-

ства. В случае с Бетти Альвер ничего подобного не произошло, из своего долгого отсутствия вернулся тот же поэт, тот же мастер и мыслитель, и это особенно драгоценно.

Маргарита АЛИГЕР.



Политика и наука

ПО СЛЕДАМ СПОРОВ

Кибернетика. Итоги развития. Редактор-составитель В. Пекелис. М. «Наука». 1979. 199 стр.

Кибернетика. Современное состояние. Редактор-составитель В. Пекелис. М. «Наука». 1980. 207 стр.

Уже первые шаги кибернетики взметнули бурю. Как оценить тогдашнее воздействие ее идей и свершений на обычного человека? В рецензиях не слишком принято ссылаться на собственный опыт, но, думается, здесь тот самый случай, когда такое свидетельство уместно. Было так, словно раздвинулись все горизонты; вровень с основными понятиями, такими, как вещество, пространство, энергия, время, вдруг встала ни в школе, ни даже в вузе не упомянутая информация. Столь же внезапно уму открылись новые, общие как для звезд, растений, машин, так и для человека закономерности существования; заколебалось прежнее понимание, что есть разум; воображение потрясали успехи первых ЭВМ, и уже чудился скорый надвиг воистину умных машин, готовый нацело изменить облик действительности, перевернуть производство, вывести человека в иное, фантастическое измерение. И споры, споры, полемический накал страстей, прогнозов, головокружительные перспективы, до которых, казалось, рукой подать... И тут же зыбкий, как перед полетом в неизвестность, холодок в груди.

Так это было не для одного меня, когда хлынул поток сообщений о кибернетике. Остается добавить, что в те же самые годы состоялся прорыв в космос и свежа была память о потрясающих и так страшно обернувшихся достижениях ядерной физики. Бурное, яркое, неповторимое время!

К чему эта лирика, когда речь идет о науке? Читаю «Итоги развития», где в подведении итогов эволюции кибернетики за минувшую четверть века собраны наиболее значимые, общедоступные о ней публикации начала 60-х годов, и наталкиваюсь на мнение американского ученого и

писателя Джозефа Крутча: «Читатель, может быть, уже удивляется, почему это писатель-неспециалист с такой горячностью включился в дискуссию, которая, собственно говоря, его не касается. Но в том-то и дело, что этот вопрос касается всех нас, специалистов и неспециалистов. Вся духовная атмосфера нашей эпохи во многом зависит от исхода нынешнего спора о природе человека и границах его возможностей». Этот спор своими попытками создания искусственного интеллекта вызвала кибернетика, он не угас и в наши дни. К тому же, как писал тогда видный советский социолог Э. Араб-Оглы, «проникновение кибернетики как в естествознание, так и в социологию сопровождалось острой идеологической борьбой, сравнимой, пожалуй, по своему общественному резонансу с утверждением гелиоцентрической системы, дарвинизма и теории относительности. И это было вполне понятно, ибо, как и они в свое время, кибернетика не только опрокидывала многие предрассудки в науке и привычные представления в обыденном сознании, но также покушалась на инвестированные в них социальные интересы».

Спор, точно, касался любого из нас, полем сражений были наши умы, сознание входило в ритм научно-технической революции. Иные бои отгремели, сборник «Кибернетика. Итоги развития» читаешь уже отстраненно, сверяя все с опытом прошедших лет. Замечаешь, что второму сборнику («Кибернетика. Современное состояние»), куда вошли в основном статьи первой половины 70-х годов, отчего его название трудно признать удачным, присуща уже иная тональность.

Итак, перед нами книги, отражающие определенный этап развития самой кибер-

нетики и ее общественного осознания. Можно сверить кое-какие прогнозы, проследить эволюцию и поразмыслить. Это тем интересней, что среди авторов сборника (их более 30) не только видные ученые разных специальностей и стран, но и философы, писатели. Нечастый своей представительностью форум мысли!

Как и следовало ожидать, иные прогнозы не сбылись. «Пройдет 20 лет, и канцелярская работа перестанет существовать». Сейчас эта строчка из опубликованной шестнадцать лет назад статьи американского кибернетика Артура Ли Самуэля может вызвать только улыбку. Или такой пассаж: кибернетика, заверяет французский ученый А. Дюрок, разрешит проблему взаимопонимания людей при совместной их деятельности, стоит только должным образом освоить средства передачи информации. Как просто! Увы... Кстати, знакомство с историческим материализмом уже тогда могло бы предостеречь от подобных иллюзий.

Впрочем, тогда на кибернетику, и не только на кибернетику, влиял «эффект перевала». Такого термина в науке нет, но само явление существовало и скорей всего оно даст о себе знать и в грядущем, ибо как отдельная наука, так и вообще человеческая мысль иногда оказываются в положении альпиниста, перед которым после очередного подъема вдруг распахнулись новые горизонты. Тогда взгляд жадно стремится вперед, пытается различить всю смутную даль, и многое ему кажется ближе, чем есть на деле. Это естественно и даже необходимо, если только в людях не течет рыба кровь. Но все непросто. Какие-то aberrации взгляда зависят от идейной направленности, осознанного или неосознанного классового интереса, но, пожалуй, не только от этого. Победы наполняют гордостью, умножают силы... и заставляют переоценивать те средства, какими они достигнуты. Ошибалась ли известная писательница И. Грекова, говоря во втором сборнике о проявлениях в научной среде физико-математического чванства, технократической, в сущности, веры, будто истина дается лишь точным наукам? К сожалению, нет, такое чванство было, его рецидивы дают знать о себе и теперь. Не все прогнозы сбываются, это понятно, показательней то, что более всего неудачными оказались те предвидения, которые сулили обусловленный кибернетикой переворот в сфере социального.

И вот что еще любопытно. В былых дискуссиях, отчасти это заметно и по сбор-

никам, хватало дифирамбов математической точности и логической строгости. Бесспорно, это могучие средства познания, которые многое дали и еще больше дадут. Но почему-то в тени оказалось одно вроде бы очевидное соображение: именно такие достоинства мышления, как совершенное владение формальной логикой, как математичность, сравнительно легко поддались пересадке в технические устройства и составили силу теперешнего машинного интеллекта...

Издержки издержками, тем не менее взгляд в прошлое открывает нам куда больше отрадного, ибо сверка того, что писалось о возможностях и перспективах кибернетики, с тем, что сбылось или сбывается, демонстрирует высокоую в главном и основном предсказательность некогда высказанных мыслей. «По существу, на наших глазах происходит вторая техническая революция, — писал лет пятнадцать назад академик В. Глушков. — Первая такая революция, затронувшая область физических усилий, была связана с созданием двигателя, умножившего физическую мощь человечества. Теперь же мы являемся свидетелями рождения универсальных автоматов, которые помогут неограниченно увеличить интеллектуальную мощь человечества». Прошло не так уж много времени, и авторы второго сборника смогли констатировать, что некоторые важные направления научной, технической и хозяйственной деятельности стали немыслимы без компьютеров и соответствующего обеспечения, что трудно найти сферу практики, где все это не применялось бы, равно как и сыскать человека, которого достижения кибернетики никак не коснулись (говоря о быте, достаточно упомянуть, что компьютеры рассчитывают прогноз погоды, все чаще регулируют уличное движение, начисляют зарплату, незримо присутствуют за окошками авиационных и железнодорожных касс и так далее). Мы сами не заметили, как достижения кибернетики вошли в фундамент всей нашей цивилизации и стали одной из ее основ. «Кибернетика, — отмечают во втором сборнике академик А. Берг и доктор философских наук Б. Бирюков, — внесла большой вклад в научную картину мира в целом, в методологию научного познания, в пути и тенденции практического изменения мира человеком».

Между прочим, кибернетика продолжила (может быть, завершила?) поиск истинного места человека в структуре мироздания. Этот процесс начался с признания, что Земля вовсе не центр Вселенной, продолжился

фактом родства человека с обезьяной и, следовательно, опровержением догмата о его божественной природе; кибернетика, задавшись конструированием искусственного интеллекта, тем самым атаковала мнение об избранничестве разума. Самолюбие при таких операциях страдало и страдает, но, заметим, всякий шаг по пути низведения человека с им же созданного пьедестала наделял нас новым могуществом, что естественно, так как умаление означало на деле отказ от ложных иллюзий и более истинный взгляд на мир.

Говоря о сборниках, нельзя пройти мимо споров насчет искусственного интеллекта. Здесь, как это неизбежно бывает в широких дискуссиях, давно наметились крайние точки зрения: по мнению одних, искусственный, равный человеческому, тем более его превосходящий разум есть утопия, чужь, и чужь вредная; другие же, наоборот, настаивали, что машинный интеллект уже реальность и вообще превосходству человеческого разума скоро конец. Авторы сборников, а они люди безусловно компетентные, далеки от таких крайностей. Не потому, что истина, как иногда считают, лежит посередине; все гораздо, гораздо сложнее, истина вообще может оказаться вне плоскости привычных «да» и «нет». Касаясь истории познания, в статье, полемично названной «Мифы науки», резче всего об этом говорит видный писатель и мыслитель Станислав Лем. Сами споры пророков торжества машинного разума и его отрицателей, полагает он, «знаменуют детский или даже младенческий возраст новой науки, и от них в ее дальнейшем развитии не останется и следа». Будет иное! — заключает Лем.

Жизнь уже внесла коррективы в спор, и они работают как раз на главенствующую в сборниках точку зрения. Р. Зарипов, крупный специалист в области машинного моделирования музыки, знакомит нас во втором сборнике с результатами одного, пожалуй, сенсационного опыта, для которого «было выбрано восемь мелодий песен известных советских композиторов... и столько же мелодий, сочиненных машиной «Урал-2». Все эти мелодии анонимно и в произвольном порядке проигрывались слушателям, которые должны были их оценить по пятибалльной шкале. Экспериментом были охвачены как знатоки музыки (студенты Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, артисты Большого театра), так и неспециалисты (школьники, студенты технического вуза, ученые-математики, просто радиослушатели) —

всего свыше 600 человек. Результат? Во-первых, даже музыкальные аудитории не смогли различить, какие мелодии принадлежат композиторам, а какие машине, во-вторых, более высокие оценки были выставлены машинным сочинениям...

Выходит, машины уже работают творчески и скептики посрамлены?! Ответ жизни полон иронии. С одной стороны, машины, и не только в музыке, действительно начали делать то, что извечно считалось прерогативой творческого ума. А с другой стороны, тем же самым премудрым несовершеннейшим компьютерам не даются простейшие интеллектуальные операции, и узнать, выделить, скажем, муху в тарелке борща для них неизмеримо труднее, если вообще возможно, чем вывести новую математическую теорему или направить космический корабль!

Такой вот парадокс. Впрочем, для кого как! Давние, включенные в первый сборник статьи Джозефа Крутчя и крупнейшего болгарского философа Тодора Павлова недаром назывались «Мозг — не машина», «Человек — не машина», а академик И. Артоболевский и доктор технических наук А. Кобринский почти двадцать лет назад писали: «И чем глубже будет познавать человек самого себя, тем более глубокие бездны незнания будут перед ним открываться, чем больше «человекоподобия» человек будет вкладывать, пользуясь своими знаниями, в автоматы, тем точнее он сумеет указать различие между собой и своим творением и, что самое главное, тем существеннее станут эти различия. Такова диалектика кибернетики!»

Не парадокс ли другое? Сомнительная, во всяком случае, далекая опасность «электронного джина» тотчас приковала к себе всеобщее внимание. А ненадуманная и уже в те годы надвинувшаяся угроза экологического кризиса была замечена позже... Вот это обстоятельство требует самого пристального внимания и осмысления, если мы не хотим повторения чего-то подобного.

И довольно об этом. Иногда «умные» машины» кажутся воплощением кибернетики, центром ее возможностей и проблем, тогда как они лишь мощное орудие умственного труда и видеть в них смысл кибернетики примерно то же самое, что сводить суть астрономии к совершенствованию телескопов. Существует более 20 определений, что есть кибернетика; это говорит о сложности и новизне ее предмета, но это может означать и растекание науки, дробление ее задач и целей. Если это так, что же тогда в ней главное на сегодняшний и

завтрашний день? Об этом сейчас идут споры. Крайне значимыми представляются доводы теперешнего председателя Совета по кибернетике АН СССР академика Б. Петрова в пользу того, что главной точкой приложения сил кибернетики должны стать проблемы так называемых сверхсложных и динамичных систем, поскольку решение таких проблем безотлагательно для общества, а прежние методы их изучения, организации, управления ими уже неэффективны.

Вкратце дело вот в чем. «Кибернетика, — пишут А. Берг и Б. Бирюков, — это ответ человеческого познания на потребность общества в решении точными средствами проблем управления и организаций». Жизнь усложняется и ускоряется, это заметно невооруженным глазом. Возникли социально-экономические, человеко-машинные, природно-технические комплексы и структуры невиданной сложности (десятки и сотни тысяч параметров!), к тому же крайне динамичные. Даже изучать их, не то что управлять ими по старинке не получается. Новый и с новыми свойствами объект науки! Здесь многое, очень многое

зависит от кибернетики, ее методов и ожидаемых результатов.

Похоже, сейчас она как раз выходит на новые рубежи. Так это или нет, мы, надо полагать, вскоре узнаем. В том числе из очередных, того же типа, как эти, сборников, чье периодическое издание планируется под той же, что и теперь, рубрикой «Кибернетика — неограниченные возможности и возможные ограничения». А что касается двух вышедших, то в разговоре о них я следовал методу недавно возникшей школы кибернетиков-негативистов с их постулатом: «Мозг — это фильтр информации». Так что все претензии к теории...

Ну а если серьезно, то сборники, хотя они в основном и отражают вчерашний день кибернетики, конечно, содержат в себе куда больше интересного, актуального, общественно значимого, чем об этом сказано. Надо надеяться, что последующие будут таким же или лучшим форумом мысли. Проблемы и перспективы кибернетики затрагивают всех нас, поэтому будем следить за новыми выпусками. И думать над ними.

Д. БИЛЕНКИН.



ПОЛИТИКА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА

Эрнст Генри. Китай против Азии. М. Агентство печати Новости. 1979. 98 стр.

Новая работа старейшего нашего журналиста-международника Эрнста Генри невелика по объему, легко читается и вместе с тем наполнена содержанием, которое заставляет задуматься не только о существе нынешней политики китайских руководителей, но и о том, чем эта политика грозит Азии и всему миру.

Тема, к которой обратился Эрнст Генри, одна из самых важных и самых жгучих для судеб человечества. Если принимать во внимание идеи, которыми руководствуются пекинские лидеры, их практическую внешнеполитическую деятельность и серьезно задуматься над всем этим, тогда неизбежно приходится говорить о том, что Китай действительно к настоящему времени стал, как пишет Эрнст Генри, «самой воинственной» страной в мире. Если еще есть надежда на то, что в США могут найтись силы, которые понимают всю гибельность новой мировой войны и потому могут учитывать это в своей политике, то в Пекине официальная доктрина его руководителей не связана заботами о сотнях миллионов неизбежных жертв будущей ми-

ровой войны. Центральной установкой китайской внешней политики вот уже в течение полутора десятилетий является курс на войну. Как показывает жизнь, пекинские руководители не считают себя связанными никакими международными нормами и обязательствами, если перед ними открывается возможность на практике осуществить новые разделы своих экспансионистских планов.

В первой половине XX века планы создания мировой империи вынашивали и пытались осуществить гитлеровцы под лозунгом «Германия превыше всего!», во второй половине века на этот путь вступили пекинские лидеры, которые уже сейчас открыто провозглашают, что, по их мнению, «XXI век будет веком китайцев»¹. В определенном смысле внешнеполитическая доктрина Мао Цзэдуна и его последователей складывается из представлений, привычных для большинства китайских императоров. В многотысячелетней истории Китая только небольшие по времени пе-

¹ «Чжунго даянянь бао», 9 июня 1979 года.

риоды были мирными или эпохой, когда Китай сам подвергался давлению со стороны внешних сил (таким исключением, в частности, был примерно столетний период — с середины прошлого века до середины нашего столетия). В основном же китайские властители проводили политику агрессии, войн, захватов чужих территорий. Не случайно к настоящему времени территория Китая более чем наполовину состоит из насильственно присоединенных к Китаю земель, на которых живут десятки миллионов некитайцев (неханьцев). Если бы пекинские руководители осуществляли политику мира, не было бы и нужды вспоминать об исторических корнях их экспансии в настоящее время.

Можно было бы много рассуждать о том, чем же вызывается нынешняя имперская политика пекинских лидеров, однако главное в международной политике — факты. Они говорят о том, что китайские лидеры, начиная с Мао Цзедунa, проводят политику подготовки к войне и внешней экспансии. Именно под углом гегемонистской внешней политики Пекина в настоящее время приходится смотреть на всю деятельность китайских руководителей как внутри КНР, так и за ее рубежами.

Внешняя политика современного Китая имеет такие особенности, которые нуждаются в пристальном рассмотрении. Здесь прежде всего важно видеть, что Пекин и Вашингтон налаживают совместную игру на мировой арене, направленную против сил мира, демократии и социализма. Особенно отчетливо роль Пекина как не просто подпевалы, но прямого пособника американского империализма выявилась в ходе событий вокруг Афганистана. Здесь Пекин полностью солидаризировался со стремлением Вашингтона преграждать путь социальному прогрессу, с попытками с помощью военной силы вмешиваться в дела независимого афганского государства.

На рубеже 80-х годов Пекин, применяя военную силу или путем оказания материальной поддержки бандитским шайкам, выступающим против законного правительства, неоднократно грубо вмешивался в дела своих азиатских соседей. В прошлом году он совершил вооруженное нападение на Социалистическую Республику Вьетнам, ныне провокационно разжигает военную истерию вокруг Афганистана. Выступая в роли «самого надежного» из «друзей» Вашингтона, Дэн Сяопин в интервью американской журналистке заявил, что «основное внимание стран всего мира должно быть переключено на кризис в Афганистане».

Китайское оружие, китайские военные инструкторы — вот вклад Пекина в нарушение бандитскими шайками суверенитета Афганистана. Таким образом, новым элементом во внешней политике Пекина в последние годы становится создание крайне опасных в военном отношении кризисных ситуаций в Азии, в соседних с Китаем странах. Весьма характерно, что Пекин стремится нагнетать военную напряженность там и тогда, где и когда это совпадает с интересами воинственных кругов США.

Углубляющаяся коалиция Пекина и Вашингтона оказывает воздействие на политику развивающихся государств. Некоторые из них под давлением этого обстоятельства пытаются держаться в стороне от главных острых вопросов современности. С одной стороны, это, конечно, будет определенным образом ослаблять дело мира, прогресса и национально-освободительного движения. Однако, с другой стороны, явный переход Пекина на сторону сил империализма будет породить напряженное отношение к нему в развивающихся странах, в первую очередь у географических соседей КНР.

Развитие международных событий все более ярко свидетельствует о том, что в тех случаях, когда сталкиваются интересы США и какой-либо из развивающихся стран, целой группы развивающихся стран, Китай сегодня не только не выступает, как это он обычно делал ранее, хотя бы на словах в роли «защитника» интересов развивающихся государств, но, напротив, убеждает развивающиеся страны жертвовать своими интересами, подчиняя их планам американского империализма. Продолжая именовать себя развивающейся страной, Китай все более превращается в троянского коня Вашингтона, пытающегося пасть в стане развивающихся стран.

В этой связи можно вспомнить о том, что Хуа Гофэн был последним из зарубежных государственных руководителей, который нанес официальный визит шаху Ирана, перед тем как Реза Пехлеви был свергнут народом. Этот шаг полностью соответствовал китайской политике поддержки позиции проамериканских режимов. Пекин без оглядки, вслепую полагался на мнение Вашингтона о том, что власть шаха Ирана является прочной. Пекинский лидер стремился угодить Вашингтону, несмотря на возмущение политикой шаха, ширившееся в Иране. Таким образом, визит главы китайского правительства и руководителя правящей политической партии Китая в Те-

геран явился яркой иллюстрацией существа китайской политики, для которой интересы налаживания отношений с американским империализмом и его союзниками важнее развития отношений с прогрессивными силами развивающихся стран.

Действия Хуа Гофэна были настолько вызывающими, пренебрежение со стороны Пекина позицией сил, выступавших против шахского режима, настолько явным, что аятолла Хомейни реагировал на это чрезвычайно резко, заявив: «...премьер-министр Китая прошагал по трупам нашего народа и выразил восхищение мерами, принятыми шахом во имя развития Ирана»².

В своей работе Эрнст Генри анализирует возможные тенденции в политике Пекина относительно ближних и дальних соседей Китая. Трудно предсказывать ход событий, но можно с уверенностью сказать, что от развивающегося альянса Пекина и Вашингтона, во всяком случае, не выиграет дело мира, прогресса, стабильности, разрядки международной напряженности; напротив, от него потерпят урон те страны, которые окажутся первыми в списке экспансионистских appetitов Китая или США. Эрнст Генри совершенно справедливо отмечает в своей книге, что Пекин ныне является соучастником осуществления империализмом его глобальной стратегии.

В то же время очень важно подчеркнуть, и эта мысль пронизывает всю работу Эрнста Генри, что китайским лидерам, как и нацистам, наиболее близки такие понятия, как «раса» и «нация». Не случайно в последние годы, уже после смерти Мао Цзэдуна, его преемники стали все чаще употреблять слово «нация», рассуждая об «исторической миссии» и «предназначении» Китая.

Сегодня Пекин угрожает прежде всего Азии, особенно Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, а завтра он может нанести удар в иных районах земного шара. Ни один из наследников «великого кормчего» не отмежевался от известных территориальных претензий, выдвинутых в свое время Мао Цзэдуном. Напротив, замыслы нынешних китайских руководителей представляются безумными и опасными. Не случайно они прославляют древних властителей, захватчиков чужих земель. Например, совсем недавно в КНР снова хвалили Чингисхана, в частности, за то, что при нем и его наследниках значительно расширились пределы Китая.

Здравомыслящие люди в Китае всегда выступали против планов, направленных на отторжение территорий других стран, в частности северных соседей Китая. Издеваясь над попытками современных ему националистически настроенных китайских стратегов взять за образец для себя Чингисхана, объявить его китайским ханом, назвать его захваты чужих территорий прогрессивным делом, совершенным якобы в интересах Китая, великий китайский писатель Лу Синь в свое время, в 1934 году, в частности, писал, что русские могли бы на том основании, что Чингисхан завоевал российские территории по времени раньше, чем он покорил китайские земли, заявить, что «наш (то есть российский) Чингисхан покорил (ваш) Китай». А ведь на этом основании, то есть если следовать логике нынешних китайских лидеров, можно было бы объявить почти весь Китай частью территории России.

Вашингтон делает вид, что его не касаются расистские замыслы Пекина китанизировать прилегающие к КНР территории ряда стран Азии. Американцам и европейцам, справедливо подчеркивает Эрнст Генри, давно следовало бы понять: пекинские стратеги руководствуются как одним из главных тезисов мыслью о том, что в огне будущей войны должны сгореть прежде всего нынешние развитые страны Северной Америки и Западной Европы. Антиевропеизм и антиамериканизм нынешней пекинской внешней политики не выступают на поверхность, но они существуют. Ни один китайский лидер в последние годы не осуждал мысли Мао Цзэдуна о характере будущей войны, ни один из них не отказывался от безумных надежд на то, что будущая война принесет на землю «очищение», ибо в этой войне хотя и погибнут европейские народы, народы североамериканского континента, но зато выживут несколько миллионов китайцев, которые «наведут порядок» на земном шаре и создадут на земле одно-единственное всемирное государство с центром в Китае.

Альянс Пекина и Вашингтона в стратегическом смысле не имеет будущего. Политика современных китайских лидеров ведет в никуда. Однако в тактическом плане развитие политики Пекина, развитие китайско-американского союза чрезвычайно опасно и может принести неисчислимые бедствия народам всего мира. К бдительности и еще раз к бдительности призывает книга Эрнста Генри все миролюбивые силы нашей планеты.

² Бейрутский еженедельник «Манди морянг», 8 января 1979 года.



ЛЮДИ ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Революционные латышские стрелки (1917—1920). Рига. «Зинатне». 1980. 352 стр.

Едва ли кто-нибудь из бывавших в Риге равнодушно прошел мимо превосходно выполненного памятника латышским стрелкам на набережной Даугавы. Это дань благодарных потомков своим героям. И вот перед нами еще один памятник, но уже другого рода — книга «Революционные латышские стрелки», коллективный труд латышских историков, вышедший в связи с сорокалетием восстановления советской власти в Латвии.

Если высеченные из гранита суровые фигуры трех воинов в обобщенной форме передают их силу и непреклонную решимость в борьбе, то уже с суперобложки, с форзацев, а затем и со страниц книги глядят на нас живые лица реальных людей, участников великого исторического действия. Книга же в целом — панорамное и впечатляющее повествование о подвиге латышских стрелков в революции и гражданской войне.

Еще в 1915 году, когда германские войска глубоко вклинились в прибалтийские губернии России, в составе XII армии Северного фронта появились новые формирования — сначала батальоны, а затем и полки латышских стрелков. Они участвовали во многих боях, показав себя мужественными и стойкими воинами. После Февральской революции русская и латышская буржуазия затратила немало сил, чтобы заставить их воевать «до победного конца» в империалистической войне. Но история рассудила иначе. Благодаря настойчивым усилиям большевиков латышские полки, состоявшие главным образом из рабочих и безземельных крестьян, быстро проникались революционными настроениями. Переломным в их судьбе стало 17 мая 1917 года, когда 2-й съезд латышских стрелков принял большевистскую революцию, выразил недоверие Временному правительству и потребовал перехода всей власти к Советам. В обращении съезда к В. И. Ленину говорилось: «Мы приветствуем Вас как величайшего тактика пролетариата России, подлинного вождя революционной борьбы, выразителя наших дум и желаем видеть Вас в нашей среде». Этот знаменательный день стал началом славной истории революционных красных латышских стрелков.

Приняв активнейшее участие в установлении советской власти на неоккупирован-

ной части Латвии, стрелки стали надежной вооруженной опорой ее не только в прифронтовых районах, но и в самом сердце революции — в Петрограде, а потом и по всей России. На исходе ноября 1917 года в столицу прибыл 6-й Тукумский полк, а следом за ним сводная рота из представителей всех латышских полков в составе 540 стрелков, из которых 317 были коммунистами. Тогдашний комендант Смольного, а затем и комендант Кремля балтийский моряк П. Мальков вспоминает: «Это они, мужественные латышские стрелки, вслед за героическими красногвардейцами Питера и доблестными моряками Балтики выполняли в суровую зиму 1917/18 года, вечно впроголодь, самые сложные боевые задания сначала Военно-Революционного комитета, затем ВЧК, Совнаркома и ВЦИК. Это они, красногвардейцы, матросы и латышские стрелки, бдительно несли охрану цитадели революции — Смольного, охрану первого в мире Советского правительства, охрану Ленина!..»¹

После захвата Латвии кайзеровскими войсками латышские полки отошли в советскую Россию, где в апреле 1918 года были сведены в стрелковую дивизию. Первым ее начальником стал Иоаким Иоакимович Вацietис. Кадровый военный, командир 5-го Земгальского латышского стрелкового полка полковник Вацietис с первых дней Октябрьской революции перешел на сторону советской власти и с честью пронес через всю жизнь высокое звание красного командира. Летом 1918 года он командовал войсками Восточного фронта, а осенью того же года по предложению В. И. Ленина был назначен главнокомандующим вооруженными силами республики.

Трудно даже просто перечислить все случаи участия латышских стрелков в защите завоеваний Октября. В книге помещена карта с указанием мест, где латышским стрелкам довелось воевать на фронтах гражданской войны и бороться с внутренней контрреволюцией в конце 1917 и в 1918 годах. Их около 50. Латышские стрелки вместе с русскими братьями воевали на Северном, Южном и Восточном фронтах, участвовали в подавлении контрреволюционных мятежей в Москве, Сара-

¹ П. Мальков. Записки коменданта Московского Кремля. М. 1961, стр. 61.

тове, Муроме, Ярославле, Рыбинске... За героическую оборону Казани в августе 1918 года 5-й стрелковый латышский полк первым среди воинских частей республики был награжден почетным знаменем ВЦИК.

Не легче назвать все военные дороги, по которым пришлось пройти латышским стрелкам и в последующие два года войны. Девятнадцатый год начался для них боями за освобождение Латвии от интервентов и белогвардейцев. «Латышские стрелки! Трудовой народ Латвии поздравляет вас с вашим победоносным походом в Латвию... — писала валкская газета «Красное знамя», — трудовая Латвия духовно едина с вами и с нетерпением ждет вашего прихода». 4 января 1919 года латышские красные полки вступили в Ригу. А затем, вынужденные покинуть родную землю, они снова воевали на самых трудных участках многих фронтов.

Когда осенью 1919 года полчища Деникина угрожали Москве, латышская дивизия составила костяк ударной группы, сформированной для разгрома врага. В знаменитом Орловско-Кромском сражении латыши дрались с необыкновенным упорством и отвагой. Достаточно сказать, что за подвиги, совершенные в боях против Деникина, более 50 бойцов и командиров латышской дивизии были награждены орденом Красного Знамени. Среди них тогдашний начальник дивизии Фридрих Калнынь, командир бригады Аугуст Фрейберг, командиры полков Янис Кришнянис, Густав Бокис, Фрицис Лабренцис и другие. Четыре ордена Красного Знамени украсили грудь Яна Фрицевича Фабрициуса — сына латышского батрака, коммуниста с 1903 года, прошедшего путь от штабс-капитана одного из старых латышских полков до комиссара и командира дивизий в годы гражданской войны. Когда в августовский день 1929 года самолет, на котором летел прославленный полководец, упал в море недалеко от берега, Ян Фабрициус подумал не о себе, а бросился спасать женщину с ребенком. Они успели выбраться из тонущей машины, а он погиб, самой смертью своей еще раз доказав верность долгу.

Потом был врангелевский фронт, героическая оборона Каховского и Корсуньского плацдармов, штурм Перекопа. За эти бои еще 27 воинов удостоились высшей награды республики — ордена Красного Знамени.

Отгремела гражданская война, в которой красные латышские стрелки покрыли себя

немеркнувшей славой как стойкие, мужественные и преданные советской власти бойцы. Тысячи латышей пали в боях, до конца выполнив свой интернациональный долг. Дальнейшее существование латышской дивизии, состав которой уже не был национально однородным, стало нецелесообразным. В конце 1920 года она слилась с другими частями Красной Армии, завершив свой доблестный боевой путь.

Рецензируемая книга не первый очерк истории этого легендарного соединения. Еще в 20-х годах при Латышской секции Коминтерна был образован Инициативный комитет, а затем при Латышской секции ЦК ВКП(б) — Комиссия по истории латышских стрелков. В эти органы вошли ветераны гражданской войны и видные командиры латышских стрелков К. Стуцка, Р. Апинис, Т. Драудын, Ю. Данишевский, К. Янелис, В. Штраус и другие. Для них это тоже было боевым заданием. Отстоять честь воинов революции от злопыхательских наскоков буржуазных историографов — такова была благородная цель. Но тогда были сделаны лишь первые шаги. Широкий размах изучение истории латышских стрелков приобрело уже после Великой Отечественной войны и особенно со второй половины 50-х годов. Накапливался новый фактический материал, расчищались наслоения прошлых лет, воскрешались забытые имена. Усилиями целого коллектива латышских историков был создан фундаментальный труд «История латышских стрелков (1915—1920)», увидевший свет в 1970 году на латышском языке и в 1972-м — на русском. И вот теперь перед нами, можно сказать, популярный вариант книги, рассчитанный на массовую читательскую аудиторию.

Написанная в несколько суховатой манере, книга эта тем не менее дает ясное представление о многотрудном и славном боевом пути революционных латышских стрелков. Следует также отметить ее отличное оформление. Множество уникальных фотографий и схем хорошо дополняют текст и представляют самостоятельный интерес. Мы разделяем надежду, высказанную авторами в предисловии, что книга «будет с интересом встречена читателями Советской страны — нашей многонациональной социалистической Родины».

А. ГРУНТ,
доктор исторических наук

КОРОТКО О КНИГАХ

НИКОЛАЙ КУЗЬМИН. Рассвет. Повесть о Федоре Сергееве (Артеме). («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1979. 454 стр.

Один из представителей бессмертной ленинской гвардии, человек необыкновенно цельный, не знающий колебаний в борьбе за дело, которому посвятил жизнь, Артем являет собой образец неустрашимости и воли. Вместе с тем он трогательно прост, порою наивен в житейских делах. Едва ли не доминирующая черта его личности — обостренное чувство социальной справедливости...

Издания популярной серии «Пламенные революционеры», как известно, представляют собой исторические романы и повести о выдающихся деятелях революционного движения разных времен и народов. О многих из них существует обширная литература. И все же, прочитав едва ли не новую книгу с эмблемой «ПР», убеждаешься, что прежние представления о ее герое были приблизительными и во многом поверхностными.

Центральный персонаж повести Николая Кузьмина «Рассвет», вышедшей в этой серии, — Артем. Жизнь Федора Сергеева (Артема) — это хрестоматийная истина — представляет собой, в сущности, цепь увлекательных романтических приключений. Аресты и побег, конспирация, явки, филеры, эмиграция в Европу и в экзотические Японию и Австралию — все это могло стать захватывающе увлекательным романом.

Николай Кузьмин предпочел, однако, более сложный путь. В «Рассвете» воспроизводится в основном не слишком насыщенный внешними событиями харьковский период биографии Артема. Тем не менее выбор писателем именно этого отрезка необычайно яркой жизни героя оказался, на мой взгляд, особенно точным и эффективным.

В 1905 году Артем возглавил харьковскую большевистскую организацию. Нужно было готовить пролетарские массы крупного промышленного города к надвигающимся революционным боям. Артем был занят преимущественно будничными делами. Агитация в среде рабочих, создание боевых дружин, борьба с оппортунистами внутри харьковской социал-демократии, налаживание связей с солдатской массой — эта работа была главным содержанием революционной деятельности Артема в Харькове.

Николай Кузьмин впечатляюще рисует картины убогого, нищенского существования пролетарских семей. Барачный быт, отупляющий, изнурительный труд на капиталистическом производстве, где здоровье и сама жизнь рабочего утратили всякую ценность, чудовищная беспросветность жизни жен и детей пролетариев — это показано в «Рассвете» с большой силой и убедительностью. Эпизоды гибели Павлуши в цехе и смерти безымянного младенца в бараке, пожалуй, относятся к самым волнующим в книге.

Повесть Николая Кузьмина художественно-документальна, и автору не был заказан художественный вымысел. Поэтому в «Рассвете» наряду с персонажами историческими, изображение которых требует скрупулезной документальной точности, есть и персонажи вымышленные. Разумеется, они тоже не должны выпадать из достоверно воссозданной эпохи.

Большинство действующих лиц повести удалась автору и запоминаются. Интересен увлекательный, но самоотверженный и неколебимый в своей преданности делу рабочего класса большевик Иван Шалай. Своеобразен и психологически точен в изображении писателя Степан, формирование личности которого происходит на глазах у читателя.

Значительное место, что вполне естественно, в книге занимают товарищи Артема по партии. Их писатель изображает вполне земными молодыми людьми. Вот: «Курносый парень, запомнившийся Артему своим рассказом о горловском восстании, оказался рабочим из Луганска Ворошиловым. Он разговорился. Ворошилов с семи лет работал на шахте, выбирал из отвалов колчедан, получая по 10 копеек в день». А вот Михаил Фрунзе — «молчаливый, вечно сосредоточенный, старающийся не вылезать вперед». Столь же просто, скупыми штрихами писатель воссоздает образы Я. М. Свердлова, В. Д. Бонч-Бруевича...

Особо следует сказать о присутствии в книге В. И. Ленина. Владимир Ильич появляется в трех эпизодах «Рассвета»: в парижской эмиграции, в Петербурге в канун IV съезда РСДРП и на самом съезде в Стокгольме. Увиденный глазами различных людей — большевиков, великого русского ученого Ильи Ильича Мечникова, — В. И. Ленин предстает перед читателем убедительно естественным, доступным и живым в своем историческом величии.

Возвращая нас в бурную эпоху революционного подъема, «Рассвет» воскрешает

образы беззаветных рыцарей революции и близко знакомит нас (в этом главное достоинство книги) с одним из них — рядовым ленинской гвардии, пламенным революционером Артемом.

Владимир Буданин.



К. П. МАТВЕЕВ. Ассирийцы и ассирийская проблема в новое и новейшее время. М. «Наука». 1979. 191 стр.

Каждый при слове «ассирийцы» сразу же вспомнит древний Восток. Немалое число читателей наверняка полагают, что они там и остались — на страницах истории древнего мира. Однако история распорядилась иначе: ассирийцы есть и в XX веке н. э. Всего их более миллиона, в Советском Союзе (по переписи 1970 года) — 24 тысячи.

Ассирийская проблема — не только научная (вопросы этногенеза ассирийцев и их насчитывающей несколько тысячелетий истории), но и национально-политическая проблема. Освещая в сжатом очерке события, относящиеся к основным этапам древней и средневековой ассирийской истории, К. Матвеев подчеркивает, что крушение ассирийского царства и потеря государственности не привели ни к исчезновению ассирийского народа, ни к его ассимиляции завоевателями, приходившими в Месопотамию. Прошли века, в течение которых история ассирийского народа знала такие события, как истребление ассирийцев Тимуром (уцелела лишь малая часть), борьба с османскими и персидскими властями, с курдскими феодалами, которых натравливали на ассирийцев эти власти, уничтожение султанскими войсками и курдскими отрядами более полумиллиона ассирийцев во время первой мировой войны, ассирийское всеобщее вооруженное восстание 1914—1918 годов против османского и персидского гнета. Именно это восстание поставило в порядок дня вопрос о национальном самоопределении, создании независимого ассирийского государства. Вероломно заманив восставших с семьями на территорию нынешнего Ирака, британское командование сформировало ассирийские батальоны, которые бросило против арабов и курдов, что, естественно, к великой выгоде государства-мандатария, вызвало среди последних антиассирийские настроения, использованные потом и правительством Ирака, получившего в 1930 году «независимость».

Низкий уровень классового сознания широких масс арабов, курдов, ассирийцев не позволил создать к тому времени антиимпериалистического союза народов Ирака. «Народам Ирака предстоял еще долгий путь, пока они на собственном горьком опыте не убедились в жизненной необходимости интернационализма», — замечает К. Матвеев.

На основе материалов, почерпнутых из ассирийских газет и журналов, издаваемых в Западной Европе, США, Австралии, автор знакомит с положением там ассирийцев. Наиболее сознательная их часть вос-

приняла пролетарскую идеологию и участвует в борьбе рабочего класса своих стран. Однако определенные слои ассирийской интеллигенции, средней и мелкой буржуазии ассирийского происхождения в США и других странах испытывают тоску по «исторической родине» и пропагандируют идеи создания своего национального очага, своей государственности на исторической родине, объединения ассирийцев всего мира и возвращения на «родину предков». «Само по себе объединение ассирийцев, — отмечается в книге, — положительное явление, даже если им руководят буржуазные националисты, так как национализм угнетенного народа проникнут общедемократическим содержанием и направлен против угнетения, за достижение национальных прав. В борьбе за национальное и социальное освобождение «придется базироваться на том буржуазном национализме, — писал В. И. Ленин, — который пробуждается у этих народов, и не может не пробуждаться, и который имеет историческое оправдание». Но руководители стран расселения ассирийцев поощряют в них стремление к созданию ассирийской автономии в Ираке, одновременно стараясь отвлечь ассирийцев от классовой борьбы...»

Первые ассирийцы, поселившиеся на территории нашей страны, осели в Грузии в конце XVIII века и в Армении в период русско-персидской войны (1826—1828). Но подавляющее большинство советских ассирийцев — потомки участников вооруженного восстания 1914—1918 годов. В СССР ассирийцы получили все гражданские и политические права. Им неведомы безработица, национальный и социальный гнет, расовая, национальная или религиозная дискриминация. Народность, не насчитывающая у нас и трех десятков тысяч человек, в годы Великой Отечественной войны дала двух Героев Советского Союза, трех генералов. Внук упомянутого в книге командира ассирийских дружин Ирана, я не могу не присоединиться к словам, которыми она заканчивается: «Советским ассирийцам предоставлены все условия для свободного национального развития».

Труд К. Матвеева, не лишенный, к сожалению, недосказанностей и явно нуждающийся в лучшем картографическом обеспечении, представляет собой пионерскую работу в советской ассириологии, прокладывая дорогу новому ее направлению.

Эр. Ханпира,
кандидат филологических наук.



А. К. ЖИРИЦКИЙ. Плата за безответственность (Экологический кризис в современном буржуазном обществе и идейно-политическая борьба). М. Политиздат. 1979. 158 стр.

Наш век войдет в историю как «век экологической паники», утверждают западные социологи, публицисты и т. д. Если уточнить, что речь идет об их капиталистическом мире, то, может быть, так оно и будет. Взрыв экологической проблема-

тики оказал исключительно большое влияние на самые различные стороны жизни буржуазного общества, на его идеологию и культуру — масштабы и характер этого влияния находятся еще только в стадии осмысления.

Книга А. Жирицкого рассматривает некоторые важные аспекты экологического кризиса на Западе: его отражение в массовом сознании, идейно-теоретические его интерпретации, наконец, движение так называемых экологических активистов и его отношения с демократическим и прогрессивным движением.

Что думает об экологии «человек массы»? Скорее всего он сбит с толку. С одной стороны, ему рисуют злоешие перспективы истощенной и перенаселенной до отказа планеты — отравленную атмосферу, голод, эпидемии и всеобщий хаос. С другой — перспективы предлагаются как будто самые радужные: всемогущая и самодостаточная технология, искусственная среда обитания, начисто отгородившая человека от неверной природы, довольство, уют и комфорт. Между этими двумя крайностями, экологическим пессимизмом и чисто технократическим оптимизмом, существует целая гамма промежуточных, так сказать, позиций, но в общем экологические прогнозы, как правило, достаточно тревожны и у «человека массы» есть основания всерьез задуматься уже не об отвлеченном будущем человечества, но о том, какая участь ожидает непосредственно его детей и внуков.

Современный землянин приучается мыслить экологически — и не только в каких-то определенных вопросах. Новейшие представления о взаимоотношениях человека с матерью землей окрашивают всю сумму понятий о жизни, об обществе, об индивидуальной судьбе. Но и экологические взгляды, в свою очередь, несут на себе отпечаток той социальной среды, в которой они сложились. А. Жирицкий показывает, что «экологическое сознание» конкретно и находится в зависимости от интересов того или иного класса или социального слоя. Например, деланный оптимизм технократов отвечает прежде всего интересам монополий, тогда как алармистская, «паническая» позиция по ряду причин встречает наибольший отклик в кругах многочисленного среднего класса.

Самый важный из вопросов, поставленных экологическим кризисом, — вопрос о пределах роста. Алармисты настаивают на полном прекращении экономического роста как единственной будто бы возможности избежать экологической катастрофы. Задача эта, отмечает автор книги, утопическая; действительно, полная остановка роста имела бы труднообразимые последствия для капиталистического общества. Но даже оставаясь утопией, идея прекращения или хотя бы сдерживания роста оказывает заметное влияние на идеологическую конъюнктуру. В частности, она имеет отношение к наметившейся в последние годы некоторой психологической переориентации с экономической деятельности, голого утилитаризма на ценности односторонне-эстетического и абстрактно-этического порядка.

Казалось бы, экологический радикализм подрывает самые основы, на которых зиждется капиталистическое общество. Но в то же самое время он отводит на второй план важнейшие социальные проблемы, а выдвигаемый им идеал стабильного (с нулевым ростом) общества бьет по интересам в первую очередь рабочего класса. Война, объявленная утилитаризму, первыми своими жертвами угрожает сделать неимущих.

Хотя в большой мере оно опирается на средние слои, движение экологических активистов очень разнородно по характеру и по составу. На одном его фланге пытаются переосмыслить идею цивилизации, на другом ограничиваются местническими заботами об охране данной реки, данного леса. Оно несет в себе, как показывает автор, также и антимонополистический заряд, сближающий его с демократическим, прогрессивным движением. Для рабочего класса, для всех передовых сил экологические проблемы имеют на сегодняшний день первостепенное значение, но ставятся они непременно конкретно-исторически и острополитически.

Ю. Михайлов.



ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Жить нам суждено. Повести и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1979. 383 стр.

Символ — это как зарубка в лесу понятый и идей, помогающая отыскать нужное направление. Основное направление книги Юрия Яковлева «Жить нам суждено» с ее романтической, жизнеутверждающей символикой ясно обозначено писателем уже в первой повести «Зимородок», открывающей книгу. Этим странным именем называл себя юный герой повести — партизан. «Зимородок. Бесстрашная птица с прямым острым клювом. Он ныряет на большую глубину и возвращается с победой. И если он улетает накануне жестокой зимы, то с первыми теплыми днями возвращается к своему гнездовью». Так и герой Юрия Яковлева, совершивший подвиг: долгие годы его считали погибшим, но он жив и он вернулся.

Собственно, всей своей книгой Яковлев отрицает смерть, художественными средствами спорит с необратимостью времени.

Однако жанр писателя не детская сказка с заранее заданным счастливым концом. Книга Яковлева для детей, которые уже почти взрослые, и, значит, не имеет права упрощать или ретушировать действительность. Более того, в ней много военных страниц, а война жестока. И писатель вполне понимает суровую правду тех дней, выраженную строками погибшего поэта: «Нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь» (П. Коган). Но, в сущности, так же как у Павла Когана, герои Яковлева поднимаются — в этом высшая мудрость литературы гуманистической, даже если она при этом чуть-чуть ударяется в чудо. Тут, впрочем, не чудо, а определенная мировоззренческая позиция. Вот что, к примеру, говорит пожилая учительница в повести о Зимородке: «Я долго не вычеркивала его из классного журнала. Я вообще никогда

не вычеркивала погибших. Ставила «нет»...» Яковлев тоже не вычеркивает. Но он делает больше — ставит «есть» всему военному поколению.

Возможно, каждое поколение имеет некий принадлежащий только ему девиз, пароль, если хотите. Паролем юности героев Яковлева, опаленных войной, стали слова тяжелораненой девочки — балерины Тамары из повести «Балерина политотдела»: «А жить нам суждено». Мысль проста, в ней нет открытия, она давно и естественно вошла в нашу богатую и сильную литературу о войне. И все же Яковлеву удалось выразить ее по-своему. Успех писателя, думается, не только в его искренности и правдивости, они само собой. Не менее важно понимание им подростка и своей роли старшего друга и учителя: ведь писать вообще, и для юности в особенности, — значит, плюс ко всему воспитывать. А для этого лучше, чтобы читатель не просто воспринимал пример пусть героический, но далекий, — он должен участвовать. И ряд повестей Яковлев композиционно строит как чередование страниц прошлого и настоящего. Вчера и сегодня переплетены у Яковлева крепко, как нити разных цветов одного полотна. Причем герои настоящего, узнавая судьбы прошлого, в чем-то повторяют их, именно оттого, что хотят участвовать. Школьник Марат ныряет с высокого моста, потому что отчаянной смелости парашютный прыжок совершил когда-то Зимородок. Сливаются голоса сегодняшней Гали и балерины политотдела Тамары. Вообще, надо заметить, Яковлев часто и удачно использует прием повтора: в кольцевой композиции, в чуть отличающихся, но повторенных деталях, в рефренах.

Есть и еще один секрет успеха повестей и рассказов Яковлева. Они слегка сентиментальны. То есть обладают качеством, которое обычно поругивают. Но разве не сентиментален, допустим, Гавриил Троепольский с его «Белым Бнимом»? Между тем это литература, получившая заслуженное признание. По-моему, в рациональном XX веке лечебный укол сентиментальности просто необходим — как обращение непосредственно к сердцу человека, к чувствам его, призыв к добру.

«Жить нам суждено» — добрая книга о сильных и мужественных людях. Думаю, ей не грозит опасность пропасть без вести — читатель найдет ее непременно.

А. Велорусец.



РИЧИ ДОСТЯН. Кинто. Повесть. «Прос-тор», 1980, № 1.

«Добро — то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей» — так писал великий гуманист Альберт Швейцер. Обаяние доброты — именно это определение приходит на ум при чтении новой повести Ричи Достяна.

Грузинская девочка Ламара подобрала бездомного котенка (это он Кинто) и при-

несла домой. «В городах Грузии не принято было в те времена держать домашних животных, добавим — несъедобных! Собак еще куда ни шло, а кошки — нет!» Но Ламарина бабушка восторженно сказала «вай», Ламарин папа обрадовался (он любил сам пострелять, а котенок «переключил громадную энергию бабушки с кухни на себя»), Ламарина мама просто примирилась. Кинто остался в доме, рос, вырос, и как мелодия уже плавно льется через порог его длинное тело». Необыкновенный (действительно необыкновенный!) трехцветный, приносящий, по поверьям, счастье кот становится не только привычной частью повседневного быта, но и необходимым элементом эмоционального климата этой семьи. Кинтошка, когда-то похожий на «прошлогоднюю шишку», вырастает не просто в красивого кота — он растет как личность (да, личность!). «Свечение кошачьих глаз притягивало и подчиняло и... сообщало: «Эта ночь такая же моя, как твоя, эта липа такая же моя, как твоя, эта моя жизнь — моя!»

Пересказывать эту повесть не только не нужно, но и невозможно — ничего особенного, чрезвычайного в ней не происходит. В ней нет не только сюжетного конфликта, но даже нет так называемых отрицательных персонажей. Она и кончается-то, обрываясь на полуслове, а то, что будет дальше, — уже другая, и, пожалуй, неинтересная нам, история, ибо все уже сказано, ибо важно не столько то, что происходит, сколько то, как происходит. Авторская мысль, которую при всем желании нельзя вычленишь из текста и тем более свести к морали, живет не в сюжете, а в стиле — в точном, пластичном слове. «Девочка несла его (Кинто. — А. В.) бережно, точно в руках у нее была зажженная свеча».

Несомненным достоинством повести Ричи Достяна представляется то, что писательница не пошла по пути очеловечивания Кинто, не стала умилять читателя — дескать, посмотрите, они такие же, как мы, только говорить не умеют. В том-то и дело, что они не такие, как мы, и Кинто в изображении Ричи Достяна именно кот, а не «человек в кошачьей шкуре». Писательница не лезет в душу к Кинто, не пытается сочинять кошачьи «переживания» — она смотрит на своего героя (как все мы на животных) со стороны, но изображает его поведение настолько ярко и зримо, что поневоле проникаешься к Кинтошке симпатией.

Эта история (которая, как утверждает Ричи Достяна, «могла произойти когда угодно, но не где-нибудь, а только в старом Тифлисе») обаятельна не только непередаваемым грузинским колоритом, но и в немалой степени тем, что, не пытаясь выдать себя за что-то большее, чем она есть, она несет в себе заряд нравственного опыта. Ее непритязательность («...если нас спросят, зачем понадобилось все это излагать, то, как сказал бы один знакомый грузин: «Одна бог знает!») не столько иронична, сколько застенчива. Но ее ненавязчивый пафос уважения к жизни и личности человека (или любого живого существа) в чем-то сродни знаменитому швейцеровско-

му постулату: «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить».

Андрей Василевский.



ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИВАНЕ ШУХОВЕ. Алма-Ата. «Жазушы». 1979. 476 стр.

Видный советский писатель Иван Петрович Шухов, один из первых певцов революционной перестройки сибирского казачества (роман «Горькая линия») и коллективизации (роман «Ненависть»), всем своим творчеством, участием в общественной жизни снискал любовь и почитание огромной читательской аудитории. Многие из тех, кто знал писателя, сочли долгом оставить свои мемуарные свидетельства о нем.

Книга воспоминаний об Иване Шухове открывается подборкой высказываний М. Горького. Великий писатель упоминал имя И. Шухова рядом с именами М. Шолохова и Ф. Панферова. Все творчество И. Шухова освещено отеческим напутствием и товарищескими советами зачинателя литературы социалистического реализма. Писатель-коммунист, с юношеских лет сразу вошедший в число активных строителей новой, социалистической культуры, И. Шухов до конца своих дней оставался верным сторонником лучших классических традиций великой русской литературы, словом и делом сохраняя и умножая их.

Воспоминания рисуют образ искреннего, богато одаренного художника, до боли в душе преданного родному слову, кровно связанного с корнями народной жизни, с природой милых его сердцу североказахстанских степей, рисуют также образ цельного, надежного человека с неповторимым, резко очерченным характером. Получается прекрасный, коллективно написанный портрет художника на фоне его эпохи.

Подкупают широта авторского взгляда на весьма сложные художественные явления, искренность и высокий литературный уровень материалов. А такие статьи, как «Дорогой мой земляк и друг» Г. Мусрепова, «Телеграмма» Н. Почивалина, «С испытательным сроком...» Г. Черногловой, «Памяти Шухова» Ю. Домбровского, «Школа Шухова» Ю. Герта, можно считать яркими образцами мемуарной прозы.

Убедительным и ценным свидетельством значимости для современников труда писателя является небольшая, но выразительная подборка «Из писем». Здесь приводятся адресованные И. Шухову «при жизни добрые слова». Они сказаны, как уже упоминалось, М. Горьким и другими братьями по перу: П. Бажовым, М. Голодным, Л. Мартыновым, И. Омаровым, Д. Снегиным, М. Дудиным, Ю. Казаковым, Ф. Абрамовым и другими. Дышат любовью и признательностью письма читателей.

Написанная сразу после смерти писателя и изданная в относительно короткое время, книга явилась продолжением его литературной судьбы. Не надгробным памятником, не увековечением имени, а страстным, заинтересованным разговором о сегодняшнем и завтрашнем литературном процессе, о критериях ценностей и ориен-

тирах в огромном литературном море, о высоком призвании писателя, его гражданском и художественном долге.

В похвалу составителям и издателям следует отметить уместно подчеркнутые в книгу хронологический указатель жизненного и творческого пути И. Шухова, комментарий и указатель имен. С этими необходимыми добавлениями повышается научная литературоведческая ценность книги воспоминаний об одном из самобытных советских писателей, художнике горьковской генерации.

А. Устинов.



ВАЛЕНТИН ДЕВЕКИН. Не сгоревшие на костре. Немецкая антифашистская литература 1933—1945 годов. М. «Советский писатель». 1979. 438 стр.

«Не сгоревшие на костре» назвал свое произведение В. Девекин. Перед нами не только повествование о судьбах тех немецких книг, которые гитлеровские вандалы занесли в свои черные списки и предали аутодафе. «Не сгоревшие на костре» — это и волнующий рассказ о, пожалуй, самой трудной, самой драматичной поре в жизни создателей этих книг — передовых писателей Германии, не склонивших головы перед нацистами и боровшихся с фашизмом кто в подполье, кто в вынужденной эмиграции. Перед читателем книги В. Девекина возникают объемно, живо выписанные творческие портреты этих писателей, целая панорама немецкой антифашистской литературы 1933—1945 годов, которая в противовес псевдокультуре развивала традиции национальной и мировой гуманистической мысли и выражала дух и чаяния лучшей части немецкого народа.

В нашей германистике, как правило, период от 1933 по 1945 год рассматривался лишь в связи с анализом творчества отдельных писателей, а обобщающих работ, посвященных проблемам немецкой антифашистской литературы тех лет в целом, у нас не так уж много. Книга В. Девекина в значительной мере восполняет этот пробел. Всем ходом повествования автор убеждает читателя: все лучшее, что было создано немецкой литературой в 30-е и 40-е годы, было рождено именно в сражениях за идеалы высокого гуманизма. Мысль о том, что слово художника, ставящего свое искусство на службу делу народа, делу социального прогресса, делу мира, обретает новую мощь, лейтмотивом проходит через всю рецензируемую книгу. На счету у «литературного Сопротивления», как подчеркивает автор, оказалось немало произведений непреходящего идейно-эстетического значения.

Исследователь обращается не только к крупнейшим немецким художникам, таким, как Генрих и Томас Манн, Фейхтвангер, Брехт, Везер, Зегерс, но и вводит заслуживающие внимания имена писателей, которых широкие круги наших читателей еще мало знают. Тут, однако, нельзя не поставить в упрек В. Девекину невнимание к работе такого выдающегося лирика и последовательного борца за идеи коммуниз-

ма, как Луи Фюрнберг, который упоминается лишь вскользь.

Отнюдь не становясь в позу первооткрывателя, автор часто ссылается на труды других исследователей, в то же время по-своему, оригинально интерпретируя творчество художников-антифашистов рассматриваемого периода. При этом он находит при анализе их произведений, которые он как бы заново прочитывает в свете наших дней, свежие краски, новые оттенки. Мы встретим у В. Девекина записи его личных бесед с писателями, немало ссылок на неопубликованные архивные документы, на

совсем неизвестные читателю данные об антифашистских органах печати и издательствах, поддерживавших «литературное Сопротивление».

Книга «Не сгоревшие на костре», сочетающая научную основательность с темпераментностью изложения, — впечатляющая встреча с прошлым, которое живо и ныне. Думается, что столь содержательный труд вызовет интерес у очень многих, особенно у молодежи, выросшей под мирным небом и не пережившей всего того, о чем рассказывает автор.

Г. Знаменская.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О значении воинствующего материализма. 16 стр. Цена 5 к.
В. И. Ленин. Что делать? 208 стр. Цена 35 к.
А. Алдан-Семенов. Гроза над Россией. Повесть о М. Фрунзе. («Пламенные революционеры») 414 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Ардов. Юмористические рассказы. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.
М. Булгаков. Избранное. Мастер и Маргарита. Роман.— Рассказы. 400 стр. Цена 2 р. 70 к.
А. Жаров. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. 1921—1959. 317 стр. Цена 1 р. 30 к.
С. Злобин. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. Салават Юлаев. Исторический роман. 525 стр. Цена 2 р. 10 к.
Г. Лессинг. Избранное. Перевод с немецкого. 574 стр. Цена 2 р. 60 к.
В. Ржезач. Свет гьмы.— Свидетель. Романы. Перевод с чешского. 510 стр. Цена 3 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Быков. Пойти и не вернуться. Повести. Перевод с белорусского. 368 стр. Цена 1 р. 70 к.
Д. Гранин. Картина. Роман. 359 стр. Цена 1 р. 50 к.
К. Сая. Когда они стали деревьями. Повесть и рассказы. Перевод с литовского. 295 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Тимонон. Жители покинутой деревни. Роман. Перевод с финского. 246 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

О. Алексеев. Белозерье. Стихи. 111 стр. Цена 25 к.
В. Елисеева. Так оно было. Документальная повесть. 158 стр. Цена 20 к.
В. Карцев. Кржижановский. («Жизнь замечательных людей»). 383 стр. Цена 1 р. 70 к.
Р. Киреев. Победитель.— Апология. Романы. 431 стр. Цена 1 р. 70 к.
Т. Успенская. Общая лыжня. Повесть. 239 стр. Цена 30 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Голявкин. Я жду Вас всегда с интересом. Рассказы. Вступительная статья Г. Горышина. 272 стр. Цена 1 р. 80 к.
С. Залевский. Береза в степи. Рассказы. Предисловие В. Цыбина. («Первая книга в столице») 269 стр. Цена 80 к.
М. Львов. Круглые сутки. Стихотворения. Предисловие В. Бокова. («Новинки «Современника») 175 стр. Цена 75 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Барто. Подростки, подростки... Стихи. 79 стр. Цена 75 к.
Мир приключений. Составитель В. А. Ревич. 670 стр. Цена 1 р. 50 к.
С. Наровчатов. Василий Буслаев. Поэма. 94 стр. Цена 1 р. 40 к.
Р. Погодин. Кирпичные острова. Рассказы про Кешку и его товарищей. 126 стр. Цена 50 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Лашков. Бухта Радости. Стихи и поэмы. 206 стр. Цена 90 к.
В. Николаев. Моралисты без морали. Памфлеты и фельетоны. 192 стр. Цена 45 к.
П. Федоров. Синий Шихан.— Витим Золотой. Роман-диалогия. 591 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Данилов. Бьется сердце. Роман. Перевод с якутского В. Литвинова. 303 стр. Цена 1 р.
Н. Кочин. Гремячая поляна. Роман. 412 стр. Цена 1 р. 90 к.
А. Крейн. Рукотворный памятник. 1880—1980. 47 стр. Цена 20 к.
В. Рудный. Океанская служба. Очерки. («Писатель и время») 94 стр. Цена 15 к.

«ПРОГРЕСС»

Поэзия Кубы. Сборник. Перевод с испанского. 414 стр. Цена 2 р. 50 к.
Д. Ричардс. Близилась зима. Роман. Перевод с английского. 301 стр. Цена 2 р.
Д. Чандра. Своей земле не хозяин. Роман. Перевод с хинди. 268 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ИСКУССТВО»

А. Глузов, Н. А. Львов. Послесловие А. М. Харламовой. («Жизнь в искусстве») 206 стр. Цена 1 р. 50 к.
Г. Зингер. Рашель. («Жизнь в искусстве») 253 стр. Цена 1 р. 70 к.
В. Зорин. Америка семидесятых. Телевизионные фильмы. 247 стр. Цена 2 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Горизонт. Молодая литература Удмуртии. Составитель А. Шкляев. Ижевск. «Удмуртия». 208 стр. Цена 75 к.
Т. Пьянкова. Кирьянова вода. Сибирские сказки. Послесловие Н. Каргополова. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 223 стр. Цена 45 к.
Русский фольклор в Латвии. Сказки. Составитель И. Фридрих. Рига. «Лиезма». 374 стр. Цена 1 р. 80 к.

Главный редактор С. С. Наровчатов

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашкуп (ответственный секретарь), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов (первый зам. главного редактора), В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6. Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 24/VII 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 18/IX 1980 г.
Формат бумаги 70×108/16. 27,13 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 03503. Тираж 320.000 экз. Зак. 751.

Сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47. Брест-Литовский проспект. 94. Зак. 5467.

Цена 70 коп.

70636